

Семь искусств 3/2016



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

3/2016

Журнал

**«Семь искусств»
№ 3 (72) 2016**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2020

Журнал «Семь искусств» № 3 (72) /2016 — Ганновер:
Семь искусств. 2020. — 373 с., 22,1 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2020

Оглавление

<i>Ирина Тюлина, Вера Чиненова, Инна Зубова</i> Алексей Николаевич Боголюбов как историк механики	5
<i>Григорий Полотовский</i> Феномен провинции (очерк истории математики в Нижнем Новгороде)	23
<i>Анатолий Добрович</i> Рукава в кружевах	37
<i>Александр Лейзерович</i> Упущенный юбилей Козьмы Пруtkова	45
<i>Михаил Шифман</i> Тетрадь, найденная на чердаке	84
<i>Николай Овсянников</i> Козырев и Маяковский	104
<i>Леонид Лазарь</i> Дело Лео Франка	111
<i>Елена Кушнерова</i> Mission: impossible. 3 серия. Сантандер	125
<i>Сергей Колмановский</i> Пока я помню...	136
<i>Лена Берсон</i> "Мы, конечно, поедem туда, где бывали не раз". Из новых стихов	165
<i>Борис Кушнер</i> И всё становится стихом. Избранные стихи, июль-декабрь 2015	168
<i>Владимир Алейников</i> Роза в дожде. Стихотворения	191
<i>Татьяна Вольтская</i> Вокруг Рождества	206
<i>Тамара Ветрова</i> Кузьмовна и мышь со стеклянным глазом	213
<i>Владимир Матлин</i> Два рассказа	216
<i>Леонид Гиршович</i> Мой сэкс	226
<i>Анна Наталия Малаховская</i> Откуда взялась тьма. Повесть	231
<i>Арнольд Денкер</i> Предложение, от которого я не мог отказаться Перевод с англ. и предисловие Льва Харитона	259
<i>Анри Труайя</i> Круговорот. Перевод Эдуарда Шехтмана	264
<i>Александр Левинтов</i> Из воспоминаний	271

<i>Дмитрий Бобышев</i>	
Я здесь (человекотекст)	
Трилогия. Книга вторая. Автопортрет в лицах	286
<i>Михаил Юдсон</i>	
Вечернее свечение	320
<i>Елена Бандас</i>	
Волшебные ключи метафор	323
<i>Игорь Ефимов</i>	
Закат Америки. Саркома благих намерений	329
<i>Алла Дубровская</i>	
Хроники Уолл-стрига. Хроника третья. Спаситель Уолл-стрит	345

Ирина Тюлина, Вера Чиненова, Инна Зубова

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОГОЛЮБОВ КАК ИСТОРИК МЕХАНИКИ

Алексей Николаевич Боголюбов (25.03.1911-01.11.2004) – известный учёный, выдающийся историк естествознания, член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, старейший сотрудник Института математики НАН Украины.

А.Н. Боголюбов являлся создателем и главой школы историков математики и механики Украины, талантливым педагогом, воспитателем научных кадров.

Он автор многих ценных книг по истории механики и теории механизмов и машин, по истории техники, прекрасных биографических очерков о европейских и отечественных учёных и деятелях техники, а также уникального и всем нужного в качестве настольной книги «Биографического справочника. Математики, механики» (1938) [1].

Алексей Николаевич Боголюбов родился 25 марта 1911 г. в городе Нежине (ныне Черниговской области) в семье профессора богословия Николая Михайловича Боголюбова (1872-1934). Его мать Ольга Николаевна (урожденная Люминарская) (1881-1965) окончила Нижегородское отделение Московской консерватории по классу рояля и преподавала музыку в Нижегородском институте благородных девиц.

Она привила своим детям не только глубокое понимание музыки, но и любовь к труду, стойкость в трудных обстоятельствах. Алексей Николаевич вспоминает о ней с большой теплотой: "Она была человеком высокой культуры и высоких нравственных принципов, преданная семье, в меру консервативных взглядов и глубоко религиозная. ... Она была умной и необыкновенно тактичной женщиной. Сыновья никогда не слышали от неё ни сетований, ни жалоб, ни нравоучений, и вместе с тем она была жизнерадостной и весёлой. ... Она всегда держалась с достоинством и поддерживала культ семьи: после кончины отца она стала главой семьи, и благодаря её нравственному влиянию, несмотря на то, что сыновья жили раздельно, чувство единой семьи у них сохранилось" [2, с. 8].

У О.Н. и Н.М. Боголюбовых было три сына. Старший брат, Николай Николаевич (1909-1992), был выдающимся физиком и математиком, академиком АН СССР, младший, Михаил Николаевич (1918-2011), – известный востоковед, профессор, академик РАН, в течение многих лет декан восточного факультета Санкт-Петербургского университета.

Многие существенные черты личности Алексея Николаевича определились уже в самый ранний период его духовного развития. В 1929 г., спасаясь от голода, семья вынуждена была переехать на два года в село Великая Круча на Полтавщине, где Николай Михайлович получил место сельского священника. (У Н.М. Боголюбова была реальная возможность остаться на преподавательской работе в Киеве, отказавшись от сана, но это было для него неприемлемо).

Именно здесь, ещё ребенком, Алеша вошёл в "царство" машин и был покорён ими на всю жизнь. Описывая жизнь украинского села 20-х годов теперь уже про-

шлого века, он отмечает, что жители села использовали лишь ветряную мельницу, плуг, сеялку и веялку, ткацкий станок и гончарный круг. "Иногда летом в село привозили молотилку и локомобиль, и все мальчишки (среди которых был и автор книги^[1]) мчались смотреть на "машину". Учителя природоведения или физики приводили своих учеников на выгон, где была установлена "машина", и объясняли принцип работы локомобилиа. Всё это было очень интересно". Маленькому пытливному Алёше нужно было знать, *как* устроены часы, *почему* едет автомобиль и движется поезд и *как* машины заменяют физическую силу человека, его мастерство и умение?

В Великой Круче братья Боголюбовы Николай (11 лет) и Алексей (9 лет), бывшие киевские гимназисты, были приняты сразу в седьмой и шестой классы сельской школы. Следует заметить, что уровень знаний у мальчиков был достаточно высок благодаря домашнему образованию. Как вспоминает Алексей Николаевич, отец был очень талантливым педагогом; он учил сыновей немецкому, французскому, несколько позже – английскому, латинскому и греческому языкам и, самое главное, развивал в них исследовательский, творческий дух, готовил к смелому вхождению в незнакомый мир. Интересен эпизод из детства Алексея Николаевича, когда ему было лет шесть, он прочитал статью в энциклопедии о Египте и решил писать "Древнюю историю". Занятия с отцом языками и математикой продолжались и в Великой Круче (до конца 1921 г.), и позже в Киеве и Нижнем Новгороде.

Конечно, и влияние старшего брата было огромным. Николай Николаевич после возвращения семьи в Киев в 1922 г. посещал в университете семинар Д.А. Граве, а затем перешёл на кафедру математической физики, которой руководил Н.М. Крылов. Отметим, что тогда Коле было всего 13-14 лет. Именно благодаря хлопотам Н.М. Крылова, ставшего научным руководителем юного учёного, он был принят в аспирантуру «ввиду феноменальных способностей», как было отмечено в решении президиума Укрглавунаки. Таким образом, Николай Николаевич стал аспирантом, имея только свидетельство об окончании семилетки!

Богатая духовная жизнь семьи, вынужденные переезды, чтение (на разных языках), мысли о Боге, о природе, об устройстве всего сущего, дружба с братьями, особенно с Николаем, – всё это способствовало формированию и развитию неординарной личности, исследователя, учёного, философа. Не только рассудочное познание и эмпирическая наука, но и Дух, который связывает элементы природы, духовные миры и общество с высшим единым Началом, является основой Единства мира. И именно это Единство является методом в исследовательской работе Алексея Николаевича Боголюбова. В многочисленных монографиях, статьях, книгах отражён этот универсальный подход учёного. В историко-научных произведениях и научных биографиях он раскрывает истинный смысл факта, явления, механического принципа, побуждение, интуицию исследователя.

"Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает."^[2]

В 1925 г. Николай Михайлович, оставив старшего сына в Киеве, уехал с остальной семьёй на родину в Нижний Новгород, где получил место настоятеля Храма Всемилостивейшего Спаса. Младшие дети в Нижнем Новгороде стали учиться в школе. Алексей Николаевич окончил её в 1928 г., и «сразу попал в список лишенцев, поскольку советская власть решила, что ... сын священника не должен иметь никаких прав» [3, с. 93].

В том же году протоиерей Боголюбов был репрессирован, три года провёл в заключении и смог выйти из тюрьмы благодаря хлопотам жены и старшего сына, который к этому времени уже защитил докторскую диссертацию, стал лауреатом премии Болонской академии наук.

О первых годах своей жизни после окончания школы Алексей Николаевич в автобиографическом очерке сообщает только одной фразой: «Всё-таки, благодаря добрым людям, работу я получил. Трудился в учхозе Тимирязевской сельскохозяйственной академии, на строительстве моста через Оку^[2], на заводе «Свет шахтёра» в Харькове, в УОЦИТ в Харькове, также в Запорожье» [3, с.93]. Под «добрыми людьми» он, вероятно, в первую очередь подразумевал семью Артоболевских, с которой дружил всю жизнь.

Только в 1931 г. Алексею Николаевичу удалось поступить на математический факультет Харьковского университета. Стране нужны были математики. Так на первом Всесоюзном съезде математиков, который проходил в Харькове в 1930 г., О.Ю. Шмидт, крупный алгебраист и в то же время член Советского правительства, сказал: «На рынке преподавателей высшей школы более всего не хватает математиков. Молодой человек, который занимается наукой, имеет все шансы стать профессором в 25 лет. Такая большая нужда! В стране, где строится социализм, где нужно уметь считать, нужно, чтобы это умение математически формулировать стоящие перед каждым задачи ... было всеобщим достоянием. Нам необходимо трудиться над тем, чтобы общая математическая культура у нас была выше, чем у других» [2, с.50].

На физико-математическом факультете Алексей Николаевич встретил свою будущую жену Тамару Васильевну Морозову (1911-1998), которая была дочерью учителей. Как и Алексей Николаевич, она в это время вела уже совершенно самостоятельную жизнь. В 1936 году оба они окончили университет. Тамара Васильевна защитила дипломную работу по геометрии, а Алексей Николаевич – по механике.

После окончания университета он сдал вступительные экзамены в аспирантуру Института математики и механики при Харьковском университете, но из-за происхождения не был туда принят. В это время он уже работал инженером в тресте «Укртракторремонт». «По совету моего научного руководителя, проф. В.М. Майзеля, – пишет Алексей Николаевич в автобиографическом очерке, – я поступил на третий курс механического факультета Харьковского машиностроительного института. Одновременно сдавал кандидатские экзамены и написал диссертацию на тему «Синтез механизмов», но не защитил её за недостатком времени» [3, с. 94].

Предвоенные годы, и в самом деле, были для него очень насыщенными. В 1937 году ему была поручена организация школы для эвакуированных детей испанских коммунистов. Алексей Николаевич стал директором этой школы и учителем физики и математики. Он всегда особенно тепло вспоминал своих учеников и вообще эти годы.

После окончания университета Алексей Николаевич работал инженером и решил продолжить образование в Харьковском машиностроительном институте (1936-1938). Университет дал математическую культуру и дисциплину ума, а машиностроительный институт и работа инженером помогли в реализации конкретного, реалистического мышления. Непосредственное наблюдение реально протекающих процессов, стремление моделировать теоретические рассуждения помогли Алексею Николаевичу стать замечательным специалистом в области теории машин и механизмов.

В эти же годы раскрылся педагогический талант Алексея Николаевича: он преподавал на различных курсах в Харьковском машиностроительном институте, в учебном комбинате Харьковского тракторного завода «Серп и молот». С 1937 по 1941 гг. он был директором, заведующим учебной частью и преподавателем математики и физики в школе для испанских детей, а также преподавал русский и украинский языки на заводских курсах для испанских политэмигрантов – бойцам-республиканцам, которые работали на харьковских заводах.

Активную научную и педагогическую деятельность прервала война... В 1944 г. он был репрессирован. В автобиографическом очерке он описал эти годы тоже очень кратко. «Сначала работал на шахте в Кайеркане машинистом подъёмной машины. Затем меня перевели в лагерь, обслуживавший строительство большой обогатительной фабрики в самом Норильске. Здесь работал с 1945 по 1953 гг., главным образом, на инженерных должностях...» [3, с. 95].

После амнистии, последовавшей в 1953 г., Алексей Николаевич был лишён права проживания в Киеве, поэтому работал около двух лет главным механиком Черкасского областного строительного треста. Жить с семьёй он смог только с 1955 г. С этого года по 1962 г. он работал в Министерстве высшего и среднего специального образования Украины.

В 1962 г. А.Н. Боголюбов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теория кинематических пар в историческом развитии». Его научным руководителем был И.И. Артоболевский, к тому времени уже крупный учёный, лауреат многих премий, с 1946 г. – академик.

После защиты диссертации Алексей Николаевич был принят на должность старшего научного сотрудника отдела истории математики Института математики Академии наук Украинской ССР (в конце 1962 г. отдел был переведён в Институт истории АН УССР). Одновременно с 1956 года он преподавал теорию машин и механизмов и деталей машин на кафедре строительных машин Киевского инженерно-строительного института.

Следует отметить, что существенную часть творческой жизни А.Н. Боголюбова и в это время составляла педагогическая работа, которую он начал, еще будучи студентом старших курсов Харьковского университета. Эта работа нравилась Алексею Николаевичу, приносила ему истинное удовлетворение. В 1956 г. он начал чтение лекций, проведение практических и лабораторных занятий по курсу деталей машин, теории машин и механизмов в Киевском инженерно-строительном институте на кафедре строительных машин. Он преподавал в этом институте 25 лет и на протяжении этого времени постоянно менял и совершенствовал читаемый студентам материал, всегда привнося в него элементы историзма, что делало лекции «живыми», очень интересными и увлекательными.^[4] В 1972 г. ему присвоили звание профессора.

В отделе истории математики, которым руководил академик И.З. Штокало, Алексей Николаевич, как пишет он сам, «принял дела» от своего друга, И.Б. Погребыского, который в это время переехал в Москву в Институт истории естествознания и техники АН СССР. Эта «приёмка дел» означала, что А.Н. Боголюбов включился в работу по подготовке двух организованных И.Б. Погребыским трудов: «Украинской математической библиографии» и «Истории отечественной математики» [5]. Второй из них, планировавшийся первоначально как двухтомный, в процессе работы превратился в четырёхтомный. Первый том посвящён истории математики и математического естествознания до XVIII в. включительно, второй – математике XIX в., третий и четвёртый –

XX в. Подготовка этого огромного труда заняла несколько лет работы большого коллектива учёных, которым в качестве заместителей главного редактора руководили А.Н. Боголюбов и А.П. Юшкевич (ИИЕТ АН СССР). «Для написания отдельных разделов третьего и четвёртого томов, – писал Алексей Николаевич, – мы обращались к математикам, работавшим в разных городах Советского Союза. Иногда приходилось “на ходу” менять авторские коллективы отдельных разделов. Я взял на себя написание очерка о развитии математики в СССР в XX столетии. Очерк был издан в двух частях тиражом 50 экземпляров и выслан на рецензирование специалистам из различных областей математики. После этого с очерком ознакомились В.И. Смирнов и П.С. Александров, и лишь после их правок он был опубликован как первая часть третьего тома» [3, с. 96]. В 1970 г. в издательстве «Наукова думка» в Киеве вышел в свет четвёртый том, который пришлось издать в двух книгах. Отдельным томом была издана «История математического образования в СССР».

Одновременно с этой работой А.Н. Боголюбов начал изучать подробно вопросы истории механики машин. Это направление было новым в истории механики. Результатом трёхлетней работы стала монография «История механики машин» [6], опубликованная в Киеве в 1964 г., и защита докторской диссертации, научным консультантом которой был И.И. Артоболевский.

Историко-научная концепция развития механики машин в мировом контексте, предложенная А.Н. Боголюбовым, состояла в том, что как историю науки в целом, так и историю механики машин, в частности, необходимо исследовать в неразрывной связи с общей историей, историей культуры, развитием экономики. Он продолжил начатые ещё в конце 30-х гг. разработки истории кинематического, кинестатического и динамического анализа механизмов, динамики машин, значительно расширил их на основе анализа первых изданий монографий, учебников, мемуаров и журнальных статей XVIII–XX столетий и, тем самым, фактически перешёл к изучению истории развития механики машин в целом. В результате в научный оборот впервые был введён совершенно новый, практически неизвестный до того времени материал, отражающий логику и преемственность развития механики машин, роль в этом историческом процессе отечественных и зарубежных учёных, малоизвестные биографические сведения о наиболее выдающихся из них.

В 1969 г. по представлению академиков АН СССР П.С. Александрова, И.И. Артоболевского, В.И. Смирнова, академиков АН УССР (сейчас – НАН Украины) А.Д. Коваленко и И.З. Штокало Алексей Николаевич был избран членом-корреспондентом АН УССР.

Как было отмечено, в 1962-1974 гг. А.Н. Боголюбов работал в Секторе истории естествознания и техники Института истории АН УССР. Этот период его деятельности стал важным этапом роста Алексея Николаевича как педагога-руководителя, неутомимого организатора науки. Фактически в этот период начала формироваться научная школа А.Н. Боголюбова в области истории точных наук. Вокруг Алексея Николаевича стали объединяться сотрудники Сектора, участники Всеукраинского семинара по истории математических наук, в том числе, его аспиранты: Н.Б. Андрианова, Л.И. Брылевская, О.Н. Буц, С.М. Великая, М.М. Воронина, И.И. Голотюк, Н.И. Данилова, Э.М. Добровольская, В.Н. Жуковская, В.В. Кислов, В.П. Лишевский, Т.Ф. Лучка, Л.И. Лыско, Л.Д. Леднева, Р.Е. Мотылевская, Е.М. Нестеренко, В.В. Павловская, Л.А. Применко, В.В. Повстенко, Л.В. Пугина, И.К. Рахимова (Зубова), В.М. Урбанский, М.А. Харитонова, С.А. Хорошева, Э.Г. Цыганкова, И.В. Чальцева, Эстер Висенте (из Испании) и др. Запас идей, мыслей, научных тем у него всегда был большой и он

щедро делился им со своими учениками. Алексей Николаевич считал, что для результативной научной и педагогической работы в области истории науки очень важно знать не только современное состояние математики, механики, техники, но и тенденции их развития и, в соответствии с этими, намечающимися тенденциями формулировал историко-научные проблемы.

Школа А.Н. Боголюбова стала коллективом единомышленников, увлечённых историей науки. Большое значение придавал Алексей Николаевич росту научных кадров. Некоторые его ученики – М.М. Рожанская, Н.М. Роженко, Л.Л. Кульвещас, М.М. Воронина, П.Я. Боярский – стали докторами наук, а В.М. Урбанский, В.В. Кислов – профессорами высшей школы.

В 1962-1963 и с 1974 г. до конца жизни А.Н. Боголюбов работал в Институте математики АН УССР, где по его инициативе сразу начал действовать научный семинар по истории математики и механики. Семинар имел огромное значение для становления школы А.Н. Боголюбова. Семинар стал важным местом обмена мнениями, творческих дискуссий, обсуждения диссертаций, на него приезжали учёные со всего Советского Союза. Активное творческое содружество Алексея Николаевича с Институтом истории естествознания и техники РАН, филиалами Института, Московским университетом, его авторитет как учёного и человека способствовали тому, что семинар получил широкую огласку и научное признание. На нём обсуждались историко-научные исследования С.С. Демидова, В.А. Добровольского, Л.Л. Кульвещаса, Г.П. Матвиевской, М.М. Рожанской и др. Наиболее интересные труды издавались в научных трудах семинара.

Перу Алексея Николаевича принадлежит около 400 научных работ. Среди них 25 монографий, в том числе «История механики машин» (1964) [6], «Теория механизмов и машин в историческом развитии её идей» (1976) [7], библиография «Развитие проблем механики машин» (1967) [8], которые представляют собой плодотворные исследования по истории машин и механизмов.

Изучению машин были посвящены работы, которые условно можно назвать исследованиями по кинематике механизмов и по динамике машин. Анализ основных из них также проведён Алексеем Николаевичем и в монографиях, и в отдельных статьях. Исследования в области истории гидравлики, гидродинамики и сопротивления материалов органично включены в труды А.Н. Боголюбова.

В своих историко-научных исследованиях, Алексей Николаевич уделял большое внимание биографиям учёных, так как по его меткому замечанию «науку делают люди, которые живут в обществе».

Он написал более 14 научных биографий выдающихся учёных и техников различных эпох и национальностей, они были опубликованы в серии РАН «Научно-биографическая литература», выходящей в издательстве «Наука» с 1959 г. (См. в [4, с. 50-80] список трудов А.Н. Боголюбова). Алексей Николаевич большое внимание уделял и социальной истории науки, показывая, что механика, да и вообще человеческая деятельность являются феноменами социальными.

Алексей Николаевич является автором многих ценных книг по истории механики и теории механизмов и машин, по истории техники, прекрасных биографических очерков о европейских и отечественных учёных и деятелях техники, а также автором редкого и всем нужного в качестве настольной книги "Биографического справочника" (1983) [1]. В этом уникальном издании собраны сведения о жизни и научной деятельности математиков и механиков с древнейших времён до наших дней. Составление подобного справочника – дело очень трудное, помимо исполь-

зования огромного объёма различной биографической, библиографической, специальной историко-научной литературы, словарей, энциклопедий, автор должен глубоко разбираться и в математике, и в механике. Алексей Николаевич блестяще справился с поставленной задачей.

Попытаемся хотя бы кратко охарактеризовать некоторые труды А.Н. Боголюбова, посвящённые выдающимся учёным и техникам и некоторые его монографии, посвящённые истории механизмов и машин.

При составлении биографического очерка о том или ином деятеле А.Н. Боголюбов как бы погружается в эпоху, в которой жил его герой: будь то средневековые, период Великой Французской революции, обстановка в дореволюционной России, или советский период, – атмосфера передается документально точно, ярко, талантливо, убедительно. Он литературно оттеняет особенности страны, времени и национальный колорит, связанный с жизнью и деятельностью его персонажа. Эрудиция Алексея Николаевича сопоставима со знаниями и глубиной подхода великого хореографа Игоря Александровича Моисеева (талант которого Боголюбов очень ценил). Биографические очерки доносят до нас и дух, и специфику эпохи. Алексей Николаевич Боголюбов не ограничивается только научной стороной деятельности и интересов учёного, о котором пишет, он отдаёт достойную дань той культурной обстановке и аромату эпохи, в которой жил и дышал учёный. Однако это служит очень привлекательным, но лишь фоном повествования, которое ведётся на самом высоком научном уровне, так как автор серьёзно владеет той областью, в которой прославился выбранный им персонаж.

Один из самых обширных и содержательных очерков А.Н. Боголюбова – книга "Иван Иванович Артоболевский" [14]. Это – сага о любимом учителе и друге, написанная вдохновенно и профессионально. Кстати сказать, биографии Ивана Ивановича и Алексея Николаевича в чём-то сходны, и поэтому так проникновенны страницы, повествующие о жизни Артоболевского. Имя выдающегося отечественного механика и машиностроителя академика И.И. Артоболевского (1905-1977) широко известно и у нас, и за рубежом.

В книге подробно и интересно описана жизнь патриархальной религиозной пензенской семьи Артоболевских. Отец Ивана Ивановича был священником, учёным, профессором Московского сельскохозяйственного института, где преподавал богословие. Другом семьи был их знаменитый земляк – Василий Осипович Ключевский.

Не акцентируя внимания читателя на тех трудностях, которые вставали перед детьми не рабоче-крестьянского происхождения, и в особенности перед детьми священников и духовенства, А.Н. Боголюбов весьма занимательно обрисовывает положение Ивана Артоболевского, когда он в пятнадцать с половиной лет окончил среднюю школу и подал заявление на отделение сельскохозяйственной механики Петровской академии^[5], возглавляемое крупным специалистом сельскохозяйственной механики В.П. Горячкиным. И.И. Артоболевскому был дан отказ. В дело вмешался известный учёный С.А. Зернов, единственный член партии среди профессоров академии. Было составлено ходатайство на имя А.В. Луначарского о приёме И. Артоболевского в вуз, причём отвёз это прошение сам профессор Зернов. Анатолий Васильевич Луначарский захотел познакомиться с абитуриентом. Вначале юноша еле слышал, о чём с ним говорит Луначарский, так он волновался. Но постепенно испуг пропал, беседа оказалась чрезвычайно непринуждённой, интересной. Разговор зашёл даже о французской литературе, с которой Иван знакомился в

оригинале. Позже А.В. Луначарский со своей женой Н.А. Розенель часто приглашали на музыкально-литературные вечера в их доме Ивана Ивановича, где бывали И.С. Козловский, И.М. Москвин, В.Э. Мейерхольд, С.М. Эйзенштейн.

Петровско-Разумовское, позже Тимирязевка, известный научно-технический центр и заповедник по земледелию и лесоводству, описан А.Н. Боголюбовым так, как будто он там жил и работал продолжительное время. Там было большое сообщество учёных, специалистов не только в области сельскохозяйственных наук (В.П. Горячкин, Н.И. Мерцалов, Д.Н. Прянишников, И.А. Каблуков), но и известных математиков и механиков (С.С. Бюшгенс, Г.Г. Апфельрот). Десятки имён крупных учёных и специалистов упомянуты А.Н. Боголюбовым в повествовании о том периоде жизни И.И. Артоболевского, когда он работал в Тимирязевке. Алексей Николаевич вводит читателя в круг этих интересных людей, даёт представление об атмосфере того времени, колоритно рисует их портреты, ведь со многими из них автор был в своё время знаком.

В 1924 г. И.И. Артоболевский поступил в экстернат Московского университета (он уже был доцентом одного из Московских институтов), который окончил в 1929 г. А.Н. Боголюбов ярко, подробно, со множеством нюансов рассказывает о том времени, когда теория механизмов и машин превращалась в одну из ведущих отраслей науки и техники. Преподавая прикладную механику в ряде вузов Москвы и сотрудничая с ВИСХОМом (Машиноиспытательная станция в Тимирязевском сельскохозяйственном комплексе), И.И. Артоболевский опубликовал совместно с В.В. Добровольским монографию "Структура и классификация механизмов" (1939). В том же году вышла монография И.И. Артоболевского "Структура, кинематика и кинестатика многосвязных плоских механизмов", где были предложены некоторые новые методы решения задач теории механизмов сложной структуры. Артоболевский нашёл, что сферические механизмы наравне с плоскими удовлетворяют формуле Чебышёва, и применил классификацию Ассура к сферическим механизмам. Развитая классификация Ассура-Артоболевского вошла в учебные программы и в учебную литературу.

В 1936 г. по предложению С.А. Чаплыгина И.И. Артоболевскому была присвоена учёная степень доктора технических наук без защиты диссертации, по совокупности опубликованных трудов. В 1939 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1946 г. – её действительным членом.

Работая в Московском университете по совместительству в предвоенные годы, Иван Иванович с 1941 по 1944 годы заведовал организованной им кафедрой прикладной механики. Его перу принадлежит ряд учебников по теории машин и механизмов, в том числе и университетский курс.

И.И. Артоболевский является автором 7-томного справочника, в котором учтено свыше 4000 механизмов, – это настоящая энциклопедия по теории механизмов и машин.

С 1936 г. И.И. Артоболевский руководил Семинаром по теории машин и механизмов в Институте машиноведения АН СССР, имевшим свыше 20 филиалов в различных городах страны. Он был одним из инициаторов создания международной федерации по теории машин и механизмов (ИФТОММ) и её первым президентом (1969-1975). Факты биографии своего учителя и друга Алексей Николаевич изложил как непосредственный участник и свидетель многих событий. Они дают представление и о жизни самого автора.

Будучи квалифицированным специалистом в области теории механизмов и машин, Алексей Николаевич Боголюбов со знанием дела разъясняет содержание

многих ценных монографий И.И. Артоболевского, в частности, первую в СССР монографию по пространственным механизмам – "Теория пространственных механизмов" (1937). Характеризуя особенность научного творчества Ивана Ивановича Артоболевского, автор книги подчёркивает его инженерный подход к решению задач теории. Заслуга Артоболевского состоит в том, что им была поставлена проблема исследования машин в реальных условиях их работы, расширенного определения машины в соответствии с особенностями современной научно-технической революции. А.Н. Боголюбов особенно подчёркивает, что по инициативе Артоболевского и под его руководством были созданы новые научные направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой, биомеханикой, физиологией, действием вибраций в машинах и их влиянием на человека и окружающую среду, использованием вибраций в технологических процессах.

Обширная статья И.И. Артоболевского и А.Н. Боголюбова в коллективной монографии [12] посвящена анализу идей теории машин и механизмов с конца XVIII века до середины XX века.

В монографиях А.Н. Боголюбова [6-8] представлен богатейший материал по возникновению, становлению и развитию этой специальной области механики. Нельзя не отметить, что создание истории механизмов и машин дело не простое: помимо обязательного знания механики, специальных инженерных знаний, истории техники, общей истории, необходимо понимание и изложение всего фактического материала в органической связи с историей математики, с практическими потребностями, обусловившими развитие науки, нужно обладать большим научным и культурным потенциалом, знанием иностранных языков, чтобы достаточно полно и всесторонне изложить предмет. Всё это мы находим в книгах А.Н. Боголюбова.

Рамки настоящей статьи не позволяют подробно остановиться на каждом из этих оригинальных исследований Алексея Николаевича, мы затронем лишь основные концепции, изложенные в его "Теории механизмов и машин в историческом развитии её идей" [7]. Перед читателем разворачивается панорама возникновения и развития машин. Несмотря на то, что в эпоху античной древности существовали лишь приспособления для перемещения тяжестей, ознакомление с ранней их эволюцией имеет значение и для современной науки. Боголюбов подчёркивает, что в развитии познания законов в античной механике техника с её проблемами и запросами играла значительную роль. Древние механики для передвижения грузов вдоль горизонтальной плоскости или вертикального направления использовали силу тяжести или животных. Для облегчения труда были выработаны такие простейшие механические приспособления, как полозья, катки, колеса и наклонная плоскость. Столь же древнее происхождение имеет такая «простая машина» как рычаг.

Разбирая генезис науки о машинах (этому посвящена первая глава [7]), Алексей Николаевич показывает, как понятие машины менялось во времени: смысл этого термина зависел от эпохи. В эллинистическом периоде впервые появляются гидравлические двигатели: водяные мельницы. Сила тяжести использовалась в качестве движущей силы для передвижения или поднятия грузов (например, противовесов).

Созданием статики «простых машин» мы в основном обязаны Архимеду, которому приписывается также изобретение бесконечного и крепежного винтов, зубчатых колес, а также различных военных машин и приспособлений (например, катапульт, выбрасывающих с большой точностью тяжелые камни, железных механических лап, выдвигавшихся из ниш стен, захватывающих и опрокидывающих вражеские корабли).

Позднее в эллинистическую эпоху александрийский механик Герон написал несколько трудов по прикладной механике, в которой рассматриваются грузоподъемные, водоподъемные и военные машины его времени, например, домкрат и эолипил (первобытная турбина). Практическая механика ранней Римской империи нашла свое отражение в энциклопедическом труде Витрувия «Десять книг об архитектуре». С XIII в. начинают появляться трактаты о машинах, в которых содержатся описания некоторых из них. К рубежу XV и XVI вв. относится творчество великого итальянского художника, ученого и инженера Леонардо да Винчи. Количественное и качественное развитие машин повлекло за собой появление руководств по машиноведению, в которых иногда, кроме описания машин, появляются заметки о применении отдельных механизмов. Миланский врач, инженер и математик Дж. Кардано формулирует общие правила передачи движения в механизмах мельниц и часов. В XVII – начале XVIII в. «технологические мельницы» (дробилки) получают значительное развитие в Нидерландах. В 1724 г. в Саксонии началось издание многотомного энциклопедического сочинения Я. Лейпольда «Театр машин». Этот грандиозный труд (9 томов) неоднократно переиздавался; в качестве учебного руководства им пользовались даже в начале XIX в.

В главах 2, 3 и 4 книги [7] описывается становление механики машин, возникновение кинематики и новых направлений в механике машин в конце XVII – начале XIX вв.

Мануфактурная промышленность явилась предшественницей и базой машинного производства. Машина в отличие от «простой машины» имеет три органа – исполнительный механизм, заменяющий функции рук человека, целесообразно перерабатывающий продукт труда; двигатель и передаточный механизм. Такие машины эпизодически появлялись в период господства мануфактурной промышленности. Здесь требовалось учение о движении материальной точки, основанное Эйлером, и движения твердого тела. Для изучения законов движения исполнительного механизма была востребована кинематика механизма, а позже при учете действия двигателя потребовалось учение о движении тел под действием сил – динамика. С XVI в. был востребован инфинитезимальный расчет неравномерного движения точечного тела по кривой. Так стало зарождаться исчисление бесконечно малых, дифференциальное и интегральное исчисление.

Разумеется, что развитие истории машин и механизмов тесно связано с возникновением в XVIII веке машинного производства и развитием его в XIX веке. Если к XVI – XVII вв. было создано множество образцов различных машин, то к XVIII в. становится необходимым строить математизированную теорию действия машин, поэтому проблемы построения машин входят в круг интересов Лондонского королевского общества, Французской, Российской и иных академий. Возникновение механики машин в конце XVIII в. связано с работами Л. Эйлера, Л. Карно, Г. Монжа.

В своих книгах А.Н. Боголюбов излагает исторические фрагменты, связанные с возникновением и работой этих и других научных учреждений, повлиявших на развитие исследований, которые впоследствии, уже в XVIII веке вызвали к жизни появление механики машин.

Изучению машин были посвящены работы по кинематике механизмов и по динамике машин. Подробный анализ основных из этих работ также проведен Алексеем Николаевичем.

От его внимания не ускользают и исследования в области гидравлики, гидродинамики, сопротивления материалов, которые сыграли важную роль в деле ста-

новления учения о машинах и те работы, которые были посвящены собственно изучению машин.

Рассматривая, например, основные динамические проблемы учения о машинах так, как они сформировались в XVIII в. и в двух первых десятилетиях XIX в., А.Н. Боголюбов выделяет три из них, наиболее важных: теория движителей, учение о движении машины и проблема регулирования хода машины. В XVIII в. изучались величина и законы механического взаимодействия тел, которые можно было получить от источников энергии того времени (силы человека и животных, силы ветра, воды, водяного пара). За эталон принималась сила человека; лишь к концу века появляется новая единица измерения – лошадиная сила.

Учение о движении машины, основы которого заложил Л. Эйлер, развивалось в конце XVIII – начале XIX вв. в трудах Л. Карно, А. Гениво, Ж. Кристиана.

Механика переходила на современный уровень, опираясь на математический аппарат дифференциальных уравнений (обыкновенных и в частных производных), а также на вариационные методы. В это время завершилась более точная формулировка и математическая трактовка основных понятий и основных законов статики и динамики. Различные задачи о равновесии и движении сложных механизмов, гидростатики и гидродинамики, механики упругих и деформируемых систем решались в этот период единообразными методами. Во второй половине девятнадцатого века возникает ряд специальных механических дисциплин, например, гидромеханика, теория упругости, теория устойчивости, в том числе, и теория механизмов и машин. Кроме университетов появляются высшие политехнические школы и училища более узкого профиля (транспортные, судостроительные и др.).

Основополагающая работа по динамике машин была создана учеником Г. Монжа Л. Карно. Теорией машин Карно занимался еще в самом начале своей научной деятельности. Его «Опыт о машинах вообще» опубликован в 1783 г. и переиздан в 1803 г. под названием «Основные принципы равновесия и движения». Начиная исследование с общих принципов механики, Карно приходит к выводу, что основой изучения машины должно быть движение. Поэтому все законы и теоремы механики Карно рассматривал применительно к действующим машинам и его книгу уже можно отнести к прикладной механике.

Постановка задачи у Л. Карно продолжила традицию, основы которой заложил ещё Л. Эйлер во время работы в Петербургской Академии наук. В мемуаре «О машинах вообще» (1753) Л. Эйлер писал: «...Теория должна быть такой, чтобы с её помощью можно было среди всех машин, применяемых для выполнения определённой работы, найти такую наилучшую, которая выполнила эту работу в кратчайшее время или с минимальной затратой действующих сил» [7, с. 78].

Наряду с изучением отдельных элементов машин, Карно ввёл общий подход к любой из них (или их сочетанию).

Из набора элементарных принципов механики Карно выбрал сохранение живой силы mv^2 как основу для вывода положений, приложимых к проблеме движения машин. Принципиальным практическим достоинством этого закона было то, что для получения максимальной эффективности машины мощность должна быть передана без удара или (в случае гидравлических машин) – без турбулентности. По мнению Боголюбова, Карно в своём анализе достаточно глубоко проник в сущность машины и пришёл к ряду заключений, которые получили своё обоснование уже в XX в.

Алексей Николаевич отмечает, что предыстория динамики машин была бы неполной, если бы опустить тот вклад, который был сделан инженерами (например,

Г. Прони, Ж. Кристианом). Результаты их творчества оказались в удивительном совпадении с теми, которые были получены математиками в результате проведенных ими исследований.

Становление машиностроения в конце XVIII – первых десятилетиях XIX вв. как завершающего этапа промышленного переворота нуждалось в научно-инженерном подходе к созданию машин. "Если кинематика механизмов, впервые оформившаяся в науку в "Опыте построения машин" Х. Ланца и А. Бетанкура, и смогла некоторое время развиваться "без математики", то рост скорости машин заставил обратить внимание на вычисление размеров некоторых важнейших частей машины, в первую очередь маховика, для обеспечения безопасной и длительной работы машин... Этап становления науки как отдельного научного направления, возникшего на основе применения законов динамики к изучению машин, завершается трудами Ж. Понселе и Г. Кориолиса "[10, с.131].

В Парижской Политехнической школе разработкой кинематики механизмов занимались Ж. Ашетт, А. Бетанкур, Х. Ланц. Развитие элементов динамики машин мы находим уже в курсах Ж. Кристиана, Г. Кориолиса, В. Понселе, хотя значительное внимание в систематически изложенных курсах механики посвящено разработке и выделению теорем кинематики из учения о движении тел. Наиболее чёткую программу выделения кинематики из целостного учения о движении материальных объектов наметил А.М. Ампер в работе «Опыт по философии наук» (1834).

Попытки выделить кинематику из общего учения о движении тел реализуются только с первой трети XIX в. в работах и курсах Ж.В. Понселе, Ш. Дюпена, Г.Г. Кориолиса, М. Шаля, А. Резаля и др. При этом результаты, полученные в XVIII в., иногда открываются заново или излагаются в упрощённой форме. Например, Понселе вводит понятие мгновенного ускорения точки в её прямолинейном движении в виде величины тангенса угла касательной (в данный момент времени) к графику скорости по времени с направлением оси абсцисс. Г. Кориолис даёт строгое доказательство теоремы о сложении трёх геометрических слагаемых, из которых состоит абсолютное ускорение точки в сложном движении. При этом он пользуется устаревшими терминами: "движущая сила" и "ускоряющая сила", в то время как Эйлер в аналогичных исследованиях сложного движения точки получал те же слагаемые, говоря об ускорении точки. Несомненной заслугой Кориолиса остается чёткая формулировка его теоремы с наименованием трёх слагаемых: относительная, переносная и поворотная "ускоряющие силы". В XVIII в. Эйлер, не замечая этого предложения как общего свойства широкого класса явлений, каждый раз вычислял все составляющие заново.

Целостное изложение кинематики находим во многих сочинениях учёных второй половины XIX в., например, в «Трактате чистой кинематики» Г. Резаля, в «Курсе механики машин» Э. Бура, в «Трактате натуральной философии» В. Томсона и П. Тэта, в «Учебнике инженерной и машинной механики» Ю. Вейсбаха, в первой части «Рациональной механики» И.И. Сомова.

В работах по индустриальной механике проводились успешные исследования в области теории колебаний (свободных, вынужденных, в пустоте и в среде с сопротивлением), разработка энергетических соотношений гидравлики и общего машиноведения. В трудах по индустриальной механике возникли понятие и термин «работа силы». В энергетическом соотношении кинетическая энергия точки $mv^2/2$ стала сопоставима с работой силы. Появляются современные понятия – мощности, коэффициента полезного действия машины.

Индустриальная механика разрабатывает эффективные графические методы статики и кинематики; здесь же изучаются действия маховых колёс и различных профилей зубчатых передач, центробежных регуляторов, часовых механизмов; исследуются удар частей машины, сопротивление трения и другие прикладные вопросы.

Учёные всё чаще отмечают отход теоретической механики от индустриальной. Ф. Виттенбауэр говорит о второй половине XIX в.: «В те годы усилился отрыв технического исследования от математических методов; интерес в инженерных кругах к теоретическим работам пропал» [7, с. 378].

На рубеже столетий выявились два совершенно различных подхода к решению задач теории механизмов. Один, теоретический, осуществляли математики: П.Л. Чебышёв, Дж. Сильвестр, П.О. Сомов, Х.И. Гохман, Г. Кенигс. Второй, "машиностроительный", был представлен учёными "немецкой" школы: немцами, австрийцами, швейцарцами, – лидером этого направления является Ф. Рело. А.Н. Боголюбов подробно описывает достижения каждого из этих учёных, особое внимание он уделяет творчеству Рело.

Связывая бурное развитие динамики в начале первой четверти XX века с потребностями машиностроения, А.Н. Боголюбов отмечает, что с появлением новых машин и новых технологических методов возникла необходимость в качественно новых, более точных методах расчёта машин. "Поэтому встал вопрос о науке, занимающейся технологическими машинами, которая и возникла в начале XX в. Её создание связано было с новым подходом к решению задачи, которая оказалась не под силу отдельным учёным: потребовалась организация специальных учебных и заводских лабораторий, а также неизвестного до тех пор типа научного учреждения – научно-исследовательских институтов. Потребовалась также координация усилий целого ряда наук, что стимулировало и их развитие, причём в направлении поисков решений "на стыке". Так возник оптический метод определения напряжений в деталях сложной формы, заложены основы применения теории функций комплексного переменного к различным задачам механики и техники, начали разрабатываться биомеханика, теория регулирования и т.п." [7, с. 412-413].

Большое внимание А.Н. Боголюбов уделяет русской школе механики машин не только в вышеупомянутых книгах [6-8], но и в обобщающем труде "История механики в России" [9]. Его перу принадлежат 30 очерков на самые разнообразные темы (состояние образования, учебная литература по механике, практическая механика, механическая техника, научное наследие отдельных учёных и др.).

В монографии «Теория механизмов и машин в историческом развитии ее идей» развитию механики машин в России посвящены 5, 7 и 10 главы.

Описав экономическое положение России в начале XIX в., Боголюбов говорит о том, что развитие машинной промышленности вызвало появление учебных заведений нового типа, таких как, например, Санкт-Петербургский технологический институт, основанный в 1828 г., Московское ремесленное училище, Горный институт, Петербургский институт путей сообщения и других. Потребовалась учебная литература, создание учебных курсов прикладной механики (например, курс прикладной механики Э. Клайперона (1828) для Института инженеров путей сообщения, курс «Записки практической механики» (1838) П.П. Мельникова). Становление исследований в области машин в России подробно описано А.Н. Боголюбовым.

С промышленным подъёмом в России, который начался после реформ 1861 г., возросли требования к техническим наукам и к высшей технической школе, причём и в количественном и в качественном отношениях. Встал вопрос о

дальнейшем расширении сети технических учебных заведений. В XIX столетии в дополнение к Дерптскому и Московскому были открыты университеты в Казани, Харькове, Киеве, и Одессе (Новороссийский).

Весьма примечательно, что едва ли не большинство русских учёных, работавших в области механики машин, были выпускниками физико-математических факультетов университетов, что определило высокий научный уровень русской науки о машинах. А.Н. Боголюбов подчёркивает, что важнейшую роль в этом вопросе играл Московский университет, где по традиции, унаследованной от Н.Д. Брашмана, постановке преподавания прикладной механики уделялось всегда большое внимание [7, с. 334].

В первые два десятилетия XX в. развитие теории машин и механизмов связано в основном с Н.Е. Жуковским и его учениками по Московскому университету и Московскому высшему техническому училищу. Таким образом, наряду с Петербургской школой учеников П.Л. Чебышёва и Одесской школой учеников В.Н. Лигина, где преобладала кинематическая направленность в исследованиях, в области машиноведения продолжает своё успешное развитие и московская школа.

Русская школа механики машин на пороге XX в. находилась в особенно благоприятном положении; она не только получила значительное наследство в виде аналитических методов П.Л. Чебышёва и его учеников, которое творчески перерабатывала, но в те же годы она сказало значительное влияние геометрического метода Н.Е. Жуковского на развитие теории машин и механизмов (например, метод «Рычага Жуковского»). В России к концу XIX в. прикладная механика стала обязательным предметом высшего технического образования. Кроме того, прикладная механика читалась на физико-математических факультетах университетов. Научно-исследовательской работой в области прикладной механики в этот период занимался целый ряд выдающихся ученых – Ф.Е. Орлов, Н.Е. Жуковский и его ученики В.П. Горячкин, Н.И. Мерцалов, Л.В. Ассур и другие, работы которых имели подчас эпохальное значение для развития науки.

Николай Иванович Мерцалов (1866-1948), ученик Н.Е. Жуковского, окончил Московский университет и МВТУ; с 1895 г. читал лекции в университете, а с 1897 г. стал профессором Московского технического училища. Лекции Мерцалова в МВТУ были положены в основу его курса прикладной механики^[4]. Этот курс, охватывающий кинематику и динамику механизмов, явился событием в русской технической литературе и представлял собой в сущности не учебник, а глубокий научный трактат, в котором обобщены вопросы теории механизмов и машин. Боголюбов отмечает, что в курсе «Кинематика механизмов» имеется исключительное, доведённое по изяществу в некоторых случаях до виртуозности изложение теории механизмов на основе применения геометрических методов анализа и синтеза. Эта виртуозность и изящество сближает эту книгу с лучшими классическими сочинениями французских геометров XIX в.» [7, с. 434].

Чтобы оценить значение второго капитального труда Н.И. Мерцалова – его курс «Динамика механизмов», надо указать, что эта книга была первым крупным систематическим трудом по основам динамики механизмов в мировой литературе.

Основной частью книги является изложение методов динамического исследования механизмов. Для решения этой задачи Н.И. Мерцалов широко использует метод кинестатики. При решении задачи теории регулирования машин и исследовании движения машин под действием заданных сил он применял оригинальные, разработанные им методы исследования, основанные, например, на использовании жёсткого рычага Жуковского [7, с. 435].

Другой ученик Н.Е. Жуковского Л.В. Ассур в диссертации на тему "Исследование плоских стержневых механизмов с низшими парами с точки зрения их структуры и классификации" (1913-1915) дал научную классификацию плоских стержневых механизмов. В основу классификации Л.В. Ассур кладёт идею образования механизмов путём последовательного присоединения к стойке и кривошлупу кинематических цепей определённой структуры. В зависимости от характера присоединяемых цепей, Л.В. Ассур делит механизмы на классы и порядки, указывает методы кинематического и кинетостатического исследования. Мы несколько подробнее остановились на творчестве этого замечательного русского учёного не только потому, что указанная работа Л.В. Ассура оказала большое влияние на развитие структуры механизмов в советской школе теории механизмов, но и потому, что А.Н. Боголюбов совместно с И.И. Артоблевским написали о нём книгу [11]. По мнению А.Н. Боголюбова, вместе с трудами П.Л. Чебышёва, П.О. Сомова работа Л.В. Ассура стала той основой, на которой возникла и развилась советская школа теории механизмов и машин. Мы бы добавили в качестве основателей этого направления А.С. Ершова, Ф.Е. Орлова, Н.Е. Жуковского, В. Лигина и Н.И. Мерцалова.

В истории механики машин, как отмечает А.Н. Боголюбов, "само возникновение советской школы теории машин и механизмов обусловлено индустриализацией страны и бурным ростом советского машиностроения" [12, с. 208]. Выдающиеся исследования по теории механизмов принадлежат В.П. Горячкину, Н.И. Мерцалову, В.В. Добровольскому, И.И. Артоблевскому, Н.Г. Бруевичу, З.Ш. Блоху и другим советским учёным.

К концу второго десятилетия XX в. теория машин и механизмов обладала уже значительным заделом – результатом совместных трудов учёных многих стран и народов.

А.Н. Боголюбов глубоко и увлекательно раскрывает творческие замыслы А. Бетанкура, Л.В. Ассура, Г.Н. Николадзе, Г. Монжа, Р. Гука, Ж.-В. Понселе, Л.С. Лейбница и др. (См. [4, с. 50-80]). Всего им опубликовано 14 таких биографий.

Перечислим некоторые научные биографии из тех, которые были опубликованы в серии РАН «Научно-биографическая литература», выходящей в издательстве «Наука» с 1959 г. [16].

1969 г – «Августин Августинович Бетанкур (1758-1824)».

1971 г. – «Леонид Владимирович Ассур (1878-1920)» (в соавторстве с И. Артоблевским), о русском механике и инженере, основоположнике теории структуры механизмов.

1973 г. – «Георгий Николаевич Николадзе (1888-1931)», об одном из создателей грузинской математической школы.

1978 г. – «Гаспар Монж (1746-1818)».

1982 г. – «Иван Иванович Артоблевский (1905-1977)», книга о друге и учителе.

1984 г. – «Роберт Гук (1635-1703)». Алексей Николаевич считал, что этот учёный по многим причинам недооценён историками.

1988 г. – «Жан Виктор Понселе (1788-1867)». Боголюбов проанализировал труды этого видного французского математика и механика по геометрии, строительной механике, прикладной механике, машиностроению. Труды Ж. Понселе питался целый ряд наук в XIX и XX вв.

В девяностые годы появилось ещё несколько книг А.Н. Боголюбова о русских и советских учёных:

1991 г. – «Леонид Самуилович Лейбензон (1879-1951)» (в соавторстве с Т.Л. Канделаки).

1997 г. – «Всеволод Иванович Романовский (1879-1954)» (в соавторстве с Г.П. Матвиевской).

1998 г. – «Сергей Николаевич Кожевников (1906-1988)» (в соавторстве с Е.Я. Антонюком и С.А. Федосовой).

Алексей Николаевич входил в коллектив авторов книги «Владимир Иванович Смирнов», изданной в той же серии в 1994 г. и переизданной с дополнениями в 2006 г. (составители Г.П. Матвиевская и Е.П. Ожигова). Он был также ответственным редактором ещё десяти научных биографий, опубликованных в этой серии (см. [16]).

В плодотворном сотрудничестве со своими учениками Алексей Николаевич опубликовал многочисленные статьи ряд монографий: «Роботы и манипуляторы» (1980, совместно с Д.А. Никитиным), «Популярно о робототехнике» (1989, с Д.А. Никитиным), «Николай Митрофанович Крылов» (1987, с В.М. Урбанским), «Сергей Николаевич Кожевников» (1998, с Е.Я. Антонюком и С.А. Хорошевой) и другие [4, с. 50-80].

В 1996 г. король Испании Хуан Карлос наградил А.Н. Боголюбова именным командорским орденом «За большие заслуги» в деле образования, культуры и науки. В том же году Национальная Академия Наук Украины вручила Алексею Николаевичу премию им. Н.М. Крылова.

Одна из последних книг, над которой работал Алексей Николаевич, посвящена исследованию жизненного пути, инженерной и научной деятельности выдающегося немецкого машиностроителя и теоретика машиностроения Франца Рело (1829-1905). А.Н. Боголюбов задумал написать научную биографию этого учёного достаточно давно. Авторская заявка в редакцию серии «Научно-биографическая литература» была подана ещё в 1988 г. Эту идею поддержал также академик РАН Константин Васильевич Фролов (1932-2007), согласившись стать ответственным редактором рукописи. И.И. Артоболевкий высоко ценил творчество Ф. Рело как одного из первых историков техники.

Позже, в 2000 г., А.Н. Боголюбов предложил В.Н. Чинёновой статью его соавтором «жизнеописания» Рело. Книга была закончена только в 2008 г.

Немногочисленные факты личной жизни Рело наполнены масштабными результатами его научного творчества. Его «Теоретическая кинематика», по праву, считается классическим произведением в науке о машинах, она состоит из 2-х частей: первый том был издан в 1875 г. (622 стр.), а второй – в 1900 г. (789 стр.). Ф. Рело были введены важнейшие в теории механизмов понятия о кинематической паре и кинематической цепи. Алексей Николаевич тщательно изучил и проанализировал этот фундаментальный труд (на немецком языке).

Рело был замечательным педагогом, организатором науки, много усилий приложил для изменения статуса Берлинского ремесленного института (среднего учебного заведения), реорганизации его в Высшую техническую школу. Рело был не только учёным, но и практиком. Он был активным участником и членом жюри многих международных выставок, много работал и в области истории техники. Рело ясно понимал и пропагандировал, что техника является существенной частью культурной жизни. Недаром его часто называют «философом техники».

Боголюбов тщательно подбирал иллюстрации, фотографии Рело, лиц и мест, связанных с его жизнью, переписывался с потомками этого замечательного учёного. Алексей Николаевич говорил, что идеи Ф. Рело во многом современны, они будоражат мысль, поддерживают оптимизм и теплоту сердца, как будто о Рело писал Лонгфелло^[2]: «Так трудился Гайавата, / Чтоб народ его был счастлив, / Чтоб он шёл к добру и правде». Эти слова можно в полной мере отнести и к самому А.Н. Боголюбову.

В декабре 2000 г. в Институте естествознания и техники РАН проходил симпозиум "Проблемы разработки научной биографии творческой личности", посвящённый памяти академика А.Л. Яншина. Алексей Николаевич приехать не смог, но свой доклад "Научная биография как метод исследования истории науки" прислал. В нём изложены методологические установки написания биографии. В частности, А.Н. Боголюбов отмечает, что научное творчество само по себе является весьма сложным процессом, зачастую оно граничит с искусством, и поэтому на него существенное влияние могут оказать музыка, литература, архитектура, изящные искусства, скульптура, живопись, театр.

При написании истории развития теории конкретной науки, в той или иной степени нужно учитывать и личность творца, и обстоятельства возникновения тех или иных идей. "Так, поиски корней начертательной геометрии приводят нас к творчеству художников и архитекторов периода подготовки научной революции".

Алексей Николаевич уделяет большое внимание и социальной истории науки. Он часто излагает не только "историю идей", но и "историю людей", в историческом контексте показывая, что механика, да и вообще человеческая деятельность являются феноменами социальными. Он говорит, что "при изучении истории механики обычно рассматриваются факты, непосредственно относящиеся к её развитию, становлению идей, направлений, биографиям учёных, т. е. те вопросы, которые относятся к развитию механики как науки и предмета преподавания". Вместе с тем, из поля зрения исчезает тот факт, что механика, равно как и любая другая наука, является частью общечеловеческой культуры и имеет связи с иными ответвлениями последней, которые, в свою очередь, оказывают на неё существенное влияние.

Термин "механика" многозначен. Ещё И. Ньютон отмечал, что древние рассматривали механику двояко: как рациональную (умозрительную), развиваемую точными доказательствами, и как практическую. К практической механике относятся все ремёсла и производства, от которых получила название и сама механика... Рациональная механика есть учение о движениях, производимых какими бы то ни было силами, и о силах, требуемых для производства каких бы то ни было движений, точно изложенное и доказанное. А.Н. Боголюбов берет за основу это положение Ньютона и обобщает его [17, с. 2].

А.Н. Боголюбов, как историк механики, использует в своём творчестве все эти подходы. Его энциклопедические знания и умение высветить главное при изложении той или иной проблемы вызывали восхищение у всех, кто его знал. Алексей Николаевич Боголюбов был человеком удивительной доброты, открытости и принципиальности. Он был одним из лидеров отечественной и мировой историко-математической школы. Имя А.Н. Боголюбова составляет гордость и достоинство нашей науки.

Литература

1. *Боголюбов А.Н.* // Математики. Механики. Биографический справочник. Киев: Наукова Думка. 1983. 639 с.
2. *Боголюбов А.Н.* Н.Н. Боголюбов. Жизнь, Творчество. Дубна: 1996. 182с.

3. *Боголюбов А.Н.* Боголюбовы // Очерки из истории математики и математического естествознания. – Киев: Институт математики АН Украины. 2001. С. 86-101 (на укр. языке).
4. *Алексей Николаевич Боголюбов.* Библиография. – Киев: НАНУ, Ин-т математики. 2001. 82 с. (на укр. языке).
5. История отечественной математики Т. 1-4 / Под ред. Шокало И.З. М.: Наука. 1960 – 1970.
6. *Боголюбов А.Н.* История механики машин. Киев: Наукова думка. 1964. 460 с.
7. *Боголюбов А.Н.* Теория механизмов и машин в историческом развитии её идей. М.: Наука. 1976. 467 с.
8. *Боголюбов А.Н.* Развитие проблем механики машин. Киев: Наукова думка. 1967. 290 с.
9. История механики в России. Киев: Наукова думка. 1987. 391 с.
10. *Боголюбов А.Н.* Становление динамики машин / Сб. Исследования по истории механики. М.: Наука. 1983. С. 114-132.
11. *Артоболевский И.И., Боголюбов А.Н.* Леонид Владимирович Ассур. М.: Наука. 1971. 265 с.
12. *Артоболевский И.И., Боголюбов А.Н.* Теория механизмов и машин / Сб. История механики (с конца XVIII века до середины XX века). М.: Наука. 1972. С.190–225.
13. *Боголюбов А.Н.* Творения рук человеческих. Естественная история машин. М.: Знание. 1988. 176 с.
14. *Боголюбов А.Н.* Иван Иванович Артоболевский. М.: Наука. 1982. 295 с.
15. *Боголюбов А.Н.* Социальная история механики/ Сб. Математическое естествознание: фрагменты истории. Киев: Наукова думка. 1992. С. 139-145.
16. *Соколовская З.К., Соколовский В.И.* 550 книг об учёных инженерах и изобретателях. Справочник-путеводитель по серии РАН «Научно-биографическая» 1959-1997. – М.: Наука. 1999. 538 с.
17. *Ньютон И.* Математические начала натуральной философии. М.: Наука. 1989. 689 с.

Примечания

^[1] Излагается по книге А.Н. Боголюбова «Творения рук человеческих. Естественная история машин» [13, с. 6].

^[2] Владимир Соловьёв. Стихотворения. М.: Б-ка журнала «Полиграфия». 1990. С. 7.

^[3] В Нижнем Новгороде – *И.З.*

^[4] См. статью Тюлиной И.А., Хорошевой С.А., Чиненовой В.Н. «Очерк научной, педагогической и организаторской деятельности А.Н. Боголюбова», [4, с. 9-43].

^[5] Петровская земледельческая и лесная академия была основана 3 декабря 1865 г. В 1894 г. её переименовали в Петровскую сельскохозяйственную академию. Вскоре она стала называться Московским сельскохозяйственным институтом (до 1917). С 10 декабря 1923 г. она называлась Сельскохозяйственной академией им. К.А. Тимирязева (ТСХА).

^[6] Этот курс был впервые опечатан на стеклограве в 1904 г., переизданного в обработке М.И. Фелинского в 1914-1916 гг., а под редакцией В.В. Добровольского в 1950-1952 гг.

^[7] Ф. Рело перевёл на немецкий язык «Песнь о Гайавате» Лонгфелло.



Григорий Полотовский

ФЕНОМЕН ПРОВИНЦИИ

(очерк истории математики в Нижнем Новгороде)

Иногда приходится слышать, что математика в России есть только в Москве и Санкт-Петербурге. При очевидной гиперболичности этого утверждения его источники понятны – это и всем известная центростремительность нашей культуры, и отражение того факта, что лишь в Москве и Санкт-Петербурге были «покрыты» (по крайней мере, до недавнего времени) практически все области математики. Тем не менее, не следует забывать, что и провинция внесла заметный вклад в развитие отечественной математики, что я и попытаюсь показать на примере Нижнего Новгорода. Естественно, термин «провинция» не несёт здесь никакого негативного оттенка, а означает лишь место, отличное от двух столиц.

Деятельность многих упоминаемых ниже учёных хорошо известна, и о них имеется более или менее обширная литература, поэтому во многих местах я ограничусь лишь ссылками на некоторые публикации и отдельными замечаниями.

ИЗВЕСТНЫЕ МАТЕМАТИКИ НИЖЕГОРОДСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Перечислю ряд математиков, родившихся на Нижегородской земле: **Н.И. Лобачевский** (1792-1856) ([1] – [3]); **В.А. Стеклов** (1863-1926) ([4]); **Н.Н. Боголюбов** (1909-1992) ([5]); **В.Е. Дьяченко** (1896-1954); **С.А. Лебедев** (1902-1974) ([6]); **С.П. Новиков** (род. в 1938 г.).



Н.И. Лобачевский
(1792—1856)



В.А. Стеклов
(1863—1926)



Н.Н. Боголюбов
(1909—1992)



В.Е. Дьяченко
(1896—1954)



С.А. Лебедев
(1902—1974)



С.П. Новиков
(род. в 1938 г.)



В.Е. Дьяченко

Напомню, что **Вадим Евгеньевич Дьяченко** – украинский математик, чл. корр. АН УССР (1934), с 1926 г. работал в Киевском университете, а с 1934 г. – и в Институте математики АН УССР. Его основные труды относятся к математической физике, вычислительной математике, теории относительности, общей механике.



С.А. Лебедев

Сергей Алексеевич Лебедев – академик АН СССР (1953), под его руководством в 1948-1950 гг. была разработана первая в СССР и в континентальной Европе электронно-вычислительная машина (МЭСМ)¹¹.

ИЗВЕСТНЫЕ МАТЕМАТИКИ НЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ЖИЗНИ КОТОРЫХ БЫЛИ НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЕРИОДЫ

Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) ([8]) родился в Ярославле, но в 1870 г. он с матерью и братьями переехал в Нижний Новгород, где в 1876 г. с золотой медалью окончил гимназию.

Математику и физику преподавал ему талантливый педагог и учёный А.П. Грузинцев, другим учителем, преподававшим математику Ляпунову, был Д.К. Гик.



А.М. Ляпунов



В.В. Бобынин

Виктор Викторович Бобынин (1849-1919) – первый русский историк математики – родился в деревне Шили Рославльского уезда Смоленской губернии. После окончания с золотой медалью Тульской гимназии в 1867 г. он поступил на отделение естественных наук физмата Московского университета, а в 1868 г. перешёл на математическое отделение.

По окончании университета в 1872 г. Виктор Бобынин не был приглашён в аспирантуру и поступил на службу в Нижегородскую военную гимназию преподавателем математики, физики и космографии. Именно в Нижнем Новгороде определился его интерес к истории математики. С осени 1882 г. В.В. Бобынин приступил к чтению курса истории математики в Московском университете в статусе приват-доцента. С 1917 г. он профессор Московского университета.



И.И. Привалов

Иван Иванович Привалов (1891-1941), член-корреспондент АН СССР (1939), автор знаменитого учебника «Введение в теорию функций комплексного переменного» (эта книга выдержала 16 изданий, последнее из которых – 2015 года), родился в Нижнем Ломове Пензенской губернии. В 1904 г. вместе с семьёй И.И. Привалов переехал в Нижний Новгород, где в 1909 г. окончил гимназию, после чего поступил в Московский университет, который окончил в 1913 г. В 1915 г. И.И. Привалов стал вице-президентом Московского математического общества.



П.С. Новиков

Выдающийся советский математик москвич **Пётр Сергеевич Новиков** (1901-1975), академик АН СССР (1960), несколько лет жил и работал в Горьком (так в 1932-1990 гг. назывался Нижний Новгород).

Вот как вспоминала об этом профессор Е.А. Леонтович-Андропова (расшифровка аудиозаписи 1996 года): *«Пётр Сергеевич вообще работал в Москве, но одно время он в Москве пропал. Пропал потому, что у него была колоссальная педагогическая нагрузка, и он просто работать совершенно не мог. И Александр Александрович [Андронов] его вытащил. Он вытащил его сначала в Водный институт, а потом, по-моему, он был просто сотрудником нашего отдела. И Пётр Сергеевич сделал несколько работ и послал их в Москву. И Колмогоров (он ездил в Москву, Пётр Сергеевич) встретил его и сказал: “Вы там расцвели в Вашем Горьком”, и пригласил его куда-то в академический институт».* Во время пребывания в Горьком П.С. Новикова и его жены Л.В. Келдыш родился их сын, будущий академик С.П. Новиков.

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

У истоков развития в Нижнем Новгороде математики как науки и университетской дисциплины стоял **Иван Романович Брайцев** (1870-1947). В 1896 г. он окончил физмат Московского университета, приват-доцентом которого стал в 1899 г. В 1900-1915 гг. он работал в Варшавском политехническом институте, с 1908 г. – профессор Варшавского университета.



И.Р. Брайцев

Варшавский политехнический институт в 1915 г. был эвакуирован в Москву, затем в 1916 г. он был переведён в Нижний Новгород и в 1917 г. был переименован в Нижегородский. И.Р. Брайцев приехал в Нижний Новгород в 1916 г. вместе с Варшавским политехническим. На базе этого института, Нижегородского Народного университета и Нижегородских Высших сельскохозяйственных курсов в 1918 г. был создан Нижегородский государственный университет (тогда – НГУ). И.Р. Брайцев был инициатором создания и первым деканом (до 1939 г.) физико-математического факультета НГУ, одновременно преподавал и в других нижегородских вузах.

В университете И.Р. Брайцев был первым заведующим кафедрой математического анализа, а с 1942 г. до конца жизни он заведовал кафедрой теории функций, созданной по его инициативе.

Значение педагогической деятельности И.Р. Брайцева трудно переоценить. Так, в книге [9], посвящённой жизни и деятельности И.Р. Брайцева, отмечается, что в 1937 г. в Горьком работало не менее 220 учителей, получивших у него математическое образование. Приведу фрагмент из воспоминаний выпускника Горьковского университета Б.Н. Верещагина (1918-2008), ставшего впоследствии крупным дипломатом-киаистом: *«Основные курсы из области высшей математики читались профессором Иваном Романовичем Брайцевым и его учениками. Иван Романович читал математический анализ, теорию функций комплексного переменного, которая также была его предметом научной работы. В этой области у него были оригинальные научные результаты, часть из них даже впоследствии была “перезоткрыта” весьма известным швейцарским математиком^[2]. Брайцев, которому в те годы было около 70 лет, конечно, хорошо знал преподававшиеся им разделы математики, однако читал лекции довольно однообразно и скучновато. Иван Романович пользовался немалым уважением, он очень гордился тем, что занимается чистой математикой, и некоторых своих коллег, которые работали в области глубоко математизированных отраслей современной физики, творчески применяя и развивая соответствующие области математики, он математиками не считал, называя их “физиками”, что в его понимании похоже было на то, что они “нематематики”».*

Научные интересы И.Р. Брайцева относились главным образом к теории аналитических функций, дифференциальным, интегральным и функциональным уравнениям. Многие из его учеников стали известными учёными, среди них ученик И.Р. Брайцева ещё по Варшавскому университету член-корреспондент АН СССР (1946) астроном М.Ф. Субботин (1893-1966) и крупный специалист по теории функций комплексной переменной член-корреспондент АН СССР (1970) А.Ф. Леонтьев.



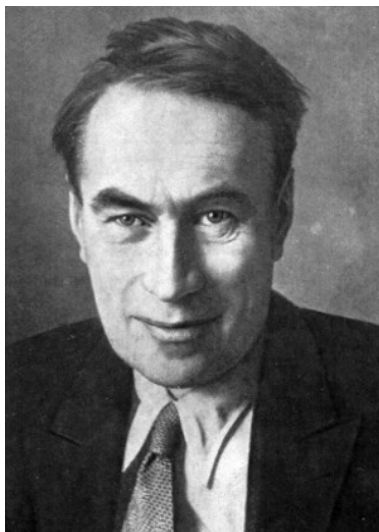
А.Ф. Леонтьев

Алексей Фёдорович Леонтьев (1917-1987) родился в селе Яковцево Нижегородской губернии. В 1939 г. он окончил Горьковский университет^[2] и в 1942 г.

под руководством И.Р. Брайцева защитил кандидатскую диссертацию «Дифференциально-разностные уравнения». В 1945 г. он поступил в докторантуру к члену-корреспонденту АН СССР А.О. Гельфонду и в 1948 г. защитил докторскую диссертацию «О классе функций, определённых рядами полиномов Дирихле». В 1942 – 1954 гг. А.Ф. Леонтьев преподавал в ГГУ, после этого заведовал кафедрой в МЭИ, с 1962 года работал в МИАН им. В.А. Стеклова. В 1971 г. А.Ф. Леонтьев переехал в Уфу, где под его руководством сформировалась известная школа по теории функций комплексной переменной.

ШКОЛА АКАДЕМИКА АНДРОНОВА

Ученик выдающегося физика академика Л.И. Мандельштама (1879-1944), академик АН СССР (1946) **Александр Александрович Андронов** (1901-1952) переехал в Нижний Новгород из Москвы в 1931 г. Об А.А. Андронове и о созданной им научной школе по теории нелинейных колебаний и качественной теории дифференциальных уравнений написано очень много – укажу только [10] - [13].



Александр Александрович Андронов

А.А. Андронову удалось довольно быстро сплотить группу сильных учёных, которые через некоторое время воспитали исследователей следующего поколения. В результате образовалась научная школа настолько мощная, что эта школа функционирует до сих пор и в значительной мере сохраняет свои мировые позиции. Нет никакого сомнения, что сам А.А. Андронов и его школа явились для Нижнего Новгорода основными наукообразующими факторами в области физики и математики.

В книге [11] приведено «генеалогическое дерево» школы Андропова, начинающееся от самого А.А. Андропова и доведённое до 2000 года. В это дерево^[1] включено более трёхсот имён, и, хотя часть из них принадлежит физикам, ясно, что в настоящем тексте невозможно даже назвать всех математиков. По этой причине список упоминаемых в этой статье нижегородских учёных ни в какой мере не пре-

тендует на полноту, а их выбор, конечно, отчасти субъективен, и я приношу свои извинения тем, кого за недостатком места не смог упомянуть.

Ближайшими сотрудниками А.А. Андропова были его жена **Евгения Александровна Леонтович-Андропова** (1905-1997) ([14] - [16]) и **Артемий Григорьевич Майер**^[1] (1905-1951), специалисты в области качественной теории дифференциальных уравнений. Отмечу, что математическая часть школы Андропова после безвременной смерти её лидеров А.А. Андропова и А.Г. Майера была сохранена во многом благодаря Е.А. Леонтович-Андроповой.



Е.А. Леонтович-Андропова



А.Г. Майер

Из учеников А.А. Андропова, ставших затем его близкими сотрудниками, назову здесь **Николая Николаевича Баутина** (1908-1993) ([21], [22]) и **Юрия Исааковича Неймарка** (1920-2011) ([12]), одного из основателей и организаторов в Нижегородском университете первого в СССР факультета ВМК (1963).



Н.Н. Баутин



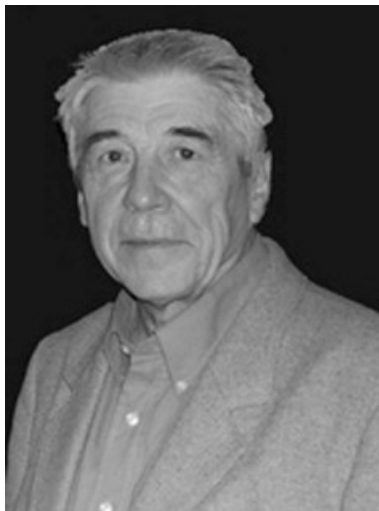
Ю.И. Неймарк

Назову ещё некоторых математиков следующих поколений: Л.Н. Белюстига (1919-1998), В.Н. Гольберг, С.Х. Арансон, Я.Л. Уманский (ученики Е.А. Леонтович-Андроповой); В.А. Брусин (1937-2003), Ю.И. Городецкий (1930-2006), М.Л. Тай, Р.Г. Стронгин, М.А. Федоткин, М.М. Коган, М.И. Фейгин, С.В. Шильман (1935-1995) (ученики Ю.И. Неймарка).

В 1962 г. после аспирантуры (руководитель Ю.И. Неймарк) **Леонид Павлович Шильников** (1934-2011) ([23], [24]) защитил кандидатскую диссертацию «Рождение периодических движений из особых траекторий». Вскоре после этого

Л.П. Шильников обнаружил принципиально новое явление: хаотичность систем, имеющих петлю сепаратрисы седлофокуса с положительной седловой величиной.

Очень быстро Л.П. Шильников становится одним из крупнейших в мире специалистов по теории бифуркаций многомерных динамических систем. Вокруг него концентрируется большая группа учеников – Н.К. Гаврилов (1938 –?), Л.М. Лерман, В.С. Афраймович, А.Д. Морозов, С.В. Гонченко, В.В. Быков, М.И. Малкин, Д.В. Тураев, И.В. Белых и др., – многие из которых продолжают активно работать, но не все в России. Л.П. Шильников был одним из организаторов и первым президентом (в 1995-2001 гг.) Нижегородского математического общества.



Л.П. Шильников

Назову ещё группу математиков, «происходящую» от С.Х. Арансона: В.З. Гринес, Е.В. Жужома, В.С. Медведев, О.В. Починка, продолжающих интенсивно работать в теории динамических систем.

К школе Андронова следует отнести и **Дмитрия Андреевича Гудкова** (1918-1992) ([25] - [27]): как неоднократно отмечал он сам, в 1948 году именно А.А. Андронов предложил ему построить теорию грубости для плоских алгебраических кривых данной степени. По просьбе Андронова руководителем Гудкова (по-видимому, в определённой степени формальным) был А.Г. Майер. В результате многолетних исследований Д.А. Гудков решил (1969) задачу топологической классификации неособых вещественных кривых степени 6 из первой части 16-й проблемы Гильберта и открыл (в виде гипотезы) сравнение по модулю восемь для M -кривых чётной степени. Это послужило толчком к интенсивному развитию топологии вещественных алгебраических многообразий в последней четверти XX века. Из учеников Гудкова этой тематикой продолжают заниматься Е.И. Шустин (Тель-Авивский университет), А.Б. Корчагин и Г.М. Полотовский (оба ННГУ). Отдельно следует отметить, что книга Д.А. Гудкова [1] фактически завершила исследования ни-

жегородского периода биографии Н.И. Лобачевского, которыми в середине XX века занимались А.А. Андронов и созданная им для этого группа.



Д.А. Гудков

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ



И.И. Гордон

В Нижнем Новгороде работали ещё многие замечательные математики. Так, с 1944 года в Горьком жил **Израиль Исаакович Гордон** (1910-1985), первый аспирант Л.С. Понтрягина.

В своей диссертации (1935 г.) он ввёл кольцо когомологий. Таким образом, построение кольца когомологий независимо и одновременно осуществили *три* математика – А.Н. Колмогоров, Дж. Александер и И.И. Гордон, причём все трое сделали на эту тему доклады на одной конференции – международной топологической конференции 1936 года в Москве. Конструкция умножения когомологий, предложенная Гордоном, отличалась от конструкций Колмогорова и Александера, которые были одинаковыми.

Александр Григорьевич Сигалов (1913-1969) ([28]) внёс вклад в исследование 19-й, 20-й и 23-й проблем Гильберта, причём в 1951 году 20-я проблема была им решена. Его ученики Г.М. Жислин, В.И. Плотников (1922-1988), И.М. Сигал (в настоящее время работает в Торонто) стали известными математиками.



А.Г. Сигалов

Его учеником были **Юрий Васильевич Глебский** (1927-1977) ([29]), открывший «Закон 0 или 1» в математической логике и создавший в Нижегородском университете школу по математической логике и дискретной математике, к которой относятся его ученики А.А. Марков (1937-1994), В.Н. Шевченко, В.А. Таланов, Д.И. Коган, М.И. Лиюгонький, Е.И. Гордон (сын И.И. Гордона, с 1999 года работает в США) и др.



Ю.В. Глебский

Назову ещё ряд активно работающих нижегородских математиков с указанием основных областей их научных интересов: В.Е. Алексеев (теория графов), В.Н. Белых (теория бифуркаций), В.М. Галкин (алгебра, теория чисел), Н.И. Жукова (теория слоений), В.А. Калягин (ТФКП), М.И. Кузнецов (алгебры Ли), В.И. Сумин (оптимальное управление), М.И. Сумин (оптимальное управление), В.В. Чистяков (функциональный анализ), И.А. Шерешевский (математическая физика), Е.И. Яковлев (геометрия, топология, компьютерная топология).

ФЕНОМЕН ПРОВИНЦИИ

Попытаюсь в заключение кратко сформулировать некоторые общие моменты, характерные, на мой взгляд, для развития математики в провинции.

1. Трудности информационного обмена (как получения информации, так и обнародования собственных достижений) и заметная изолированность от научного сообщества. Особенно сильно это проявлялось в советские годы ввиду политической закрытости государства. Развитие Интернета несколько смягчило эти трудности, но все математизируют, что «правильное размахивание руками» при личном общении зачастую гораздо эффективнее штудирования толстых текстов.
2. Существенно неполное покрытие разделов математики. Ограничусь цитатой из А.М. Вершика [30]: *«Я не устаю повторять, что только позже, когда мы начали ездить по свету, мы поняли, что таких математических факультетов, как в ЛГУ, в мире было очень мало, а такого, как мехмат в МГУ, в мире просто не было нигде – по концентрации и по охвату всей математики, существующей на то время; по научному молодежному потенциалу».*
3. Наличие мощной научной школы в каком-то направлении, что, с одной стороны, позволяет концентрировать усилия, с другой – поднимает уровень исследований и в других направлениях.
4. Разработка очень сложных и трудоёмких проблем. По-видимому, в провинции был другой ритм деятельности, и не было такой острой соревновательности, как в столицах, что позволяло идти на риск занятий очень трудными задачами. Возможно, это частично объясняет факт крупного вклада нижегородских математиков в решение проблем Гильберта (см. выше о Д.А. Гудкове и А.Г. Сигалове).
5. Взаимодействие с математиками из столиц. В случае Нижнего Новгорода истоки этого взаимодействия идут от связей А.А. Андропова и Е.А. Леонтович с московскими учёными. Кроме того, здесь Нижнему Новгороду повезло и географически.
6. Математика в провинции ещё существует. Этот тезис можно рассматривать и как оптимистический, и как пессимистический.

Литература

1. Гудков Д.А. Н.И. Лобачевский. Загадки биографии. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1992. – 241 с.
2. Полотовский Г.М. Как изучалась биография Н.И. Лобачевского // Историко-математические исследования. Вторая серия. – 2007, Вып. 12(47). С. 32–49. (См. также в книге [17], с. 41–69.)
3. Полотовский Г.М. К 220-летию со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского // Математика в высшем образовании, 2012. № 10. С. 135–140. (См. также в книге [17], с. 70–81.)
4. Губина Е.В. Владимир Андреевич Стеклов – учёный с нижегородской родословной – в кн. Труды VIII Международных Колмогоровских чтений. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. С. 427–436.

5. *Полотовский Г.М.* Штрихи к портрету (к 100-летию со дня рождения Н.Н. Боголюбова) // Математика в высшем образовании, 2009. № 7. С. 161-172. (См. также в книге [17], с. 188-209.)
6. *Малиновский Б.Н.* История вычислительной техники в лицах. – Киев: «КИТ», ПТОО «А.С.К.», 1995. – 384 с.
7. *Одинец В.П.* Зарисовки по истории компьютерных наук. – Сыктывкар: Коми гос. пед. Инст., 2013. – 420 с.
8. *Шибанов А.С.* Александр Михайлович Ляпунов. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 336 с.
9. Иван Романович Брайцев. Серия «Личность в науке» (составитель Н.Б. Кузнецова). – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. – 192 с.
10. *Бойко Е.С.* Школа академика А.А. Андропова. – М.: Наука, 1983. – 198 с.
11. *Неймарк Ю.И.* Сухой остаток. К истории в лицах научной школы А.А. Андропова. – Нижний Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 2000. – 142 с.
12. Александр Александрович Андронов (1901–1952). Серия «Личность в науке» (составители Н.В. Горская, Э.Е. Митякова, О.И. Московченко, И.Г. Назина). – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. – 287 с.
13. *Губина Е.В.* Академик А.А. Андронов и его школа (к 110-летию со дня рождения А.А. Андропова) // Математика в высшем образовании, 2011. № 9. С. 73-82.
14. *Шильников Л.П.* Леонтович-Андропова Евгения Александровна (1905-1996)^[6] – в кн. Женщины-учёные Нижнего Новгорода. Серия «Личность в науке», вып. 2 – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1999. С. 83-102.
15. *Шильников Л.П.* К 100-летию со дня рождения Евгении Александровны Леонтович-Андроновой (1905-1997) // Вестник ННГУ, серия Математика, 2005. Вып. 1(3). С. 191-204.
16. *Shil'nikov L.P.* Eugeniya Aleksandrovna Leontovich-Andronova (1905-1996)⁶ // AMS Translations, Ser. 2. 2000, V. 200 (Methods of Qualitative Theory of Differential Equations and Related Topics), P.1-14.
17. *Полотовский Г.М.* Очерки истории российской математики. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2015. – 320 с.
18. *Polotovskiy G.M.* Nizhni Novgorod mathematician Artemy Grigorievich Mayer and his course of the history of mathematics – в кн. Attractors, Foliations and Limit Cycles, International conference dedicated to Yulij Ilyashenko's 70th birthday, Independent University of Moscow, Yanyary 13-17. – 2014. P. 18.
19. *Полотовский Г.М.* Нижегородский математик Артемий Григорьевич Майер и его курс истории математики – в кн. Двадцатая первая международная конференция «Математика. Компьютер. Образование». Тезисы. Москва-Ижевск, 2014. С. 288.
20. *Полотовский Г.М.* Нижегородский математик Артемий Григорьевич Майер и его курс истории математики // «Семь искусств» №2(60). 2015.
<http://7iskusstv.com/2015/ Nomer2/Polotovskiy1.php>
21. *Андропова Е.А.* К 95-летию со дня рождения Н.Н. Баутина // Вестник ВГАВТ. Нижний Новгород, 2004. – Вып. 9. С. 172-182.
22. *Андропова Е.А., Скрабин Б.Н.* Николай Николаевич Баутин (к 100-летию со дня рождения) // Математика в высшем образовании, 2008. № 6. С.111-122.
23. *Afraimovich V.S., Lerman L.M., Gonchenko S.V.* Leonid Pavlovich Shilnikov. On His 75th Birthday // Regular and Chaotic Dynamics, 2010. Vol. 15, Nos. 2-3. P. 101-106. (На русском языке: Нелинейная динамика, 2010. Т.6, № 1, с. 5-22.)
24. Editorial – Leonid Pavlovich Shilnikov // International Journal of Bifurcation and Chaos, 2014. V. 24. No. 8.
25. *Polotovskiy G.M.* Dmitrii Andreevich Gudkov // AMS Translations, Ser. 2. 1996. Vol. 173 (Topology of Real Algebraic Varieties and Related Topics). P. 1–9. (Перевод на русский язык – в кн. [17], с. 5-25.)

26. *Gordon E.I.* Recollection of D.A. Gudkov // AMS Translations, Ser. 2. 1996. Vol. 173 (Topology of Real Algebraic Varieties and Related Topics). P. 11-16.
27. *Полотовский Г.М.* Дмитрий Андреевич Гудков // Вестник ННГУ “Математическое моделирование и оптимальное управление”, 2001. Вып. 1(23). С. 5-16.
28. *Жислин Г.М.* О работах А.Г. Сигалова по математической физике (к 100-летию со дня рождения) // Математика в высшем образовании, 2013. № 11. С. 105-114.
29. *Лиюгонький М.И., Таланов В.А.* О законе «0 или 1», открытом Ю.В. Глебским, и связанных с ним результатах, полученных на кафедре математической логики и алгебры ННГУ // Математика в высшем образовании, 2014. № 12. С. 93-102.
30. *Вершик А.М.* Как прорастает математика / <http://polit.ru/article/2013/03/18/vershik2/>

Примечания

- ^[1] Сравнительно недавно стало известно (см. [7], с. 57), что на десять дней раньше, чем МЭСМ, была принята в эксплуатацию машина М-1, разработанная под руководством И.С. Брука и Б.И. Рамеева. М-1 была первой в мире ЭВМ, все логические схемы которой были сделаны на полупроводниках.
- ^[2] По-видимому, здесь имеется в виду математик венгерского происхождения Д. Пойя (1887-1985), в 1914-1940 годах работавший в Высшей технической школе в Цюрихе.
- ^[3] Интересно, что А.Ф. Леонтьев в своей дипломной работе, выполненной под руководством Е.А. Леонтович-Андроновой, изучил основную бифуркацию рождения предельного цикла из сложного фокуса для 3-мерных аналитических систем. Эта работа осталась неопубликованной, а А.Ф. Леонтьев после окончания ГГУ сменил тематику.
- ^[4] К сожалению, в нём имеются различные неточности.
- ^[5] Единственные известные мне сколько-нибудь подробные тексты о замечательном математике А.Г. Майере – это статья на стр. 210-294 книги [17] по докладам [18], [19] и её первый вариант [20].
- ^[6] Здесь ошибка – Е.А. Леонтович-Андропова скончалась 4 января 1997 года.



Анатолий Добрович

РУКАВА В КРУЖЕВАХ

1.

В 2006-м Владислав Виноградов создал фильм о Б. Окуджаве – «Арбатский романс». Фильм понравился мне (как, очевидно, миллионам современников знаменитого поэта), но при просмотре киноленты вспомнилось не только мое многолетнее преклонение перед даром Мастера. Представьте, что-то неодобрительное соседствовало у меня с преклонением. Тут, кажется, уместнее было бы промолчать: речь ведь всего лишь о факте моей биографии. Но когда спрашиваю себя, откуда это «неодобрительное», в голову приходят ответы, которыми, пожалуй, стоит и поделиться.

За что ж вы Ваньку-то Морозова или Мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать – это в компании близких мне людей было принято сразу и без оговорок. Претензии появились потом... Каким бы словом воспользоваться? «Слащавость»? Ну, уж нет. Слащавость в моих глазах олицетворял Сергей Никитин. «Уютная встроенность в идеологическую систему»? Но примером этого был скорее Юрий Визбор. Есть, однако, в Окуджаве что-то благостное, и это меня и моих друзей раздражало. Он мудр и человечен, утончен и ироничен, он обращен к добрым людям. Слушающие и поющие его песни кажутся себе добрыми людьми – мудрыми, человечными, утонченными и ироничными. Худо ли – пробуждать в людях благое? Но когда они собираются сотнями, и все с гитарами, все с просветленным взором и с общей песней *Возьмемся за руки, друзья или Давайте говорить друг другу комплименты*, – право, оторопь берет. У Булата Шалвовича, похоже, не было аллергии на советский коллективизм.

У вот меня она была. И так же, как некоторые начинают задыхаться от кошачьей шерсти в доме, я испытывал дискомфорт от того, что называл про себя «окуджавством». Мне (и не мне одному) доставало терпимости к прекраснотушию; пьесы неподражаемого Евгения Шварца я называл «шварцеванием действительности». Не так, не так, казалось мне, устроена действительность, и к умилению собой, на мой взгляд, не было у людей ни повода, ни права.

Я, конечно, спорил с собой. С самого начала понимал, что Булата Окуджаву следует считать лучшим мелодистом среди тех, кто сочинял песни, не будучи профессиональным композитором. Иные его мелодии завораживали, удивляли изяществом. В его пении была грузинская музыкальная точность, славянская распевность и совершенно особая чистота – чистота тихого мартовского снега, падающего в уже не морозном воздухе. Но главное в его песнях – безупречное слияние мелодии с поэтическим текстом высокой пробы. Стихи и музыка извлекались на общем дыхании, из единого источника. Не «музыка на слова» и не «слова на музыку», а неразделимая смысло-мелодическая стихия, этакая стихомузыка.

2.

Для сокрушительных текстов Галича мелодия оказывалась скорее мастерски подобранной упаковкой; почти все его песни примерно на один мотив, и более выговариваются, чем поются. Неистовый Высоцкий держался определенного мелоди-

ческого стереотипа, обрекавшего песни на вхождение в фольклор, хотя в пределах «жанра» он поднимался порой до подлинных музыкальных находок. Но особое место, на мой взгляд, принадлежит бардам-мелодистам: Новелле Матвеевой, Булату Окуджаве, Евгению Бачурину. (Последний, кстати, почти никем сегодня не упоминается. И это поддается объяснению).

Есть знатоки поэзии, считающие, что стихи, вообще, петь не следует: они сами обеспечивают себя музыкой – собственной музыкой. В чем немало правды. Чтобы положить на музыку совершенные стихи, не профанируя их, надо быть композитором уровня Глинки, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова. Иначе вас коробит от «фрамок», в которые заключил текст самонадеянный, но посредственный композитор. Другое дело, когда кто-то способен сочинять стихомузыку. У такого сочинителя иногда первым напрашивается мотив, который ждет наполнения «подходящими» словами. Иногда же наоборот – сначала возникают слова, но они неспособны по-настоящему ожить без «заливки» мелодией. Дальше начинаются так называемые творческие муки: то музыкальная тема не впускает в себя определенные слова, то слова противостоят развитию темы (поскольку я и сам сочинял песни, знаю это из собственного опыта).

Возвращаясь к Окуджаве. Стихомузыкант это был феноменальный; возможно, во всю историю России не случалось подобного. И что – обязан он был подавлять свою творческую сущность из опасения чересчур польстить публике и сделаться ее кумиром? А как насчет коллективного энгузиазма слушателей джаза? Почему от этого меня огоропь не брала? Ну, здесь людей объединяло выпадение из ментальных стереотипов советчины, и это, как я полагал, было хорошо... А под Окуджаву впадали в ту же советчину – пусть много толка... В отличие от Булата Шалвовича, я «мальчиком с Арбата» не был и бессознательных братских чувств к окружению с детства не испытывал. Можно сказать: «Твоя проблема». Но ведь иные из моих знакомых, куда в большей мере подходя под определение «мальчик с Арбата», тоже сторонились нормативного коллективизма...

3.

Я хотел бы до конца и бескомпромиссно разобраться в оттенках своего неоднозначного (отчасти «неодобрительного») восприятия Окуджавы. Может, тут что-то личное?.. Тоже не исключаю.

В молодости (а она затянулась у меня лет до сорока) мне казалось, что стать известным – обязанность сочинителя. Я рос в провинции и имел там репутацию подающего надежды поэта. События, развернувшиеся в мои юношеские годы, отчетливо показали: чтобы публиковаться, необходимо, так или иначе, демонстрировать преданность «партии и народу». Сперва сделать себя «имя», и уж под прикрытием имени пытаться вырваться то, о чем на самом деле болит душа. У меня не получалось сделать «имя», и, как очень многие, я писал «в стол». Тем не менее, уже живя в Москве, в начале 60-х сочинил как-то стихи, исполненные патриотического пафоса («или я не сын страны?»). Мне посоветовали обратиться с этим в «Литературную газету»; так я оказался в кабинете заведующего отделом поэзии Б.Ш. Окуджавы.

Тот, с трудом скрывая скуку, деликатно, но твердо высмеял текст. Он был прав, и я мгновенно согласился с критикой. Перед тем, как я ретировался, в кабинет вошел кто-то из друзей-сотрудников хозяйина, обращавшийся к нему на «ты» и по имени. Первым делом он поцеловал Булата в высокий лоб (*не оставляйте усилий, маэстро, не убирайте ладони со лба*), и лишь затем вкрадчиво заговорил. Выйдя, я вдруг понял:

не бывать мне в этом кругу, не целовать лбы и не быть целованным. Не каждому дано сочинять так, чтобы и публика благоговела, и начальство снисходило. Да до такой степени снисходило, что доверяло бы даже стихами в журнале заведовать.

Не в этом ли эпизоде дело? Но ведь такова была тогдашняя ситуация. Либо не пиши, либо лги, либо пиши с полной верой. Когда-то прекрасный украинский поэт (ныне считается классиком) наставлял меня: «В социализм трэба вирить». Не всякий пишущий стихи имел шанс стать советским поэтом. К тому же, ведь не показывал я Окуджаве того, что писалось в «стол». Возможно, он к этим стихам отнесся бы благосклоннее. Впрочем, вряд ли. Задушевность не была сильной стороной моих стихов. Вот образчики:

«...Вся суть моя запрещена как непристойность и крамола негласным духом комсомола и пионерского звена. Вживаясь боком в коллектив с его заправкой душ и коек, я был заведомо труслив и политически нестойк. Все по шоссе, а ты – сторонкой. Сумей простейшее понять: тебя отлили шестерёнкой, и в ней зубцов должно быть – пять! Уже деталь, а не сырец! Не самоцель – одно из средств! Неподчиненье этой карме – считали за шестой зубец. И потрясали кулаками».

... «В те дни, отчаянно коптя, земле оставив тонны гула, сосцы созвездий тупо ткнуло слепорожденное дитя. Колонны заводных людей, брэнча латуню славы прошлой, рвались отшлепывать подошвой брусчатку древних площадей. А на плечах у тягача, как воцаряющийся идол, величественно пыл, торча, снаряд фаллического вида. Давался стойкости зарок. И видя смертоносный фаллос, толпа довольно улыбалась, и маршал брал под козырек» (Из «Ателье ямба», 60-е).

4.

Естественно, я примыкал к компании «непризнанных». Дружил с автором горьких и едких песен Фредом Соляновым (к счастью, этот талантливый и достойный человек не забыт, его песни продолжают скачивать в Интернете). Может, имела место зависть менее одаренных к более одаренным, неудачников – к преуспевшим? – Строго говоря, этого тоже не следует упускать из виду.

Но если и так, наша зависть изначально гасилась отрицанием путей, ведущих на советский Олимп. Люди, с которыми я был близок, недоумевали. Вот вы уже в Переделкино поселились, патетически требуя: «Уберите Ленина с денег!». За границу ездите – избранным разрешают. Описываете, какой трепет охватил вас, когда, ночуя у Пикассо, нащупали под кроватью его тапки и – о счастье! – поместили в них ступни... Ладно, тщеславие не самый страшный грех. Но как можно получать щедрые подачки от власти, если в глубине души ее презираешь? Или это мы неудачники, ее презираем, а они – нет, поскольку мыслят шире и видят больше?..

Всё сказанное, впрочем, в наименьшей степени относилось к Булату Шалвовичу – уж он-то виделся нам безусловно честным человеком. А главное, появились у него песни, которым в моем кругу сразу же давалась оценка бессмертных. Вот одна из них: *Сумерки природы, флейты голос нервный, позднее катанье... На передней лошади едет император в золубом кафтане...* Тут бездна открывается. Та самая, которая «звезд полна».

Нет, не получается свести противоречивое отношение к Мастеру к личной обиде, либо к зависти. Попробую зайти с другой стороны.

5.

Лет с шестнадцати я стал догадываться о ткацкой фабрике, ткавшей мировоззрение в миллионах голов. Правда подразделялась на «малую» (очевидность) и «большую» (всемирно-исторический смысл происходящего). То был мир преломленных смыслов. Проникновенные строки песни – «раньше думай о родине, а потом о себе» приходилось на уровне практики понимать так: не умничай и выполняй, что приказано.

Вот что понял в лагерях Варлам Шаламов: «Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу – к остальному он равнодушен... Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и нетрусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости».

Не-сидевшим такое и в голову не могло бы прийти. Но и у них постоянный страх не давал о себе забыть. И вот тут, на фоне «оттепели», заработала советская костюмерная.

Людям нравилось мысленно прикидывать на себя дорогие одежды гусар, кирасиров, великосветских дам. Так они ощущали близость к старорусской дворянской элите. Даже элегантный эсэсовский мундир (Штрилиц!) – вражеский, казалось бы, – возвышал нас над штампами бесправной обывательской жизни и тешил нашу мечту о значительности. *Вся наша жизнь то гульба, то пальба?* – Бросьте, – возражал я в уме Окуджаве. Это не про нас, а про их благородий. Вся наша жизнь – стояние в очередях после работы. А вам что – заказы привозят?..

Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах... Как куклоку, одел своего маэстро Булат Шалвович. Вообще, в его поэтике моменты одевания довольно значимы. *Берет немислимый такой на ней... В красно-белом своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу.*

Просветленное лицо прекрасно. Но просветленное лицо оказалось превращенным в маску для личности. В театральный костюм. *Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву.* Ясное дело, слывешь человеком возвышенного склада.

Что же мешало мне доверять возвышенному? Парадокс: может быть, моя собственная склонность к экзальтации, затуманивающая реальность и требовавшая противовесов? Разве не был я в старших классах школы и на первом курсе мединститута ревностным комсоргом? Разве не пел (мурашки по спине) «Полношко-поле» или «Сотня смелых бойцов из буденновских войск»? Разве не считал День Победы главным праздником страны? Разве не внушил мне отец, прошедший войну, благоговение перед русским народом («Смотри, смотри какие лица» – это он во время показа незабвенного патриотического фильма «Сказание о земле сибирской»)?

Но здесь приходится затронуть еще один момент, который кое-что объясняет.

6.

Я еврей. И уже в девять лет от роду понимал, как это постыдно и опасно. В эвакуации, где я оказался с матерью, по радио передавалась издевательская песенка о Гитлере на популярный мотив; там была строчка «ефрейтор-генерал». Мальчишки-сверстники пели это как «еврейтор-генерал», со злорадством наблюдая мою растерянность. Как так – главному губителю евреев приписывать что-то еврейское... В четырнадцать лет я увидел, как у билетной кассы здоровенный крас-

норожий гражданин схватил за нос другого, с бледным лицом, приговаривая: «Да ведь ты жид, жид!». И тот всего лишь пытался высвободиться. Всего лишь. Окружающие не вмешивались. С тех пор меня не отпускал стыд за бледнолицего, не давшего сдачи. И стыд за себя. Не потому, что, хилый подросток, я не кинулся на краснорожего – струсил. А потому, что допустил в уме, что тот, возможно, *вправе* презирать евреев. Пришлось потом долго лечиться от презрения к себе.

Лечение шло трудно. Разразилось дело «врачей-убийц» с еврейскими фамилиями, и от меня, студента-медика, стали отшатываться однокурсники. Вскоре «отец народов» представился, «дело» лопнуло, но не забыть разочарования и досады на лицах двух милых комсомолок (с одной из них у меня до этого даже начинался бурный роман) – уж очень не хотелось им отказываться от открывшейся страшной правды о евреях! *Но комсомольская богиня – ах, это, братцы, о другом.* Именно. О другом. Мой иногородний дядя, тем временем, отсиживал свои 10 лет за «попытку отделить Крым от СССР в пользу Израиля». На этом этапе комсомолия для меня и кончилась. *И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...* Не надо мной. Заявить о выходе из ВЛКСМ означало вылететь из института, а я был благодарен. Взносы, естественно, платил, но больше не высовывался.

Потом двадцатый съезд, где малограмотный функционер разоблачил «культ личности», чтобы вскоре создать культ собственной личности. Потом Шаламов, Солженицын, травля Пастернака, Синявского и Даниэля, суд над Аликом Гинзбургом, товары по блату, поезда в Москву из провинции – за колбасой... Я превратился в одного из людей, не умеющих и не желающих разделять с коллективом какой бы то ни было энтузиазм. Когда-то русский друг, ценивший мои песни, сказал: «В тебе одиночество поёт». Ну, а на хрен советскому народу твое одиночество? – резонно заключил автор песен.

Пожалуй, этот комплекс мешал мне отстаивать и свои литературные амбиции. Нет-нет, а закрадывалась в голову мыслишка: «Вот еще один из *этих* лезет в русскую литературу». Спустя десятилетия мне стало доступно письмо любимого А. Куприна, где едко подмечалось, что всякий еврей мнит себя прирожденным русским писателем. Как это совпало с моими собственными суждениями! Как это грызло меня и прежде, при чтении великолепных русских стихов, написанных евреями-современниками, которые перенесли то же, что и я, но, гляньте-ка, «притупились» (дивное украинское слово!) к не любящей евреев стране и по-хозяйски расположились на Олимпе при советском режиме.

А в возрасте уже под пятьдесят было у меня памятное плаванье по великой реке в составе «бригады культпросвета»; в нее почему-то подобрались не на шутку образованные юдофобы, с философским уклоном. Они-то мне окончательно и разъяснили, какая это мерзость – принадлежать к метафизическим врагам Святой Руси. Кончилось тем, что уже немолодым я решил перебраться из СССР в Израиль – дабы метафизическое противостояние обрело окончательную полноту.

Моцартовечество не выбирает, – казалось, несется мне вслед, и это воспринималось как пощечина. Так то же Моцарт, – оправдывался я перед самим собой. – Моцарт не выбирает, а ты – да. Но страна, которая принимает любовь к себе при условии, что ты отрекся от собственной нации, ставит человека в положение двурушника. А двурушник – он тем более заслуживает презрения. Замкнутый круг.

...Может, тут-то собака и зарыта?

Но, другой стороны, разве не было у меня среди московских друзей этнических русских, которые, как и я, воспринимали Окуджаву неоднозначно?

7.

Однако же меня глубоко трогает фильм Виноградова... Там даны *лица* («Смотри, смотри, какие лица!»). Например, лица тех, кто шли потоком мимо гроба Булата Шалвовича.

Таких лиц на телеэкране больше нет, – установил я не без испуга. – Подумай, что происходило. Они хотели жить и раскрывать свои таланты, а не зарывать их в землю; некоторым это удалось. *Быстро проходят лета молодые*. Да, жить, творить и любить, петь у костра и получать ордена! А не возить тачки на рудниках и хлебать лагерную баланду. Они не могли бы поверить в распад СССР (а ты бы – мог?) и надеялись на социализм «с человеческим лицом». Но ведь и ты до поры до времени надеялся!

А кстати, желание уехать из СССР окончательно сложилось у меня как раз при виде «человеческого лица» М.С. Горбачева, прилюдно оравшего на Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот у опального академика лицо было действительно человеческим.

Как и у этих, у гроба.

Они в Окуджаве оплакивали ушедшую часть себя – возможно, лучшую часть. В нынешней России хватаются за «национальную идею»; этим людям была соприродна идея интернациональная. Им были смешны американизмы типа «вот человек, стоящий миллион долларов» – чего стоит человек, определялось по другим признакам. Они были в разную меру грешны, а то и циничны, но стяжательство и разнузданный эгоцентризм считались у них неприличием – равно как и стукачество. Их мир был поляризован на духовное начало, которое они, как им верилось, олицетворяли, и бездуховное, олицетворяемое властью и ее «органами». Свою гражданскую миссию они полагали в сбережении и накоплении духовности.

Глупо, но признаюсь: всю долгую советскую жизнь я внутренне стыдился того, что «не сидел». Самые достойные – не терпели, протестовали и – «чалисьсь». Суждение, конечно, чересчур прямолинейное. Но ладно, давайте будем этих, у гроба Окуджавы, считать «не самыми достойными». Пусть. Но куда вот такие *теперь* подевались? Можно ли полагаться на их интеллигентных отпрысков, восседающих в роскошных «офисах» и автомобилях, носящих одежду, обувь и часы «от...» и проводящих отпуск на европейских горнолыжных курортах?

Кто знает. Я вижу на телеэкране ритуально подобострастное к начальству российское чиновничество – точь-в-точь как те, прежние «аппаратчики», только лощёные. Я шарахаюсь в Сети от безграмотных блоггеров-хамов, буквально больших юдофобством. Я выключаю передачи с «гламурными» дамами и господами. Выключаю кровавые русские боевики, чьи режиссеры озабочены, прежде всего, кассовым сбором. И я *немедленно* выключаю российскую эстраду, эту «попсу», с ее однообразным вульгарно эротическим напором. Я в шоке от дегенеративных текстов иных песен – раньше такое пели разве что в подворотнях. Я угнетен отсутствием *мелодий*: всё жёванно-пережёванное, предсказуемое; когда-то приятель, джазист, называл такую музыку «какашками». Подобное «лабухи» играли во второсортных ресторанах – чтоб «забашлять» – джазом ведь не прокормишься. Я не принадлежал к поклонникам эстрады, но как не отдать должное мелодиям Раймонда Паулса, Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Яна Френкеля? Они держали уровень, до которого теперь редко кто поднимается. Куда заехала Россия, избавившись от советской власти? С каких пор духовность выказывает себя в позах, освящающих ракетные установки?

8.

Многим людям в той стране хотелось – и снова хочется – видеть жизнь вовсе не так, как я. Иными глазами. Гордиться удалью, одаренностью, терпеливостью, силой и... этим самым... духовностью. *Не везет мне в смерти, а везет в любви.* Я же и к народу такому принадлежу, которому всё больше в смерти и «везло».

А не пора ли отпустить их всех с миром, – приходит в голову. – И тех, что были тогда с гитарами, исполненные «окуджавства», и тех, кто сегодня разрезает по свету, распевая хором и с особой задумчивостью «Песни двадцатого века». Им что Окуджаву петь, что Никитиных, что Визбора, что других бардов с их жизнеутверждающим посылом – какая разница? Словно и не было тяжкого противостояния обреченных одиночек – государству, не было загубленных миллионов, подспудного идеологического напряжения в советском обществе. Словно всё шло, как надо, только вот обстоятельства повернулись не туда... «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно» – вот и славно, продолжаем надеяться! *Сумерки природы* Булата Шалвовича, как правило, не поют: это выпадает из рамок здорового национального самоощущения. Евгения Бачурина тоже не поют, несмотря на его изысканный русский мелос. Это песни человека-одиночки, ошеломленного лирическим чувством (вдобавок, как оказалось, и он – еврей!... а мелос-то русский использует!). «Течет ручей с твоих плечей, и нет ни дней и не ночей – лишь звездочка в небе, да дырочка в хлебе... Поёт он песенку одну: что я, наверно, тону – в ручье, а не в море, в слезах, да не в горе»... Ну, и кому это нужно?

А ведь у лучших тогдашних бардов случались-таки удачные мелодии – пусть на тексты, которые я воспринимал как верноподданные. Иные из тех ребят и при новом режиме стали верноподданными. И опять орденами награждаются – только уже в форме крестов. И то сказать: если человек искусства нуждается в покровительстве, в спонсорстве, – с чего мы взяли, что покровительство партийных властей или «отца нации» хуже, чем покровительство воротил бизнеса, прикидывающих, сколько они заработают на артисте? Пусть люди тешат свое коллективное Эго, это нормально. Смотрю, упитанные современные русские (по виду – из тех, что «на ходу подметки рвут»), обвешались нательными крестами. Стаями плавают в Крещенье в ледяной воде и выходят из нее духовно обновленными... А тебе-то, тебе-то что? – спрашиваю себя. – Тебе там не жить.

Глядел я на Юрия Роста и на Петра Тодоровского в фильме Виноградова и видел в них людей *своих* – даже если я им не свой. Они были личными друзьями Окуджавы, потом подняли над головами его небывалый дар, и это его дар той России, которая – *в них*, а может, до сих пор и во мне. Лишь бы она не пропала совсем, затоптанная «попсой». Но... Что опять мешает? Вот что: ватничек на Ю. Росте. Он говорит, что Булат такой же носил в Переделькино. Это зачем? – В знак общности с рабоче-крестьянскими массаами? Или с эками? Или в пандан дорогим шубам удачливых советских и постсоветских современников? Медальку почему-то Ю. Рост (мастер, мудрец, мужик из настоящих!) на свой ватник нацепил... На ватник? Кто так носит?... «И на груди его светилась медаль за город Будапешт»? (Кстати, потрясающая была песня. Не следовало бы тут аллюзиями баловаться). А может, приходит мода носить ватники? «Вы полагаете, всё это будет носиться? – Я полагаю, что всё это следует шить»... Когда-то от оптимизма этой песенки мне хотелось пинать заборы.

9.

И вот, осенило: советская «костюмерная» как-никак, а отчасти высвобождала людей из-под идеологического спуда! Возвращала им самосознание личности. То

был некий *культурный процесс*, а человек, приобщающийся к культуре, хочет, среди прочего, по-иному одеться. Наряду с внутренним преображением (да хоть и без него). Окультуривание проникло даже во власть – неспроста поэзией постепенно начали там и сям заведовать поэты от бога, а не дятлы вроде Николая Грибачева или Александра Прокофьева. Неспроста диссидентов перестали сажать без юридического оформления: целые отделы вежливых и образованных гебистов отслеживали их писания и контакты, собирали доказательства их «неблагонадежности». Дела им стали шить уже с оглядкой – если не на закон («дышло»), то хотя бы на какие-то там творимые и уточняемые наверху инструкции.

Смена режима, напомнил я себе, – увы, не результат культурной и общественной деятельности интеллигентов (хотя им хочется так думать). Режим просто рухнул: «жрачка» кончилась. И страна изменилась. Но ее многовековая культура естественным образом пытается сшить с настоящим прошлое – включая и советское, когда, вопреки тупому чиновничьему режиму, цвели и блистали покорившие мир таланты. Теперь заблестали новые, и они выражают признательность прежним за всё лучшее, что в тех было...

На фоне Пушкина мы все теперь в обнимку – мягко иронизировал Булат Окуджава. Теперь мы в обнимку и на фоне Окуджавы. Слава богу, *и птичка вылетает*.



Александр Лейзерович УПУЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА¹

Как свидетельствует каноническая биография, Козьма Петрович Прутков родился в деревне Тентелевой Сольвычегодского уезда Вологодской губернии 11 апреля 1803 г. и скончался после продолжительной тяжёлой болезни 13 января 1863 г. в Санкт-Петербурге “на руках нежно любившей его супруги, среди рыданий детей его, родственников и многих близких, благоговейно теснившихся вокруг страдальческого ложа...”



Козьма Петрович Прутков (1803-1863)

Портрет работы Л.М. Жемчужникова, Л.Ф. Лагорио и А.Е. Бейдемана, 1853

Всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, Козьма Прутков посвятил государственной службе: сначала по военному ведомству, затем по гражданскому. Вступив в 1816 г. юнкером в один из лучших гусарских полков, в 1823-м он оставил военную службу и определился в Пробирную Палатку при Министерстве финансов. Учреждение под тем же названием существует в России и поныне (только размещается теперь в Москве, а не в Петербурге) и занимается контролем изделий из драгметаллов и проставлением на них пробы, если таковую есть куда ставить. В 1841 г. Прутков занял открывшуюся вакансию директора Пробирной Палатки и на этом посту дослужился до чина действительного статского советника – 4-го класса по Табели о рангах, что соответствует званию генерал-майора в армии, контр-адмирала во флоте или придворному чину камергера и требует обращения “Ваше превосходительство”. Сам он характеризовал себя так: “Мой ум и несомненные дарования, подкрепляемые беспредельной благонамеренностью, составляли мою протекцию”. За безукоризненную двадцатилетнюю службу был удостоен ордена святого Станислава 1-й степени. По статуту ордена, им наградились те,

“кто преуспеянием в христианских добродетелях или отличной ревностью к службе, совершением какого-либо подвига на пользу человечества или общества, или края, в котором живёт, или целого Российского государства, обратит на себя особенное внимание”.

Но каковы бы ни были служебные достоинства и успехи Пруткова, они одни не доставили бы ему даже малой доли той славы, какую он приобрёл литературной деятельностью. Чуть не перед самой своей кончиной он вывел слабеющей рукой:

ПРЕДСМЕРТНОЕ

*(найдено недавно, при ревизии Пробирной Палатки,
в делах сей последней)*

*Вот час последних сил упадка
От органических причин...
Прости, Пробирная Палатка,
Где я снискал высокий чин,
Но музы не отверг объятий
Среди мне вверенных занятий!
Мне до могилы два-три шага...
Прости, мой стих! и ты, перо!
И ты, о писчая бумага,
На коей сеял я добро!
Уж я – потухшая лампадка
Иль опрокинутая лодка!
Вот, все пришли... Друзья, Бог помочь!..
Стоят гишпанцы, греки вокруг...
Вот юнкер Шмидт... Принёс Пахомыч
На гроб мне незабудок пук... Ах!..*

Посмертная публикация этого стихотворения сопровождалась комментарием со следующим завершением: “Уже в последних двух стихах второй строфы, несомненно, выказывается предсмертное замешательство мыслей и слуха покойного; а читая третью строфу, мы как бы присутствуем лично при прощании поэта с творениями его музы. Словом, в этом стихотворении отпечатались все подробности любопытного перехода Козьмы Пруткова в иной мир, прямо с должности директора Пробирной Палатки.”

Упомянутое “предсмертное замешательство мыслей и слуха покойного” выразилось, по-видимому, в употреблении совершенно неммыслимого для XIX века рифмоида “лампадка-лодка” (а также, добавлю, в следующей строфе – на удивление новаторской рифмы “Бог помочь-Пахомыч”), хотя это скорее похоже на предсмертное предвидение обращения поэтов следующего, XX, века к таким неведомым XIX веку формам как консонанс и его производные, опирающимся на переключку согласных звуков при различии ударных гласных. Прозрение, доступное лишь подлинному гению!

Литературные (поэтические) произведения Козьмы Пруткова впервые появились в печати под его собственным именем в 1853 г. – в журнале «Современник», издаваемом Николаем Некрасовым и Иваном Панаевым. Тогда же мир узнал Козьму Пруткова и в его физическом облики – Лёв Жемчужников, Лёв Лагорио и Александр Бейдеман выполнили ставший канонем его литографический портрет.



У памятника Козьме Пруткову, рис. Н.В. Кузьмина

В 2003 г. Россия имела возможность торжественно отметить двухсотлетие со дня рождения, 140 лет со дня смерти, 180 лет чиновничьей и 150 лет литературной деятельности этого выдающегося поэта, философа и государственного служащего. То ли страна не оправилась ещё от грандиозных пушкинских юбилеев 1937-го, 1949-го и 1999-го гг. и побаивалась повторения сопутствовавших им акций со стороны государства, то ли была полна предчувствий надвигающегося лермонтовского юбилея 2014 г. (только бы не как в 1941-м!), то ли в силу каких-то иных, не менее существенных обстоятельств, но шанс был упущен, и в 2003 г. ожидаемое общественностью всенародное празднование юбилея Пруткова не состоялось. Правда, в 2013 г. 210-летие Пруткова было отмечено специальным арт-фестивалем в Сольвычегодске, но мероприятие это носило сугубо локальный характер, никак не соответствующий масштабу фигуры Козьмы Пруткова, в почитании которого сходились философ Владимир Соловьёв, писатель Фёдор Достоевский, поэт Александр Блок, театральный деятель Николай Евреинов и многие другие. Афанасий Фет именовал Пруткова несравненным поэтом. Пруткова цитировали Александр Герцен, Иван Тургенев и Иван Гончаров, о его феномене писали Николай Чернышевский, Николай Добролюбов и Аполлон Григорьев, ему подражали Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Владимир Маяковский и Даниил Хармс. Георгий Плеханов, высмеивая утверждения оппонентов, любил шегольнуть цитатой из Пруткова. Владимир Ленин в 1921 г. включил сочинения Пруткова в список книг, которые пожелал иметь в своей личной библиотеке в Горках. Владимир Бонч-Бруевич вспоминал: "Ленин очень любил меткие выражения и суждения Пруткова и очень часто повторял известные его слова, что "нельзя объять необъятного", применяя их, когда к нему приходили со всевозможными проектами особо огромных построек и пр. Книжку Пруткова он нередко брал в руки, прочитывал ту или иную его страницу, и она нередко лежала у него на столе."

Однако, по нашему мнению, подлинно юбилейным годом Пруткова следовало бы назначить 2014-й, хотя в этом году, в отличие от 2003-го, все периоды вре-

мени, отделяющие нас от основных событий жизни Пруткова, обозначаются далеко не “круглыми” числами? Действительно:

2014 – 1803 (год рождения) = 211;

2014 – 1823 (год начала службы в Пробринной палатке) = 191;

2014 – 1853 (год публикации первых стихов) = 161;

2014 – 1863 (год смерти) = 151.

По знаменательному совпадению, это почти всё – “простые” числа, то есть делящиеся только на единицу и на самоё себя. И это представляется глубоко символичным, поскольку Козьма Прутков высоко чтит и предпочитал всё простое, несомненное, само собой разумеющееся, не требующее доказательств и опровергающее своей самоочевидностью любые логические построения и доводы разума. И даже если, на самом деле, 161 не является простым числом (делится на 7 и на 23, а ближайшее простое число – 163), это всего лишь напоминает нам о том, что первые стихотворные произведения Пруткова были созданы на два года раньше, чем напечатаны, а именно – в 1851 г., как раз за 163 года до 2014-го. Вместе с тем, не забудем и того, что 163 года литературной деятельности Пруткова исполнится в 2016-м.



Козьма Прутков, рис. Н.В. Кузьмина

Подобно автоэпитафии звучат две строки из стихотворного послания Козьмы Пруткова под названием «Безвыходное положение». В этом послании Прутков, в противовес “теории литературного творчества, настойчиво проповеданной г. Аполлоном Григорьевым”, формулирует свой девиз:

Без задней мысли, я к простому понимаю Обыденных основ стремился всей душой, и эти слова как нельзя лучше определяют позицию автора применительно к жизни, истории и литературе – “простое понимание”. Вослед Пруткову многие наши соотечественники и современники приняли эту парадигму, просто не все ещё готовы это открыто признать.

Насколько своеобразно было творчество Пруткова, столь же нетривиальными должны быть, на мой взгляд, и его юбилеи. Я уверен, что сам Козьма Петрович горячо одобрил бы идею “юбилеизации” памяти о себе, опираясь на “простые” числа (если бы, конечно, знал, что это такое).

И есть ещё одно обстоятельство, по которому представляется уместным не упустить отметить нетривиальный юбилей Пруткова. Многие, включая меня, говорили о сходстве общественной жизни России в начале 2000-х с Россией последней четверти XIX века, при Александре III. Точно так же, уже становится самоочевидным сходство сегодняшнего дня России с последним годом царствования Николая I – годом 1854-м. Но кто же больше, чем Козьма Прутков, принадлежит именно этому моменту в истории России и кто, как не Козьма Прутков, наиболее ярко характеризует его?!



Козьма Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы.
Рисунки Н.В. Кузьмина

В 1961 г. художник Николай Кузьмин проиллюстрировал книгу Пруткова «Плоды раздумья. Мысли и афоризмы». В качестве послесловия книга завершалась «Письмом К. Пруткова к художнику, записанным под диктант медиума NN самим Н.В. Кузьминым»: «Художник! я духовным оком просмотрел твои картинки к «Плодам раздумья». Изрядно, но местами вольномысленно и высокоумно! Изображая меня, ты подчеркнул во мне гениального поэта и философа, но оставил в тени государственного мужа! Чему, как не небрежению, следует приписать то, что на всех моих портретах ты забыл поместить на борте моего форменного фрака орден святого Станислава 1-й степени, коим был я награждён в должности директора Пробирной Палатки..»

Примечательно, что художник завершил работу над книгой в 1961 г., то есть за 53 года до 2014-го – снова простое число! Да и наступившая в те поры «оттепель» настойчиво навевала сопоставления с эпохой реформ прошлого века... Но те, кто думает, что фамилия художника Кузьмин произошла от имени Пруткова, категорически ошибаются, потому как сам Прутков нарочито писал своё имя не «Кузьма», но преимущественно «Козьма», как прославленные его соименники: святой Козьма (брат Дамиана), Козьма Медичи, Козьма Минин.

К историческому фону появления и собственно содержанию «Плодов раздумья» Козьмы Пруткова мы ещё вернёмся, но трудно удержаться от того, чтобы, упоминая эту вершину его творчества, не процитировать некоторые из наиболее ярких и

содержательных мыслей и апофегм, поставивших имя Козьмы Пруткова в один ряд с великими афористами прошлого – такими, как герцог Франсуа де Ларошфуко князь де Марсильяк, Блез Паскаль, Георг Кристоф Лихтенберг, Жан де Лабрюйер, Иоганн-Вольфганг Гёте, Артур Шопенгауэр, Оскар Уайльд, Жозеф Эрнест Ренан, Джордж Бернард Шоу, Франгишек Вымразил, Станислав Ежи Лец, Виктор Степанович Черномырдин, Михаил Михайлович Жванецкий и немногие другие.



Человек раздвоен снизу, а не сверху, потому что две опоры надежнее одной
Рис. Н.В. Кузьмина

Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более похожею на судьбу птицею.

Никто не обнимет необъятное!

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

Рассуждай токмо о том, о чём понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?

Усердие всё превозмогает!

Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?

Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь.

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

Болтун подобен маятнику: того и другого надо остановить.

Ещё раз скажу – нельзя объять необъятное.

И, наконец:

Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Если у тебя есть фонтан, то заткни его – дай отдохнуть и фонтану.



Козьма Прутков перед морем житейским,
рис. Н.В. Кузьмина

Превратности людского суждения, непредсказуемость человеческой судьбы, неуправляемость грядущего приговора истории приводили Пруткова в трепет и отчаяние.

ПЕРЕД МОРЕМ ЖИТЕЙСКИМ

*Всё стою на камне – дай-ка брошусь в море.
Что пошлёт судьба мне: радость или горе?
Может, озадачит... Может, не обидит...
Ведь кузнечик скачет, а куда – не видит.*

Публикаторы сопроводили это стихотворение ремаркой: Напоминаем, что это стихотворение написано Козьмою Прутковым в момент отчаяния и смущения его по поводу готовившихся правительственных реформ.

Первую публикацию своих стихов под общим заголовком «Досуги Козьмы Пруткова» автор снабдил следующим предисловием:

“Читатель, вот мои «Досуги»... Суди беспристрастно! Это только частичка написанного. Я пишу с детства. У меня много неоконченного. Издаю пока отрывок. Ты спросишь, зачем? Отвечаю: я хочу славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, “дым”; это неправда. Я этому не верю! Я – поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тоже!... Суди, говорю, сам, да суди беспристрастно! Я ищу справедливости; снисхождения не надо; я не прошу снисхождения!.. Читатель, до свидания! Коли эти сочинения понравятся, прочтёшь и другие. Запас у меня велик, материалов много... Читатель, прощай! Смотри же, читай со вниманием да не поминай лихом! Твой доброжелатель – Козьма Прутков. 11 апреля 1853 года”

И в дальнейшем все свои публикации Прутков датировал 11 числом, желательно апреля – но не в честь дня своего рождения, а в память об увиденном им в тот день знаменательном сне, в котором перед ним явился “голый бригадный генерал в эполетах”.



Козьма Прутков примеряет лавровый венок, рис. Н.В. Кузьмина

«Досуги» Козьмы Пруткова открывались его стихотворным автопортретом (сейчас мы бы сказали – “селфи”).

МОЙ ПОРТРЕТ

*Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг (вариант: На моем фрак);
Чей лоб мрачней туманного Казбека
Неровен шаг;
Кого волосы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, -
Знай – это я!
Кого язвят со злостью вечно новой
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвёт;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, -
Знай – это я:
В моих устах спокойная улыбка,
В груди – змея!...*

Как признавался сам Прутков, он жаждал славы – всеобъемлющей, как и его творчество, всечеловеческой, на всех поприщах – на меньшем он бы не помирился. Кабы ко времени Пруткова были изобретены мотопланы и возобновлены древнегреческие дельфийские игры, он бы летал с журавлями и открывал Дельфиаду в Сольвычегодске. Похоже, что даже лица иного пола или нетрадиционной ориентации вызывали у него ревнивые чувства.

МОЁ ЧЕСТОЛЮБИЕ

*Дайте силу мне Самсона;
Дайте мне Сократов ум;
Дайте лёгкие Клеона,
Оглашавшие форум;*

Цицерона красноречье,
Ювеналовскую злость
И Эзопово увечье,
И магическую трость!
Дайте бочку Диогена;
Ганнибалов острый меч,
Что за славу Карфагена
Столько вый отсек от плеч!
Дайте мне ступню Психеи,
Сапфы женственный стишок,
И Аспазыны затеи,
И Венерин поясок!
Дайте череп мне Сенеки;
Дайте мне Вергилиев стих, -
Затряслись бы человеки
От глаголов уст моих!
Я бы с мужеством Ликурга,
Озираясь кругом,
Стогны все Санкт-Петербурга
Потрясал своим стихом!
Для значения инова
Я исхитил бы из тьмы
Имя славное Пруткова,
Имя громкое Козьмы!



Обложка сочинений Козьмы Пруткова, художник С. Тюнин

В XX веке большую популярность получили спекуляции (в сугубо научном смысле этого слова) о том, что произведения, авторство которых традиционно приписывается Гомеру, Шекспиру или Шолохову, на самом деле, не только были написаны не ими, но и, вообще, являются плодами коллективного творчества. Поэтому даже самый неискущённый читатель совершенно спокойно примет сообщение о

том, что в реальности Козьма Прутков не просто не существовал, будучи фигурой вымышленной, но ещё и имел, по крайней мере, четырёх родителей. Как я уже говорил, Козьма Прутков появился на свет в 1853 г., впрочем первые его произведения возникли и даже были анонимно напечатаны ещё за два года до того и писались, так сказать, в четыре руки...



Козьма Прутков в кругу своих создателей:
гр. Алексей Константинович Толстой, Владимир, Алексей и
Александр Михайлович Жемчужниковы. Рис. Н.В. Кузьмина

Среди породивших Пруткова следует особо отметить замечательного русского поэта Алексея Константиновича Толстого и его кузена – Алексея Михайловича Жемчужникова. Алексей Константинович Толстой, 1817 г. рождения, умер в 1875 г. от передозировки морфия, которым пользовался от астмы и головных болей. Алексей Михайлович Жемчужников, будучи на четыре года моложе кузена, надолго пережил его – он умер в 1908 г. Иван Бунин в «Автобиографических заметках» записал его рассказ: «Мы, я и Алексей Константинович Толстой, жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах, а потом решили собрать и издать их, приписав нашему камердинеру Кузьме Пруткову.»

Несколько по-иному ту же историю излагают два других брата Жемчужниковы: Владимир и Александр: «Служил у нас тогда камердинером Кузьма Фролов, прекрасный старик, мы все его очень любили. Вот мы с братом Владимиром и говорим ему: «Знаешь что, Кузьма, мы написали книжку, а ты дай нам для этой книжки своё имя, как будто ты её сочинил... А всё, что мы выручим от продажи этой книжки, мы отдадим тебе». Он согласился. «Что ж, – говорит, – я, пожалуй, согласен, если вы так очинно желаете... А только, говорит, дозвольте вас, господа, спросить: книга-то умная аль нет?» Мы все так и прыснули со смеха. «О, нет! – говорим, – книга глупая, преглупая.» Смотрим, наш Кузьма нахмурился. «А коли,

– говорит, – книга глупая, так я, – говорит, – не желаю, чтобы моё имя под ней было подписано. Не надо мне, говорит, и денег ваших...” Когда брат Алексей услышал этот ответ Кузьмы, так он чуть не умер от хохота и подарил ему 50 рублей. “На, – говорит, – это тебе за остроумие”. Ну, вот мы тогда втроем и порешили взять себе псевдоним не Кузьмы Фролова, а Кузьмы Пруткова. С тех пор мы и начали писать всякие шутки, стишки, афоризмы под одним общим псевдонимом Кузьмы Пруткова...”



Граф Алексей Кириллович Разумовский

Несколько слов о происхождении Алексея Толстого и его кузенов – братьев Жемчужниковых. Их общим дедом был Алексей Кириллович Разумовский, сын Кирилла Разумовского, последнего украинского гетмана, брат которого – Алексей Григорьевич – был мorganатическим супругом императрицы Елизаветы Петровны. Алексей Кириллович более 35 лет прожил в фактическом браке с Марией Михайловной Соболевской, но поскольку брак этот не был освящён церковью, их пять сыновей и четыре дочери формально считались “воспитанниками” Разумовского и носили фамилию Перовские (от названия подмосковного имения Перово, где теперь станция метро). Одна из дочерей, Анна Алексеевна, вышла замуж за пожилого вдовца графа Константина Петровича Толстого. Брак этот был несчастлив; между супругами вскоре произошёл открытый разрыв, и, открывая “летопись внешних событий” своей жизни, Алексей Толстой писал: “Ещё шесть недель я был увезен в Малороссию матерью моею и моим дядей со стороны матери, Алексеем Алексеевичем Перовским, бывшим позднее попечителем Харьковского университета, известным в русской литературе под псевдонимом Антония Погорельского. Он меня воспитал и первые мои годы прошли в его имении.” Алексей Перовский примыкал к литературному кружку Дельвига, писал фантастические истории в стиле Гофмана, составившие книгу «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». Об одной из этих историй – «Лефортовская маковница» – Пушкин заметил, что был от неё “без ума”. В 1829 г. вышла “волшебная повесть для детей” «Чёрная курица, или Подземные жители», которая, собственно, только и осталась в памяти русских читателей из всего творческого наследия Погорельского.

Ещё одна дочь Разумовского – Ольга – вышла замуж за сенатора Михаила Николаевича Жемчужникова, который возводил свою родословную и родовое имя к турецкому принцу Джемю, сыну султана Оттоманской империи Мухаммада II и младшему брату унаследовавшего престол султана Баязида II. В этом браке и были рождены вышеназванные братья Жемчужниковы.

К этому можно ещё добавить, что старший сын Разумовского – Лев Алексеевич Перовский – был генерал-губернатором Санкт-Петербурга; другой сын – Василий Перовский – стал генерал-губернатором оренбургским и самарским; их племянник Лев Николаевич Перовский был губернатором Петербурга, а его дочь (их внучатая племянница) Софья Львовна Перовская стала членом Исполнительного комитета партии Народная воля и была казнена за участие в царевубийстве Александра II. Вот такое было незаурядное семейство.

Восьми лет от роду Алексей Толстой, с матерью и дядей, переехал в Петербург. При посредничестве близкого друга Алексея Перовского – Василия Жуковского – мальчик был представлен тоже восьмилетнему тогда наследнику престола, будущему императору Александру II и был в числе детей, приходивших к цесаревичу по воскресеньям для игр. Завязавшиеся таким образом дружеские отношения продолжались в течение всей жизни Толстого.



Граф Алексей Константинович Толстой (1817-1875)

Вступая в 1856 г. на престол, Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но тот отказался от этой чести. В прошении об отставке Толстой писал Императору: “Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре. Знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть тому разные способы. Путь, указанный мне для этого Провидением, – моё литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен.” О том же – в стихотворной форме:

* * *

*Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рождён, а петь!
Не дай мне Бог быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!
О Феб всеильный, на параде
Услышь мой голос с высока:
Не дай постичь мне, Бога ради,
Святой поэзии носка!*

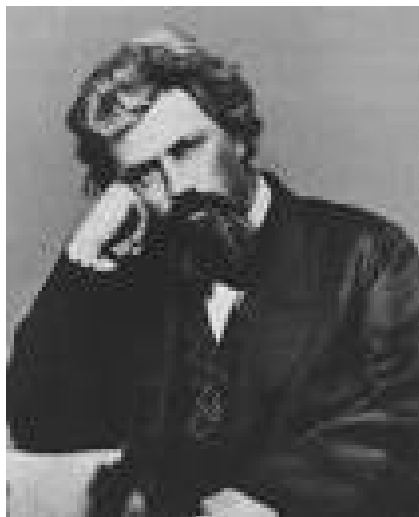
Всю жизнь Толстой на дух не принимал славянофильского умиления перед некоей “особенностью” России, оправдания этим её бедности и скудости. В частности, он резко обрушился на Тютчева с его восторгам: “Эти бедные селенья, Эта скудная природа!”

* * *

*Одарив весьма обильно
Нашу землю, Царь Небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали –
Нам на то благословенье
Царь Небесный дал едва ли!
Мы беспечны, мы ленивы,
Всё у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы –
Этим нечего хвалиться!*

В спорах западников и славянофилов, монархистов и сторонников конституции Толстой занимал независимую позицию, не связывая себя никакими идеологическими соображениями, движимый только внутренним чувством. В одном из писем жене Толстой пишет: “Я слишком художник, чтоб нападать на монархию... Но я ненавижу деспотизм, как ненавижу Сен-Жюста и Робеспьера”. В другом письме: “Я не принадлежу ни к какой стране – и принадлежу всем. Моя плоть – русская, славянская, но душа общечеловеческая.”

Алексей Михайлович Жемчужников служил в Сенате, был назначен помощником статс-секретаря Государственного совета. Его карьера развивалась вполне успешно, однако в 1858 г. он неожиданно и демонстративно вышел в отставку. Последующие пять лет жил в основном в Калуге, общаясь с несколькими поселившимися там после амнистии декабристами. Затем почти 20 лет прожил за границей: в Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Наиболее известно стихотворение Жемчужникова «Осенние журавли» (“Сквозь вечерний туман мне под небом стемневшим Слышен крик журавлей всё ясней и ясней...”), написанное в 1871 г. в Германии. Правда, более популярна оказалась переделка этого стихотворения неизвестным автором: “Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный Слышу крик журавлей, улетающих вдаль...”, лёгшая в основу известного романа неизвестного композитора.



Алексей Михайлович Жемчужников (1821-1908)

Стихи Жемчужникова были впервые собраны вместе и вышли отдельным изданием лишь в 1892 г. (в двух томах, с портретом и автобиографическим очерком); на следующий год это издание было отмечено поощрительной Пушкинской премией Российской Императорской Академии наук. В 1900 г., в честь 50-летия литературной деятельности, Жемчужников был избран почётным академиком. У него была устойчивая репутация поэта демократического направления, автора многих как лирических пейзажных, так и сатирических стихов. Он писал:

* * *

*...О, этот вид, о, эти звуки!
О, край родной, как ты мне мил!
От долговременной разлуки
Какие радости и муки
В моей душе ты пробудил!
Твоя природа так прелестна
Она так скромно-хороша!
Но нам, сынам твоим, известно,
Как на твоём просторе тесно
И в узах мучится душа ...*

По Жемчужникову, виновниками этих мук, истинными врагами страны являются те, кто больше всех говорит о своей любви к ней, о её особом пути, оправдывая все её недостатки:

*И отращения, и злобы
Исполнен к ним я с давних лет,
Они – “повапленные гробы”...*

*Лишь настоящее прошло бы!
А там – им будущего нет.*

Из другого его стихотворения – «Памятник Пушкину»:

* * *

*Вы все, в ком так любовь к отечеству сильна,
Любовь, которая всё лучшее в нём губит, -
Мне хочется сказать, что в наши времена
Тот честный человек, кто родину не любит.*



Козьма Прутков “в молодости”, рис. Н.В. Кузьмина

В 1853 г., в год “появления на свет” Козьмы Пруткова, Алексею Толстому было 36 лет, а братьям Жемчужниковым – от 32 (Алексею) до 23 (Владимиру). Как пишет современный биограф Пруткова, “кузены были очень дружны между собой, и общее их времяпрепровождение часто оборачивалось соревнованием в шутовстве и насмешничаньи. Все они были весьма к этому склонны: излюбленным занятием Толстого... было эпистолярное балагурство, Алексей Жемчужников писал комические пьесы для домашнего театра, Владимир пародировал стихи современных поэтов, Александр был неистощимым изобретателем рискованных проделок, острословом, сочинителем нелепиц, стилизованных под басни. Сочинения Александра назывались в домашнем кругу “Сапшинькиными глупостями”, однако летом 1851 г. несколько таких “глупостей” удостоились одобрения старшего брата Алексея; он доработал их стилистически, присочинил свои стихи в том же роде и принёс эту подборку в редакцию журнала «Современник». Издателя журнала Ивана Панаева эти шедевры нелепости в басенной форме рассмешили и восхитили, и он опубликовал их в ноябрьском номере журнала за 1853 г.”

Известный писатель и критик того времени Александр Дружинин откликнулся в журнале «Библиотека для чтения» обширной рецензией, начинавшейся так: “Басен этих нет возможности прочитать, не выронив книги из рук, не предавшись самой необузданной весёлости и не сделавши несколько энергических возгласов. Это верх лукавой наивности, милой пошлости, “збу-рифантности и дезопилантной весёлости”, как сказал бы я, если б желал подражать некоторым из моих литературных приятелей...”

Хотя сам образ автора этих басен – Кузьмы Пруткова – ещё только формировался, в них уже появились персонажи, пришедшие впоследствии первыми проститься со своим создателем, а именно: Пахомыч, гишпанцы...

НЕЗАБУДКИ И ЗАПЯТКИ

*Трясаясь Пахомыч на запятках,
Пук незабудок вёз с собой;
Мозоли натерев на пятках,
Лечил их дома камфарой.
Читатель! В басне сей откинув незабудки,
Здесь помещённые для шутки,
Ты только это заключи:
Коль будут у тебя мозоли,
То, чтоб избавиться от боли,
Ты, как Пахомыч наш, их камфарой лечи.*

КОНДУКТОР И ТАРАНТУЛ

*В горах Гишпании тяжёлый экипаж
С кондуктором отправился в вояж.
Гишпанка, севши в нём, немедленно заснула;
А муж её меж тем, увидев тарантула,
“Вскричал: Кондуктор, стой!
Приди скорей! Ах, Боже мой!”
На крик кондуктор поспешает
И тут же венником скотину выгоняет,
Примолвив: “Денег ты за место не платил!” –
И точас же его ногою раздавил.
Читатель! разочти вперёд свои депансы,
Чтоб даром не дерзая садиться в дилижансы,
И норви, чтобы отнюдь
Без денег не пускаться в путь;
Не то случится и с тобой, что с насекомым,
Тебе знакомым.*

Первая из этих двух побасенок была написана Александром, вторая – совместно Алексеем и Александром Жемчужниковыми. Невозможно не отметить, что тарантулы относятся к отряду паукообразных класса членистоногих, но ни в коем случае не к классу насекомых.

Несомненно, к басенному жанру (по крайней мере, в представлении Пруткова) следует отнести и миниатюры Владимира Жемчужникова, наименованные эпиграммами.

ЭПИГРАММА № 2

*Мне, в размышлении глубоко,
Сказал однажды Лизимах:
“Что зрячий зрит здоровым оком,
Слепой не видит и в очках!”*

Жанр басни во второй половине XVIII и в начале XIX века был очень популярен в России. Предшествуя Крылову или одновременно с ним, басни писали многие русские пииты разного уровня и калибра. Однако после смерти Крылова (в 1844 г.) жанр этот в русской литературе пришёл в совершеннейший упадок – то ли отпугивало неизбежное сопоставление с баснями покойного классика, то ли сам жанр на фоне расцвета реалистической и психологической сюжетной прозы потерял свою приязнательность. Реабилитация и реанимация басенного жанра в русской литературе произошла лишь в начале XX века, но это были уже совсем “другие времена, другие песни”. Пародийные басни Пруткина послужили как бы отметкой завершения крыловского этапа российского баснеписания. Отметим, что Прутков носил тот же орден святого Станислава 1-й степени, что и Крылов, со звездой которого он изображён на самых известных его портретах.

В отличие от крыловских, басни Пруткина, по сути, относятся к жанру скорее аполёга – краткой дидактической (нравоучительной) притчи. Ироническим примером может послужить опус, вышедший из-под пера братьев Алексея и Александра Жемчужниковых:

ЧЕРВЯК И ПОПАДЬЯ (басня)

*Однажды к попадье заполз червяк за шею;
И вот его достать велит она лакею.
Слуга стал шарить попадью...
“Но что ты делаешь?!” – “Я червяка давлю.”
Ах, если уж заполз тебе червяк за шею,
Сама его дави и не давай лакею.*

Понятно, что это совсем уже другой подход к самому “предназначению” басни, другой “вкус”. Ещё одна из наиболее известных басен Пруткина – «Разница вкусов», написанная Владимиром Жемчужниковым, – завершается следующим эпилогом:

* * *

*... Читатель! в мире так устроено издавна:
Мы разнимся в судьбе,
Во вкусах – и подавно;
Я это басней пояснил тебе.
С ума ты сходишь от Берлина –
Мне ж больше нравится Медынь;
Тебе, дружок, и горький хрен – малина,
А мне и бламанже – польнь.*

В конце 1920-х гг. это стихотворение Пруткина вдохновило Владимира Маяковского на написание своего варианта –

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

*Лошадь сказала, взглянув на верблюда:
– Какая гигантская лошадь-ублюдок!
Верблюд же вскричал – Да лошадь разве ты?
Ты просто-напросто верблюд недоразвитый!
И знал лишь Бог седебородый,
Что это животные разной породы.*

Другой пример – басня Пруткова

ПАСТУХ, МОЛОКО И ЧИТАТЕЛЬ

*Однажды нёс пастух куда-то молоко,
Но так ужасно далеко,
Что уж назад не возвращался.
Читатель! он тебе не попался?*

В конце 1930-х гг. это четверостишие претерпело трагическое преобразование у Даниила Хармса, в его стихотворении и судьбе:

* * *

*Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл всё прямо и вперёд
И всё вперёд глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на заре
Вошел он в тёмный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.
Но если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.*

“Зерно” образа Козьмы Пруткова, на мой взгляд, уже содержалось в записи Толстого на полях стихотворения Пушкина «Царскосельская статуя»

*Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой.
Дева над вечной струёй вечно печальна сидит.*

Алексей Константинович комментирует:

*Чуда не вижу я тут: Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив, воду провёл через неё.*

Но активно и целенаправленно Алексей Толстой включился в “проект” сотворения образа Пруткова, по-видимому, только на следующий год после первой публикации – в 1854-м. Свидетельствами и документами подтверждается его авторство

(или соавторство с Алексеем Жемчужниковым) в написании ряда лучших прутковских творений, как «Мой портрет», «Письмо из Коринфа», «Эпиграмма №1», «Юнкер Шмидт», «Желание быть испанцем», «Осада Памбы, «Как будто из Гейне» и пр.



“Юнкер Шмидт”

ЮНКЕР ШМИДТ (из Гейне)

*Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Погоди, безумный! снова
Зелень оживится...
Юнкер Шмидт! честное слово
Лето возвратится.*

Это совершенно иной профессиональный уровень, чем забавные поделки Саши Жемчужникова. В «Юнкере Шмидте» есть одна невыразительная, проходная строка – по поводу невнятной “зелени”, которая “оживится”, но в остальном это просто превосходно сделано. Памятуя об “авторстве” не своём, но Пруткова, Толстой сдерживает себя в игре рифмами, но время от времени “выдаёт” нечто блистательное вроде “обомлеем-елеем” (в науку будущему Корнею Чуковскому) или под-

сказывает Владимиру Жемчужникову “Бог помочь-Пахомыч” для «Предсмертного». Что ещё важно – эти стихи не “одномерны”, в них есть подтекст, второй-третий планы; место открытой весёлости от избытка жизненной энергии занимает тонкая ирония – недаром подзаголовком «Юнкера Шмидта» проставлено – “из Гейне”. Стихи Пруткова, вышедшие из-под пера Толстого, как выразился Маяковский, “гейнеобразны”.

На какое-то время стихотворная деятельность Козьмы Пруткова приобрела преимущественно литературно-пародийную направленность. И, что любопытно, чуть ли не первым же объектом пародирования стал сам Алексей Толстой. Помимо стихотворений «Из Гейне», автопародиями можно считать и написанные совместно с Алексеем Жемчужниковым «Осаду Памбы» и «Желание быть испанцем». Досталось от Пруткова и Пушкину с его «Чёрной шалью». Не оставил без внимания Прутков и переводческие работы Жуковского. Так, в качестве объекта пародии «Немецкая баллада» легко узнавалась баллада Шиллера «Рыцарь Тогенбург» в переводе Жуковского, а сама пародия была написана Владимиром Жемчужниковым – младшим из братьев и главным заводилой в пародировании.



Владимир Михайлович Жемчужников (1830-1884)

Владимир Жемчужников кончил Санкт-Петербургский университет. Когда началась Крымская война, записался волонтером в Стрелковый полк и участвовал в боях. Впоследствии служил по министерству путей сообщения, дослужился до чина директора департамента общих дел. После кончины Козьмы Пруткова принял самое активное участие в издании его произведений, формировании их канонического корпуса.

Язвительное перо Пруткова-пародиста было направлено главным образом на тех, кто, по выражению XX века, “делал читателю красиво”, тиражируя романтические штампы. В журнале «Современник» для пародий Козьмы Пруткова был со-

здан специальный раздел «Литературный ералаш». Первый его выпуск с предисловием Некрасова появился в февральском номере «Современника» за 1854 г. Литературные критики отозвались незамедлительно: «Писать пародии на всё и на всех – конечно, особенное искусство, но его никто не назовет поэзией. Признаемся, что мы предпочли бы быть автором какой угодно глупости без претензии, нежели господином Кузьмой Прутковым, подрядившимся пополнять остроумными статьями отдел «Литературного ералаша». Нецеремонность ералашников доходит до того, что, написав какой-нибудь вздор, они подписывают под ним "из такого-то знаменитого поэта" и смело печатают, хотя у поэта, конечно, не встречалось никогда ничего подобного.»

Основными объектами пародирования Пруткова были Николай Щербина, Афанасий Фет, Алексей Хомяков, Аполлон Григорьев, Яков Полонский, Иван Аксаков, Аполлон Майков, Владимир Бенедиктов...

ОСЕНЬ (с персидского, из Ибн-Фета)

*Осень. Скучно. Ветер воет.
Мелкий дождь по окнам льёт.
Ум тоскует. Сердце ноет;
И душа чего-то ждёт.
И в бездейственном покое
Нечем скуку мне отвести...
Я не знаю: что такое?
Что ли книжку мне прочесть?*

Ещё одно стихотворение-подобие... Впрочем, сначала фрагмент, так сказать, оригинала – стихотворения Алексея Хомякова «Желание»: «Хотел бы я разлиться в мире, Хотел бы с солнцем в небе течь, Звездой в сумрачном эфире Ночной светильник свой зажечь. Хотел бы зыбиво стеклянной Играть в бездонной глубине Или лучом зари румяной Скользить по пляшущей волне...» Стихотворение, конечно, само по себе уже достаточно пародийно, но оно отражает целое направление тогдашней русской поэзии, и «подражание» Пруткова метит не столько собственно в Хомякова, но более – в представляемый им поэтический стиль. Итак – Козьма Прутков.

ЖЕЛАНИЯ ПОЭТА

*Хотел бы я тюльпаном быть,
Парить орлом по поднебесью,
(я же говорил про журавлей!)
Из тучи ливнем воду лить
Иль волком выть по перелесью.
Хотел бы сделаться сосною,
Былинкой в воздухе летать,
Иль солнцем землю греть весною,
Иль в роце иволгой свистать.
Хотел бы я звездой теплиться,
Взирать с небес на дольний мир,
В потёмках по небу скатиться,
Блестать, как яхонт иль сапфир.*

*Гнездо, как птишка, вить высоко,
В саду резвиться стрекозой,
Кричать совою одиноко,
Греметь в ушах ночной грозой...
Как сладко было б на свободе
Свой образ часто так менять
И, век скитаясь по природе,
То утешать, то устрашать.*

В официальной российской прессе пародии Пруткова встретили крайне недоброжелательный приём. Обозреватель газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» резюмировал: «Во всех этих пародиях нет цели, нет современности, нет жизни». В мае 1854 г. появился ответ – «Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту «Санкт-Петербургских ведомостей» по поводу статьи сего последнего». «Я пробежал статейку... – начиналось Письмо Пруткова. – Здесь уверяют, что я пишу пародии: отнюдь! Я совсем не пишу пародий! Я никогда не писал пародий! Откуда взял г. фельетонист, что я пишу пародии? Я просто анализировал в уме своём большинство поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису: ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещёнными во мне едином!.. Прийдя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь: подражание именно тем поэтам, которые приобрели её в некоторой степени. Слышите ли? – "подражание", а не пародию!.. Откуда же взято, что я пишу пародии?..»



Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873)

Излюбленным объектом “подражания” Пруткова был Владимир Бенедиктов, “сослуживец” Козьмы Петровича по Министерству финансов (к которому относилась Пробирная Палатка). Бенедиктов же служил секретарём министра Канкрин, а в последние годы своей службы ещё занимал пост члена правления Государственного банка. Был он, как и Прутков, действительным статским советником, Вашим превосходительством. Литературной известности Бенедиктов достиг в 1835 г., вы-

пустив небольшую книжку стихотворений, которая привлекла к нему внимание критики и публики. Сочетание неистойвой романтической образности с прозаизмами – характерная черта стиля Бенедиктова – вызывало у одних критиков ощущение “безвкусицы”, у других – “нового поэтического стиля”. Белинский, в обзоре русской поэзии за 1835 г. заявил, что в стихах Бенедиктова виден талант стихотворца, то есть умение ловко владеть размером и рифмой, но почти совсем отсутствует поэтическое дарование. Зато Жуковский отзывался о новом поэте с восторгом. Отовсюду слышались самые лестные суждения, Бенедиктова сравнивали с Пушкиным, и сравнение это было, как правило, не в пользу последнего. Пик восторгов пришёлся на вторую половину 1830-х гг., но и в первой половине 1850-х в определённых читательских кругах Бенедиктов был ещё чрезвычайно популярен.

Иван Тургенев вспоминал о начале 1850-х гг.: “...Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал отпечаток ригористики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, даже на театральной сцене... Что было шума и грома!” Далее Тургенев называет имена наиболее заметных представителей этой “ложно величавой школы” – актёр Каратыгин, писатели Марлинский и Загоскин, поэты Кукольник и Бенедиктов... “Внешней силой, отголоском которой”, по словам Тургенева, они служили, была, конечно, провозглашённая николаевским министром народного просвещения Сергеем Уваровым пресловутая триада: “самодержавие, православие, народность”... И, разумеется, эта “внешняя сила” была имперсонифицирована в личности самого императора Николая I. Так, патриотическая ода Владимира Бенедиктова «Москва» с изложением истории России заканчивалась так:

* * *

*Так, славу Руси охраняя,
Творец миров, зиждитель сил
Бразды державные вручил
Деснице мощной Николая!*



П. Клодт. Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге

Периоду начала 1850-х гг., о котором говорит Тургенев, для Николая I предшествовал период унижительного испуга: в 1848 г. по Европе прокатилась волна революций, получивших название “весна народов”. Революционные волнения охватили Францию, Германию, государства Италии, Австрию, где активизировались национально-освободительные движения итальянцев, венгров, хорватов. Николай имел основания опасаться, что эти волнения перекинутся и на Россию. По приказу Николая, русские войска приняли непосредственное участие в подавлении венгерского восстания.

Во Франции революция привела к низвержению короля Луи-Филиппа и провозглашению Второй республики, президентом которой был избран племянник Наполеона, сын его брата Людовика и его падчерицы Горации Богарне, – Луи-Наполеон Бонапарт. Со временем его правление становилось всё более авторитарным, и в декабре 1852 г. он провозгласил себя императором. Николай счёл для себя унижительным обращаться в письмах к новоиспечённому монарху “брат”, как если бы тот был наследным правителем, и отказывался признавать за ним титул Наполеона III, что, естественно, было воспринято последним как личное оскорбление. К тому же у России с Францией и Турцией назрел болезненный дипломатический конфликт по вопросу контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме, в Палестине, входившей тогда в состав Оттоманской (турецкой) империи. Конфликт этот был разрешён турками в пользу католической церкви, Франции.

Всё это, вместе взятое, привело Николая к идее проведения очередной победоносной русско-турецкой военной кампании – в порядке как бы “сублимации” или, что ли, отвлечения для российского общества. Предыдущая русско-турецкая война 1828-29 гг. закончилась подписанием Адрианопольского мира, по которому к России перешла большая часть восточного побережья Чёрного моря и дельта Дуная на западном побережье, Османская империя признала российский протекторат Грузии и значительной части Армении, даровала автономию Сербии. Теперь Николай был нацелен на полное лишение Турции её балканских владений, преимущественно населённых православными народами, и достижение контроля над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Чёрное море со Средиземным, – заветная мечта Екатерины II, а также на расширение русских владений в Закавказьи и усиление присутствия России в Палестине.

Вопреки тому, что обычно утверждается официальной российской историографией, весьма консервативный российский дипломат, философ и публицист Константин Леонтьев отмечал: “Война 53-го года возгорелась не из-за политической свободы единоплеменников наших, а из-за требований преобладания самой России в пределах Турции... Сам Государь считал себя вправе подчинить себе султана, как монарха Монарху, — а потом уже, по своему усмотрению (по усмотрению России, как великой Православной Державы), сделать для единоверцев то, что заблагорассудится..”

Эта имперская позиция нашла фанатическую поддержку в русской так называемой патриотической поэзии. Лучше всего это видно на примере Фёдора Ивановича Тютчева. (Я, в частности, писал об этом в эссе «Перечитывая Тютчева» – Вестник, 2001, № 24).

Самый конец 1840-х и начало 1850-х гг. – время бурной политической и поэтической активности Тютчева. Неколебимость российской империи на фоне общей европейской нестабильности пробуждает в Тютчеве сильнейшие геополитические амбиции. В ноябре 1849 г. появляется его стихотворение «Рассвет»:



Фёдор Иванович Тютчев, фото К. Даутендея, 1850-51

РАССВЕТ

*Не в первый раз кричит петух;
Кричит он живо, бодро, смело;
Уж месяц на небе потух,
Струя в Босфоре заалела.
Ещё молчат колокола,
А уж восток заря румянит.
Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет.
Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?
Раздайся, колокольный звон,
И весь Восток им огласится!
Тебя зовёт и будит он, –
Вставай, мужайся, ополчися!
В доспехи веры грудь одень,
И с Богом, исполни державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!*



Утро в Стамбуле, цветное фото начала XX века

В другом программном в геополитическом плане стихотворении Тютчев, излагая своё понимание “призвания” России, проповедовал экспансию России, обосновывая её историческими прецедентами и “всемирной судьбой”:

* * *

*Не верь в Святую Русь, кто хочет,
Лишь верь она себе самой, -
И Бог Победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех её царей, -
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орёл Екатерины
Уж прикрывал свои крылом, -
Венца и скипетра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России –
Нет, вам её не запрудить.*

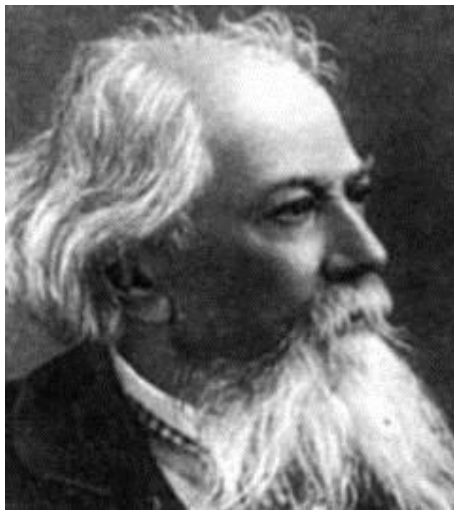
Удивительно, что 160 лет спустя на концерте в Кремлёвском дворце в присутствии членов правительства и кремлёвской “элиты” на сцене оказывается Жанна Бичевская, исполняющая песню Геннадия Пономарёва «Жуликово поле» с таким финалом:

* * *

*... Возвратит Россия русский Севастополь,
Станет снова русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный,*

*Наш Константинополь
И святыня мира – Иерусалим.
И назло масонам и другим злодеям,
Тем, кто к христианам злобою кипит,
Куликово поле вспомним и прозреем,
И святыня эта нас соединит!*

Я уже не говорю об очевидной подмене слов: вместо “другим злодеям” явно должно звучать нечто более определённое, лучше рифмующееся с “прозреем”. Но весь текст песни, особенно учтывая последующий крымский “референдум” и “воссоединение” Крыма с Россией в марте-апреле 2014 г., невольно заставляет вспомнить риторику Тютчева 160-летней давности и последующее развитие событий. Кстати, сама песня и её исполнение Бичевской просто превосходны как пропагандистский материал – вполне на уровне, скажем, песен «Если завтра война...» или «Хорст Вессель».



Алексей Михайлович Жемчужников

Спустя много лет после “кончины” Козьмы Пруткова, в 1883 г., Алексей Жемчужников писал из Бёрна своему брату Владимиру, жившему во Франции, в ответ на просьбу принять участие в написании биографии Пруткова: “Достопочтенный Косьма Прутков – это ты, Толстой и я. Все мы тогда были молоды, и “настроение кружка“, при котором возникли творения Пруткова, было весёлое, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и к явлениям современной жизни. Хотя каждый из нас имел свой особый политический характер, но всех нас соединяла плотно одна общая черта: полное отсутствие “казённости“ в нас самих и, вследствие этого, большая чуткость ко всему “казённому“. Эта черта помогла нам – сперва независимо от нашей воли и вполне непреднамеренно – создать тип Кузьмы Пруткова, который до того казённый, что ни мысли его, ни чувству недоступна никакая, так называемая, злоба дня, если на неё не обращено внимания с казённой точки зрения. Он потому и смешон, что

вполне невинен... Уже после того, по мере того как этот тип выяснялся, казённый характер его стал подчёркиваться...”

В творческом наследии Пруткова, кажется, нет текстов, которые прямо противостояли бы полигической и патриотической риторике Бенедиктова, Майкова, Тютчева; имя последнего вообще, кажется, не встречается в полном собрании сочинений Пруткова. Однако спустя почти сто лет после кончины Пруткова, в 1959 г., В.Э. Богорадом в архивах было обнаружено и опубликовано («Литературное наследство», № 67) неизвестное до тех пор стихотворение Козьмы Пруткова.



Современный “русский”

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПЕСНЬ

*Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречню лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись...
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся...
Ах, и вам ли, вам, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плёвое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолах, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, — вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?!*

Скорее всего, это стихотворение было написано как раз в 1854 г. И по содержанию, и по стилю оно сильно отличается от других произведений Пруткова, хотя во многом близко творчеству Алексея Толстого.

В том же году в «Современнике» (№№ 2 и 6) были частично опубликованы «мысли и афоризмы» Пруткова, вошедшие впоследствии в его «Плоды раздумья». Есть основания полагать, что основной вклад в их создание также принадлежит Алексею Толстому. Невольно порой возникающие ассоциации с современностью, всевозможные аллюзии следует рассматривать в общем плане как, безусловно, случайные, но порой те же самые ассоциации свидетельствуют о глубоком, если и не понимании, то ощущении Прутковым некоторых общих закономерностей исторического развития России. И уж во всяком случае, «мысли и афоризмы» Пруткова неизбежно отразили в себе политические события своего времени. Любопытна и трансформация «мыслей и афоризмов» Пруткова в рисунках Кузьмина и в нашем современном восприятии – и тех, и других.

Из «Плодов раздумья» Козьмы Пруткова.



Матрёшки, рисунок Н.В. Кузьмина

*Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною ещё большая.
Нет вещи столь малой, в которую не вместились бы ещё меньшая.*

Если бы всё прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто бы был в силах разобрать: где причины и где следствия?

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

Имея в виду какое-либо предприятие, помысли, точно ли оно тебе удастся.

Когда народы между собой дерутся, это называется войной.

Последняя простодушная констатация невольно вызывает в памяти столь же безмятежное «Она утонула...» Тема вождя, побудительных мотивов и результатов его действий немало занимает и Пруткова, и Кузьмина, и, конечно, нас с вами.

Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру.

Лучше держать вожжи, чем бразды правления.

Только в государственной службе познаешь истину.

Самолюбие и славолюбие суть лучшие удостоверения бессмертия души человеческой.

154. Хорошего правителя справедливо уподобляют жуцеру.



Рисунок Н.В. Кузьмина

Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь.

Что есть лучшего? – Сравнив прошедшее, свести его с настоящим.

Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу.

Муравьиные яйца более породившей их твари; так и слава даровитого человека далеко продолжительнее собственной его жизни.

Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли.

Человек довольствуется вожделения свои на обоих краях земного круга.

Чужой нос другим соблазн.

Козыряй!

Исполнение предприятия приятно щекочет самолюбие.

Ещё раз скажу – никто не обнимет необъятного.

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна.

Стремись исполнить свой долг, и ты достигнешь двоякой цели, ибо тем самым его исполнишь.

Укрываться от дождя под дырявым зонтиком столь же безрассудно, как чистить зубы наждаком или сандараком.

Если на клетке слона прочтёшь надпись “буйвол”, не верь глазам своим.

Мудрость, подобно черепаховому супу, не всем доступна.

Под сладкими выражениями таятся мысли коварные: так, от курящего табак нередко пахнет духами.

Ну и, наконец, рисунок Кузьмина, который, как мне кажется, наилучшим образом раскрывает связь «Плодов раздумья» с событиями всё того же, 160 лет назад, 1854 г., с ходом Крымской войны – Прутков на коне!

Кузьмин соотнёс свой рисунок с афоризмом Пруткова “Если хочешь быть красивым – поступи в гусары!” Но, пожалуй, в большей степени он соотносится с казённым “Военные люди защищают отечество!” Сам же рисунок, похоже, что вдохновлён клодтовским памятником Николаю. Вот так, скорее всего, казённый Петербург представлял себе предстоящую русско-турецкую войну. На самом деле, события развивались совсем по-другому сценарию.



Прутков на коне, рис. Н.В. Кузьмина

Война закончилась подписанием 18 марта 1856 г. в Париже мирного договора, по которому Черное море объявлялось нейтральным и России было запрещено держать там военно-морской флот. Кроме того, Россия лишалась захваченной в этой войне крепости Карс в Армении, устья Дуная, южной части Бессарабии, и возможностей влияния на Сербию, Молдавию и Валахию.



Франц Крюгер. Портрет императора Николая I

Император Николай не дожил до этого – он скончался 18 февраля 1855 г. Четвёртый из братьев Жемчужниковых, Лёв, писал о его смерти: “Смущённый, он ежедневно молча смотрел на неприятельский флот под Кронштадтом, надел солдатскую шинель, худел, слабел и умер от стыда и огорчения”. Непосредственной причиной смерти явилось воспаление лёгких, но в обществе и в народе ходили упорные слухи, так окончательно и не опровергнутые, о самоубийстве. Уже будучи на смертном одре, император сказал наследнику: “Сашка, сдаю тебе команду в дурном порядке!” И даже Тютчев, находившийся под сильнейшим очарованием николаевского режима, после севастопольской катастрофы и смерти Николая находит самые жёсткие слова в его адрес, совсем непохожие на то, что он писал всего несколько лет назад: “*Не Богу ты служил и не России, Служил лишь суете своей, И все дела твои, и добрые, и злые, – Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые: Ты был не царь, а лицедей.*” И в частном письме – “Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека”.

Как пишут современные российские историки, “Николай I не понимал Запада, и недооценивал его решимости, зато переоценивал собственные силы. На предупреждение Наполеона III против начала военных действий он надменно ответил: “Россия в 54-м году та же, какой была в 12-м!” Уничтожив ростки гражданского общества, и построив “вертикаль власти”, Николай работал, “как раб на галерах”, по 12 часов в сутки, спал у себя в кабинете на солдатской койке, знал по фамилиям всех гвардейских офицеров и петербургских городских, вмешивался в личную жизнь придворных и рассматривал рапорты о наказании пьяных извозчиков. При этом Россия имела почти двухмиллионную армию, но выплавляла чугуна на душу населения в 20 раз меньше Англии, и вступила в Крымскую войну с единственной железной дорогой, гладкоствольными ружьями и 24 военными пароходами против 150 английских и 108 французских...”

В Крымской войне Россия потеряла полмиллиона человек – вдвое больше, чем неприятель. Задним числом было признано, что виной тому отсталое вооружение, ужасные дороги, неустройство интендантской части. Профессор Московского университета Тимофей Грановский в “самиздатской” статье того времени «Мысли вслух об истекшем 30-летию в России» (1855 г.) так резюмировал основные приоритеты внутренней и внешней политики Николая: “Поддержание status quo в Европе...; возвешение и ограждение словом и делом охранительного, неограниченного монархического начала повсюду; преимущественная опора на материальную силу войска; поглощение властью, сосредоточенной в одной воле, всех сил народа, что особенно поражает – в организации общественного воспитания и в колоссальном развитии административного элемента в ущерб прочим,... подавление всякого самостоятельного проявления мысли и надзор над нею; регламентация, военная дисциплина и полицейские меры... Всё это неопровержимо обличает присутствие у нас системы, мешающей правильному развитию... нравственных, умственных и материальных сил.”

Современный исследователь творчества Пруткова подводит итог: “Именно эти человеческие качества – уверенность в себе, самоупоение, начальственную величавость – пародировал Козьма Прутков на своем скромном уровне директора Пробирной Палатки, и мы можем без большой натяжки допустить, что, в конечном счёте, пародировал он ни больше ни меньше как самого государя императора”.

В 1855 г. имя Козьмы Пруткова напрочь исчезло с журнальных страниц. Началось новое царствование, шло время, а о Пруткове по-прежнему ничего не было слышно – граф Алексей Толстой, выйдя в отставку, жил в основном в своих

поместьях Пустынька и Красный Рог и обратился к “большой” литературе – в этот период были написаны поэмы «Грешница» и «Иоанн Дамаскин», роман «Князь Серебряный» и пьеса «Дон Жуан». Алексей Жемчужников, не дождавшись реформ, также вышел в отставку в 1858 г. и уехал сначала в провинцию (в Калугу), а затем за границу. У оставшихся в Петербурге братьев Владимира и Александра Жемчужниковых не получалось представить себе Пруткова в новых условиях – слишком плотно он был связан с ушедшим (или – уходящим) временем. Спустя много лет Александр Блок писал о Пруткове, что он явился “естественной реакцией против несмеющейся эпохи” Николая I – эпохи “предписанного мышления и торжества благонамеренности”.



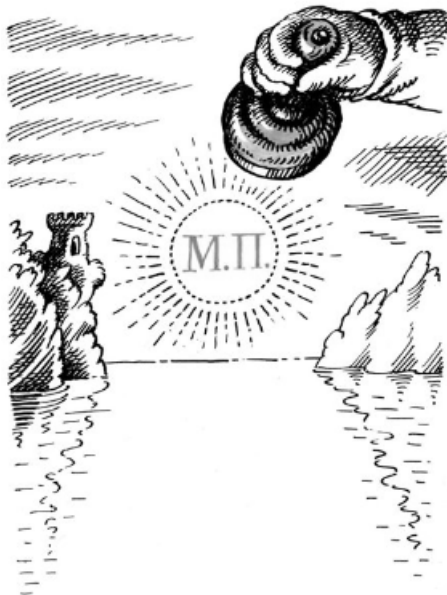
Ещё три Николая: Н.А. Некрасов, Н.А. Добролюбов и Н.Г. Чернышевский – в редакции «Современника»

Но вот через пять лет о “забытом гении” вспомнил новый распорядитель сатирического отдела журнала «Современник» Николай Добролюбов. По его инициативе, с 1858 г. начал выходить “журнал в журнале” – сатирическое приложение «Свисток», где в 1860 г. появились новые (или, по крайней мере, ранее не печатавшиеся) произведения Козьмы Пруткова: стихотворения и басни, дополнившие былые «Досуги Козьмы Пруткова» – теперь они носили название «Пух и перья», взятое с вывески некоей немецкой лавки на Васильевском острове: Daunen und Federn. Почти одновременно с появлением «Свистка» поэт Василий Курочкин и художник-карикатурист Николай Степанов начали издавать сатирический журнал «Искра», который также печатал Пруткова.

Публикация «Пуха и перьев» в журнале «Современник» № 3 за 1860 г. сопровождалась Предисловием самого Пруткова: *“Я знаю, читатель, что тебе хочется знать, почему я так долго молчал? Мне понятно твоё любопытство!.. В обществе заговорили о каких-то новых потребностях, о каких-то новых вопросах... Я – враг всех так называемых вопросов! Я негодовал в душе – и готовился поразить современное общество ударом; но... Так прошло более трёх лет. Время показало мне, что я боялся напрасно. Общество наше оклеветано; оно изменилось только по наружности... Мудрый смотрит в корень: я посмотрел в корень. Там всё по-преж-*

нему... Это успокоило меня. Я благословил судьбу и вновь взялся за лиру!.. 24 октября 1859 года.”

Наверное, лучшим из того, что было опубликованного во время “второго пришествия” Пруткова, следует, по-моему, назвать “лирическо-бюрократическое” стихотворение, названное «К М.П.» – к Месту Печати. Напомню, что в церковно-славянской азбуке полное наименование букв М и П звучало как мыслéте и покой.



К М.П. – иллюстрация Сергея Тюнина

*Люблю тебя, печати место,
Когда без сургуча, без теста,
А так, как будто угольком,
М. П. очерчено кружком!
Я не могу, живя на свете,
Забить покоя и мыслéте,
И часто я, глядя с тоской,
Твержу: “мыслéте и покой”!*

Добролюбов, публиковавший творения Пруткова в «Свистке», в 1860 г. (предпоследнем году его жизни – он умер двадцати пяти лет от роду) неоднократно ставил Пруткова “в пример”, использовал как пример для сравнения, говоря о состоянии русской поэзии: “Художественный индифферентизм к общественной жизни и нравственным вопросам, в котором так счастливо прежде покоились гг. Фет и Майков (до своих патриотических творений) и другие, – теперь уже не удаётся новым людям, вступающим на стихотворное поприще. Кто и хотел бы сохранить прежнее бесстрашие к жизни, и тот не решается, видя, что чистая художественность привлекает общее внимание только в творениях Кузьмы Пруткова.”

От Александра II российское общество нетерпеливо ждало реформ: крестьянской (освобождение крестьян от крепостной зависимости произошло в 1861 г.), образования, судебной, земской (1864 г.), военной (1870). Трагическое, насколько может быть трагическим стихотворение Пруткова, «Перед морем житейским»: “Всё стою на камне – Дай-ка брошусь в море. Что пошлёт судьба мне, Радость или горе?..”, написанное Алексеем Жемчужниковым и напечатанное только после кончины Пруткова, напомним – сопровождалось примечанием о том, что было написано им “в момент отчаяния и смущения его по поводу готовившихся правительственных реформ”. Реформы были несовместимы с Прутковым (или, точнее – он с ними).



Портрет К. Пруткова из собрания
Брянского литературного музея им. А.К. Толстого

И вот в 1859 г. Владимир Жемчужников “по поручению” Пруткова и от его имени набросал черновик «Проекта о введении единомыслия в России». Сам «Проект...» состоит из трёх частей: Приступ, собственно Трактат и Заключение. В Приступе (сиречь Предисловии) словам тесно от обуревающих автора эмоций:

“Наставить публику. Занеслась. Молодость; науки; незрелость!.. Вздор!.. Неуважение мнения старших. Собственное мнение! Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверия начальства?! Откуда оно возьмётся? На чём основано?..”

И далее, уже в Заключении: “На основании всего вышеизложенного и принимая во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем просторном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; с другой же стороны – невозможность достижения сей цели без дарования подданным надёжного руководства к составлению мнений – не скрою..., что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на

каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным (полицейским и административным) содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надёжною звездою, маяком, вехою. Пагубная наклонность человеческого разума обсуждать всё происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся наклонности возбуждать "вопросы" по делам общественной и государственной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых "вопросов"!

С учреждением такого руководительного правительственного издания даже злонамеренные люди, если б они дерзнули быть иногда несогласными с указанным "господствующим" мнением, естественно, будут остерегаться противоречить оному, дабы не подпасть подозрению и наказанию. Можно даже ручаться, что каждый, желая спокойствия своим детям и родственникам, будет и им внушать уважение к "господствующему" мнению; и, таким образом, благодетельные последствия предлагаемой меры отразятся не только на современниках, но даже на самом отдаленном потомстве.

Зная сердце человеческое и коренные свойства русской народности, могу с полным основанием поручиться за справедливость всех моих выводов. Но самым важным условием успеха будет выбор редактора для такого правительственного органа...

Естественно, что в качестве такого редактора Прутков видел себя: "Редактором должен быть человек, достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своею преданностью, пользующийся славою литератора, несмотря на своё нахождение на правительственной службе, и готовый, для пользы правительства, пренебречь общественным мнением и уважением вследствие твердого убеждения в их полнейшей несостоятельности..."

«Проект...» был опубликован в журнале «Современник» лишь в 1863 г., уже после объявления о кончине Пруткова.

Очень любопытно использование прутковского проекта, в комедии Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты...». Комедия была впервые напечатана в журнале «Отечественные записки» и поставлена на сцене Императорского Александринского театра в 1868 г., то есть через пять лет после публикации прутковского «Проекта...»

Главное действующее лицо комедии – "молодой человек" по фамилии Глумов – является на приём к Крутицкому, который в списке действующих лиц обозначен как "старик, очень важный человек". Вот их диалог:

Крутицкий: – Готово?

Глумов: – Готово, Ваше превосходительство. (подаёт тетрадь)

Крутицкий, рассматривая тетрадь: – Чётко, красиво, отлично. Bravo, bravo! Трактат... Отчего же не прожект?

Глумов: – Прожект, Ваше превосходительство, когда что-нибудь предлагается новое, а у Вашего превосходительства, напротив, всё новое отвергается...

Крутицкий: – Так Вы думаете, трактат?



Евгений Лебедев в роли Крутицкого
в спектакле БДТ «На всякого мудреца...»

Глумов: – Трактатлучше-с.

Крутицкий: – Трактат? Да, ну пожалуй. «Трактат о вреде реформ вообще»... “Вообще”- то не лишнее ли?

Глумов: – Это же главная мысль Вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны...

Крутицкий: – Да... но если что-нибудь изменить, улучшить – я против этого ничего не говорю.

Глумов: – В таком случае это будут не реформы, а поправки, починки.

Крутицкий: – Да, так, правда. Умно, умно. У Вас есть тут, молодой человек, есть. Очень рад, старайтесь!

Без Пруткова тут, явно, не обошлось!

Козьма Петрович Прутков скончался 11 января 1863 г. “от органических причин”. Краткий некролог (“Ужасное горе постигло семейство, друзей и близких Козьмы Петровича Пруткова, но ещё ужаснее это горе для нашей отечественной литературы. Да, его не стало! Его уже нет!..”) и два посмертные его произведения (одним из которых как раз и был «Проект о введении единомыслия в России») были напечатаны в журнале «Современник» 1863 г. № 4 – такое решение было принято тремя его “присными”, по выражению Владимира Жемчужникова, а именно: им самим, его братом Алексеем и кузеном Алексеем Толстым. И, действительно, – время Козьмы Пруткова ушло, и делать ему на земле было решительно нечего. Кроме того, в начале 1860-х гг. именем Пруткова стали бесцеремонно пользоваться разного рода мелкие литераторы-бумагомайки, принявшиеся взапуски обличительствовать и ёрничать “под Пруткова”. Так что, вроде бы, он совершенно вовремя сошёл со сцены.



Надгробие Козьмы Пруткова

Но прижизненная и посмертная слава его была так велика, что уже в 1873 г. Николай Васильевич Гербель включил стихи Пруткова в составленную им (конечно, Гербелем, а не Прутковым!) антологию «Русские поэты в биографиях и образцах», отметив, что они (стихи Пруткова) “отличаются тем неподдельным, чисто русским юмором, которым так богата наша литература...”



Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова, СПб: 1884

Важной вехой в судьбе творческого наследия Козьмы Пруткова было издание его «Полного собрания сочинений», выпущенного в 1884 г. усилиями Владимира Жемчужникова, поставившего задачу формирования прутковского «канона» и отсеечения множества появившихся к тому времени подделок. Собрание сочинений было снабжено биографией автора и его портретом – тем самым ещё 1853 г.

Первый тираж книги (600 экземпляров) был раскуплен довольно быстро. Но, как ни забавно, именно «прогрессивная» печать встретила издание «в штыки» как «пустячное балагурство». И лишь рецензент реакционного «Нового времени» Виктор Буренин взял Козьму Пруткова под защиту и разглядел в реакции блюстителей порядка в литературе: «казённый либерализм», чванное отсутствие чувства юмора, а также «тупость и литературное и эстетическое невежество» – зеркальное отражение мира Пруткова.

Примечание

¹ Настоящий материал был подготовлен к публикации в 2014 году, однако по независящим от автора обстоятельствам не был в своё время опубликован, но, по мнению автора и к его глубочайшему сожалению, ни в малой степени не утратил актуальности и посему предлагается читателю в своём изначальном виде.



Михаил Шифман

ТЕТРАДЬ, НАЙДЕННАЯ НА ЧЕРДАКЕ

Итак, с чего начать? Пожалуй, с воспоминаний... Будущего у меня нет, о настоящем думать не хочется, остается прошлое... После укола, когда боль стихает, я закрываю глаза и проваливаюсь в прошлое...

Меня зовут Шарлотта, Шарлотта Шлезингер. Для друзей же я – Бимбус... Мое самое раннее воспоминание — белая мягкая борода и добрые глаза дедушки... Мама рассказывала, что мое первое слово было “дед”, а не “мама” как у всех нормальных детей. Впрочем, все в жизни у меня было ненормально...

Мой дед Мойзес Штарк был главным раввином Праги. А мы — папа, мама, мой брат Ганс и я — жили в Берлине. Когда он приезжал к нам в гости, он проводил со мной все время. Он знал тысячи сказочных историй, иногда страшных, иногда смешных, и все они происходили в городе его детства, Кубине, в Словакии. Это был мой волшебный город, город музыки, в котором жили феи и эльфы.

Когда я родилась (а было это в 1909 году), моему брату Гансу было 2 года. Мой отец был скрипачем — “самым лучшим в Берлине”, как говорила моя мама.

Ну вот, пришла милая Роза, сделала укол, и я могу диктовать ей дальше.

Мои родители развелись. Не знаю почему, в то время я была еще маленькой девочкой. Дед всегда относился к отцу холодно. Почему мама не взяла меня к себе, а папа отправил меня к дяде Рудольфу — не знаю. Рудольф был слегка сумасшедшим журналистом, а потом занялся кино. Его фамилия была Шварцкопф, и она ему идеально подходила: у него действительно была копна черных волос. Он относился ко мне как ко взрослой, и скоро понял, что я жила в мире музыки. Когда мне исполнилось одиннадцать, он нашел мне преподавателя фортепьяно и композиции. Вскоре меня приняли в Академическую школу музыки в Берлине. Начались мои сольные выступления. Однажды, я играла Гайдна, а потом на бис, никому не говоря, сыграла две свои вещи. Профессор меня похвалил за Гайдна и сказал: “Что-то не могу припомнить у Гайдна того, что вы играли на бис.” Пришлось сознаться. Он только покачал головой.

На концертах я стала исполнять свои собственные композиции. Вскоре я попала в класс Пауля Хиндемита. Для меня это было большой удачей. Ему понравилась моя кантата “Машина” на слова Юлиуса Пагеля. В 1930 году Пауль Хиндемит поручил мне постановку его композиции “Строим город”.

Это было лучшее время моей жизни, но тогда я этого не понимала...

Когда мне было лет 14, я окончательно и бесповоротно поняла, что не красива, просто уродлива, и у меня никогда не будет мужчины. Боже, как я рыдала в тот день. Меня некому было утешить. Рудольф бы не понял. Слезы лились из меня ручьем, но я ничего не могла с собой поделать.

Моя жизнь переломилась надвое в 1929: на одной богемной вечеринке — вся берлинская богема — я познакомилась с Ним. Он был высоким, вероятно при-

влекательным, просто захватывающим весельчаком, и очень умным. Когда я его увидела, у меня закружилась голова. Он был со своей подружкой, высокой стройной женщиной, его коллегой. Странно... ее как и меня звали Шарлоттой. Я понимала, что между нами ничего быть не может, но меня к нему неудержимо тянуло.

Повседневная жизнь в Берлине менялась, даже я это заметила. Она стала лихорадочно сюрреалистической. Публика, заполнявшая концертные залы, несла в себе какое-то неоформленное аморфное беспокойство... Изменения происходили медленно, как туман в зимний день медленно проникает в каждую щель. Люди стали сторониться друг друга и тщательнее выбирать темы для общих разговоров. У берлинцев появилась привычка, которую стали называть "немецкий взгляд", *der deutsche Blick*: быстрый взгляд украдкой во все стороны.

В сентябре 1933 правительство создало Имперскую палату культуры под контролем Геббельса, чтобы обеспечить "надлежащую" патриотическую точку зрения у музыкантов, актеров, художников, писателей, журналистов и режиссеров. В октябре был принят закон об увольнении из редакций газет, журналов и издательств евреев и политически "неправильных" арийцев. Министерство коммуникаций запретило абонентам, диктуя фамилию по буквам по телефону, говорить "D как в слове Давид," потому что "Давид" было еврейским именем. Абонент должен был говорить "D как в слове Дора".

Я сблизилась с семьей Хоутермансов, стала их лучшим другом. Я говорю семьей, потому что Фриц (у него было смешное прозвище Физль) и Шарлотта (у нее тоже было прозвище, Шнакс) вскоре поженились. Через несколько месяцев Шарлотта забеременела и у них родилась девочка. Я старалась не выдать себя ни взглядом ни словом... Не знаю, что Шнакс думала обо мне, замечала ли она мою любовь к Фрицу. Думаю что да, ведь женщины понимают это интуитивно. Но так или иначе, она ничем себя не выдала. Они часто устраивали вечеринки, на которых собирались коллеги-физики и вообще интеллектуалы из разных стран, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Америки, Англии. Я была непременной участницей. Обычно сначала говорили о политике. Фриц был коммунистом, и считал, что если взяться дружно всем вместе, то мир можно перестроить так, чтобы он стал справедливым ко всем. Он часто рассказывал, что именно такой мир строить в Советском Союзе. Я смотрела на него влюбленными глазами, и мне хотелось верить каждому его слову. Потом мы переходили к музыке. Профессиональных музыкантов кроме меня в нашей компании больше не было, но были любители. Мы играли по очереди и обычно расходились далеко за полночь.

В 1933 году меня уволили. Точнее, уволили всех евреев, включая меня. Какое счастье, что мой любимый дед Мойзес не дожил до этого. Отец позвонил мне и сказал, что уезжает в Южную Америку, но мы даже не встретились перед отъездом. Я была в полной растерянности. Как жить дальше?..

Через пару дней вечером, я зашла к Хоутермансам. Меня встретила Шарлотта, предложила выпить кофе с моим любимым пирогом. Она сказала: "Нам

нельзя больше оставаться в Германии. Фрица могут арестовать. Ему предложили работу в частной компании в Лондоне. Мы уезжаем.”

Я разревелась. Шарлотта приняла это по-своему, и стала меня успокаивать: “Я знаю, что ты потеряла работу, и тебе не на что жить... Может быть, твой отец поможет тебе перебраться в Аргентину...”

Пришел Фриц. Он повторил, все что я уже знала и добавил, что его пригласили на работу в компанию Исаака Шенберга. “Он родился в Российской империи и до войны строил там радиостанцию. Потом, в 1914, его переманил Маркони, а сейчас он в Лондоне, запускает английское телевидение. Зарплата конечно так себе...” Фриц сделал паузу и сказал: “Я знаю, что тебе теперь не на что жить. Присоединяйся к нам в Лондоне, место в доме, который мы снимем, хватит на всех.”

Ганс, мой брат, зашел, чтобы проведать меня, и сменить Розы. Я знаю, что на меня нынешнюю — скелет обтянутый кожей — трудно смотреть. Он заходит регулярно, три раза в неделю после работы. В отличие от меня, он никогда не верил в рай на земле и не сочувствовал коммунистам. Впрочем, как и нацистам. Еще в самом начале, когда визу можно было получить относительно легко, он уехал из Вены в Лондон. У него был особый талант. У некоторых людей перед сменой погоды начинает болеть голова. А у него она начинала болеть за день-два до резкого изменения курсов валют. Он всегда угадывал, в какую сторону, и после разгрома Германии в 1945 году заработал на этом кучу денег. Сейчас (в 1976 году) я живу (если это можно так назвать) в лондонской квартире, которую он купил для меня, когда я заболела. Он же платит моей сиделке Розы.

После того, как Хоутермансы устроились в пригороде Лондона, я переехала к ним. У них дома опять собирались физики, но это была совершенно другая компания. В основном, они были так или иначе связаны с лабораторией Капицы в Кембридже. Я запомнила лучше других Георгия Гамова, Сашу Лейпунского и самого Капицу. Из бывших берлинских знакомых у Хоутермансов бывали Паули, Пайерлс, и Поланьи. Разговаривали либо о политике, либо о физике. Я чувствовала, что Фрицу в глубине души было трудно переносить обсуждение новостей фундаментальной науки. Его чисто инженерная работа у Исаака Шенберга ему явно не нравилась. Вдобавок, ему не нравилась английская пища и английский юмор... Шарлотта тоже как-то увяла. Она редко улыбалась, и еще реже смеялась. Год, что я провела с ними в Лондоне, ни для кого не был счастливым... Английской интерлюдии не суждено было длиться долго. К тому же, найти работу для меня в Англии в то время оказалось совершенно невозможно...

В один из вечеров весной 1934 года к нам заглянул мой брат Ганс. Было еще довольно рано, Шарлотта ушла на прогулку, а Фриц не вернулся с работы. Я готовила ужин. Ганс ошарашил меня: “Есть временная работа в Венской консерватории, аккомпаниатором, на полгода или, может быть, даже на год. Там тебя еще помнят. Я обо всем договорился.”

Так я попала в Вену. Я понимала, что было категорически неправильно так долго оставаться с Хоутермансами, но когда я уехала из Англии, мне не стало легче на душе. В Вене у меня были знакомые: Алекс Вайсберг, Лаура Штрикер и ее дочь Ева, Эльза Г. Но Алекс и Ева в это время уже уехали в Советский Союз, а Лаура моталась между Москвой и Веной, и одновременно пыталась получить визу в Америку. Обстановка в Вене была не такой плохой, как в Берлине, но по всему чувствовалось, что это временное хрупкое равновесие, и приход нацистов к власти не за горами. Я была предоставлена самой себе. Жизнь была как серая вата. Заводить новые знакомства не хотелось. Да и с кем? Беженцы из Германии приходили и уходили в никуда, в поисках убежища. Единственная женщина, которая изредка приглашала меня на чашечку кофе, была моя квартирная хозяйка, фрау Мария, пожилая русская дама, которой пришлось бежать из Петербурга, когда власть в России перешла к большевикам. Ее муж был начальником петербургской электростанции. Матросы приходили к ним с обыском каждую неделю. Искали золото и бриллианты. Во время одного из таких обысков ее мужа застрелили в упор, у нее на глазах. Ей с сыном удалось бежать через Финляндию. В Вене у них были нансеновские паспорта...

От Фрица пришло письмо. Сашу Лейпунского назначили директором лаборатории в Харькове, и он предложил Фрицу интересную работу в совершенно новой области, ядерной физике. Лейпунский обещал большую зарплату, причем половину в английских фунтах, и бесплатную квартиру рядом с институтом. Фриц писал, что и Паули и Полани не советовали ему ехать в Советский Союз, но он очень рад этому предложению, и не только потому, что его привлекает тематика, но и потому, что наконец-то он сможет сделать что-то реальное для государства рабочих и крестьян. Кроме того, им — Фрицу и Шарлотте — хотелось наконец где-то уже осесть, они поговаривали о втором ребенке...

Я навестила дядю Рудольфа в Праге. За те несколько лет, что я его не видела, он резко сдал. Еще в 1930-м, когда он был успешным кинопродюсером в Берлине, у всех на слуху, женщины крутились вокруг него стайками. После того как Гитлер стал рейхсканцлером, ему пришлось уехать в Прагу. В Праге ему было делать нечего, все его проекты были свернуты, и он сразу постарел. Он еще надеялся вернуться в Берлин. Я не стала его расстраивать. Пять лет спустя он погиб в лагере. Но я узнала об этом намного позднее.

Тем временем, мой контракт в Вене истекал. Я обошла все частные музыкальные школы, пыталась найти частных учеников. Жила очень скромно, и мне удалось сэкономить денег месяца на два-три.

Алекс Вайсберг в Вене. Он приехал из Харькова в отпуск, навестить старых друзей. В большом восторге и увлеченный планами. Ему уже удалось основать в СССР новый журнал для физиков... Его назначили директором криогенной лаборатории, строительство которой подходило к концу. По работе он был вхож в самые высокие правительственные кабинеты. Правда, он вскользь упомянул, что на Украине был голодный год. “Но, — добавил он, — на нас это никак не отразилось.”

Из вежливости я спросила его о жене. Наше с ней знакомство не было близким. Оказалось, что они в процессе развода, он в Харькове, она в Москве...

Потом он спросил, наверное, тоже из вежливости, как мои дела. Я рассказала. К моему изумлению он возбудился и сказал, что попробует мне помочь.

Через две недели он пригласил меня в кафе возле входа в Прагер.

“В Харьковской консерватории у меня есть хороший знакомый, можно сказать, друг. Его зовут Гриша Веллер, он профессиональный музыкант. Они готовы взять тебя аккомпаниатором. И жилье предоставят. Но ответить нужно завтра.”

Мне не надо было ждать до завтра. Деньги подходили к концу. Но это было не главным. Главное — Фриц. Его контракт с Харьковским институтом начинался в феврале 1935 года. Я и надеяться не могла на то, что чудо опять сведет нас вместе.

Когда я приехала в Харьков, мне дали комнату в доме по улице Чайковского, номер 16. Рядом, буквально рядом, поселились Хоутермансы. Все квартиры в этом доме были заняты европейскими специалистами, больше всего из Берлина и Вены. Как могло свершиться такое чудо? За что бог послал мне эту, последнюю в моей жизни, передышку?

Мне выписали пропуск в специальный магазин, Торгсин, там можно было купить и мясо и фрукты, и кое-какую одежду из Берлина, относительно дешево. Ничего подобного в обычных магазинах не было.

Ужинала я обычно у Хоутермансов. Джованна, дочь Фрица и Шарлотты, очень ко мне привязалась. Иногда я воображала, что она и моя дочь тоже.

Гришу Веллера арестовали. Об этом мне сообщила консерваторская уборщица: “Взяли его, взяли, позавчера ночью. Вот ведь говнюк, Косиора собирался убить, а казался таким положительным, всегда со мной здоровался, а перед новым годом подарок дарил...”

Не помню, как я добралась до Веллеров. К ним ходил трамвай, но мне кажется, я бежала всю дорогу. Смотреть на его жену было страшно. У нее дергалось веко и дрожали руки. Где-то позади суетилась ее мама, одевая ребенка.

“Гриши нет, — сказала она, — беги, Шарлотта. Если можешь, домой в Прагу, а если нет, то хотя бы в Москву. Здесь все знают, что вы были друзьями. Тебя тоже возьмут...”

Буквально на следующее утро зашел Алекс Вайсберг. У меня разболелась голова и я была дома. Алекс был не похож сам на себя, вместо всегдашней улыбки на лице была гримаса.

— В Москве арестовали мою жену Еву, сказал он.

— Бывшую жену, машинально поправила его я.

— Нет, наш развод еще не завершен, хотя мы уже год не живем вместе. Никто не знает, где она сейчас... Вечером я выезжаю в Москву, и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей. У меня есть связи среди высокопоставленных чиновников в Минтяжмаше. Он помолчал... Ты знаешь, сказал он с видимым усилием, извини меня, ведь это я привез тебя в Харьков. Конечно, тогда я не знал, что все так повернется, но мог бы предвидеть. Я думаю, что тебе надо подавать на выездную визу как можно скорее. Я подумаю, что я могу для тебя сделать. Поговорим, когда я вернусь из Москвы.

Алекс выполнил обещание. Еву, после полутора лет в одиночной камере и почти еженощных допросов (от нее пытались добиться, чтобы она призналась в покушении на Сталина), не расстреляли, не отправили в лагерь, а депортировали в Польшу. Она успела сбежать в Нью-Йорк до начала войны. И стала очень-очень знаменитой. Мы были дружны с ней в Нью-Йорке, пока мне не пришлось переехать в Якиму, штат Вашингтон. Она вышла замуж во второй раз и стала Евой Цайзель. Ну а Алекс... о нем как-нибудь в следующий раз.

Рози задержалась, у нее проблемы с дочерью. Укол мне сделал Ганс. Еще несколько месяцев назад, он бы не смог. А сейчас — не хуже Розы... Ганс рассказал мне последние новости про захват самолета с израильтянами и рейд израильских командос в Энтеббе, в Уганде. Слава богу, все заложники освобождены, погиб только израильский мальчик со странной фамилией Нетанияху. Раньше таких евреев не было. Вообще не было. Если бы тогда, в Германии, евреи взяли бы за оружие... может быть и не сожгли бы шесть миллионов в Аушвице и других лагерях...

А вот наконец и Розы.

Я в Киеве. Меня приютила на время Эльза Г., венская подруга. Она вышла замуж за немца, который представляет Сименс на Украине. Они оборудуют заводы. Она же нашла мне работу: я даю уроки фортепьяно австрийским детям из семей венских деловых людей. Таких семей в Киеве шесть или семь. И еще немного аккомпанирую в Киевской консерватории. Самое главное, я собрала необходимые документы и отправила в Москву прошение о выездной визе из СССР. По совету Алекса причиной указала тяжелую болезнь приемного отца. Скорее всего, ждать придется несколько месяцев. Господи, поскорее бы... Хоутермансы — Фриц и Шнакс — все еще в Харькове, отправили документы три месяца назад, и пока ничего. Господи, поскорее... В Москве Алекс встретил случайно на улице Эльфриду Кон-Фоссен. Оказывается, ее муж умер в прошлом году. Ему было всего 34.

Кон-Фоссенов я знала еще с берлинских времен. Штефан был чуть старше меня, но уже профессор математики. Он работал с Гильбертом, и ему прочили блестящее будущее. На вечеринках у Хоутермансов он появлялся изредка, сначала один, а потом со своей невестой Эльфридой. На самом деле у нее было три имени, Margot Maria Elfriede, но все звали ее Фридель. Она была моей ровесницей, но в отличие от меня, красавицей. В то время она изучала медицину в университете. Потом они исчезли из моего поля зрения. Я только слышала, что они поженились. Когда нацисты пришли к власти, Штефана, так же как и меня, уволили.

Общей доминантой тех месяцев, что я провела в Киеве, был страх. Не только мой, но всеобщий. Все, с кем я общалась в консерватории, были заморожены страхом. На поверхности жизнь шла своим чередом: люди влюблялись, рождались

дети. Но почти каждую неделю исчезал то один, то другой музыкант. О них больше не упоминали. Жил человек, радовался, мечтал... а потом вдруг, как будто бы и не жил. И нечеловек...

В 1934 году Кон-Фоссены переехали из Швейцарии в Ленинград. Я всегда знала, что Фридель симпатизировала коммунистам, но что Штефан... В Ленинграде ему предложили профессорскую позицию в университете и исследовательскую позицию в математическом институте. Алекс Вайсберг сказал, что он так и не понял, отчего умер Штефан. Фридель уклонилась от ответа на этот вопрос.

Случайная встреча Фридель Кон-Фоссен и Алекса Вайсберга в Москве сыграла в моей жизни роковую роль. Осенью 1937 года меня навестила Герда Братц. Она привезла ужасные вести из Харькова: в марте арестовали Алекса В. и Конрада Вайсельберга, а в августе Льва Шубникова. Не думала, что я встречу кого-нибудь из них в живых. Выжил только Алекс, мы встретились 20 лет спустя...

Я решила ехать в Москву, не дожидаясь выездной визы. Какое счастье, что у меня сохранился телефон Фридель, записанный когда-то Алексом на клочке бумаги. Я ей позвонила. Хотя мы не были близкими подругами, она очень обрадовалась. “Приезжай, – сказала она, – я живу с Альфредом Куреллой, у него большая квартира, он тоже будет тебе рад.” Фридель намекнула, что возможно Альфред сможет ускорить рассмотрение моего прошения о выездной визе.

Курелла... Я хорошо помнила их обоих: Альфреда и его брата Генриха. Оба были пламенные коммунисты. Генрих был редактором их главной газеты, “Роте Фане”, а Альфред руководил Клубом интеллектуальных работников. После 1933 года весь клуб в полном составе переехал в Москву. Лишь много позднее я узнала, что это была просто вывеска для нелегальной коммунистической организации, занимавшейся разведкой под руководством Коминтерна. В Москве в начале 1937 года все члены Клуба, кроме Альфреда, были арестованы и расстреляны. Та же судьба постигла и Генриха Куреллу. Когда я встретилась с Алексом в Париже в 1950-х, он объяснил мне, что в день моего телефонного звонка Фридель, Генриха уже не было в живых. Меня вырвало... Он был большим женолюбом, Альфред Курелла, у него было пять жен, и еще женщины мимоходом.

Внешне Фридель мало изменилась. Только перестала смеяться. С Альфредом она познакомилась вскоре после смерти Штефана. Вскоре у них завязался роман, и она переехала к Альфреду. Альфред был большим человеком в Коминтерне и, судя по его намекам, был связан с НКВД. Он был замечательным рассказчиком. Вечером, когда мы собирались за ужином, он пытался нас рассмешить, и иногда ему это удавалось. В Москве он неоднократно бывал с 1919 года, времена тогда были за-

лихватские, чего только тогда с ним ни случалось... Но смешнее всего были его французские истории. В 1924-26 годах он руководил юношеской школой Коминтерна и школой Французской компартии в Бобиньи. Чаще всего в его приключениях фигурировали веселые монашки (хотя в то время у него была жена и сын). Привирал, наверное... Но я ему все равно благодарна, без него вряд ли бы я вышла. Вскоре Альфред и Фридель поженились.

В 1957 г. Алекс Вайсберг и Альфред Курелла были по разные стороны баррикад. Алекс его и презирал и жалел одновременно. После войны, в 1946 году, Альфред Курелла впал в немилость, и его вместе с Фридель сослали в почетную ссылку в Грузию. Там он увлекся местной женщиной, бросил Фридель, а после смерти Сталина попросился в ГДР. Его прошение рассматривалось на самом верху. В 1954 году разрешение из Москвы было получено. Карьера Куреллы в Восточном Берлине была головокружительной. Его назначили членом политбюро. Фридель умерла в Грузии, никаких деталей о ней Алекс не знал.

Мне кажется, я должна диктовать Розе быстрее. У меня еще много всего в голове крутится, а времени почти не осталось. Я лежу напротив окна. Обычно оно серое и тусклое. Но сегодня в Лондоне яркое солнце и голубое небо. Господи, как не хочется уходить летом...

Вернемся в Москву 1937. В конце ноября из Харькова приехали Хоутермансы. Они наконец-то получили разрешение на выезд. Шарлотту с детьми приютит у себя Капица. Фриц приехал на день или два раньше. Ему предстояли еще разные формальности.

Альфред обещал, что попробует выяснить, почему нет ответа на мое прошение о выездной визе.

А я сразу же побежала к Фрицу и Шарлотте. Как я по ним соскучилась... Теперь их уже четверо, в Харькове родился сын Ян. Фриц сказал, что месяц назад был арестован его ассистент Валентин Фомин. Я его хорошо помнила, милейший человек, прекрасно говорил по-немецки. С тех пор они — Фриц и Шарлотта — ждали ареста каждую ночь. Страх иссушил их. На фоне веселой подростковой Дживанны и начинавшего ходить смешливого Яна, они выглядели особенно измотанными.

Хоутермансам предстояло сдать багаж на таможню и купить билеты. Хотя они и ждали выездной визы полгода, они были явно не готовы к отъезду; они даже не решили, куда ехать. Видимо подспудно у них крутилась мысль, что визы они все равно не получат. После обсуждения, длившегося час-полтора, решили плыть в

Лондон из Ленинграда, на лайнере. Этот маршрут был уже знаком Шарлотте, год назад она встречалась в Лондоне со своей сестрой. Фридель и я вызвались помочь с оформлением вещей на московской таможне.

На следующий день, в среду 1 декабря, на улице стоял мороз. Мы — Фридель и я — проснулись рано. Еще не начало светать, когда мы отправились к Капице. Улицы были черны; вообще, все, что осталось у меня в голове от Москвы, до сих пор покрашено в черный цвет. Большую часть багажа Хоутермансов составляли книги. Они уже были упакованы в коробки, но московская таможня потребовала полный список книг, с авторами, названиями, годом выпуска и издательством. Я вынимала одну книгу за другой из коробки, Шарлотта вносила их в список, а Фридель аккуратно клала ее на место в другой коробке. Мы управились к полудню, вызвали такси и поехали на таможню: Фриц, Фридель и я. Шарлотта с детьми остались в доме Капицы.

Я оттягивала этот момент — болезненное воспоминание о том, что случилось на таможне — как можно дольше, но дальше отступать некуда. Весь багаж мы вместе с шофером такси снесли в указанное нам место, Фриц расплатился с шофером и отправился к начальнику таможни с паспортами. Он должен был предъявить ему выездные визы на всех членов семьи. Огромная комната была почти пуста: кроме нас с багажом возились еще 3-4 человека.

Тут вошли два молодых человека, без багажа и в одинаковых пальто, осмотрелись и один из них обратился ко мне: “Простите, вы не знаете, где здесь Фриц Гаутерманс?” И я, дура, ответила: “да вот же он, только что зашел в кабинет начальника.”

Никогда, никогда я не прощу себе этого. Почему я не сказала, что он был, но уже ушел? Даже сейчас, 40 лет спустя, мне тяжело об этом думать.

Они вышли буквально через минуту, два молодых человека в одинаковых пальто и Фриц между ними. Проверили наши документы — Фридель и мои — приказали нам немедленно ехать домой, и скрылись вместе с Фрицем за тяжелой дверью. Фриц только успел шепнуть, что все будет в порядке, и к вечеру он вернется. “Позвони Шарлотте и скажи ей, чтобы ждала меня к ужину.” Это он мне сказал. Верил ли он сам в это?

Когда мы вернулись домой, Альфред был дома. Он стоял на балконе, с закрытой дверью, и что-то живо обсуждал с человеком, которого Фридель никогда раньше не видела. Оба курили. Уже это показалось нам странным, ведь на улице был мороз. Фридель сказала, что Альфред никогда не возвращался с работы раньше времени. Я тоже закурила. Мне казалось, что разговор на балконе шел на немецком, но я не уверена. Звуки были очень приглушены.

К курению меня приобщил Фриц, еще в Харькове. Он сам курил одну сигарету за другой. Ему всегда удавалось доставать самые лучшие сорта. Я живо представила себе, как он курил на балконе: при детях курить в квартире Шарлотта не разрешала. Как раз в это время английские и французские сигареты стали продавать в Торгсине. Заходя в Торгсин, я всегда покупала пачку сигарет себе и 3-4 для Фрица.

Вскоре таинственный незнакомец и Альфред вернулись в комнату; первый сразу же ушел, никому не сказав ни слова. А Альфред стал кричать на Фридель: “Ты зачем влезла в эту историю с Хоутермансами! Всего-то встречалась с ними в Берлине раз 5-6. Тоже мне, друзья... Что ты о них знаешь? А может быть, они действительно работают на Гестапо?”

Фридель пыталась что-то ответить, но перебить Альфреда было невозможно. Видно было, что он на взводе, в крайней степени. Я тихонько вышла, оделась и поехала к Капицам. Мне надо было повидаться с Шарлоттой.

Пока я туда добралась, уже стемнело. Шарлотта вышла из комнаты вся зареванная. За ее спиной плакали дети. Очевидно, им тоже передалось паническое настроение. Я попыталась утешить ее как могла. Но мне и самой было страшно. Шарлотта сказала, что заходил Румер и передал ей просьбу Капицы немедленно съехать. “Я умоляла Аню не выгонять меня с детьми на мороз, куда я пойду? Ведь у меня нет ни паспорта, ни документов, ни денег. Все это взял с собой Фриц на таможенно... Аня сказала, что мы можем остаться на одну ночь, она поговорит с Петром Леонидовичем”.

Я успокоила детей, уложила их спать, дала Шнакс успокоительную таблетку...

Шнакс позвонила наутро и сообщила мне, что по рекомендации Капицы поедет на Лубянку и попытается получить свой паспорт.

От моей помощи она отказалась. “Мне страшно, но я поеду все равно. Дольше пользоваться гостеприимством Капицы невозможно, а в гостиницу без паспорта не поселят.”

Еще через несколько часов она позвонила еще раз: “Мне выдали мой паспорт и деньги, которые были у Фрица. Про него сказали, что информация будет дана мне в свое время. Что это значит, свое время? Я еду за детьми, а потом в гостиницу...”

Еще через час она перезвонила из дома Капиц: “Петр Леонидович забронировал для меня номер в гостинице и дает свою машину с шофером, чтобы туда перебраться. Я заеду за тобой, хорошо?”

Процедура вселения в отель оказалась небыстрой. Сначала какие-то люди долго изучали паспорт Шарлотты. Один из них спросил: “А вы знаете, что срок действия вашего паспорта истекает меньше чем через три недели?”

Пожалуй, мне не стоит больше рассказывать о Хоутермансах, иначе я не успею рассказать свою историю. Я слабею. Скажу только, что Фриц выжил; в 1951 году он издал книгу о тюрьмах НКВД. Мы с ним больше никогда не встречались. Не знаю, если бы представилась такая возможность, захотела ли бы я этой встречи? Не знаю... Возможно, я сознательно ее, этой встречи, избегала. С Шарлоттой мы оставались близкими друзьями много лет, пока я жила в Америке. Ее дети говорили мне, что я для них как вторая мама... Это грело мне сердце.

Заходил Ганс. Рассказал мне подробности операции Энтеббе, которые стали сейчас известны. Террористов было четверо, два немца и два араба. Вечером 29

июня пассажиры с израильскими паспортами (их было 83) были отделены от других пассажиров, причем селекцией руководили немцы. Господи, зачем ты дал мне дожить до этого дня, ведь все это уже было 40 лет назад, все это я уже видела... Мне казалось, что немцы получили прививку на все оставшиеся века... Неужели я ошибалась?

Я осталась ночевать в отеле с Шарлоттой и детьми. Она боялась остаться на ночь одной. На утро приехала Фридель, и мы стали обсуждать, что делать дальше. Шарлотта хотела остаться в Москве и ждать Фрица. “Мой муж ничего плохого не сделал. Он занимался только своей наукой, ядерной физикой, и хотел этим помочь советскому государству. Он всегда верил в коммунизм,” повторяла Шнакс на разные лады. Ее заклинило.

“Слушай меня, – решительно перебила ее Фридель, – твой паспорт истекает через две-три недели. У тебя нет денег, чтобы прожить здесь хотя бы неделю. На работу тебя никто не возьмет. Ты и сама погибнешь, и Фрицу не сможешь. Дживованну и Яна отправят в детский дом. Если Фрица выпустят, то это произойдет не сразу, может через месяц, может через год. Уезжай как можно скорее. Оттуда ты сможешь помочь Фрицу гораздо в большей степени, чем оставаясь здесь, где тебя никто не будет слушать.”

“Именно так, – сказала я, – все именно так. А если Фрица вдруг отпустят быстро, мы же еще здесь, и конечно поможем ему уехать к тебе.”

Шнакс расплакалась, потом успокоилась и совершенно твердо сказала: “Вы правы, надо ехать как можно скорее.”

Через три дня мы провожали Шарлотту с детьми на вокзале. Вокзал — какое ужасное русское слово. Наверное, немецкого происхождения... Единственный иностранный город, куда удалось купить билеты, была Рига. Мы стояли на платформе и долго махали руками вслед уходящему поезду. Я молилась про себя за них. Наверное, впервые после самого раннего детства...

Лишь в Америке я узнала, что Шарлотту с детьми сняли с поезда, не доезжая советско-латвийской границы, и две недели она жила на пустынном полустанке. Каждое утро просыпалась как на пороховой бочке. За три дня до истечения срока ее паспорта ей все-таки разрешили выехать в Латвию. Дальше ей помог Нильс Бор.

Всю следующую неделю Альфред со мной почти не разговаривал. Только иногда за ужином: “Передай, пожалуйста, солонку.” В понедельник он пришел с работы в хорошем настроении и не снимая пальто, прямо с порога, сказал мне: “Поздравляю тебя, Бимбус! Завтра или послезавтра ты получишь паспорт с выездной визой. Собирайся.”

Я не знала, верить ему или нет. Разумеется, свои сомнения я оставила при себе, а Альфреда горячо поблагодарила. Фридель меня обняла и шепнула; “Я так рада за тебя.” Мой мозг пульсировал: одну минуту я радовалась, а в следующую

меня зажимал страх. Мне казалось, что и Фидель и Альфред видят, как моя голова то пухнет, то сжимается. Чтобы успокоить себя, впервые за несколько недель я села за фортепьяно.

Разумеется, ночью я не могла уснуть ни на минуту. Решила, что ни за что не пойду оформлять багаж на таможенно. Оставлю все свои вещи у Фриделя и попрошу ее раздать нуждающимся. Потом я стала думать, куда ехать. Из близких людей у меня остался только дядя Рудольф в Праге. Вот туда я и поеду.

На следующий день, получив паспорт с визой, я отправилась покупать билет на поезд. Выездная виза была действительна в течении двух недель, но мне категорически не хотелось оставаться в Москве даже на лишний день. Честно говоря, у меня кружилась голова, когда я протянула свой паспорт в окошечко, за которым сидела суровая женщина в железнодорожной форме и очках. Я сказала ей, что мне нужно в Прагу как можно скорее. Она внимательно посмотрела на меня, на мой паспорт, снова на меня и спросила: “А почему в Прагу а не в Берлин, ведь у вас немецкий паспорт.”

“Сейчас мне нужно в Прагу на несколько дней, а потом оттуда поеду в Берлин.”

Женщина в очках вроде бы осталась довольна моим ответом.

“До нового года есть только один билет до Праги, СВ. Будете брать?”

Я открыла сумочку и стала судорожно считать деньги. Их хватало ровно на билет до Праги, на билет на трамвае и еще какая-то мелочь. Все, что удалось мне сберечь.

“Беру, беру,” мое головокружение усиливалось. До трамвайной остановки я добиралась, наверное, целый час, отдыхая на каждом углу. По крайней мере, мне казалось, что прошел час.

В последний вечер перед отъездом Фридель устроила настоящий пир. Было и немецкое пиво, и черный хлеб с семечками, и сосиски с браткартофелн и квашеной капустой. Альфред был весел, рассказывал о своих французских подружках в былые времена и о том, как нам всем будет хорошо, когда через несколько лет мы все встретимся в Париже и закатимся в ресторан возле Люксембургского сада, в котором он любил засиживаться по вечерам в 1920-х. Когда мы окончили трапезу, я наверное час играла на фортепьяно. Альфред сказал, что завтра ему рано вставать, скорее всего, со мной он уже не увидится; он обнял меня и дал мне 50 марок.

“Бери, я знаю, что у тебя напряг с деньгами. Там они больше тебе понадобятся, чем мне здесь. Вернешь, когда сможешь...”

Все-таки, он был неплохой человек, Альфред Курелла. Думаю, что он спас мне жизнь. Возможно, это было его покаяние за смерть брата, смерть друзей, защитить которых он не смог. Кстати, долг свой я так и не вернула. Пока он жил в СССР, это было нереально. А в ГДР он стал таким большим начальником, что я не уверена, вспомнил ли бы он меня...

Предрождественская Прага встретила меня сиянием елочных огней, рождественскими базарами, музыкой. Легкомысленные люди готовились к празднику.

Как в муравейнике. Каждую улочку, каждое здание здесь я знала с детства. Легкий снежок падал сверху, было не холодно. Большой красивый европейский город. Смешение чешского и немецкого языков на улице почему-то сразу успокоило меня.

Я обнаружила, что после трех лет в России, кое-что понимаю по-чешски. Багажа у меня не было, я взяла такси и отправилась к дяде Рудольфу. Господи, как мне не хватало этой легкости почти три года ...

Дядя Рудольф только и смог сказать “Шарлотта...” Он прижал меня к себе. За эти три года постарел еще больше, но глаза сверкали по-прежнему. Он гладил меня по спине, и никак не мог остановиться. Мы проговорили весь вечер. Он хотел, чтобы я рассказала ему всю свою жизнь, все три года в России, день за днем, во всех деталях. И я говорила, говорила... Конечно, самое страшное я пропускала, мне не хотелось его расстраивать. Ничего не сказала ему ни об Алексее, ни о Хоутермансах. Мне самой не хотелось говорить об этом в первый вечер, это были кровоточащие раны. Сегодня вечером — только чистая радость.

Тогда я еще не знала, что вижу дядю Рудольфа в последний раз.

На следующее утро мы стали обсуждать будущее. Рудольф рассказал мне, что пытался запустить в Праге один из своих старых киношных проектов, но ничего путного из этого не вышло. “Никто не хочет вкладываться в долговременные проекты. Никто не знает, что будет через несколько месяцев. Тебе не стоит задерживаться здесь, моя дорогая. Я был бы счастлив, если бы ты осталась со мной, но для твоего же будущего говорю — уезжай как можно быстрее. Либо в Англию, либо в Америку. В Европе тебе делать нечего.”

Прага была наводнена беженцами из Германии. Почти ни у кого не было ни работы, ни вида на жительство. Днем они слонялись по улицам и пытались торговать спичками, булавками, гуталином. Где они проводили ночи, я не знаю. У меня был немецкий паспорт, действительный еще более полугодом. У них не было никаких документов, и каждую минуту их могла арестовать полиция и выслать обратно в Германию. Мои глаза опять вернулись на мокрое место. За этот день я накупила столько спичек, что, наверное, мне бы хватило на два года.

На следующий день мы — дядя и я — встретились с немецким адвокатом, т.е. бывшим немецким адвокатом, господином Нойбергом. Разумеется, разрешения на работу в Праге у него не было, поэтому наша беседа была обставлена как настоящее конспиративное свидание. Он меня подробно выслушал, расспросил про мои предыдущие передвижения, про мой паспорт, про родственников.

“Мое мнение таково. Получить вид на жительство в Соединенном Королевстве почти невозможно, даже несмотря на то, что ваш брат сейчас живет в Лондоне. Даже если они и решат удовлетворить ваше прошение, в чем я очень сомневаюсь, на его рассмотрение наверняка уйдет больше полугодом. Правильно ли я понимаю, что вы ни в коем виде не хотите обращаться в немецкое посольство, чтобы продлить паспорт?”

“Они прикажут ей немедленно вернуться в Германию, — вступил в разговор Рудольф, — а там, взглянув на ее русские штампы, сразу упекут в лагерь. Я уж не говорю о том, что если каким-то чудом этого не случится, никто не даст ей работу, и она умрет с голоду.”

“Тогда остается Америка. Получить въездную визу в США тоже почти невозможно. Но есть два исключения: для тех, кто может инвестировать в США миллион

долларов, и для тех, у кого есть близкие родственники или друзья в этой стране, которые могли бы ходатайствовать за просителя изнутри.

Вам решать.

За свою консультацию в Берлине я бы взял с вас 100 марок. Но здесь... здесь я никто, так что вы должны мне 10 марок. Когда вы придете к определенному решению, позвоните мне, будем работать дальше.”

Мы зашли в пивную, выпить по кружке пива и слегка перекусить. Как сейчас помню, пивная называлась Kozlovná. Почему это слово засело у меня в памяти?

“Шарлотта, милая моя, – сказал дядя, поглаживая меня по руке, – мои сбережения подходят к концу. Я пожилой человек, мне много не надо... Денег на адвоката и, тем более, на билет в Америку, я дать тебе не могу. Но у меня есть нечто лучшее, чем деньги: старые связи и друзья в Голливуде. Они могут все!

Я понимаю, что тебе неудобно обращаться к брату за столь большой суммой. Но мне удобно. Я могу это сделать. Я скажу ему, что ты вернешь долг, как только встанешь на ноги. Он тебя любит”.

Через несколько дней пришел перевод от Ганса. Кстати, этот долг я ему вернула... через 10 лет.

Господин Нойберт помог мне оформить прошение, и оно ушло в американское посольство. Копию дядя отправил своим друзьям в Голливуд, вместе с сопроводительным письмом. Уж не знаю, что он там написал, но через два с половиной месяца меня вызвали на интервью в посольство США. Господин Нойберт сказал, что столь быстрая реакция неммыслима, такого еще никогда не встречалось в его практике.

Ранняя весна 1938 года. Позади Прага, прощание с дядей... Как я плакала... Из окна поезда я долго смотрела на уменьшающуюся до боли знакомую фигуру, слегка сторбленную, в шляпе, которую я подарила ему на память. Понимали ли мы тогда, что больше нам увидеться не суждено? Думаю, что он понимал...

Я знала, что Шнакс с детьми в Лондоне. Нансеновские паспорта для них и вид на жительство в Соединенном Королевстве удалось получить, только употребив все влияние Нильса Бора. Про Фрица Хоутерманса не было никаких новостей. Передачи и деньги, которые ему отправляла Шарлотта, возвращались обратно. Я долго размышляла, не стоит ли мне заглянуть в Лондон на день-два. Но отказалась от этой мысли. У меня не осталось душевных сил для этого свидания. Хотелось поскорее оставить позади кровоточащую Европу, с ее безумными нацистами, фашистами и коммунистами, забыть как страшный сон.

Лайнер “American Merchant”, который должен был перенести меня в Новый свет, в Нью-Йорк, отправлялся из французского Бреста. По дороге я остановилась в Париже на один день. Я любила Париж. Но сейчас ничто не шевельнулось у меня в душе. Латинский квартал, пляс Пигаль, Опера... все это проплывало мимо моего сознания, в котором все еще не было места ничему кроме моих воспоминаний.

Благодаря Гансу у меня была отдельная каюта на верхней палубе. Многие верхние каюты были свободны, зато на нижних палубах было настоящее столпотворение. Большинство пассажиров были беженцы, они не могли себе позволить отдельной каюты, но все равно были счастливы тому, что наконец-то они чувствовали себя в безопасности. Чтобы пересечь океан в то время требовалось 8-9 дней, а не 8-9 часов как сейчас. Разумеется, я со всеми перезнакомилась.

Последние дни в Праге были сумасшедшими: надо было попрощаться со всеми, с кем я могла попрощаться, купить кое-какой одежды на первое время, ведь я толком не знала, что меня ждет в Америке... Как раз в это время пришло очередное письмо от Шарлотты из Лондона. Мне не хотелось читать его в спешке. Так оно и лежало, нераспечатанное, в моей сумочке. Только после того, как раздался прощальный гудок “American Merchant”, а потом очертания порта скрылись за горизонтом, я вышла на палубу, вскрыла конверт и погрузилась в чтение. Шарлотта писала, что разрешение на работу (которое у нее было) и работа (которой у нее не было) — далеко не одно и то же. Кое-какие переводы с немецкого ей подбрасывал Патрик Блэкетт, но этого не хватало. Ее сестра Урсула, оставшаяся в Германии, посылала ей немного денег, но и этого не хватало. Ее свекровь, Эльза Хоутерманс, уже несколько лет жила в Америке. Она преподавала историю в частной школе (интернате) для девочек в двух часах езды от Нью-Йорка, но школа открылась недавно, учениц было немного, соответственно, и зарплата была более чем скромной. “Я послала письмо Эльзе, — писала Шарлотта, — и попросила ее встретить тебя в Нью-Йорке. Чтобы ты не растерялась сразу. Она тебе поможет... Ей там одиноко. Никто не говорит по-немецки. Она скучает по Вене, по ее имперскому величию, по венским кафе...”

В порту меня ждала Эльза. И не просто ждала. Меня поразило, что она приехала меня встречать на огромном американском лимузине с шофером.

— Айлин Фаррел, мой директор и основательница школы Foxhollow, сама предложила мне школьный лимузин, когда узнала, что я еду в Нью-Йорк встречать тебя. Она никогда не была замужем, школа — ее дитя. Она замечательная. Она англичанка, и считает, что должна помогать всем беженцам из Европы... Завтра ждет тебя в школе. Сегодня переночуешь у меня. Даже не думай об отеле. Мы будем целый день болтать по-немецки. Я советую тебе остаться пока в нашем городке, Райнбеке, хотя бы на время. Он малюсенький, зато жилье стоит дешево.

... Это уже в лимузине по дороге в Райнбек (Rhinebeck). Два часа пока мы были в пути. Эльза говорила не переставая. С ярко выраженным венским акцентом. Расспрашивала меня о России, о Фрице. Увы, ничего нового я сказать о нем не могла, но Эльза отказывалась верить, что он исчез навсегда. “Этого не может быть, — твердила она, — этого просто не может быть... я верю, что он вернется...” Как будто материнское сердце чувствовало больше, чем было дано остальным людям.

В окне лимузина сменялись провинциально-пасторальные пейзажи. Ухоженные поля, фермы, перемежались рощами. Довольно часто мы пересекали реки и речушки. Все дышало покоем, как будто бы и не было нигде в мире крови и насилия... Я и представить себе не могла, что почти вся Америка именно такая, провинциально-пасторальная. Сначала мне было довольно тоскливо, но чем больше я

жила в этой стране, тем больше мне нравилось, и, в конце концов, я привыкла и даже полюбила маленькие городки, с одно-двухэтажными деревянными домами, с одним почтовым отделением, двумя-тремя банками, несколько баров, автозаправок, магазинов, здание суда, полиции, мэрии — вот и вся цивилизация. Все друг друга знают, снимают шляпу при встрече, и все приветливы и дружелюбны. Сколько их, таких городков, было на моем пути...

Именно так меня встретил Райнбек.

Именно так меня встретил Райнбек... Поблизости, в соседнем городке Гайд Парк родился Ф.Д. Рузвельт, который стал президентом США.

Интернат для девочек располагался на окраине Райнбека, в старом особняке, который был окружен большим ухоженным парком. С другой стороны от городка парк плавно переходил в рощу. Было видно, что особняк недавно отремонтировали.

Мисс Фаррел приняла меня в бывшей гостиной, очень радушно. Я до сих пор помню большие часы, которые каждые полчаса играли мелодию Моцарта.

“Я купила эту усадьбу в 1930 году. Сейчас у меня около 50 учениц, в основном из Нью-Йорка, но это число будет расти. Эльза Хоутерманс много рассказывала мне о вас, мисс Шлезингер. То, что вы пережили — это ужасно. Мне хотелось бы помочь вам хотя бы на первых порах. Пять-шесть моих учениц хотели бы брать уроки музыки. Я, разумеется, понимаю, что это не соответствует вашему уровню, равно как и вознаграждение, которое я могу вам предложить, но может быть, пока вы будете подыскивать настоящую работу...”

Разумеется, я сразу согласилась, даже не дослушав до конца. Из тех денег, что Ганс прислал мне в Прагу, у меня еще оставалось около 30 долларов, но этого не хватило бы даже на месяц... А сколько будут длиться мои поиски?

Итак, я поселилась рядом с Эльзой (позднее, когда Шарлотта Хоутерманс с детьми приехала из Англии, она тоже тут поселилась и первое время преподавала математику и физику у мисс Фаррел). Это было большое везение для меня, на которое я и не рассчитывала. Мир не без добрых людей — как важно это было осознать именно в то время.

У меня было 6 учениц, причем три весьма продвинутые. Они занимались музыкой с раннего детства, в Нью-Йорке. Занятия с ними, уверенность в завтрашнем дне и спокойная обстановка были лекарством. Постепенно, я начинала ощущать себя тем человеком, которым я была в 1933. Конечно, мне не хватало Берлина, так же как Эльзе Вены, но разве в мире есть совершенство... В хорошую погоду мы часто гуляли по парку и обсуждали все, что нас волновало, разумеется, по-немецки. Это было так приятно.

Когда 2 году спустя я покидала Райнбек и Foxhollow, на прощальном концерте я и мои лучшие ученицы исполняли *Le Nozze de Figaro* Моцарта ...

Мне следует вернуться в моих записках к Шарлотте. Уже весной 1938 г. стало абсолютно ясно, что в Англии она работы не найдет. Надо было помочь ей переехать в Штаты. Для этого была нужна въездная виза, получить которую было не просто. Эльза Хоутерманс написала прошение о визе в Государственный департамент. Но из-за ее небольшой зарплаты этого оказалось недостаточно. Я послала письма всем физикам, которых я помнила по Берлину, которые пребывали в Аме-

рике. Почти все согласились помочь. Но быстрее всех отреагировал Роберт Опенгеймер, который помнил Шнакс еще по Геттингену. Во-первых, он послал Шнакс в Лондон достаточно денег — их хватило на несколько месяцев и на три билета через Атлантику. Во-вторых, он написал необходимый affidavit. Поскольку Роберт был известным профессором и хорошо зарабатывал, этот документ сработал. Весной 1939 года Шарлотта Хоутерманс, Дживанна и Ян перебрались в Райнбек. Мы вдвоем — Эльза и я — встречали их в порту Нью-Йорка, снова на лимузине с шофером...

Мисс Фаррел выполнила свое обещание, учениц в ее школе становилось все больше, моя нагрузка росла, и у меня просто не оставалось времени предаваться грустным мыслям. Именно это мне и было нужно. В 1939 году мисс Фаррел продала усадьбу Foxhollow, и школа переехала в Ленокс, еще два часа пути к северовостоку от Нью-Йорка. Новые владения школы до этого принадлежали Вандербильту. Усадьба располагалась на берегу большого озера. Красота необыкновенная... К тому же, теперь со мной была моя подруга Шнакс, и я почти каждый день навещала Дживанну и Яна. Я читала им книжки и понемногу приобщала к фортепьяно...

Прошел еще год, и я нашла работу в настоящем колледже. Да еще каком! Black Mountain College — колледж Черной горы — так он назывался. Непонятно почему. Горы, которые его окружали, назывались Голубым хребтом, возле города Эшвилл, в глубине Северной Каролины. Наш кампус был расположен при слиянии двух рек, Французской и Свананоа. Благодаря уникальному стечению обстоятельств (война в Европе), на два десятилетия этот колледж в глухой провинции превратился в царство искусств, и стал центром притяжения для музыкантов, композиторов, поэтов, художников, архитекторов... и стал моим домом почти на двадцать лет. Какое несчастье, что в 1957 году его закрыли за долги...

Я закрываю глаза и вижу как живых моих эшвилльских коллег, многие из которых стали моими друзьями. Мне хочется рассказать о некоторых.

Фриц Коэн... Он был ближе других. Мы знали друг друга еще в Германии. Он писал музыку для балетов Курта Йооса, чуть ли не все балеты. Кто-нибудь помнит о Курте сейчас? В 1932 в Париже была премьера его балета "Зеленый стол", после которой его почитательницы чуть не разорвали его на части... Фрак точно разорвали. Фриц был женат на одной из лучших балерин Йооса, Эльзе Кал, которая стала Эльзой Кал-Коэн. Как они любили друг друга... В 1933 году Фриц и его жена, вместе со всей труппой Йооса, перебрались в Англию. Когда труппа распалась, Коэны перебрались в Нью-Йорк. Потом, на мою радость, он стал профессором в нашем колледже. Нас связывали общие воспоминания, балет, Берлин, юность...

Как это ни странно, я сдружилась с Максом Деном (Max Dehn), который был намного старше меня. С ним было невероятно интересно. Я сказала странно, потому что Макс был математиком, учеником Гильберта.

В начале 1939 года Макс сбежал из Германии, нелегально перейдя границу с Данией. Оттуда в Норвегию, где ему удалось получить временную работу в Норвежском технологическом институте. Его путь в Америку был долгим и трудным:

через Ленинград, по Транссибирской магистрали во Владивосток, оттуда в Японию, и далее Сан-Франциско.

В марте 1944 года, Макса Дена пригласили прочесть несколько лекций в нашем колледже о философии и истории математики. После этих лекций колледж предложил ему постоянную профессорскую позицию, с бесплатным жильем. Вскоре на нашем кампусе появилась колоритная пара: Макс с женой, Антонией Ландау. Несмотря на почтенный возраст они всегда шли взявшись за руки.

Макс преподавал курсы по математике, философии, греческий и итальянский языки. В своем курсе "Геометрия для художников" Макс знакомил студентов с геометрическими понятиями: линии, плоскости, конические сечения — круги, эллипсы, параболы, гиперболы — сферы и правильные многогранники. Даже я записалась на этот курс. Правда бросила через пару недель.

Иногда он устраивал занятия в роще у подножья Голубого хребта. Мне нравились его дискурсы о философии, музыке, природе и о всеобщности математики. Когда Макс с Антонией собирались на горные прогулки, они часто приглашали меня...

Рози пришла довольно давно, но я спала. Слабею с каждым днем и, наверное, не успею рассказать всю историю моей жизни. Но все же, еще несколько слов о моих друзьях в Black Mountain College. Из музыкантов я много общалась с Генрихом Яловецом (Heinrich Jalowetz). У него был австрийский паспорт; как и я, родом он был из Чехии. В Вене он был в круге Арнольда Шёнберга. До 1933 года он дирижировал оркестрами в Регенсбурге, Данциге, Праге и Кельне. В наш колледж он попал чуть позже меня. Один из тех немногих людей, чьи шутки были и смешны и доброжелательны. Наша дружба продолжалась до 1946 года, когда он внезапно умер.

В Black Mountain College не было никакой программы. Каждый профессор учил своих студентов тому, что ему нравилось. Наверное поэтому из него вышло столько знаменитых художников и фотографов. Их было действительно много; некоторые писали мне даже после того, как покинули альма матер и отправились в самостоятельное плавание. Один из архитекторов, который позже попал во все учебники — Бакминстер Фуллер (Buckminster Fuller). Идеи из него били фонтаном, но все так или иначе проваливались. Бакминстер был идеалистом. Он все время думал о том, что он может сделать для человечества из того, что большие организации или правительства не могут сделать в силу своей природы. 1948 год, который он провел в нашем колледже, был счастливым. Именно тогда он изобрел свой «геодезический купол» — пространственную сборную сетчатую оболочку из металлических стержней. Сначала он предложил ее, чтобы строить дешевое и просторное жилище для американцев, возвратившихся с войны. Но это не привилось. Лет через 20 геодезический купол стал стандартным элементом в спортивных сооружениях, выставочных залах, аэропортах и т.д. Когда я была в Мюнхене, я видела там олимпийский стадион...

Кстати, о Мюнхене. Не помню, упоминала ли я об этом. Когда я впервые попала в Германию после войны, в конце 1960х, я узнала, что мне полагается реституция от немецкого правительства за преследования при нацистах, точнее за то, что я потеряла работу по их вине. Но я твердо решила, что от Германии мне ничего не надо, ни пфеннинга. Бланк заявления разорвала и выбросила в корзину для мусора.

Я ходила по улицам Берлина, и старая боль и бессилие воскресли во мне. В Прагу я вообще не поехала. Не смогла.

В 1957 году Black Mountain College закрыли...

Я провалилась в сон. Роза сказала, что я спала довольно долго.

Еще до закрытия колледжа мне предложили работу в Музыкальном училище Вильсона в Якиме, штат Вашингтон. Предгорья, дубовые леса, безумно красиво и безумно далеко от всего...

Не знаю, гуляли ли вы когда-нибудь поздней осенью в дубовом лесу. Американский дуб сбрасывает листья очень поздно, и ветер разносит их далеко вокруг. Они не мокнут, не мнутся и не гниют — глянцево-зеленые, гладкие как зеркало и прочные. Они уже мертвые, но с другой стороны вроде бы живут, но иной жизнью, не той с которой они начинали. Порывы осеннего ветра причудливо играют ими: вот они сбились в живописную кучку в одном месте, потом в другом, уже с другими соседями...

В Якиме у меня начались проблемы со здоровьем, отголоски безумного напряжения 20-летней давности. Почти сразу же после переезда я заметила, что мое зрение ухудшается, причем быстро. Я запаниковала, и, думая, что ослепну, стала ноты учить наизусть. Все подряд. К счастью, через два года ухудшение приостановилось. Да, мне пришлось носить очень сильные очки, но все же я могла читать и писать при хорошем освещении.

Я начала курить в Харькове. Со временем я курила все больше. Через 25 лет пришло время заплатить цену. В нашем госпитале проводили какое-то клиническое исследование на добровольцах. Добровольцам платили, и поскольку у меня было довольно много свободного времени, я записалась в эту программу. Так, совершенно случайно выяснилось, что у меня рак легких, правда, в начальной стадии.

Перед операцией брат Ганс прилетел из Лондона. Я была ужасно тронута, разревелась как девчонка. Ведь у меня никого больше не было. Та первая операция прошла успешно. Ганс ждал, пока я не встану на ноги. После войны Ганс подолгу жил в Испании. Его дела шли хорошо, он стал по-настоящему состоятельным человеком. Я над ним подшучивала: “У такого капиталиста не может быть сестры левых убеждений...”

Ганс забрал меня с собой в Лондон. Было это в 1962 году. Он купил мне небольшую квартиру недалеко от Кингс Колледж. Занести в нее фортепьяно было целым делом. Я больше не работала, играла для себя, иногда для друзей. Когда мне надоедало серое лондонское небо и постоянные дожди, я ездила в Испанию, где у

Ганса был небольшой дом у моря... Потом у меня была вторая операция, после которой я в основном сидела дома и слушала радио. Полгода назад опухоль вернулась. Теперь она неоперабельна. Неделю назад меня навестил Ян Хоутерманс. Хотя он пытался не подавать виду, я поняла, как он ужаснулся, увидев меня... Посмотрел бы он на меня сегодня...

Примечания

Некоторые даты и детали не установлены точно (и, возможно не стыкуются) из-за пробелов в источниках, которые я использовал и которые приведены ниже:

Дневник Шарлотты Хоутерманс, частично опубликованный в "Physics in a Mad World";

Неопубликованные заметки Яна Хоутерманса;

Заметка в Geni о Charlotte Schlesinger (на немецком);

Электронные письма от Джона Шлезингера, племянника Шарлотты Шлезингер;

Отдельные упоминания вскользь Джин Ричардс;

Упоминание вскользь в неопубликованной заметке Фрица Хоутерманса о тюрьмах НКВД.



Николай Овсянников

КОЗЫРЕВ И МАЯКОВСКИЙ

Твердых сведений о личном знакомстве Михаила Козырева с Владимиром Маяковским не имеется. Однако есть вероятность, что в первой половине 1913 г. молодые люди встречались (возможно, не раз) в одной компании в Петербурге.

В это время Козырев, студент столичного Политехнического института, на почве увлечения поэзией знакомится со слушательницей Высших женских Бестужевских курсов Олимпиадой Ивойловой, которая с 1906 г. публиковала свои стихи под литературным именем Ада Владимировна. В 1915 г. они стали мужем и женой. Ада Владимировна принадлежала к ближайшему окружению Елены Гуро – художницы, поэтессы и хозяйки салона, где с 1910 г. собирались молодые питерские художники и поэты. Тогда же под патронажем Гуро они выпустили первый сборник «будетлян» «Садок судей». Гуро принимала участие в деятельности петербургского общества художников «Союз молодежи», куда в 1912 г. были приглашены московские художники и поэты группы «Гилея», в т. ч. В. Маяковский и А. Крученых. На следующий год при их участии Гуро издает второй сборник «Садок судей» и сборник «Союз молодежи». Ада Владимировна, постоянная посетительница салона Гуро, одна из ее ближайших подруг, вводит Козырева в круг поэтов-футуристов, оказавших на него определенное влияние. Преждевременная кончина Е. Гуро в конце апреля 1913 г. сделала невозможным участие Козырева в издательских предприятиях творческой группы, душой которой она была. Кроме того, то ли по идейным соображениям, то ли в силу иных эстетических предпочтений Козырев не проявляет стремления к сближению с группой Маяковского. В конце 1914 либо в начале 1915 г. он сходит с Виктором Ховиным, литературным критиком, книготорговцем и владельцем издательства «Очарованный странник», печатавшим стихи Велимира Хлебникова, Игоря Северянина и других молодых поэтов футуристического направления. В 9-м (1915 г.) выпуске одноименного альманаха Ховин публикует большое лирико-философское стихотворение Козырева «Король». Первая же строфа стихотворения приводит на память поэму Маяковского «Облако в штанах», отрывки из которой публиковались с февраля того же года. С большим количеством цензурных купюр поэма была выпущена Осипом Бриком в сентябре 1915 года.

Козырев:

Радостно вырвавшись из петель тоски,
Высоко подняв голову гордую,
Так высоко, что ей облака близки,
Пройти по улицам города...

В своей поэме Маяковский как раз и проходит по петроградским улицам, «мир огрунив мощью голоса», «красивый, двадцатидвухлетний», запросто беседующий с «господином богом»:

Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Виктор Ховин, с симпатией наблюдавший за первыми шагами Маяковского-поэта, после сближения последнего с четой Бриков постепенно приходит к пол-

ному неприятию его творчества, особенно послеоктябрьского периода¹. Подобным образом меняется отношение к Маяковскому у Козырева. После 1917 г. он вообще рвет с футуризмом, причем на какое-то время даже становится сторонником Пролеткульта – в ту пору главного критика этого литературного направления.

После выхода в 1921 г. поэмы Маяковского «150 000 000» Козырев в 1922 г. пишет, а в 1923 г. публикует фантастическую повесть «Неуловимый враг» – едкую идейно-литературную пародию на это произведение. Высмеивает он, прежде всего, утопическую идею мировой революции, воспеваемой Маяковским. Ее бесчисленным адептам, мечтающим о революционном завоевании оплота мирового капитализма – Соединенных Штатов (у Маяковского с этим делом управляется огромный коммунистический монстр Иван, перешедший Атлантический океан), Козырев показывает своей «вариант» пролетарской революции в развитой капиталистической стране. Ивана, гигантского «человека-коня» «из северной Трои», внутри которого оказываются завоевывающие Америку «люди, дома, броненосцы, лошади», Козырев издевательским образом превращает в 5-летнего бессловесного мальчика, сброшенного русской эмигранткой на улице одного из городов атлантического побережья не названных, но легко узнаваемых САСШ. Напуганные Маяковским заокеанские буржуи теперь уже сами превращают несчастного беспризорного мальчика в «неуловимого врага», в их воспаленном воображении размножающегося полчищами большевиков, высадившихся на «полуостров». Парализованную ужасом страну охватывает финансовый кризис, толпа революционно настроенных рабочих выходит на улицу, разоружает полицию и вскоре празднует победу, которой, как вскоре выясняется, обязана 5-летнему экспортеру революции из России. Таким образом, изображенная Козыревым пролетарская революция происходит в результате массового психоза. Нет ли здесь намек, что и реальные большевики власть скорее подобрали, чем завоевали, а попустительствовавшие им люди пребывали в состоянии самообмана?

Гротескно-карикатурный образ президента Вильсона из поэмы Маяковского Козырев пародирует под видом «мистера Бебеша». Образованного, интеллигентного, тонкого ценителя поэзии и при этом экономиста по образованию, Козырева не могла не возмутить грубая тенденциозность Маяковского с беспочвенным объявлением о завершении истории («Будущее наступило!») и утомительным нагромождением его фирменных «художественных средств». С их помощью Маяковский старался максимально демонизировать американского президента, осуществившего в это время программу т. н. «новой свободы», стимулирующей конкуренцию, развитие равных возможностей и направленной на борьбу с коррупцией.

Маяковский: *«Места нет такого, / отойти куда, / чтоб всего его (Вильсона – Н.О.) глазом обмерить. / То, что можно увидеть, – / один уголок, / но и то такая диковина!»* Словом, монстр. Козырев: *«И если мы позволим себе маленькую нескромность... то мы все равно не увидим мистера Бебеша: мы увидим только за столом на огромном кресле огромную кучу из брюк, сюртука, галстука и белоснежного воротничка...»* Вот еще пример. Маяковский: *«...в двери смотрит Вильсон, / а в двери там – / непоколебимые, / походкой зловещею, / вещь за вещью / вваливаются в дверь эту: / Господа Вильсоны, / пожалте к ответу!»* Козырев:

¹ По свидетельству Софьи Шамардиной (одной из возлюбленных Маяковского), в 1915 г. Ховин разошелся с Маяковским, при этом резко негативно отзывался о Бриках. При встрече с ней в 1922 или 1923 гг. в Москве, куда он приехал, хлопоча о загранпаспорте для последующей эмиграции, Ховин говорил о Бриках с нескрываемой ненавистью.

«Мистер и мистрис Бебеш направились к пароходу. Рабочий, покрытый сажей и с винтовкой через плечо (не правда ли, знакомая картинка? – Н.О.), подошел к мистеру Бебешу: – Вы гражданин Бебеш? – Приказом революционного комитета вы арестованы!»

После публикации «Неуловимого врага» Козырев как будто теряет интерес к личности Маяковского. Лишь в июле 1929 года, завершая 2-ю редакцию романа «Город энтузиастов» (не опубликована, хранится в РГАЛИ), он изображает монумент, установленный в Москве 1936 года (действие этой антиутопии перенесено на несколько лет вперед) в районе Советской площади: *«Безвкусный, как и все подобные начинания МХК, памятник этот являл собой утлый мраморный пьедестал, на котором нетвердо и как-то сбоку громоздился очень пышный, с дебелой женской грудью бюст нынче забытого, но когда-то известного стихотворца. Непомерно выпятив нижнюю лошадиную челюсть², поэт глядел вправо, как будто через громады новых домов, сквозь стены центральной лаборатории наркомзема, сверкающими куполами поднимающейся в бессонное небо (в романе осуществлена идея «денификации» – отмены ночи. – Н.О.), хотел снова и снова, дружески кивнув небрежно затерянному в таких же громадах бронзовому человеку в старомодном плаще, повторить выгравированные на мраморном пьедестале памятника слова: "Нам в веках стоять почти что рядом! Я – на М., а ты – на П."»*

Изображенный Козыревым монумент появляется на страницах романа не случайно: автор устраивает своеобразную встречу разошедшихся когда-то друзей – Маяковского и Пастернака. Главный герой романа Александр Локшин – это Пастернак «октябрьского образца», с помощью машины времени как бы перенесенный в середину 30-х, дабы осуществить типично футуристическую утопию – отмену ночи (реальный Пастернак в 1917 г. мечтал об отмене в России частной собственности). Утопия осуществляется, однако ее автор, Локшин, терпит личное поражение: потерю семьи возлюбленной, отчуждение друзей и близких, утрату престижного положения, известности и, как итог, глубокое разочарование в некогда затеянном начинании. И вот, бродя по залитой искусственными солнцами ночной Москве, он «...в беспомощном раздумье» останавливается и смотрит на памятник, «уже второй год маячивший на площади, под самым окном его номера».

Сцена происходит в самом центре *города будущего*, построенного на месте воспетой Есениным Москвы двадцатых годов («Я люблю этот город вязевый, / пусть обрызг он и пусть одрях»). Теперь здесь действует метро и скоростная железная дорога, движутся тротуары, на опытных полях с помощью чудодейственных калориферов выращивается пшеница невиданных размеров. Словом, выстроен коммунистический город, о котором мечтал Маяковский (*я знаю – город будет...*) Но ни технические новшества, основанные на оторванном от жизни изобретательстве и кабинетных проектах переустройства жизни, ни энтузиазм одуроченных масс, ни карьерные устремления политиков, бюрократов, ученых, журналистов, ни «человек, лицо которого Локшин знал по бесчисленным портретам», не в состоя-

² «Лошадиная челюсть» и «дебелая женская грудь» – образы, явно навеянные статьей В. Ходасевича «Декольтированная лошадь» (1927). Привожу характерный отрывок: *«Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы ее, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями в черной рубахе, расстегнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольтэ. Каюсь: прозвище "декольтированная лошадь" надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский».*

нии превратить прежнее место обитания людей в город их счастливого будущего. В его столовых по-прежнему кормят отвратительной пищей, по халатности начальства взрываются заводские цеха и гибнут люди, как и прежде, распадаются семьи, происходят самоубийства, его обитатели интригуют, предают, втирают начальству очки, пьянствуют и во всех бедах винят привидевшуюся им «жидовскую власть» и коммунистов.

Сцену «встречи» друзей-футуристов неслучайно освещает электрическое солнце – то самое, о котором когда-то мечтал Маяковский: «И не будут, / уму в срам, / люди от неба зависеть – / мы ввинтим лампы «Осрам» / небу в звездные выси» («Наше воскресенье», 1923).

При этом место их «встречи» – район Советской площади – явно отсылает к сцене из фельетона Михаила Булгакова «Бенефис лорда Керзона» (1923), где дается «перекликающийся» с козыревским монументом портрет живого Маяковского:

«А напротив, на балкончике под обелиском Свободы, Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

*...британский лев вой!
Ле-вой! Ле-вой!*

– Ле-вой! Ле-вой! – отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

*– Вы слышали, товарищи звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!
И стал объяснять:*

– Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! Когда убивали бакинских коммунистов...

*Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса запели:
Вставай, проклятем заклеянный!*

*Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:
– В отставку Керзона!»*

Когда Козырев заканчивал 2-ю редакцию «Города энтузиастов», Маяковский был еще жив. Выходит, в июле 1929 г. писатель каким-то образом предвидел, что к 1936 году автора «150 000 000» уже несколько лет («нынче забытого» – о поэте, «второй год маячивший» – о памятнике) как не будет в живых. Не удивительно ли?

Да нет, ничего удивительного. Маяковский давно казался Козыреву (впрочем, не только ему) кем-то вроде говорящего покойника. Известно, например, высказывание Михаила Пришвина: «Маяковский – это Ставрогин, но Лиля Брик – это ведьма... Ведьмы хороши у Гоголя, но все-таки нет и у него и ни у кого такой отчепливой ведьмы, как Лиля Брик». Не правда ли, от этих характеристик так и веет неумолимо подступающей смертью? А то, что смерть была рядом, ярче других свидетельствует сама Лиля: «Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях». Наверно, поэтому его так тянуло к мертвецам и прочей загробе. Михаил Вайскопф, автор работы «Во весь логос: религия Маяковского»³ отмечает: «С середины 1920-х, не довольствуясь эпизодическими прорывами в будущее, он (Маяков-

³ В кн. М. Вайскопф. Птица-тройка и колесница души, М., НЛО, 2003.

ский – Н.О.) налаживает неустанное общение с загробным прошлым ("спиритизм вроде") – см., например, знаменитый, развеселивший пародистов разговор с пушкинской статуей ("Юбилейное", 1924), в ходе которого Маяковский указывал на свое посмертное место в поэтическом пантеоне, подчеркивая при этом свое очевидное превосходство над самим Пушкиным и прочими литературными соперниками...» Обращаясь к более поздним медитациям поэта, М. Вайскопф пишет: «В 18-й главе "Хорошо!" мотив коммунистического спиритуального бессмертия явно омрачен страхом духовидца, столкнувшегося с загробными чудовищами. Сперва повествователь, обзревая лунной ночью стены Кремля, решительно заявляет, что не войдет в ленинский мавзолей – "души не смущу мертвизной". И все же неведомая сила властно притягивает его к мертвецам: "Но / могилы / не пускают, / и меня / останавливают имена". Прогулка по некрополю перетекает в мысленный диалог с казенными мощами большевистских угодников, которые в зловещем лунном сиянии пробуждаются, однако, на манер Дракулы или балладных вампиров: «И чудится мне, / что на красном погосте / товарищей / мучит / тревоги отравы. / По пеплам идет, / сочится по кости, / выходит / на свет / по цветам / и по травам"».

Для понимания утраты интереса Козырева к Маяковскому как личности и поэту, важно сделанное Пришвиным сравнение последнего со Ставрогиным. По мнению философа Сергея Булгакова, разбиравшего пьесу «Николай Ставрогин», незадолго до революции поставленную московским Художественным театром по мотивам «Бесов» Достоевского, этим персонажем как бы «владеет дух небытия, и он сам знает о себе, что его нет».

Из всех мужских образов Достоевского Ставрогин и впрямь порою кажется каким-то бледным, неубедительным и как бы специально назначенным на традиционную в русской литературе роль лишнего человека, который здесь окончательно выродился в некоего *беса-искусителя поневоле*. Условно говоря, и в романе его нет, а все его мнимые жертвы давно искушены, одержимы и действуют в соответствии с логикой развития образов, а отнюдь не под воздействием чьего-то пагубного влияния. Да и какое влияние может оказать на человека *пустота*? А то, что Ставрогин совершенно и невыносимо пуст, ясно не столько из слов С. Булгакова, сколько из текста романа. Правда, эта внутренняя пустота сродни воздушной воронке, засасывающей в себя близко расположенные предметы. В романе – это запутавшиеся молодые люди, окружающие Верховенского⁴ и Ставрогина.

Романо Гуардини, автор книги «Религиозные мотивы в творчестве Достоевского» (1932) использует образ *оси, вокруг которой вращается мир «Бесов»*.

«Но то, вокруг чего вращается этот мир, – пишет он, – и откуда поступают импульсы для его разрушительной работы, есть в конечном итоге Ничто – самосгустившаяся, отчаявшаяся пустота. В этом и состоит весь ужас положения.

Невольно напрашивается образ Дантова ада: повсюду в огромной воронке трудятся и неистовствуют черти. Но они – всего лишь эмиссары, воплощения того, кто находится в центре. Он же недвижим; он заморожен. Таков Ставрогин».

⁴ Роль этого литературного персонажа при Маяковском-Ставрогине играл, как мне представляется, «литературный» деятель (и одновременно юрисконсульт ОГПУ) О.М. Брик.

Юрий Карабчиевский, автор книги «Воскресение Маяковского» (1990), говоря о том, что объединит Маяковского и его поэтических последователей, отмечает их особое «отношение к слову, к материи стиха и просто – к материи»⁵. Всякий раз мы видим, что «...имеем дело с оболочкой сути, с заключенной в искусный сосуд пустотой (курсив мной. – Н.О.)».

«Маяковский, – пишет исследователь в другом месте, – как засасывающая воронка (!! – Н.О.), всякое сближение с ним губительно. Даже трагическая его судьба есть великий соблазн и растление душ...» (снова параллель со Ставрогиным. – Н.О.)

На последней странице книги Карабчиевский вспоминает Владислава Ходасевича, который «в жестком своем некрологе <...> субъективно вполне может быть понят. Он писал не статью, он произносил заклинание, своеобразное "чур меня!"».

Другой замечательный автор, наш современник философ Владимир Кантор высказывается о Маяковском в том же духе: «...сопровожаемый всю жизнь вышедшей из "пекловых глубин" Лилией Брик, Маяковский связался адскими силами, нашедшими себе приют под кожанками ЧК, и был затащен на ставрогинскую глубину, в самоубийство»⁶.

Опубликовав в 1923 г. свою пародийную повесть «Неуловимый враг», Михаил Козырев, очевидно, сделал нечто подобное ходасевическому «чур меня!» Как позднее Ю. Карабчиевский, он понял, что в Маяковском, собственно,

«Маяковского не было... Пустота, сгущенная до размеров души, до плотности личности – вот Маяковский.

Милостивые государи!

Защитайте мне душу –

Пустота сочтется не могла бы.

За 12 лет советской власти Маяковский написал вдесятеро больше, чем за 5 предреволюционных лет. Он был не просто советским поэтом, он в любой данный момент был поэтической формулой советского быта, внешних и внутренних установок, текущей тактики и политики. И однако же то главное, что он ставил себе в заслугу, не было выполнено, не было даже начато. Время свое он не отразил и не выразил.

В 40-50-е гг. мы страстно читали его стихи, знали наизусть половину его поэм, но что мы знали о времени? Это теперь мы можем дополнить его строки тем фоном, тем подлинным вкусом и запахом времени, который нам сообщили другие.

Время выражается только через личность, только через субъективное восприятие. Объективного времени нет. Маяковский же... Странно произнести. Между тем это очевидно. Маяковский личностью не был. Он не был личностью воспринимающей, он был личностью оформляющей, демонстрирующей, выдающей вовне, на-гора:

⁵ К сожалению, автор не остановился подробнее на отношении Маяковского к «материи». А ведь это фундаментальная вещь. Почему-то мне кажется, к этой инстанции поэт относился чисто по-юберальски и старался не обращать «взор свой к призрачной и тленной вещи, если он зрит ее нетленное и божественное отражение», которое «только и может... явиться объектом суждения и, следовательно, научного исследования».

⁶ В. Кантор. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М., 2011, стр. 331.

Я себя
советским чувствую
 заводом,
вырабатывающим счастье.

«Он не был поэтом воспринимающим, – через три абзаца развивает свою мысль Ю. Карабчиевский, – он был поэтом изобретающим. То, что он сделал, – беспрецедентно, но все это – только в активной области, в сфере придумывания и обработки. Все его розы – изобретенные. Он ничего не понял в реальном мире, ничего не ощутил впервые.»

О надуманности и «духовной пустоте» начатой Хлебниковым и продолженной Маяковским «переоценке ценностей» еще в 1927 г. высказался один из умнейших литературных критиков русского зарубежья поэт Владислав Ходасевич: *«Маяковский на все эти эстетические "искания" (имеются в виду новаторский запал первых футуристов – Н.О.) наступил копытом. Его поэтика – более чем умеренная. В его формальных приемах нет ровно ничего не заимствованного у предшествовавшей поэзии. Если бы Хлебников, Брюсов, Уитман, Блок, Андрей Белый, Гиппиус да еще раешники доброго старого времени отобрали у Маяковского то, что он взял от них, – от Маяковского бы осталось пустое место.»*

Уже после кончины поэта, в 1931-м, Ходасевич так сформулировал генезис его поэтического облика: *«Русскому невежеству всегда были свойственны: крайняя смелость мысли и эстетическая склонность к низвержению кумиров, к переоценке ценностей. Мыслители этого склада, обычно – из недоучившихся гимназистов или семинаристов, не раз были изображены в литературе, они ужасали Достоевского и повергали в насмешиливую грусть Чехова. Маяковский первый из них сам явился в литературу.»*

Стоящий на столичной площади, некогда носившей его имя, памятник, на самом деле, отображает суть сделанного Маяковским куда более жестко, чем суровый «приговор» Ходасевича и задиристое «пророчество» Козырева. Он – подлинный символ и одновременно часть материализовавшегося в камне социализма – согласно выводу Евгения Добренко, «системы техник по легитимации реализуемого политико-идеологического проекта и по репрезентации его в качестве социализма»⁷.

Неудивительно, что и построенный в СССР социализм (не о нем ли мечтал Маяковский, говоря, что лучшим памятником ему будет построенный в боях социализм?) «оказался памятником не кому-нибудь, но именно поэту».



⁷Здесь и далее цитаты из кн.: Е. Добренко. Политэкономика соцреализма. М., 2007, стр. 55-56; 75.

Леонид Лазарь

ДЕЛО ЛЕО ФРАНКА

17 августа 1915 года, поздно вечером, сотни жителей Атланты (Georgia) вышли на улицы небольшого городка Милледжвилл (Milledgeville). Агрессивно настроенная и хорошо вооруженная толпа ворвалась в местную тюрьму. Быстро обезоружив охрану, из тюремной больницы вытащили одного из заключенных и, перекинув его через круп лошади, увезли в пригород Атланты – Мариетту.

Сто лет тому назад

В XVIII–XIX веках центральным властям США с трудом удавалось контролировать территорию постоянно увеличивавшейся в размерах страны. Большую роль в поддержании правопорядка на местах играли собрания авторитетных жителей городов и поселений. Часто, по их решениям вершился суд над людьми, которые совершили, или только пытались совершить какие-то преступления.

В штате Виргиния (Вирджиния) жил гражданский судья Чарльз Линч. В годы Войны за независимость (1775-1783), в условиях политической нестабильности, он единолично выносил обвинительные приговоры в отношении нарушителей порядка, военных и уголовных преступников.

Капитан Уильям Линч, в 1780 году, служил в Пенсильвании. Используя личную власть, он очень жестко наводил то, что в его понимании, считалось «порядком».



В 1850 г. Конгресс США принял закон о беглых рабах, разрешавший поиск и задержание беглецов на территориях, где рабство было отменено. Учреждались особые уполномоченные по ловле рабов, которым все должны были оказывать содействие. Население всех штатов призывалось участвовать в поимке беглецов.

На этой волне, в 1865 г., образовался Ку-клукс-клан (Ku Klux Klan, КKK). Члены этого общества называли себя «Невидимая империя Юга» (Invisible Empire of the South). В основном КKK занимался негритянскими погромами и показательными казнями. По всей стране росли многочисленные террористические группы,

разжигавшие расовую ненависть: «Белое братство», «Рыцари белой камелии», «Рыцари чёрного креста», «Стражи Конституции», и др. Публично, самыми жестокими методами, расправлялись с ворами, насильниками, беглыми рабами, дезертирами, казнокрадами, мародёрами.... Помимо повешения широко практиковались: пытки, расстрелы, нанесение увечий, забивание камнями, кастрация и пр.



Многие жители приветствовали подобные методы наведения порядка. Посмотреть на исполнение приговоров приходили с детьми, заранее занимали удобные места. Приезжали со всеми домочадцами, из соседних городов и поселений.





Суды без участия обвинителей и защиты назывались судами Линча. Никто точно не знает от какого из двух Линчей пошел этот (Lynch law) термин.*

До середины 30-х годов XX века такой суд был обычным явлением на территории США. С исполнителями приговоров проблем не было, народ с удовольствием принимал участие в расправах. Иногда ими руководили шерифы, но чаще народное волнение возникало спонтанно. Давая выход гневу, сметая всё на своём пути, толпа вершила народное «правосудие».

Через пять лет после его создания, противоправная деятельность Ку-клукс-клана достигла таких размеров, что президент У. Грант издал закон о его запрещении. Воинствующий расизм ушел в подполье, но деятельность свою ещё долго не прекращал.

«Приведите ко мне всех усталых, всех бедных, жаждущих дышать воздухом свободы»**

В конце XIX и начале XXвв. большинство еврейского населения США составляли выходцы из Восточной и Центральной Европы. Иммигранты стремились к лучшей жизни и были уверены, что не встретятся больше с неравноправием, погромами, кровавым наветом и прочими преследованиями на национальной и религиозной почве.

К сожалению, они ошибались. По всей стране, особенно на Юге, бушевала эпидемия судов Линча. Виновных (по мнению толпы) в серьезных преступлениях обычно вешали. Трупы сжигали на костре. За небольшие проступки обмазывали дегтем, вываливали в перьях, привязывали к бревну и носили по городу, после чего изгоняли из города. В судах Линча участвовали неорганизованные толпы и уважаемые граждане: судьи, мэры небольших городов и даже шерифы. О месте и времени линчевания сообщалось заранее, народ с удовольствием глазел на такие шоу. Это был неплохой бизнес для фотографов, граждане любили сфотографироваться на фоне костра или виселицы.

Наряду с дискриминацией чернокожих иногда преследовали и другие группы населения. Бывало, что линчеванию подвергались и белые американцы: итальянцы, англоязычные католики, ну и... евреи, конечно.

Как без них?

Правила и исключения

Массовый суд Линча над белыми случился в 1890 году в Новом Орлеане (Луизиана). В конце 19-го века в Америку прибыло много итальянских эмигрантов. Большинство – были родом из Сицилии. Многие из них поселились на Юге, возможно, их привлекал климат, напоминавший о солнечной родине. Как и все приезжие, сначала они подвергались дискриминации. Прошло немного времени и сицилийцы освоились. Организовавшись по итальянскому образцу в «семьи», они занялись привычным делом – рэкетом и поборами с соотечественников. Потом освоились настолько, что стали запугивать и уничтожать конкурентов. Под их контроль попали мелкие торговцы, казино, проститутки, ночные бары и другие увеселительные заведения. Вскоре, руководимые «семействами» Матранга и Прованцано, они расширили зоны своего влияния и стали промышленно рэкетом на вокзалах и в порту Нового Орлеана.

Когда сицилийская мафия перешла все границы и стала диктовать свои условия другим группам населения, жители взбунтовались против такого произвола. Местный шериф Дэвид Хеннеси решился на арест нескольких её членов. Месть мафии не заставила себя долго ждать – его публично застрелили.

Это преступление вызвало огромный резонанс по всей Америке. Такого вызывающего преступления не было со времен убийства (1865 г.) президента Линкольна. Полиция организовала ширококомасштабную операцию. Были арестованы более 200 человек членов и пособников мафии, включая с боссов Матранга и Прованцано.

Однако большинство из задержанных пришлось выпустить, конкретных обвинений против них собрать не удалось. К суду было привлечено лишь 14 человек – главари обеих семейств и их ближайшие подельники.

Оставшиеся на свободе сицилийцы хорошо подготовились к судебному процессу. Судей и присяжных подкупили, кого подкупить не удалось – запугали. Сви-

детели отказывались от ранее данных показаний. В результате – четверых обвиняемых, в том числе и главарей мафии – оправдали, остальные отделались небольшими сроками.

День объявления приговора выпал на итальянский праздник в честь короля Умберто I, сумевшего объединить страну национальным героем. Итальянцы всегда широко праздновали это событие, и на этот раз – украсили дома флагами, и затеяли праздничные гуляния, чем сильно разозлили остальных жителей.

Город захлестнула волна недовольства. Пресса негодовала и соревновалась в подстрекательстве. Жители Нового Орлеана, вооружившись дубинами и ружьями, отправились к городской тюрьме. Обезвредив охрану, из камер выволокли одиннадцать осужденных. Двоих тут же повесили, семерых расстреляли во дворе, оставшихся – покалечили.

Страна горячо одобрила действия жителей Нового Орлеана. Полиция бездействовала, никто не был наказан. Сицилийцы затихли, многие, на долгие годы, покинули город.

Интересно, что среди линчевателей сицилийцев было много негров. Этот самосуд стал уникальным явлением в истории американского Юга – черные линчевали белых!

Чаще было наоборот. В отличие от других групп, подвергавшихся дискриминации, негры, в то время представляли собой самую неорганизованную, никем не руководимую массу неграмотных рабочих. Они были связаны кабальными договорами, которые практически невозможно было расторгнуть, поэтому и подвергались преследованиям и дискриминации больше других.



Надо заметить, что кровавые расправы не всегда сходили с рук тем, кто осуществлял самосуд. В 1907 году в городе Чаттануга (Теннесси) была изнасилована и убита белая женщина. Убийцу быстро нашли, им оказался негр по имени Эд Джонсон. Через месяц его приговорили к смертной казни. По закону осужденный имел право на апелляцию. Прощение о пересмотре дела вызвало бурю возмущения у жителей города. Какой пересмотр – когда и так всё ясно! Разъярённая толпа ворвалась в тюрьму. Приговорённого долго били, затем его вытащили на улицу и повесили на городском мосту. Уже в труп вволю постреляли, кто сколько хотел.

Верховный суд США, в первый раз за всю историю государства, разбирал дело о самосуде. Трёх самых активных участников линчевания и приговорили к 2 месяцам тюрьмы. Отсидев половину срока, они были отпущены на свободу, где «героев» восторженно встретили соотечественники.

Всего в США, в период 1882-1927 гг., подверглись линчеванию около пяти тысяч человек.

Дело Лео Франка

Есть такая теория, хромосомы – это не только кирпичики, из которых построен человек, но и предначертание его судьбы, и его будущего.

В 1884 году в Техасе, в семье еврейских эмигрантов из Германии по фамилии Франк, родился сын Лео. Вскоре семья переехала в Нью-Йорк. Мальчик хорошо учился и поступил в Корнелльский университет, где получил специальность инженера-механика. Вскоре он переехал в Атланту – дядя пригласил его стать управляющим на своей карандашной фабрике. Вскоре Лео женился на девушке из уважаемой еврейской семьи – Люси Зелиг, её предки основали первую синагогу Атланты.

К своим 29-и годам Лео Франк добился больших успехов. Его карьера стала зримым воплощением американской мечты: получил хорошее образование, создал семью, обрел финансовую стабильность, пользовался большим уважением сограждан – стал председателем местного отделения еврейской организации «Бнай-Брит».



Но тут что-то пошло не так. Кто-то вмешался и нарушил стройный ряд его хромосомных кирпичиков.

Кто?

Если бы знать...

27 апреля 1913 года, когда в подвале здания карандашной фабрики был обнаружен труп 13-летней работницы Мэри Фэган, на фабрике она выполняла самую простую работу – присоединяла резинки к карандашам.

Врачи установили: её избили, изнасиловали и задушили.



Основными подозреваемыми стали находившиеся в здании фабрики в ночь убийства: управляющий Лео Франк, привратник Джим Конли и ночной сторож Ньют Ли – который, обнаружив тело Мэри, и вызвал полицию.

У Ли было алиби: карта, отмечавшая нахождение работника на том или ином объекте, показала, что он не мог находиться в подвале в момент убийства. В подозреваемых остались двое – управляющий и привратник. Рядом с телом обнаружили записку. Конли показал: девочку убил Франк, записку (под диктовку управляющего) писал он сам, позже они перенесли тело в подвал.

Лео Франка арестовали.

Прокурор уверенно выстраивал обвинение – Франка избличает то обстоятельство, что записка, найденная рядом с телом убитой, была найдена, написанная правильным, без грамматических ошибок, языком. Малограмотный, чернокожий алкоголик Конли не мог бы так написать.

Были и другие версии преступления, следователи не обращали на них внимания. Конли выступал на суде в качестве главного свидетеля обвинения. По ходу процесса появились улики в пользу того, что, скорее всего, он сам и был убийцей. Суд затыкал уши и закрывал глаза на откровенную ложь и многочисленные противоречия в его показаниях.

Для исследования других версий и улик нужно было время, а его не было. Ненависть народа к убийце кипела, подогреваемой бульварными газетками толпе не нужна была истина, ей нужно было, как можно быстрее затянуть петлю на шею негодяя. Подозреваемый совсем не вызывал у неё симпатий – мало того, что выходец с Севера, капиталист и промышленник, так ещё и... еврей! Народ требовал – хватит бюрократии, еврейский насильник не должен уйти от ответа за своё гнусное преступление!



Расисты-южане, традиционной фигуре насильника – негра, в этот раз предпочли насильника – еврея. Он хоть и был «почти белым», но по существу – был «иным». Признать за чистокровным «черномазым недоумком» способность к сложной интриге с запиской, было настолько оскорбительно для белых горожан, что они сосредоточили свой расовый гнев на хитроумном (как и они все!) еврее.



Черные радовались, ко всему прочему они ещё и точно знали – это евреи распяли Иисуса. Одновременно со знаменитым «Let My People Go», они, в то время, с большим чувством распевали и другой спиричуэл — «De Jews Done Killed Poor Jesus».

То, что они сами были жертвами расизма белых янки, к сожалению, не привило им иммунитет к другим видам расизма, в частности – к антисемитизму.



Негры не любили евреев, да и евреи не особенно жаловали негров. Белые расисты Юга ненавидели и тех, и других.

Пресса эксплуатировала эти настроения и нагнетала страсти.



Многотысячная толпа, окружавшая здание суда, на всем протяжении процесса скандировала – повесьте еврея или мы повесим вас!

Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Председательствующий судья Леонард Роун вынес приговор – смертная казнь через повешение. Толпа ликовала, прокурора Дорси несли на руках.

Адвокаты Франка вели борьбу, кассация указала на сотню процессуальных ошибок в 17 категориях. За два года в различные судебные инстанции было подано 13 апелляций. Все они были (Верховным судом США в т.ч.) отвергнуты. Проигнорировали и письменное заявление сожительницы Конли, показавшей, что тот признался ей в убийстве Мэри Фэган. На свидетелей оказывалось давление, им угрожали расправой. Джорджия и весь Юг требовали немедленно отправить на виселицу «еврейского убийцу и извращенца».

31 мая 1915 года состоялось последнее слушание дела. На письменное мнение судьи Роуна (скончавшегося незадолго до этого) в котором говорилось: «Франк не должен быть казнен, его вина не доказана полностью», не обратили внимания.

Экзекуцию назначили на 22 июня 1915 года. За сутки до исполнения приговора, своей властью, губернатор Слейтон заменил смертную казнь пожизненным заключением, обосновав свое решение – недостаточностью в деле улик. Перед этим он провел личное расследование, сам ездил на место преступления и детально изучил все подробности дела. Это стоило ему политической карьеры. Спустя всего неделю он был вынужден покинуть не только свой пост, но и свой город – вооруженная толпа требовала выдачи «пособника евреев». Джон Слейтон с семьей, тайно, под охраной, покинул родной штат, и несколько лет провел в изгнании.



Жители Мариетты и Атланты собрались возле повешенного Лео Франка****

Эта решение стало последней каплей, переполнившей чашу народного гнева. 17 августа 1915 года, поздно вечером, толпы жителей Атланты вышли на улицы Милледжвилла. Агрессивно настроенная и хорошо вооруженная толпа ворвалась в местную тюрьму.*** Быстро обезоружив охрану, они вытащили из тюремной больницы Лео Франка и увезли его в Мариетту (пригород Атланты, откуда была родом Мэри Фэган).

Перед линчеванием Лео Франку еще раз предложили признать свою вину. Тот заявил, что невиновен и попросил переслать жене его обручальное кольцо. Его подтащили к дереву, с которого свисала заранее подготовленная веревка с петлей.

На следующий день на повешенного пришли поглазеть многочисленные зеваки. Многие фотографировались рядом с повешенным. К вечеру появились полицейские, они молча вынули тело из петли и увезли его в морг. Преступников не искали и за самочинную казнь наказания никто не понёс. Еврейские семьи прятались у знакомых христиан и покидали город. *****

Шестьдесят восемь лет спустя

В 1983 году, 82-летний Алонзо Манн признался, что видел в день убийства Джима Конли, волокшего в подвал тело Мэри, но, опасаясь мести убийцы, мать запретила ему говорить об этом.

Показания Алонсо Манна в корне всё меняло. Но, уголовное дело уже давно уничтожили, Джим Конли еще в 1962 году ушёл в мир иной, и уже не было никакой возможности вновь начинать расследование, искать и наказать настоящего преступника. *****

Десять лет назад

В июне 2005 года Сенат Соединенных Штатов официально принес извинения за бездействие в отношении линчевания нескольких тысяч человек, в основном чернокожих. Это было первое (на таком высоком уровне) извинение за "терроризм нации" в отношении меньшинств. Сенаторы особо подчеркнули, что жертвами линчевания становились не только негры, но также индейцы, итальянцы, мексиканцы и другие американцы неанглосаксонского происхождения.

Важно, что резолюция была предложена демократом от Луизианы Мэри Ландрю и республиканцем из Виргинии Джорджем Алленом – представителями Юга Луизианы – этот штат занимает "почетное" второе место (уступая только Теннесси) по линчеваниям.

"Для нас исключительно важно показать, что США честны перед собой и могут открыто рассказать правду о том, что произошло", – заявила одна из авторов законопроекта Мэри Ландрю, демократ из Луизианы. Второй автор, республиканец Джордж Аллен из Вирджинии, отметил, что резолюция "демонстрирует характер нашего народа, который стремится к справедливости для всех".

В начале 1960-х годов самочинные расправы перестали классифицировать как отдельное преступление, а начали рассматривали как убийство с отягчающими обстоятельствами.

Эпоха линчевания закончилась.

В 1986 году суд штата Джорджия признал Лео Франка невиновным.

Его наследникам выплатили денежную компенсацию.

Примечания

* Существует и такое предположение: суд Линча обязан своим названием глаголу to lynch — «бить палицей», «бичевать».

** Строчки из стихотворения Эммы Лазарус (Emma Lazarus) «Новый Колосс» (The New Colossus) украшающие пьедестал Статуи Свободы.

*** Американский журналист Стив Они выпустил книгу «И мертвые поднимаются: убийство Мэри Фаган и линчевание Лео Франка» где он пришёл к мнению, что Лео Франк был невиновен, а организаторами и непосредственными участниками самосуда были самые уважаемые граждане штата.

(Oney, Steve. *And the Dead Shall Rise: The Murder of Mary Phagan and the Lynching of Leo Frank*. New York: Random House, 2003.)

**** Из этой фотографии была сделана почтовая открытка, которая продавалась по 25 центов за штуку.

***** Реакцией на те события в США стало создание (1913 г.) Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League, ADL — буквальный перевод «Антиклеветническая Лига»), правозащитной общественно-политической организации, призванной противостоять любым проявлениям антисемитизма.

Отмечая девяностолетнюю годовщину своего существования, Антидиффамационная лига провела церемонию памяти Лео Франка. На кладбище Mount Carmel (Риджвуд), на его могиле, торжественно открыли мемориальный камень.

***** Почти через 90 лет, университет «Корнелл», который Лео Франк окончил в 1906г., почтил своего выпускника. В память о нем в университете прошла недельная программа, включающая в себя: выставку, лекции и фильм о его деле.

P.S.

28 февраля 2016 года в городе Анахайм (Калифорния, графство «Орандж») при столкновении членов расистской организации "ку-клукс-клан" и противостоящими им демонстрантами пострадали (ножевые раны) три человека. Как сообщает местная полиция, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Арестованы четыре человека.



Los Angeles Times

Справка:

Анахайм (Anaheim) и крупнейший город графства Орандж, дом знаменитого Диснейленда, Anaheim Convention Center (крупнейший конференц-центр на западном побережье), команды Национальной хоккейной лиги — «Анахайм Дакс» (Обладатель Кубка Стэнли 2007 года) и «Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма» — Главная лига бейсбола.

Город был основан (1857 г.) немцами, жителями (выходцами из Франконии и Баварии) Сан-Франциско. Четверть века область была крупнейшим производителем вина в Калифорнии. В больших количествах выращивались: грецкие орехи, лимоны и апельсины. Строительство Диснейленда резко изменило город.

В начале 19-го века ККК был значительной политической силой в Анахайме. Его членами были уважаемые граждане, желающие строгого соблюдения порядков и особенно трезвого образа жизни.

В 1924 году, члены Ку-клукс-клана, на платформе политической реформы, были избраны в городской совет Анахайма. До этого момента, город был под контролем бизнеса и гражданской элиты, которую составляли в основном немецкие американцы. В соответствии с их традициями умеренного питья, они... не особенно следовали Сухому закону. Мэр был бывшим владельцем питейного заведения. Куклукс-клановцы же требовали строгого соблюдения запрета на алкоголь. Их численность, в то время, составляла около 1 200 членов и с ними приходилось считаться.



1915 год. Члены ККК приглашают на свои семинары.
(Photo courtesy of Anaheim Public Library)

После победы на местных выборах (апрель 1924 г.) кукуклуксклановцы уволили большую часть городских служащих, и заменив их своими людьми, стали своими методами восстанавливать «закон и порядок».

Вскоре ККК прекратил свое существование, но «белое движение» не умерло. Новый толчок для развития оно получило после появления Интернета. Набрав на компьютере простой адрес типа whiterpower.com, любой интересующийся попадает в разветвленную сеть, где сможет найти необходимые адреса, справочные материалы, фотографии и ссылки, одним щелчком можно получить все необходимые сведения о многочисленных организациях «белого дела»: Белое арийское сопротивление, Арийское братство, Арийская республиканская армия, Христианская идентичность, Мировая Церковь Создателя и др.



Память является одним из основных психических познавательных процессов личности человека. Именно благодаря ей человек может развиваться как личность. Как было установлено, развитие памяти не находится в прямой связи с интеллектуальным развитием.

"День памяти Мэри Фэган" периодически собирает в городе Маризтта белых расистов. О гибели Мэри Фэган и наказании "похотливого монстра" – ее убийцы – в Джорджии была сложена баллада, которая и сегодня пор исполняется на фольклорных фестивалях в сельских районах американского Юга.



Елена Кушнерова

MISSION: IMPOSSIBLE

3 серия. Сантандер

*Мы – пленённые звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.*

Ф. Сологуб

И вот мы уже в самолёте. Летим сначала до Мадрида, там пересадка. Ночь мы должны провести в гостинице и на следующий день лететь в Сантандер. Всё это за государственные деньги, как было тогда принято. Полёт прошёл благополучно, без приключений, не считая того, что мальчики с Усановым как следует перепились. (Шутка ли сказать! Алкоголь на халяву!) Идём получать багаж. Все снимают с бегущей дорожки свои вещи, а я усиленно концентрируюсь – как точно выглядела моя сумка? Я же её толком не видела! Мама собирала вещи, потом Дима засунул эту сумку в багажник машины Доренского, потом он же её вытащил и сразу сдал в багаж... Чёрт! Какого она была цвета? Пока я напряжённо вспоминаю, все постепенно разбирают свои чемоданы и уходят. Наша группа уже тоже всё своё получила. Бегущая дорожка останавливается: так сказать, сеанс окончен! Приехали! Я ничего не понимаю, спрашиваю нашу переводчицу, где мой чемодан? Она идёт выяснять, ей говорят – ничего больше нет, весь багаж выдан. Что? Нет вашего чемодана? Ну, тогда идите оформляйте потерю багажа... Как – потерю? Мы все – жутко уставшие, нервные. Всем было известно, что могут не выпустить в самый последний момент, даже с паспортом. Были известны случаи, когда прямо из самолёта вытаскивали! Что же касается меня, я ещё вообще не осознала тот факт, что меня выпустили, а уже нет багажа! То есть я попала в Испанию, имея в руках только тот самый красный, молоткастый и серпастый и... всё! Делать нечего, тащимся все вместе за Инной Львовной заявлять о потере багажа. Тут-то всё и начинается: «Как выглядел ваш чемодан? Какого он был цвета? Что в нём лежало?» Граждане! Да откуда я могу это знать?!

Хорошо помню эту первую страшную ночь такой желанной «заграницы» – жуткая, непереносимая жара и слёзы. Всю ночь я проплакала. Ни нота, ни смены белья, ни одежды, ни-че-го, кроме советского паспорта в руке.

Сантандер

Поскольку подготовка к конкурсу для меня свелась к единственной, практически невыполнимой задаче – получить выездную визу – мне и в голову не пришло посмотреть на карту! Где этот самый Сантандер находится? Что там за достопримечательности? Это всё казалось таким далёким, как космос! Ну что я буду мучать себя вопросами типа: есть ли жизнь на Марсе? Поэтому я и не сразу обратила внимание на тот факт, что наша гостиница стояла на берегу моря, можно сказать, прямо на пляже... Море, солнце и песок – это всё абсолютно выпало из зоны моего внимания. К тому же, какое море, граждане, какой пляж, когда последние дни во-

обще пролетели без занятий, а на конкурсе-то играть надо! Для полноты картины добавлю, что в своём платье я просто изнемогала от жары и что моя соседка по комнате, Нигора, одолжила мне одно из своих лёгких платьев. А Палома, узнав, что не пришёл багаж, и у меня нет нот, позвонила хозяйке музыкального магазина, и та привезла все ноты, которые мне были нужны...

Тут уместно отдать должное отличной организации конкурса. Впервые я поняла, что такое «частный» конкурс.

Немного расскажу о семье Паломы О'Ши. Палома – большая любительница фортепианной музыки. Она и сама училась играть на рояле (не могу с точностью сказать, профессионально ли), и была знакома со всеми известными испанскими пианистами. Её муж – банкир, владелец банка Сангандер, один из самых богатых людей Испании. Говорили даже, что они – самая богатая семья в Испании после королевской. Кроме того, Палома была очень красива, элегантна и умела безупречно держаться в обществе. С эдакой королевской простотой. Это произвело на меня сильное впечатление. Все шестеро её детей были отлично воспитаны и получили прекрасное образование. Все они учились в разных странах. Учились блестяще, иначе «папа не платил бы за образование».

Фортепианный конкурс имени Паломы О'Ши – безусловно, дело жизни Паломы. Высокое финансовое положение её мужа и моральная поддержка всей семьи были необходимой базой для организации этого масштабного музыкального события.

Во всех организационных вопросах Паломе О'Ши помогали её дочери – очаровательные Палома-младшая и Каролина (фамилия всех детей Паломы – Ботин, по отцу). Обе девочки были очень приятными, красивыми, дружелюбными и работали не покладая рук. Обе разъезжали на машинах, что меня невероятно восхищало, они же были моложе меня! Сесть за руль – было всегда моей мечтой – в то время абсолютной неисполнимой. Как-то раз они мне со смехом рассказали про случившуюся у них аварию – девочки столкнулись на машинах во дворе своего дома... Для меня это было чем-то вроде репортажа с Луны! Кроме того, они свободно общались на многих языках. Палома Ботин говорила даже по-русски. Несмотря на это, с нами неотлучно была Инна Львовна (что изрядно смущало остальных участников). Но её задачей было – не допустить нашего бесконтрольного общения с иностранцами. Представляете себе, какой стресс! Как можно не допустить общения с иностранцами, когда вокруг одни сплошные иностранцы!

С Паломой Ботин мы быстро подружились. Нередко она забирала меня на машине к себе домой, и тогда я занималась на рояле в салоне у самой хозяйки конкурса. Помню, как, выйдя из салона, сразу заблудилась в этом удивительном доме. Он был очень интересным: казался маленьким и одноэтажным со стороны ворот и парадного входа, но на самом деле этажи шли вниз по горе... Вот на этих этажах я и потеряла дорогу в салон с роялем...

Но я отвлеклась от темы организации конкурса.

Что было необычно на этом конкурсе – организованное питание для участников. Наверное, именно поэтому СССР и посылал туда конкурсантов. На этом деле сэкономились государственные деньги. Кроме того, отпала необходимость давать нам нищенские суточные, по-моему, \$4 в день...

Организованное питание – это, конечно, замечательно! Но проблема состояла в том, что питания этого нам катастрофически не хватало! Все остальные участники могли пойти в кафе, в ресторан, наконец, просто в магазин и купить, что они хотели, а мы всё время были голодными. Достаточно сказать, что за неделю я по-

худела на 7 кг... А ведь нам так нужны были силы! Мы же занимались часов по 5 в день! И, поверьте мне, молодым и голодным было ах, как тяжело!

Но это я уже забежала вперёд.

А сначала была регистрация и знакомство с участниками и организаторами конкурса. Узнав меня, все сразу забеспокоились:

– Как ваши руки?

– В каком смысле? Какие руки?

– У вас же были переиграны руки два года тому назад!

– У меня???

Ах вот оно что! Должны же были быть какие-то объяснения, почему я тогда не приехала на конкурс! Меня же ждали! Не мог же мой профессор Доренский (который в 1982 году был членом жюри) просто сказать, что меня НЕ ВЫПУСТИЛИ! Нашли, что придумать! Меня с детства так правильно учили, что никакого переигрывания рук и быть не могло!

И что я должна была ответить испанцам? Что меня КГБ не выпустило? М-да...

– Да нет, спасибо! Руки у меня были и есть в полном порядке!

На регистрации участники конкурса познакомились друг с другом, обстановка была приятная и расслабленная. С нами тут же, конечно, Инна Львовна. Поскольку нас всё же четверо, она не успевала контролировать всех нас одновременно... И вот меня уже спрашивают:

– А что это за женщина с вами?

– Да вот, – отвечаю, – переводчица...

– А зачем она вам? – недоумевают все.

Один из участников, француз, вдруг заговорил со мной на чистом русском языке! По-видимому, Инна Львовна была занята с кем-то ещё. Я просто пришла в восторг!

– Ах, как вы хорошо говорите по-русски! И практически без акцента! И где же вы его так хорошо выучили? Ах, в Москве? Так вы учились в Москве? Как это славно!

И вот мы уже договариваемся, что он будет меня подбрасывать на машине на занятия!

– А откуда машина? Как, вы прямо из Франции приехали на машине?

В общем, полный восторг! И такой приятный француз!

Тут Нигора меня отзывает в сторонку и говорит:

– Ленка! Ты что, с ума сошла? Это же Почтарь! Он же бывший наш! Он же сбежал! Прекрати с ним общаться! Тебя сейчас же обратно отправят!

И вот ни на какой машине я уже никуда не еду, а, наоборот, избегаю даже взгляда «фальшивого» француза. Вот ведь! Опасности подстерегают на каждом шагу!

Все участники были распределены для подготовки к конкурсу между богатыми семьями любителей музыки, предоставившими свои инструменты для наших занятий. Я была распределена в дом жены мэра Сантандера, моей тёзки, сеньоры Елены.

Поскольку, как я уже описывала выше, в Москве на занятия собственно музыкой ни времени, ни моральных сил у меня не было, надо было «нагонять» уже на месте, непосредственно перед конкурсом. После «птичьего завтрака», как мы нежно называли "petit déjeuner", который ограничивался маленькой чашечкой кофе с маленьким сладким круассаном, маленькой невиданной нами доселе упаковочкой масла и такой же упаковочкой мёда, я, голодная, тащилась заниматься. А учитывая

тот факт, что я ничего сладкого с детства не ем, мой завтрак ограничивался чашечкой кофе, который, кстати сказать, в Москве я тоже не пила. Все мои джемики и медки я отдавала ребятам, а самой, жутко голодной, надо было идти пешком по жаре в длинном платье Нигоры к сеньоре Елене и заниматься там 4 часа. Меня от голода просто качало, но что делать? Денег у нас не было, так что и вариантов было ноль.

Кормили нас три раза в день. Про завтрак я уже рассказала. Обед и ужин были для нас тоже непривычными. Никаких «закуска, первое, второе с гарниром и компот». Подавали два блюда – мясо или рыба и салат. Причем, салат не с картошкой и солёными огурцами в майонезе, к которому мы привыкли дома, а какие-то невиданные зелёные листья, как оказалось, вполне съедобные, но совершенно невыразительные и безвкусные. К этим салатам подавалось оливковое масло и уксус, которые надо было самим наливать.

Одного блюда нам всем, особенно мальчишкам, как я уже писала выше, катастрофически не хватало. И хлеба не дают! Кроме того, на столе стояли графины с водой и вином. Из этих самых графинов все, кроме нас, и разливали себе то одно, то другое. А ещё я впервые в жизни увидела, как вино смешивают с водой.

А мы? Мы тщетно ждали чая или хотя бы компота. Но, понятное дело, ни того, ни другого там не наблюдалось. И нам, вопреки нашим привычкам, пришлось переходить на воду.

Остальные участники конкурса наслаждались жизнью – ходили на пляж, загора, купались в море. Ну, и занимались, конечно, но не с таким ожесточением, как мы. У многих были уже обгоревшие носы, это я почему-то хорошо запомнила...

До начала конкурса Палом О'Ши устраивала у себя дома приём для всех участников и гостей конкурса. Все уже перезнакомились друг с другом и стояли маленькими компаниями, непринуждённо болтали, попивая вино и закусывая. Мы же стояли в сторонке с Усановым и Инной Львовной. Палом О'Ши, как королева, обходила все группы гостей и предлагала на выбор разные языки: English? Deutsch? Français? Español? И только наша группа не говорила ни на каком языке, поэтому отвечать могла только «переводчица в штатском», а Нигорка, услышав предложенные языки, сразу съязвила: «Узбеко?». Помню, как мы себя тогда чувствовали – зажатые, под присмотром, мы стояли в кучке с нашими надзирателями, как пресловутая группа в полосатых купальниках. Все остальные смеялись и радовались жизни. Для них участие в конкурсе – это ещё и возможность съездить в новое место, найти новых друзей... А результат? Ну, получится – хорошо, а нет, так нет! Ничего страшного, поедут на следующий конкурс! Для нас это было вопросом жизни и смерти, по крайней мере, профессиональной. Мы ездили за премиями, я бы даже конкретизировала: за первой премией. А удовольствия жизни... Не до них нам было! Ох, не до них!

И всё же! Несмотря на жуткий стресс, я всё равно старалась наслаждаться жизнью, хотя это усложнялась миллионом ограничений, как, например, проживанием в гостинице в соседних номерах с нашими КГБистами. Надо сказать, что я пыталась говорить по-английски, хотя был он у меня тогда в довольно жалком состоянии, и даже чуть-чуть по-испански, с трудом вспоминая мои испанские уроки двухлетней давности. И это несмотря на то, что Инна Львовна старалась все разговоры держать под контролем. Собственно, она была нормальная и даже приятная женщина, но работа есть работа!

Очень быстро я познакомилась и с «иностранными» мальчиками, с американцами. Один из них был настоящим «аборигеном» – очень красивый, с небесно-го-

любими глазами, он сразу привлекал к себе внимание. Другой, назову его Х – иммигрант из Советского Союза. С первым я умудрялась общаться по-английски, приучая его к привязавшемуся ещё со школы произношению выражения "I don't know" (Ай донт кноф) и к естественному для меня ответу на раздражающий меня вопрос "How are you" – "Very bad". Сначала он был несколько удивлён, так как "How are you" – это не вопрос, а приветствие. Это только русские на вопрос «как дела» начинают долго рассказывать про все свои беды. Но потом очень быстро привык к моему юмору и охотно поддерживал со мной разговор – настолько, насколько это было возможно. Он искал со мной контакта, а я боялась: меня и так еле выпустили, а тут ещё американец – вот незадача! Я его не пускала на порог своего номера, даже если в номере была Нигора, а вдруг кто-нибудь заметит! Нигора, к тому же, совсем не говорила по-английски. И он часто сидел на полу в коридоре под дверью моего номера, этого я ему запретить не могла, но вся дрожала: а если из соседнего номера выйдет Инна Львовна? «Что тогда?» – как говорил дедушка пионеру Пете из музыкальной сказки Прокофьева «Петя и волк».

С Х же контакт был вообще очень опасен, и он это прекрасно понимал, поэтому приглашал меня гулять поздно вечером, когда все русские уже давно должны были спать или, во всяком случае, сидеть по своим клеткам, предварительно «отметившись» у надзирателей, что «все на месте». После этой процедуры я брала туфли в руки, выходила босая в коридор, и тихонечко бежала вниз, где меня и дожидался мой «кавалер». В первый раз позволив себе эту опасную вылазку, я, воспитанная в Советском Союзе и приученная к тому, что гостиницы вечером закрываются на замок и попасть туда никак нельзя, решила подстраховаться и попыталась на ломаном английском выяснить, когда закрывается гостиница... Служащие отеля, которые, кстати, к моему величайшему изумлению, всегда были на месте и всегда были готовы ответить на любые вопросы гостей, долго не могли понять, чего я от них хочу, почему гостиница закрывается и кто распорядился её закрыть! Выяснилось, что гостиница открыта 24 часа в сутки и любой (!!!) может туда зайти в любое время дня и ночи без объяснения причины... Вот это да!

Когда это дошло до моего сознания, и я поняла, что можно гулять хоть всю ночь, а не сидеть в номере, я «осмелела» и стала предпринимать эти опасные вылазки. Х был джентльменом, водил меня по барам и угощал всяческими неслыханными напитками, типа яичного ликёра. Но о полном расслаблении речи даже не было. Я страшно боялась оказаться «разоблачённой», и мне везде мерещились то Усанов, то Инна Львовна, то ещё какие-то ужасы. Что бы со мной было, если бы меня на этом «поймали», я не знала, но ясно было, что ничего хорошего. Этот ужасный страх, к которому мы привыкли и с которым постоянно жили, преследовал меня и здесь, хотя он был абсолютно чужероден в Испании, на море, среди свободных людей. А ещё я же была незамужняя! Меня могли заподозрить, чёрт знает в чём! После нескольких эдаких походов я решила таскать с собой постоянное «алиби», моего приятеля по русской команде Витьку. Если что – мы вдвоём, то есть как бы и не виноваты мы! Так что пойти моему новому другу приходилось вместе со мной ещё и Витю, денег-то у нас не было ни копейки! Забегая вперёд, скажу, что причитающиеся нам нищенские суточные были выданы только в последний перед отлётом день, уже в Мадриде.

Что-то я увлеклась описаниями быта, а самое главное выпало из рассказа – игра на конкурсе.

Первый тур выплывает из памяти, как из густого тумана. Помню, что у меня началось такое сердцебиение, да ещё с перебоями, что я вообще не могла дышать.

Случилось это со мной впервые, никаких таблеток с собой не было, что делать, я не знала. Помню, что все силы мои были сконцентрированы на том, чтобы как-то дышать – настоящая тахикардия (о существовании которой я тогда ещё ничего не знала). Почему это произошло, я не знаю. Впрочем, причин было много: пережитое до отъезда волнение, жара, голод, груз ответственности. И это – помимо нормального волнения перед игрой. В общем, почему – это не вопрос, важно, что этот кошмар остался единственным моим воспоминанием. После выступления сердцебиение не стабилизировалось, и я всё ещё не могла нормально дышать. Пожаловалась Инне Львовне, но что она могла сделать? Врача вызвать – невозможно! А кто будет платить?

За день до выступления моя изуродованная сумка (потерявшая в дороге одно из колёс, ради которых и был весь сыр-бор) достигла-таки Сантандера. Так что играла я уже в приличном скромном светло-зелёном платище, специально для этой цели пошитом ещё 2 года назад. Наверное, я даже и не вспомнила бы, в чём играла, но осталась фотография, где я сижу на сцене, так что этот факт документирован.

На второй тур прошли мы все четверо – Витя, Нигора, Рауф и я.

Только тогда я поняла, что должна играть «Ночного Гаспара», которого толком не повторила. Что делать? Спрашиваю Палому Ботин, можно ли обменять «Гаспара» на «Образы» Дебюсси, которые были у меня в руках. В случае прохода на 3-й тур, я должна была успеть повторить «Гаспара». После долгих переговоров, к счастью, это удалось.

Кроме того, на втором туре надо было играть обязательное произведение, специально написанное для этого конкурса – "Cadencia" Хальфтера. После прошлого конкурса, когда обязательное произведение оказалось просто детсадовским, постарались на славу. Оно (сочинение) оказалось таким современным и таким трудным, что Паломка схватилась за голову! Но потом быстро сориентировалась и послала всем участникам конкурса уведомление, что это произведение можно играть по нотам. Но у всех советских участников, как известно, один и тот же адрес – конкурсный комитет. А поскольку конкурсному комитету до лампочки, наизусть надо играть Каденцию Хальфтера или по нотам (думаю, они и разницы-то не понимали), то нам даже не посчитали нужным сообщить эту «деталь», и мы все, как стажёвочки, выучили всё наизусть... Кстати, композитор самолично сидел в жюри. Но об этом немного позже.

Перед вторым туром член жюри от Советского Союза Лев Николаевич Власенко пригласил нас четверых на короткую встречу. Куда? На пляж, конечно! Он-то, в отличие от нас, вёл вполне европейский образ жизни – загорал, купался, гулял (в свободное от работы в жюри время). И вот мы уже ищем его на пляже, быстро находим и готовимся внимать его наставлениям. Увидев меня в бикини, Лев Николаевич говорит что-то вроде: «Ух! Вот это фигура! С такой фигурой надо прямо в бикини на сцену выходить!»

Сначала я потеряла было дар речи, а когда приобрела его обратно, то ответила шуткой на шутку: «А играть мне тоже надо или просто так... ходить?» Судя по взгляду Власенко и остальных ребят, понимаю, что спорила что-то совершенно «политически неграмотное» и что Власенко мне это припомнит.

Лев Николаевич стал серьёзным и рассказал нам о том, что все мы прошли с высокими баллами и что у всех нас есть хорошие шансы попасть в полуфинал.

Своего выступления на втором туре совершенно не помню, кроме того, что в обязательном произведении, которое играла наизусть, я что-то подзабыла. Абсо-

лютно уверена в том, что если бы в жюри не сидел автор этого сочинения, к тому же следивший за исполнениями по ногам, никто ничего не заподозрил бы. Кроме того, все, за исключением нас четверых и одного американца, играли это произведение по ногам. Иными словами, моя незначительная оплошность не должна была испортить общего впечатления. Забегая вперёд, замечу, что американец, единственный выучивший по своей воле «Каденцию» наизусть, и получил за неё специальный приз. Что было правильно.

Сокращая рассказ о своём участии в конкурсе, скажу, что в полуфинал я не прошла. И Витя не прошёл, что меня удивило, поскольку ещё со школы я его помню как очень одарённого, сильного пианиста. Нигора и Рауф прошли и должны были играть квинтеты и сольную программу.

Как описать моё состояние после моего «вылета»? На самом деле было это ещё хуже, чем не поехать. Потому что, если тебя не пустили, то ты как бы и не виноват и можно спекулировать – вот, если бы пустили, то я бы... А тут вот уже и прошла, и пустили, а ты... прощляпила такую возможность! Позор и конец профессиональной жизни. Тебя больше никогда и нигуда не пошлют. Свои ощущения очень хорошо помню: эдакая гремучая смесь облегчения и стыда, что я не оправдала... Тихон Николаевич сделал для меня невозможное, а я вот не оправдала. Горечь поражения была несколько подслащена невероятно тёплым ко мне отношением всех: и участников, и Паломы, и её дочек, и организационного комитета. Ко мне подходили очень многие и говорили, что не понимают решения жюри! А Власенко коротко сказал мне: «Ну ты же **забыла** в обязательном произведении! Что тут можно сделать?» (Тут я должна объяснить читателю, что глагол «забыть» на языке музыкантов-исполнителей не требует никакого дополнения и означает, что на сцене у музыканта на долю секунды отключилось внимание, и что-то из музыкального текста было пропущено или неправильно сыграно). Тут к месту (или наоборот, не к месту) должна заметить, что сам Власенко **забывал** очень часто, и это всем было известно.

Но дело не в этом. А в том, что много позже выяснилось, что по результатам голосования жюри, я проходила в полуфинал, но Льву Николаевичу каким-то образом удалось переубедить жюри и пропустить в полуфинал Рауфа. Для Рауфа было сверхважно получить премию. Он был старшим из нас всех и многократно говорил мне: «Вот когда тебе будет 30 лет, ты меня поймёшь!». Узнала я об этой подмене в Москве от Паломы Ботин. Рассказала она мне это, понятно, под большим секретом. Сказала, что мама ужасно переживала и даже плакала по этому поводу, так как считала, что я одна из самых ярких участников, и не сомневалась в моём проходе в финал. И ещё: Палома О'Ши пообещала, что Власенко больше никогда не будет приглашён в жюри её конкурса. Насколько мне известно, так оно и было. Но для меня это уже не имело никакого значения.

Вернёмся же обратно на конкурс.

Поскольку гостиницу и питание оплачивали организаторы конкурса, нас не отправили обратно на родину, а оставили «разлагаться» на Диком Западе. Что я и делала по мере своих скромных возможностей. В то время как Нигора и Рауф продолжали усиленно заниматься, мы с Витькой пытались расслабиться и получить удовольствие.

Одно из самых ярких впечатлений – приглашение Паломы Ботин покататься на яхте. Она пригласила меня, Витю и «моих» американских мальчиков (все мы не прошли в полуфинал), но, зная ситуацию с «переводчиками в штатском», договорилась с ними сама, пообещав привести нас в гостиницу вечером. И им ничего не

оставалось делать, как разрешить эту поездку. Смотрю на фотографии с яхты, которые Палома Ботин привезла мне потом в Москву... это какая-то картинка из американского кино! Мы все на яхте, где был настоящий капитан и, конечно, свой повар! Я смотрю с фотографий такая счастливая и свободная! Невозможно себе представить, ЧТО я тогда переживала...

Тем временем конкурс продолжался, и мы с Витей пошли «болеть» за Нигору и Рауфа в полуфинале. Запомнила я, кроме наших, только двух участников: бразильца Кокарелли и аргентинца Даниэля Ривера. Первый запомнился игрой с техническими потерями, какими-то ужимками и прыжками. Мы с трудом сдерживались от смеха. Нам обоим было понятно, что он для Нигоры и Рауфа (которые себя очень хорошо показали) не конкурент, а мы оба желали нашим ребятам победы. Аргентинец же, представивший для сольного выступления 12 трансцендентных этюдов Листа и «Петрушку» Стравинского, играл отлично. Сама по себе программа была даже и по сегодняшним меркам невероятная по сложности! Играл он очень уверенно и технически безупречно. Помню, я сказала Витке: «Вот теперь ты понимаешь, КАК надо играть на конкурсе, чтобы гарантированно пройти в финал?» Хотите посмеяться? Так вот он как раз НЕ прошёл, зато Кокарелли прошёл и получил вторую премию! С тех пор я не выдаю никаких прогнозов. Наверняка ошибусь! А Ривера уехал, не приняв причитающуюся ему пятую премию. Я его понимаю.

Должна ещё упомянуть панику наших КГБистов после моего «исчезновения». «Исчезновением» считалась пропажа кого-либо из нас, подопечных, из поля зрения на любой, даже непродолжительный срок. Один из американцев пригласил меня куда-то пойти, то ли в бар, то ли ещё куда-то, не помню. Вот я и пошла, в связи с чем и «исчезла» на пару часов. Меня действительно уговаривали не возвращаться обратно в Союз, чтобы начать нормальную жизнь в Америке. Но если представить себе мою ситуацию – папа после тяжёлого инфаркта, Хренников, поручившийся за меня головой – то понятно, что не могла я нигде остаться!

Конечно, Хренникову голову не снесли бы, но папиной жизнью я рисковать не могла! У меня даже намёка на такой поступок не могло возникнуть в голове! Как потом жить? С мыслью, что я убила отца?

Но КГБисты-то этого не понимали. Поэтому, когда я вернулась в гостиницу, Нигора в панике бросилась ко мне: «Где ты была? Тебя повсюду ищут! Иди быстрее докладывайся! Тебя же никуда больше не выпустят!»

Пошла я с повинной, сказала, что пошла погулять и никуда и не думала деваться! Не могу описать того выражения облегчения на лицах наших «помощников», словно груз пудовый с плеч долой. Им потом за каждого «невозвращенца» крупный нагоняй был бы, что, дескать, не уследили.

Коротко о результатах конкурса. Нигора не прошла в финал, но получила седьмую премию, а Рауф был удостоен третьей премии. Кто получил первую премию – не помню.

Мои американцы провожали нашу группу в аэропорту, где обнимали всех подряд, включая Инну Львовну и Усанова, иначе как бы они могли обнять меня!

Осталось мне описать дорогу домой, на родину...

Нас ожидала пересадка в Мадриде, как и на пути в Сантандер. Там Усанов, наконец, раздал всем сестрам по серьгам – причитавшиеся нам суточные и премиальные от конкурса. Те самые суточные, которые нам так необходимы были в Сантандере! А теперь мы вынуждены были потратить все эти деньги за один день в Мадриде, так как ввоз валюты в СССР был запрещён.

Представьте себе такую ситуацию: вы должны потратить огромную (ну, для меня огромную) сумму денег неизвестно на что! За один час.

Пошли в знаменитый магазин "El corte ingles", где продавали всё. Войдя в этот магазин и сразу запутавшись, я поняла, что не помню, через какой выход (или вход) вошла и где наша гостиница. Села прямо на пол среди красоты и зеркал и заплакала горькими слезами. Но делать нечего, деньги надо тратить. Сразу пошла покупать подарки маме и папе. Маме купила красивый золотой набор, кольцо и серёжки, и туфли, папе тоже какие-то подарки. Себе сине-беленький эдакий матросский костюмчик – юбку и кофточку, сразу же в него и нарядилась. В общем, всё кончилось благополучно. Деньги были все успешно потрачены, гостиница найдена, чемоданы упакованы. И полетели мы обратно на самолёте венгерской компании «Малеев», по-моему, с ещё одной пересадкой в Будапеште. Долетели мы благополучно, что меня немало удивило. Я всё думала, где ещё будет заставка? Ждать пришлось недолго.

Получили мы наши сумки-чемоданы, но какие-то сильно «похудевшие». То есть, улетали мы из Мадрида с набитыми до отказа сумками, а получили их практически пустыми. Нет, конечно, там лежали все вещи, привезённые нами из совка, а вот всё, что мы купили в Мадриде, бесследно исчезло! Больше всех расстроился Рауф, что понятно! Денег у него было больше, чем у всех нас, соответственно, и покупок больше! Началась опять возня: заявления о пропаже вещей, допросы, ЧТО именно пропало и так далее... А пропало у меня всё: и подарки маме, и подарки папе. Я ещё умудрилась золотое кольцо и серёжки для мамы положить не в сумочку, а в чемодан. Засунула коробочку в туфли. Думала, скажу маме, что привезла ей туфли, она возьмёт их, а оттуда золото посыплется – сюрприз! Вот кто-то удивился этой моей выдумке! Осталось у меня только то, что было на мне, к счастью, я надела на себя все новые вещи! Больше всего меня поразило, что Усанов, у которого было украдено значительно больше, чем у нас, как-то не очень суетился и не стремился восстановить справедливость. Могу только предполагать, почему. По-видимому, накоплено им было на значительно большую сумму, чем ему иметь полагалось. Вот они, наши «суточные» или, уж не знаю, какие ещё деньги. Нас несколько раз вызывали для выяснения деталей и доходчиво объясняли, что за каждый пропавший килограмм веса нам причитается 14 рублей. Все мои попытки выяснить, ЧТО можно везти из-за границы, чтобы килограмм ЭТОГО стоил 14 рублей, ни к чему не привели. О том, чтобы найти украденное, даже речь не шла! Помню, мне была выплачена «компенсация» рублей эдак в 80. Когда нам выплачивали эту самую «компенсацию», я пообещала, что в следующий раз я набью чемодан тяжёлыми булыжниками, чтобы за пропажу их мне и была выплачена компенсация в рублях.

Вот так окончилась моя «триумфальная» поездка на Запад. Радости завистников не было предела! И только Тихон Николаевич сказал мне: «Я абсолютно уверен, что ты была лучшей».

Вместо эпилога (эпизод первый)

Вскоре после этого конкурса Палома Ботин приехала учиться в Москву на полгода. Так как она интересовалась искусством, в том числе и русским, то хотела немного улучшить свой русский язык. Училась она очень прилежно. Везде, во всех карманах и сумках у неё были расписаны карточки с написанными русскими словами, предназначенными для заучивания. За полгода она собиралась освоить русский, ведь за неё папа платит деньги! «Сразу видно, кто из иностранных студентов

откуда приехал, – говорила она, – студенты из социалистических стран развлекаются, за них платит государство, а мы, за кого платят родители, действительно работаем!»

Кстати, как она меня нашла – это отдельная история. Нам же не разрешалось оставлять иностранцам ни адреса, ни телефона.

Дело в том, что незадолго до приезда Паломы-младшей, Москву посетила Палома О'Ши с мужем. Между прочим, она приходила к Тихону Хренникову в его приёмную в Союзе композиторов. Перед этим Хренников позвонил мне, что к нему собирается Палома и что она хотела бы со мной встретиться. Я, конечно, тут же причалась в Союз. Не помню, на каком языке мы общались. Неужели по-английски?

Палома была, как всегда, элегантна и мила, спрашивала наше мнение о корриде, и любим ли мы фламенко. А сеньор Ботин (банкир и муж Паломы) задерживался. Наконец, он пришёл. Палома встретила его умилённым смехом... Мультимиллионер явился на встречу с Хренниковым в тренировочном костюмчике. Оказывается, он занимался спортом! Бегал по Москве. И вот поэтому и явился, как был...

Думаю, что именно тогда я и дала мой домашний телефон Паломе для того, чтобы её дочка имела хоть какую-то поддержку в Москве.

Когда Палома Ботин приехала, то позвонила мне и предложила повидаться. Сказала, что у неё для меня есть письмо и фотографии из Сантандера.

Мы встретились с ней в центре Москвы. В качестве «утешительного приза» Палома Ботин привезла мне статью из местной газеты, где обо мне писали как о возможной будущей победительнице конкурса и особо отметили исполнение «Триань» Альбениса (похвала за испанскую музыку в Испании дорогого стоила). А ещё она, хитренько улыбаясь, дала мне письмо от «моего» американца. Дать ему свой адрес я не имела права, поэтому он отправил письмо в Испанию на адрес Паломы с просьбой передать его мне.

После приятной прогулки по центру Москвы, мне показалось неудобным не пригласить её ко мне домой. Ведь она была так гостеприимна в Сантандере! К тому времени у меня уже была купленная родителями однокомнатная квартира, соседняя с родительской в кооперативе Союза композиторов. Я позвонила домой. Папа пришёл в ужас: «Ты не можешь привести её к нам домой. Я не имею права общаться с иностранцами! Если она к нам придёт, мне надо будет идти к начальству и докладывать о нашем разговоре». Я, конечно, знала, что папа работает в так называемом «ящике», но мне и в голову не могло прийти, что всё так серьёзно! «Хорошо, – сказала я, – тогда я её приведу к себе домой, а к вам мы не зайдём...»

Когда мы приехали ко мне домой, оказалось, что папа, не предупредив меня, ушёл из дома, чтобы даже в соседней квартире не присутствовать при этом «опасном» визите. И это при том, что он себя ещё неважно чувствовал после недавно перенесённого инфаркта (хотя на работу он уже вышел)...

Эпизод второй

Замечу, что Палома изучила русский язык до такой степени, что позже получила работу в Лондоне на аукционе «Сотбис» как специалист по русскому искусству. Следующая наша встреча в Москве произошла в 1988 году, когда она приехала в Москву с аукционом, уже как эксперт. Она позвонила мне и пригласила на торги. Естественно, я с радостью приняла приглашение. Сотбис приехал в Москву впервые, и на аукцион было невозможно попасть; первое появление Сотбиса в

Москве до сих пор считается сенсационным. Распродавались картины и другие произведения русского авангарда. Там я впервые увидела картины Миши Брускина, Ильи Кабакова и многих других, что было для меня сильнейшим художественным впечатлением! Кроме картин, я увидела своими глазами, как работает этот знаменитый аукцион. Больше всего меня поразила скорость, с которой работает аукционист, как быстро взвинчиваются цены – направо – налево – кто больше – 1, 2, 3 – продано! Тогда картина Брускина «Универсальный лексикон» была продана за какую-то рекордную цену. Палома подарила мне роскошный буклет всех выставленных на аукцион работ, и мы с ней вместе брали автографы у художников... К сожалению, при переезде буклет этот где-то затерялся.



Сергей Колмановский

ПОКА Я ПОМНЮ...

(продолжение. Начало в №12/2015)

Бестактный композитор

Не созданы мы для лёгких путей....

Евг. Долматовский.

Творчество всегда связано с мистикой. Какое ты не имей образование, без озарения, без помощи Господа, который должен посветить тебе фонариком в сумерках твоих поисков, ты не найдёшь тропинки к людскому сердцу. Можно музыку «разять, как труп», изучить все её каноны и правила, но чтобы создать собственный музыкальный мир, надо самому быть исключением... С какой стороны не анализируй творческую судьбу Марка Фрадкина – натыкаешься на сплошные исключения.... Его путь к песне был непрост. Что ж, многие люди искусства приходят к своему призванию не сразу. Но навязанная родителями или из робости выбранная самими «надёжная» профессия обычно тяготит, и это придаёт решимости бросить её – будь, что будет! – и идти по пути, подсказанному талантом. А Марк Фрадкин вполне преуспевал в качестве инженера по технике безопасности, занимался этим с удовольствием, до конца жизни обожал возиться со всякого рода механизмами, был даже автором некоего изобретения, вот только патент не успел получить – потянуло к искусству, но с начала не к музыке, а к театру. Успешно окончив ЛГИТМИК, Марк Григорьевич стал актёром ТЮЗа, и тоже не на последних ролях. Конечно же, он чувствовал в себе музыкальный дар и в театре стал писать песни к спектаклям. Потом начал учиться в консерватории. Но настоящего музыкального образования получить так и не успел – началась война... Нет ничего необычного в музыкальной необразованности Фрадкина. В песне успешно работало много таких композиторов. Но у них, как правило, был весьма ограниченный жанровый диапазон и очень короткий песенный век. А Марк Фрадкин всё время разный и при этом всегда узнаваемый. Немцы говорят: верным себе остаётся только тот, кто всё время меняется. Это вполне можно отнести и к музыке. Если композитор повторяется, он неминуемо деградирует и таким образом изменяет себе. Стремление М. Фрадкина к поиску сделало его аксакалом песнетворчества. Первые свои по-настоящему популярные песни он написал ещё в начале войны и до конца жизни (Марк Григорьевич скончался в 1990 году) песни Фрадкина подхватывались. Таким долголетним успехом не может похвастаться ни один песенник мира. А какая нужна была внутренняя работа, чтобы начав с песен для Утёсова и Краснознамённого ансамбля песни и пляски Красной Армии, в конце жизни придти к вокально-инструментальным ансамблям, ни на йоту не приспособившись, не поступаясь творческой индивидуальностью и требованиями высокого вкуса. Вот тут и возникает еретический вопрос: а не помогало ли Марку Григорьевичу отсутствие музыкального образования? Позволю себе историческую аналогию.

Великий Дж. Гершвин мучался комплексами, поскольку у него не было настоящей композиторской школы. И он попросил Игоря Стравинского давать ему уроки. Тот спросил: «Скажите, Джордж, а сколько Вы получаете в год?» – «Около ста пяти-

десяти тысяч долларов». – «Дорогой мой, так это я должен у Вас учиться!»... Не смущаясь напускной циничностью Стравинского, надо признать его правоту. Если композитор достигает творческого и общественного успеха и без образования, то кто знает, как оно на него подействует?... Мелодии Фрадкина так естественно льются, так наполняют душу, и, при обилии неожиданных мелодических ходов, так легко подхватываются, что хочется сказать: не учебники для Фрадкина, а Фрадкин для учебников! В его музыке нет никакой заданности, свободно меняется размер – это дало возможность С. Кацу прозвать Марка Григорьевича «бестактным» композитором.



Марк Фрадкин

И я из тех, кто вполне понимает Фрадкина, который до конца жизни не только не научился оркестровать, но и мог крикнуть на записи, указывая на фагот: «Пусть играет эта красная труба!»... Ещё учась в консерватории, я начал работать в редакции вокально-массовых жанров издательства «Музыка». Мой начальник Владислав Павлович Букин был фанатом издательского дела, требовал не только квалифицированного, но и эстетического отношения редактора к рукописи. С клавирами Фрадкина было всегда особенно много возни. Один из них дался нам особенно тяжело, и надо же, чтобы справившись с ним и выйдя на улицу, мы столкнулись носом к носу с четой Фрадковых. Букин с энтузиазмом бросился объяснять Марку Григорьевичу, как мы только что ловко привели в порядок его клавир и как он теперь здорово выглядит. Постепенно увлекаясь, Владислав Павлович упустил из вида, кому он всё это рассказывает, стал входить в музыкальные тонкости. Марк Григорьевич мрачнел – ему не всё было понятно в речи несколько оторвавшегося от реалий Букина. Положение спасла жена Фрадкина – Раиса Марковна: «Славочка, ну что Вы напрягаетесь? Делайте, что хотите, ведь Марк Вам так доверяет!»... Раиса Марковна была настолько популярна в музыкальных кругах, что на одном из авторских концертов Марка Григорьевича в зале «Россия» Иосиф Кобзон перед исполнением знаменитой «Ласковой песни» сказал: «Сегодня было бы несправедливым не вспомнить жену Марка Фрадкина, Раису Марковну. Ей я посвящаю исполнение этой песни!» У Кобзона были из-за этого неприятности, и действительно, это уместнее было бы сказать за столом, но я это к тому, как ценили Раису Марковну окружающие... А вот ещё по поводу уникальности Фрадкина. Он был единственным корифеем песни, иногда сочинявшим не только музыку, но и стихи. Самый яркий при-

мер – «Ожидание» («Замела метель дорожки, запорошила...»). А ведь в детстве он был уличной шпаной, и это чувствовалось и позже.

Но у него было сумасшедшее чутьё к литературе. С Фрадкиным написал свою первую известную песню М. Матусовский («Вернулся я на Родину»), самые значительными своими песнями обязан ему М. Пляцковский («Увезу тебя я в тундру», «Морзянка», «Красный конь»). Вообще у Фрадкина самый большой круг поэтов, многие из которых писали только с ним и иногда только одну песню. Это могли быть как маститые поэты (Н. Рыленков – «Ходит по полю девчонка»), так и вовсе неизвестные слушателю (С. Бобров – «Где мой дом родной?»), но всегда перво-классные. Поскольку Марк Григорьевич иногда сам писал стихи для песен и был музыкально почти не образован, на моих концертах-лекциях я часто слышал вопрос: а можно ли его на этом основании причислить к бардам? Тут требуется отступление. Барды во главе с Б. Окуджавой возникли во время хрущёвской оттепели, когда подцензурная советская песня не могла полностью выразить ломавшееся время. Это поэты, которые на простой, уличный, совершенно не претендующий на оригинальность мотив, распевают свои стихи. Однако и в профессиональной песне случается примат стихов над музыкой. Найги чёткую грань между бардами и профессионалами нам поможет слово «попури». Существуют попури на темы Дунаевского, Соловьёва-Седого, Хренникова. Этот список можно ещё долго продолжать. Но нельзя представить себе попури на темы Высоцкого, Галича и даже самых музыкально одарённых бардов – Окуджавы и Розенбаума, поскольку эти мелодии не представляют самостоятельной ценности. Вместе же со стихами их музыка делает своё дело, и я к песням бардов отношусь с любовью и уважением, но Марк Фрадкин никакого отношения к этому движению не имеет....



Заседание в Союзе композиторов. Справа налево:
Я. Френкель, М. Фрадкин, М. Таривердиев, О. Фельцман, Евг. Птичкин

Его главным соавтором был Евг. Долматовский. У меня такое впечатление, что именно его стихи привели Марка Григорьевича к успеху. По-настоящему Фрадкин увлёкся песней, когда началась война. Как ни странно, во время войны как никогда много появлялось песен-однодневок. Видимо потребность в них была так велика, что композиторы поспевали за ней лишь количеством, и Фрадкин не был исключением. И вдруг он создаёт две песни на стихи Евг. Долматовского («Ой, Днепру» и «Случайный вальс») на совершенно другом этаже, как бы прыгает выше себя и уже на деся-

титетия остаётся на этом уровне. Тут, конечно же, не обошлось без мистики. Согласно легенде, старые итальянские скрипичные мастера употребляли в работу только те деревья, в которые ударила молния. Мне мнится, что и во Фрадкина как бы ударила молния, когда он сочинял «Ой, Днепр». Об истории создания этой песни много говорилось и писалось. Но мне больше всего запомнилось, как выступая по телевидению в передаче, посвящённой Дню Победы, Марк Григорьевич говорил об этой песне и вдруг, явно отступая от подготовленного им текста, сказал: честно говоря, я и сам не понимаю, как мне это удалось. Я успел только прочитать: «И волна твоя, как слеза...» и восхититься: «Надо же, как сказано – река плачет», и дальше ничего не помню, будто куда-то провалился, а мелодия возникла сама собой...»

Но как правило, Фрадкин работал над песнями очень долго и трудно. Первозданность его музыкального мышления, не слишком обременённого образованием, возможно, помогала ему находить неожиданные и в то же время естественные мелодические ходы, но не облегчала и не ускоряла этот поиск. Исполнителей для своих песен М.Г. отбирал так же долго и тщательно, по-родительски заботясь о судьбе своих творений. И как дети, песни часто не слушались его, выстраивали свои судьбы, как хотели, куролесели, как ни у какого другого композитора. Взять хотя бы «Течёт Волга» (Фрадкин был вообще одним из самых русских песенников, несмотря на его неоспоримую принадлежность к еврейской нации).



Евгений Долматовский

Её спело достаточно известных исполнителей, выбранных автором, песня обрела уже некоторую популярность, когда её вдруг взяла в репертуар Людмила Зыкина, во многом решившая таким образом и судьбу песни и свою творческую судьбу. Певицу стали называть «мисс Волга», и она приобрела некоторую известность и на Западе. Это был настолько крутой вираж, что автор стихов Л. Ошанин счёл себя объектом розыгрыша, когда ему рассказали, что эту, такую мужскую песню поёт Зыкина. На какой уровень популярности Зыкина вывела песню, теперь известно каждому. А «За того парня!»! Разве судьба этой песни не уникальна? Как и большинство песен Марка Григорьевича, она была написана для фильма, название которого забыл, я думаю, не я один. В фильме её пел драматический артист по фамилии Коваленков и, по-моему, очень выразительно, эта запись звучала по радио. Затем её опять-таки

спело определённое количество известных певцов, её популярность набирала обороты, и опять крутой вираж – принимается решение послать Л. Лещенко с этой песней в Сопот. Авторы не хотели этого. Ведь песня уже и так начинала раскручиваться и, казалось бы, победа на международном конкурсе мало что могла бы ей принести. А вот поражение могло бы дискредитировать и произведение, и авторов. Не очень хотел и Лещенко. Он очень любил эту песню, но не хотел, чтобы из него делали, как он говорил, «трибуна». Ему хотелось больше петь лирические и танцевальные песни. К тому же Сопот – фестиваль эстрадной песни. На этом выборе настояла А. Пахмутова. Видимо сработала не только художническая, но и женская интуиция. И как сработала! Мало того, что Лещенко взял главный приз – это бывало и с другими советскими артистами, и такие события всегда широко освещались в наших средствах массовой информации. Но речь шла только об исполнителях. Ни одна советская песня никогда ничего в Сопоте не получала. «За того парня» – первый и единственный случай присуждения главного приза фестиваля советскому композитору и поэту (Р. Рождественский). На заключительном концерте Льву Лещенко пришлось спеть эту песню трижды. После этого популярность песни приобрела совершенно иное качество, и произошло нечто уже совершенно невообразимое. Песня дала название политическому движению, социалистическому соревнованию. Мы рассказывали об этом анекдоты, но задумаемся: насколько должна была быть любимой народом песня, чтобы её названием можно было окрестить политическое мероприятие! И не в 20-е, 30-е, а во времена беспроблемного брежневского цинизма и маразма.

Песни Фрадкина всегда довольно медленно достигали апогея своей популярности, и вообще входили в жизнь постепенно. Их никогда не рублили и не запрещали, но и энтузиазма у советских властей поначалу не вызывали, поскольку героем его песен часто был интеллигентный человек (что о самом Фрадкине можно было сказать лишь с натяжкой, как я уже писал. В этом тоже один из фрадкинских парадоксов.) «Случайный вальс» не нравился самому Сталину. После войны мой отец работал на радио и был обязан знать, что нравится или не нравится вождю – вот откуда у меня эти сведения. По счастью, Сталин услышал эту песню уже в расцвете её популярности, поэтому запрещать не стал, понимая, что и она по-своему работает на победу, но буркнул: «Идёт такая война. А они какую-то танцуюлку сочинили». А мне кажется, дело было не только и не столько в ритме вальса, сколько, опять же, в интеллигентности героя. Ну, что это за лихой, бравый советский воин, который даже сплясать не умеет! («Танцевать я совсем разучился, и прошу вас меня извинить».) Это просто везение авторов, что песню упустили на взлёте, а то бы навешали за образ рефлексирующего интеллигента. Очень трудно проходила на студии им. Горького песня к фильму «Простая история» (На тот большак, на перекрёсток...), казалась опять же чересчур интеллигентной, не вполне подходящей для тогдашнего представления о деревне. Но оказалось, что члены худсовета сами всё время напевают эту песню, и вопросы отпали...

Уютным зимним вечером я услышал «Случайный вальс» в исполнении Л. Утёсова. Это была старая запись, уже сильно потёртая, и давали её очень редко. При следующей встрече я рассказал Марку Григорьевичу, как меня согрела его песня, воспроизведённая в атмосфере и времени её создания. «А какая песня?» «Случайный вальс» «Это уже не моя песня!» Действительно, так можно сказать про многие песни Фрадкина, которые, покинув родительский дом, начинали жить своей жизнью, впрочем, общей с жизнью всей страны. Такой это был подлинно народный композитор. Хоть и бестактный...

Сталь толедского кинжала

*Чтобы понять человека, его
Надо представить у власти...*

Евг. Евтушенко

Может ли композитор сочинять в один и тот же период времени лёгкую и серьёзную музыку? И при этом занимать самый главный и самый хлопотный пост в музыкальном мире? И ещё выступать как пианист? И ещё преподавать в консерватории? Судьба выдающегося композитора Тихона Николаевича Хренникова показывает, как нелегко всё это совмещается в одном музыканте. Ученик известного композитора и прекрасного педагога В.Я. Шебалина, Хренников ещё на студенческой скамье увлёкся городским романсом и театральной музыкой. Закоренелый академист Шебалин отказался от студента-еретика, и Хренников заканчивал консерваторию от себя. (Чуть позже В.Я. Шебалин также поступит с Оскаром Фельцманом, который во время войны добился таких успехов в песенном жанре, что стал почётным гражданином Новосибирска, где он жил в эвакуации. По возвращении в Москву Фельцман хотел продолжить занятия в классе В. Шебалина, прерванные войной, но профессор, прослушав его сочинения, обвинил молодого композитора в предательстве заветов музыкальных классиков и заниматься с ним не стал)... Председателем государственной комиссии был С.С. Прокофьев, который тоже ни песню, ни городской романс не жаловал. Он заявил, что за симфонию поставил бы Хренникову пять, а за романсы на стихи А.С. Пушкина – единицу. В конце концов комиссия сошлась на четвёрке. Позднее имя Хренникова засияло золотыми буквами на мраморной доске выдающихся выпускников Московской консерватории. Э. Колмановский тоже учился у Шебалина, но на несколько лет позже.



Моя мама с Е. Евтушенко

Ещё студентом он подружился с Тихоном Николаевичем. Но в творчестве отца влияние Хренникова проявилось значительно позже. Он уже немного увлекся музыкой Хренникова, но пока ещё оставался правозверным учеником Шебалина.

Когда профессор, узнав, например, что Хренников написал оперу «Фрол Скобеев», говорил ученикам: «Представляю себе, что там за музыка! Небось, сплошная масленица», – папа не мог носить это в себе и с горечью передавал эти слова Ти-

хону Николаевичу. Хренников с уважением относился к своему бывшему учителю, помнил, что был многим ему обязан и тяжело переживал эту опалу. Особенно он был огорчён тем, что В.Я. Шебалин даже не поздравил его со Сталинской премией за музыку к фильму «Свинарка и пастух». Тихон Николаевич жаловался тогда моему отцу: «Ну, не по душе Шебалину музыкальное направление, которому я следую, но я всё же его ученик и премию получил за музыку, а не за полпровку мебели. Как же можно было не отбить телеграмму?»

Интонации городского романа проникли и в оперы Хренникова, что вызвало особенно активный протест музыкантов-академистов, в то время задававших тон в союзе композиторов. Узнав, что готовится разгромный доклад, касающийся оперы «В бурю», Тихон Николаевич выговорил себе право самому играть музыкальные примеры, чтобы ко всему кто-нибудь не уродовал его музыку. Это выглядело анекдотом. Представьте себе – одноклассник клеймит какую-нибудь арию за банальные мелодические ходы и дурновкусие, а потом говорит: «Тихон Николаевич, пожалуйста!», и Хренников с чувством и темпераментом поёт и играет свою обруганную музыку... После пресловутого постановления ЦК КПСС (1948) об опере В. Мурадели «Великая дружба» (Это ли не идиотизм? – в заглавие документа, направленного против формализма в музыке, попал непроходимый реалист и до истерики преданный партии коммунист! Да и опера была, как видно уже из названия – сплошное угодничество. Но одним из её героев был Серго Орджоникидзе, о котором Сталин, понятно, не любил вспоминать), решено было поставить совсем ещё молодого Хренникова, как ведущего представителя реалистического, народно-демократического направления в музыке, во главе союза композиторов. (Вообще эту фамилию часто каламбурили. Позволю себе процитировать изречение – не помню, кому оно принадлежит и когда начало бродить по свету: «Союзом писателей руководит старый хрен Тихонов, а союзом композиторов – молодой Тихон Хренников».) На этом посту он пробыв около сорока лет (!), пользуясь абсолютной поддержкой членов нашей организации.

Этот выбор был счастливым для союза, но роковым для Тихона Николаевича. Он проявил себя блестящим организатором, моментально схватывал суть любой ситуации, к тому же подкупала его доброжелательность, обязательность и необыкновенное обаяние. Родион Щедрин совершенно точно и справедливо назвал Хренникова не только главой, но и душой союза композиторов. Тихон Николаевич был предельно доступен, отзывчив, с чем бы к нему не обращались – больница, квартира, прописка, гараж. Нельзя даже представить себе, чтобы он сказал: «А почему Вы пришли ко мне? Есть же московская и российская организации!» А ведь нас, композиторов, интересовало именно всё это, а не творческое или идеологическое направление нашего руководителя. Конечно же, Хренников никогда не стал бы ломать копий по принципиальным вопросам, всегда и во всём с энтузиазмом поддерживал линию партии – а кто бы на его посту вёл себя иначе? – но чем мог, всегда помогал. Когда моя первая жена, по профессии скрипачка, поступала в большой симфонический оркестр всесоюзного радио, я обратился за поддержкой к Тихону Николаевичу. И он пошёл к художественному руководителю оркестра Владимиру Федосееву, который ему отказал – в оркестре было и так слишком много женщин.

При этом Хренникову надо было долго объяснять и напоминать, кто я вообще такой, и выполнение таких просьб уж никак не входило в его обязанности. К тому же я позвонил ему домой, и эта наглость не вызвала у него ни малейшего раздражения. Положа руку на сердце, я бы на его месте отказал наглецу, а он вот пошёл

и получил – в его-то положении – щелчок по носу... Когда «Современнику» дали помещение, и он, таким образом, перестал быть театром-студией и открылся, как полноправный театр, по этому поводу был организован большой праздник, с поздравлениями, выступлениями ведущих артистов театра и отрывками из спектаклей, в том числе из «Голого короля» с музыкой Э. Колмановского. В перерыве я никак не мог понять, почему присутствующий на торжествах Т.Н. ничего не говорит отцу, не поздравляет его? Неужели не понравилась музыка? А Хренников, как я потом догадался, просто ждал наиболее подходящего момента, и когда папа оказался окружённым артистами театра во главе с Олегом Ефремовым – вот тут Т.Н. подошёл к нему и сказал: «Эдик, просто великолепно!» А теперь представьте себе: сколько при таком отношении к людям занимало у Хренникова внимания, времени, сил и нервов руководство огромной организацией, состоящей из творческих личностей, неуравновешенных, порой капризных, часто рвущих одеяло на себя, иногда неуправляемых!

Т.Н. остро чувствовал ответственность за организацию и её представителей. Его усилиями в 1958-м году в доме композиторов состоялся вечер композитора Льва Пульвера, который в своё время был заведующим музыкальной частью в государственном еврейском театре под руководством С. Михоэлса, писал там музыку ко всем спектаклям и после разгрома театра, естественно, бедствовал. Как только в воздухе запахло послаблениями, Т.Н. не упустил возможности помочь пострадавшему. Не могу не написать несколько слов об этом удивительном вечере. Столько слёз я не видел ни на каком другом концерте. Особенно когда под раздирающие душу мелодии Пульвера – как жаль, что я не помню фамилии изумительного скрипача, исполнявшего их – дети пронесли по сцене непонятно каким чудом сохранившиеся афиши спектаклей погубленного театра. Среди прочих Пульвера приветствовал уже достаточно пожилой Л. Утёсов: «Мне бы стать перед Вами на колени, да боюсь потом не подняться. Мне бы приветствовать Вас на идиш, но когда я говорю на этом языке, евреи начинают считать меня гоем, а вот когда я говорю по-русски, всем ясно, что я еврей!». Зато большинство других выступавших говорили и пели на идиш, и в какой-то момент сидевший в первом ряду Хренников вскочил и закричал: «Товарищи, кто может мне переводить? Оказалось, что моя еврейская жена не знает идиш!»... Именно Хренников не дал уничтожить Оскара Фельцмана в связи с эмиграцией его сына в Америку и Александра Зацепина, вернувшегося из Франции. Много вы видели таких руководителей?

А теперь для сравнения: хотя упомянутое постановление 1948-го года никогда не было отменено, в 1958 году было издано новое постановление – «Об исправлении ошибок» постановления 1948 года. Тихон Николаевич тонко сыграл на нелюбви Хрущёва ко всем начинаниям Сталина, хотя, как выяснилось впоследствии, музыкальные вкусы нового вождя ничем не отличались от сталинских. А постановление 1946-года, уничтожавшее М. Зощенко и Ахматову, было отменено только после перестройки... Не хватит ли этого, чтобы простить Хренникову недавно инкриминировавшиеся ему злоупотребления своим общественным положением? Да и то ещё надо рассудить, справедливы ли эти упрёки.

Тут уж необходимо очень пространное и далёкое отступление. Трудно проследить исторический момент начала деления музыки на серьёзную и лёгкую. «Страсти по Матфею» И.С. Баха и его же «Песня о трубке» – это разные формы, настроения и составы инструментов, но один и тот же музыкальный мир. А, скажем, в камерных сочинениях В. Белого никак нельзя узнать автора «Орлёнка» и,

наоборот, песни А. Бабаджаняна не имеют ничего общего с его же напумевшим и шестью картинками для фортепиано с применением додекафонии. Композитор может проявлять себя в этих двух ипостасях лишь попеременно, иначе на него наваливается тяжесть раздвоения. Р. Щедрин, несмотря на первый же неслышанный удачный опыт «Не кочегары мы, не плотники», не стал углубляться в песню. А. Эшпай, создав много популярных песен, в какой-то момент бросил этот жанр и вернулся в серьёзную музыку, пока она ещё могла принять его. А. Рыбников, в начале своего пути обративший на себя внимание камерными и симфоническими сочинениями, вскоре ушёл в кино- и театральную сферу. Ещё будучи студентом консерватории, Т.Н. Хренников оказался перед выбором. Его первая симфония имела сногшибательный успех. Достаточно сказать, что она была исполнена всемирно известным американским дирижёром Юджином Орманди.

Но Тихона Николаевича закружили иные ветры. Он стал писать песни, романсы, музыку к фильмам и – особенно удачно – театральную музыку. Его оперы были основаны тоже на песенных интонациях. Много позже, уже руководя союзом композиторов, Хренников решил вернуться к своей первоначальной стезе. Только его там очень долго не было, и его родство с серьёзной музыкой потускнело. Это виднее всего сейчас – его симфонии и концерты редко вспоминаются и ещё реже исполняются. Они настолько не дотягивают до ранних хренниковских работ, что их исполнение выдавалось недоброжелателями композитора за использование высокой общественной должности для пропаганды собственной музыки. Действительно, если бы Т.Н. не обладал таким влиянием в музыкальном мире, его сочинения вряд ли бы играли М. Ростропович, Л. Коган, крупнейшие симфонические оркестры. Но, во-первых никто, в том числе и из врагов композитора, никогда не говорил, что Хренников кому-то навязывал свою музыку, во-вторых он-то считал свои произведения удачными и писал их в силу потребности. И что может быть естественнее, чем желание автора пропагандировать свои творения? Также искренне и убеждённо он в своё время погрузился в песенные интонации – я уже упоминал, как ему за это доставалось, и он не мог знать, что придут иные времена. И когда ему стало тесно в этой музыкальной зоне, что же – он не должен был расширять свой творческий диапазон из боязни быть кем-то неправильно понятым?

...Конечно, Хренникова, как и всякого руководителя, поддерживали сверху, и если бы не высокий пост, не видать бы ему ни таких званий и почестей, ни авторских концертов в кремлёвском дворце съездов (их не было ни у одного другого композитора.) Только вот держались эти концерты главным образом на написанном в то время, когда композитора ещё не задавила руководящая работа. Что поделаешь – нельзя объять необъятное... Музыка Хренникова, особенно театральная, сыграла решающую роль в формировании индивидуальности Э. Колмановского, вплоть до того, что отец постепенно пришёл к решению избавляться от этого влияния. И по жизни они какое-то время были очень дружны. В первый раз я увидел Тихона Николаевича ещё в детстве, в доме творчества композиторов «Руза». Папа пригласил его к нам вскоре после того, как моя бабушка Эстуса приехала с лечения на Кавказе и привезла мне оттуда диковинные фрукты – я таких раньше не видел. Помнится, среди гостинцев было пару гроздей винограда «изабелла». Фруктов было очень мало, поскольку они были очень дорогими, и бабушка с родителями просили не рассказывать об этой роскоши друзьям, не хвастаться – ведь всех нельзя было угостить. Едва переступив порог, Т.Н. грозно сказал мне: «А ну, говори и показывай: что привезла бабушка?» Но от него веяло таким добрым озорством, что

я, ребёнок, ни на секунду не испугался и засмеялся первым. Хренников был, по моему, даже как-то разочарован. А вообще-то он и сам был очень смешливый... Пришёл к Тихону Николаевичу композитор-пенсионер со своими проблемами. Хренников сразу попросил секретаршу соединить его с министром социального обеспечения, а сам стал беседовать с посетителем. Через несколько минут министр был на проводе, и секретарша протянула Т.Н. записку с фамилией этого должностного лица. Тихон Николаевич взял телефонную трубку: «Здравствуйте, товарищ Редькин! Это говорит Хренников», – и стал хохотать так, что разговор пришлось отложить....

В последний раз Т.Н. оказал мне помощь совершенно мистическим образом, сам об этом даже не подозревая. В 1990-м году я эмигрировал по еврейской линии в Германию. Мне впервые захотелось проявить в творчестве своё еврейство, которому, честно говоря, я раньше не придавал ни малейшего значения, и я стал искать тему. В библиотеке я нашёл неизвестный мне (так я думал поначалу) роман Л. Фейхтвангера «Еврейка из Толедо». Я вообще исторические романы этого автора не жалую, они мне представляются прямолинейными и схематичными. Думаю, что они привлекали нас когда-то возможностью хоть как-то пополнить свои знания по истории, почёрпнутые, в основном, из сталинских учебников. Но тут мною двигало любопытство: как же так? Почему я ничего не слышал раньше об этом романе? А в названии меня привлекла не только «Еврейка», но и, главным образом, «Толедо». В голове сразу завертелась одна из моих самых любимых хренниковских театральных песен на дивные слова П. Антокольского. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать эти стихи целиком:

*Сталь толедского кинжала
Ярко блестит в темноте.
Эй, кому принадлежала
Ты, красотка, в ночи те?
Эй, зачем клялась, красотка,
Что невинна и честна?
Или вправду мир наш соткан
Из обманчивого сна?
Если клятвы не сдержала,
Если это было сном,
Сталь толедского кинжала
Разберётся в остальном!*

В то время я так плохо владел немецким языком, что лишь одолев с грехом пополам роман до половины, я понял, что читаю его не в первый раз. Просто на русский язык он был переведён под стыдливым названием «Испанская баллада». Но то ли в оригинале роман больше впечатлил меня, то ли из гордости за то, что я уже столько прочёл на языке, который едва начал учить, но я как-то внимательнее и теплее отнёсся к этому произведению и стал задумываться: а не сделать ли из этого что-нибудь музыкальное? Однако я ещё сомневался. Мне почему-то казалось, что для принятия окончательного решения не хватает ещё одного звена в цепочке Фейхтвангер-Толедо-Хренников. И вот ночью я увидел (мне не приснилось это, я не спал, речь идёт именно о воспоминании, о видении) пожелтевшую страницу «Правды» за 1937-й год, которую когда-то мне показал отец. Он, будучи в молодости поклонником Хренникова, собирал всё, что писали о нём газеты. Теперь уже не

все знают, что в 1937-году Л. Фейхтвангер приезжал в Москву, был принят и обласкан Сталиным, а потом написал жуткую книгу «Москва. 1937», восхваляющую вождя народов в год кульминации его злодеяний. Вот чем этот писатель обеспечил зелёную улицу изданию практически всех своих книг в СССР. Так не издавали у нас тогда никакого другого западного литератора. Так вот в «Правде» было напечатано интервью с Фейхтвангером, которое и встало у меня перед глазами в ту ночь. Ответы писателя на вопросы газеты были идиотскими – Бог мне простит! В частности, на вопрос, что в Москве произвело на него самое сильное впечатление, он ответил: «Прежде всего – дешёвая калош» (Это в Москве-то Фейхтвангер не нашёл ничего более впечатляющего?!), «А на втором месте – дерзкая смесь джаза и Шекспира». До чего же надо не разбираться в музыке, чтобы назвать музыку Хренникова к знаменитому ваханговскому «Много шума из ничего» – джазом! Но одно правда. Эта музыка была для того времени и вправду дерзкой. Композитор первым отказался от чистой стилизации и не побоялся, что современная на тот момент гармония будет перечить шекспировскому духу...

Как бы там ни было, эта причудливая цепочка Фейхтвангер-Толедо-Хренников замкнулась, и я написал камерную оперу «Еврейка из Толедо» на немецком языке, которая уже много раз исполнялась в Германии... А в то утро, когда я принял решение писать эту оперу, пришло письмо от папы с просьбой достать для Тихона Николаевича глазные капли, которых в России нет. Тогда в России ещё многого не было, и почти каждый эмигрант постанывал, поскольку был перегружен просьбами от родных, знакомых и малознакомых. Но тут – как я был счастлив, когда достал это лекарство! В то время у Хренникова начались сложности не только со здоровьем. Ему вообще стало нелегко. Он перестал быть главой союза композиторов СССР, потому что больше не было такой страны. И я был горд тем, что пришёл мой черёд быть хоть немного полезным Тихону Николаевичу Хренникову...

Шутка генералиссимуса

*...и о нас
былинники речистые ведут рассказ...
Дактиль*

Из всех корифеев искусства, с которыми мне довелось общаться, Дмитрий Покрасс был самым маститым, но и самым простым и доступным. Я впервые увидел его в 1961-ом году в Сочи, куда была приглашена с концертами группа известных композиторов-песенников. Его выступление произвело на меня совершенно потрясающее впечатление. Он ошеломлял каждой песней, начиная с «Мы – красные кавалеристы». На сцене была живая легенда. Кроме того поражало, как этот маленький, старенький, картавенький и довольно страшенький человечек преобразился в пения, становился значительным и мужественным. Он и сам любил побалагурить в этой связи: «Мне надо женщину дотащить только до роля»... Несколькими позже я сам стал выступать, и, вспоминая слова Покрасса, решил тоже попробовать спеть – ведь мне-то, молодому и стройному, мол, и карты в руки. Тогда довольно известной была моя песня «Старый барабанщик». Её-то я и пропел. И получил записку из зала: «Молодой человек, вернувшись домой, посмотрите конец пьесы М. Горького «На дне». Конечно же, дома, едва сняв пальто, я кинулся к книжному шкафу, нашёл нужный том Горького, а в нём – «На дне», открыл её по-

следную страницу и прочитал заключительную реплику: «Испортит песню, дурак!».... Тогда в Сочи Покрасс изумил окружающих ещё и трогательным стремлением к справедливости. Горком партии наградил композиторов почётными грамотами, по бюрократическому невниманию обойдя одного из них. Было известно, что как раз к нему Покрасс испытывал антипатию, тем не менее он счёл своим долгом пойти в горком и заступиться за обиженного. Ошибка была исправлена. А ещё запомнилось, как он, любивший немного выпить с утра и искавший себе компанию, стучался к нам в номер с первыми лучами яркого сочинского солнца и, входя, весело объявлял: «Эдуардик! Киоск открыт!»...



С Дмитрием Покрассом

В последний раз я встретил Покрасса много позже в доме творчества композиторов «Руза». Он был уже совсем старый, почти слепой, но всё такой же доброжелательный. Я приехал в «Рузу» с двухлетней дочкой, и когда мы в первый раз вошли в столовую, она почему-то стала носиться по всему помещению и визжать. Малышку никак не удавалось утихомирить, и в воздухе повисло напряжение – вот кто-нибудь из коллег начнёт раздражаться. И тут я услышал уютную, картавую речь Покрасса: «Серёжа, могу я попросить Вашу дочку участвовать в моих авторских концертах? Уж очень у неё приятный голосок». Вокруг стали улыбаться, напряжения как не бывало. Покрасс оказал нашей семье и более существенную помощь. Когда мою двоюродную сестрёнку по разным соображениям надо было определить в школу, имевшую отношение к министерству путей сообщения, отец обратился именно к Покрассу, поскольку тот был художественным руководителем центрального дома железнодорожников, и проблема была решена в одночасье... О Покрассе, как и о всякой легендарной личности существует много всяких рассказов. Всё дальнейшее я пишу тоже с чужих, но, поверьте, тщательно проверенных с разных сторон слов.

Покрасс работал, в основном, вместе со своим братом Даниилом. Дмитрий был главным генератором музыкальных идей, которые ему трудно было достойно отразить на нотной бумаге из-за пробелов в музыкальном образовании. Даниил же в большинстве случаев записывал и редактировал, а когда пытался проконсультироваться с братом, Дмитрий только и говорил: «Ты пиши, пиши!» О таком распределении ролей стало известно общественности и властям, и когда пришло признание, лишь Дмитрий получил орден Трудового Красного Знамени. Мать братьев-

композиторов бегала по инстанциям, совершенно серьёзно пытаюсь разузнать, нельзя ли эту почётную награду разменять на два ордена «Знак почёта». Ей же принадлежит высказывание: «Слушайте, мальчики написали песню о наркоме! Нарком у них как живой!»... На гастролях в Молдавии Покрасс по обыкновению рано утром, прямо в пижаме вышел из гостиницы в поисках спиртного. Надо сказать, в пятидесятые годы пижамы была очень распространённой формой одежды, но больше на пляже. Его остановил милиционер: «Товарищ, у нас в республике не принято выходить на улицу в пижаме». Покрасс, раздосадованный неожиданной проволочкой, огрызнулся: «Подумаешь, республика! Пыль одна», – после чего был доставлен в отделение милиции, где он сразу потребовал телефонного разговора с министром путей сообщения, которому подробно объяснил, что произошло и где он находится. Через какое-то время в отделении раздался телефонный звонок. Задержавший Покрасса милиционер снял трубку, выслушал звонившего (через кого действовал министр – осталось тайной), вытянулся – руки по швам и отчеканил: «Есть отпустить и угостить пивом!» При этом никто никогда не видел Дмитрия Яковлевича под шафой. Эта утренняя рюмочка была частью его жизнелюбия. И ему очень не хватало её, когда по старости и болезни он вынужден был вообще отказаться от спиртного. Когда к нему домой приходили певцы на репетицию, он через полчаса кричал жене: «Ребята проголодались!» Она уже знала, что имеется ввиду и приносила артистам по бутерброду и по рюмочке. И Дмитрий Яковлевич говорил: «Выпейте, ребята, за моё здоровье. А я посмотрю, как вы это делаете...»

У Покрассов был ещё брат, тоже талантливый композитор, эмигрировавший в Америку. Он получил известность благодаря своей замечательной музыке к голливудскому фильму «Три мушкетёра», удивительно точно схватив американский дух в песне «Барбара-бара-бара», ставшей мировым шлягером. Этот фильм очень любил смотреть Сталин, и эта музыка ему тоже очень нравилась. Уж не знаю, на каком приёме, но Сталин спросил Дмитрия Яковлевича: «Это правда, что музыку к «Трёх мушкетёрам» написал Ваш брат, живущий в Америке?» Дрожащий от страха Покрасс еле вымолвил: «Правда, товарищ Сталин». И тогда «кремлевский горец» позволил себе такую вот мрачную шутку: «Лучше бы Вы эмигрировали».

Позвольте, уважаемый вождь народов и великий знаток языкознания! А кто бы тогда создал советскую песню? Кто бы согрел столько людей покрассовской добротой и отзывчивостью? Кто бы, наконец, тогда в Сочи ранним утром вошёл бы к нам в номер и с неотразимой лукавинкой объявил бы: «Эдуардик! Киоск открыт!»

На мотив Кол-Нидрей

(еврейская молитва покаяния)

Я человек сложный...

М. Светлов

Это действительно был удивительно сложный человек. Один раз у Михаила Аркадьевича спросили, как он пишет стихи для песен – представляет ли он себе, как многие его коллеги, какой должна быть мелодия, или, может быть, даже напевает свои слова на какой-то известный мотив? Светлов ответил: да, я всё пою на мотив «Кол-Нидрей» (это он-то! Автор «Каховки!»). Была ли это просто шутка? Ведь он был весь соткан из противоречий и парадоксов. Высокая интеллигентность и внешность местечкового портного. Всесоюзная слава и агрессивное нежелание быть

в центре внимания – он и сидел-то всегда где-нибудь в углу, и голос у него был на редкость тихий. Звонкие, мажорные, прибавляющие веры в жизнь стихи, очаровательные шутки и неизменно грустные глаза – в них не загоралась лукавая искорка, даже когда он шутил. Феноменальный взлёт в молодости и раннее затухание, когда он стал классиком и был ещё полон творческих сил, то есть пиши – не хочу!

Я видел его всего несколько раз в жизни, да и не знал людей, которые имели бы право спросить его, в чём тут дело, поэтому привожу само собой напрашивающееся объяснение творческой неактивности этого замечательного поэта в последние около 15-и лет его жизни. Он был художником достаточно самостоятельного мышления для того, чтобы уже в тридцатых годах начать разочаровываться в ранее воспеваемых им идеалах. А поэтом он был жизнеутверждающим, такова его творческая природа. В жизни он мог решиться на дерзкую шутку. Когда на рубеже 40-х и 50-х годов сталинская пропаганда трубила о враждебной демократическим силам всего мира деятельности международной сионистской организации «Джойнт», Светлов, тогда уже нуждавшийся, при достаточном скоплении народа подошёл в доме литераторов к буфетной стойке и, подбросив на ладони несколько монет, произнёс: «Чтой-то Джойнт зарплату задерживает!» А в поэзии он не мог себе позволить никакой крамолы, если б даже и захотел – не было у него в палитре соответствующих красок. Мало кто знает, что Михаил Аркадьевич автор большого количества стихов не только для песен в кино, но и для театральных постановок. Когда Светлов работал с отцом над песнями к спектаклю «Голоый король» в «Современнике», он уже был явно надломлен. Подходя с кем-нибудь к дому, где он жил, он говорил: когда-нибудь здесь повесят мемориальную доску – здесь жил и не работал Михаил Светлов... А творческая природа брала своё, оставалась прежней, искромётной. Вот, например, коротенькая музыкальная сценка гвардейцев и фрейлин короля-милитариста:

*Гвардейцы: Дух военный не угас,
Нет солдат сильнее нас.
Фрейлины отвечают: Дух военный не ослаб,
Нет солдат сильнее баб!*

Или куплеты самого «голового» короля:

*Ещё прекраснее, чем прежде,
Как Аполлон, как Херувим,
Я буду в новенькой одежде
Неотразим!
А после свадьбы чуть попозже
Ты убедисься, видит Бог,
Что я и без одежды тоже
Не так уж плох!*

Светлов был для отца одним из самых желанных соавторов, да и для любого театра тоже. Только вот театральное начальство, для которого М.А. уже тогда был легендой, не могло понять, почему он всегда так тщательно оговаривает финансовые условия заказа. Другим, не менее важным способом существования были для М. Светлова переводы. И когда он не мог свести концы с концами из-за задержки с гонораром, звонил в издательство и говорил: если до среды не переведёте деньги, переведу стихи обратно!

Шутки его всегда были совершенно спонтанными, рождались всегда без всяких его усилий и даже как бы вопреки его меланхолическому настрою. Он и в других не терпел никакой натужности, снобизма, неестественности, многословия. Однажды его попросили прочитать роман подающего надежды двенадцатилетнего мальчика. «Что за роман? О чём?» «Сатира – нравы американских миллионеров». «Понятно», – как всегда серьёзно, без улыбки сказал Светлов. – О чём знаем, о том и пишем!» В этой связи вспоминается следующая сценка. В ресторан всероссийского театрального общества входит молодой, очень известный и к тому же опальный, и тем не менее наряженный, как петух, поэт (я не хочу его называть – он очень любим и мною, и большинством из вас, да и Светлов его очень ценил, а слабости есть у всех). Не чуждый рисовки, он оглядывается, желая убедиться во всеобщем внимании, и вдруг замечает в дальнем углу зала М. Светлова, и, конечно же, направляется прямо к нему, всем своим горделивым видом давая понять окружающим, что сейчас состоится встреча двух великих поэтов. Он начинает вещать поставленным голосом: «Дорогой Михаил Аркадьевич! Я не посещал Ваш семинар в литературном институте. Мои учителя – Ваши стихи. И я не забываю их, где бы я ни был – выступаю ли в парижском зале «Олимпия» или обедаю с матросами в кубрике рыболовного сейнера где-нибудь в Северном море»... и т.д. Светлов вжимается в стул, но знает куда ему деваться от стыда, от насилия над его природной скромностью. Но оратор ничего этого не замечает и продолжает свою тираду, доводя Светлова до отчаяния. Наконец, когда кончается эта пытка, озлобленный М.А. оглядывает снизу доверху молодого коллегу, одетого во всё суперзаграничное, и тихо говорит: «А знаешь, В..., вот что мне в тебе действительно нравится – так это носки!»... Остаётся добавить, что чувство юмора не покинуло поэта, когда он уже знал, что неизлечимо болен. Он говорил знакомым: приходите и приносите пиво – раки у меня есть...

Было бы неправильно закончить эти короткие воспоминания такой мрачной шуткой, поэтому я привожу под конец серьёзное, но в известной степени оптимистическое высказывание Светлова, поскольку, надо думать, оно родилось, когда он размышлял о долговечности своего творчества:

«Разница между славой и модой в том, что мода никогда не бывает по-смертной»....

Памяти Циля Абрамовны Коган

*И дыхание станет ровней,
И страданья отступят куда-то,
Лишь склонятся к постели твоей
Люди в белых халатах.*

Л. Ошанин

Циля Абрамовна Коган была близким другом нашей семьи, и какое-то время я только этим и объяснял себе её необыкновенно чуткое отношение к нашим болячкам, да и к проблемам по жизни. Но часто, когда она приходила к нам, начинались звонки по её душе, и я становился невольным свидетелем разговоров, которые никак нельзя назвать просто консультациями. В том и была её сила, что каждый её больной чувствовал как бы её особое отношение к себе. Ведь врач от Бога – а именно такой была Циля Коган – это не только глубокие знания и опыт, но прежде

всего интуиция, умение настроиться на волну *каждого* из пациентов. Однажды летом в благословенной Рузе родители уехали в Москву, и я – уже взрослый, но ещё очень молодой, остался с маленьким братом. Внезапно у него сильно заболел живот, и я тут же обратился к Циле, которая проводила в Рузе свой отпуск. Осмотрев брата, она сказала, что есть подозрение на аппендицит, но ещё нет оснований класть малыша в больницу. И она на всякий случай осталась ночевать у нас в коттедже.

Я долго не мог отделаться от мистического предположения о том, что только благодаря её присутствию, её ауре, болезнь была блокирована. А вскоре отец написал песню (смотри эпитаф) – кто знает – может быть вызванную к жизни как раз этим случаем. Что же это было? Стремление как можно добросовестнее исполнять клятву Гипократа или просто человеколюбие? Да разве же надо это различать? Ведь не зря же сказано: *добрый* доктор Айболит! А тут ещё циплины ярко выраженные женские качества – тонкость, мягкость, иногда просто по-матерински самоотверженное отношение к страждущему. Она вообще была красивой, обаятельной женщиной, с безупречным вкусом. Мне запомнилось, как после банкета по случаю 50-летия отца, моя суровая бабушка, перебирая наряды гостей и, особенно, гостей (а среди них таки были дамы, умевшие одеваться и не стеснённые в средствах) с мало свойственным ей восхищением воскликнула: «На первом месте – Цилия! Это было просто Париж!»...

В Азербайджане во время декады русского искусства, которое представляли Оскар Фельцман, Аркадий Островский и мой отец, они познакомились с очень симпатичной бакинской семьёй, опекавшей их. Я уже не помню, кому из этой троицы была подарена бутылка азербайджанского коньяка. Помню только, что оба товарища над ним подшучивали: «Тебе же Цилия не разрешает пить коньяк». Поскольку всем присутствующим было известно, что жену композитора зовут иначе, бакинцы по-своему поняли, кем ему приходится Цилия. Эту историю рассказал много лет спустя один из этих бакинцев у нас на семейном празднике, где была и 86-летняя Цилия Абрамовна. Она сказала: «Господа, что же вы делаете с моей репутацией!» И до чего же очаровательным было её наигранное смущение!

... Дело прошлое, но мне до сих пор обидно за Цилю, которую в критической ситуации композиторская общественность не сразу смогла поддержать. В медчасти музфонда, где работала Цилия, образовалась вакансия заведующего, и ничего не могло бы быть естественнее, чем предложить эту должность ей. Но по причинам, о которых остаётся догадываться, на этот пост заступила врач, стремившаяся сделать этот оазис доброжелательности настоящим, как она сама говорила, учреждением с ворохом бумажной волокиты. Цилия Абрамовна плакала и собиралась уходить. Правда, продолжалось это недолго, и в конце концов Цилия воцарилась в медчасти и окружающие были этому рады никак не меньше самой Цилии Абрамовны. Люди, близкие ей, тяжело переживали её очень непростую и неблагоприятную женскую судьбу. Но никому бы никогда не пришло бы в голову назвать Цилю Абрамовну несчастной. И действительно, дал бы нам всем бог счастья быть *так* же, как Цилия, нужной людям. Вот только эти люди её не жалели, беспокоили по всякому пустяковому поводу. Как-то в телефонном разговоре со своей сестрой, папа пожаловался: «Что-то попугай у нас ничего не ест!» Маша, папина сестра, не преминула поддеть его: «А ты Цилю уже вызвал?» У отца и вправду была на редкость крепкая и долгая, до конца его дней, дружеская привязанность к Циле Абрамовне, и она отвечала ему тем же и при его жизни, и позже. Несколько лет назад я в Москве, в еврейской общине, давал концерт памяти отца. Это был не первый, и даже не сотый

такой концерт, но единственный, после которого весь зал встал. Позже я узнал, что произошло это не стихийно, как я самонадеянно думал. Слушателей властным движением руки подняла Циля Абрамовна Коган. Вот как свято и самозабвенно горячо чтит она память о друзьях. Она просила меня приглашать её на каждый такой вот, как я его называю, «папин» концерт. Вскоре она ушла из жизни. Простите меня, Циля Абрамовна, я не смогу пригласить Вас на следующий концерт. Если бы Вы только знали, как мне будет Вас не хватать...

РуЗские люди

От этих мест куда мне деться...

Н. Доризо

Нет-нет, это не опечатка, я имел ввиду Старую Рузу – подмосковную деревню, где располагался дом творчества композиторов, и где прошла значительная часть моей «прежней» жизни. Как ни странно, за всё время эмиграции я не почувствовал ни малейшего намёка на ностальгию, скучал лишь по определённым людям и по «Рузе». Впрочем, вскоре после моего отъезда, она стала сходить на нет. И это очень жаль! В детстве я думал, что если существует рай, он должен быть похож на «Рузу». Первый дом творчества композиторов был создан в 1944 году в Иваново. Насколько же было сильно желание властей «прикормить» деятелей искусства, если такое событие произошло во время войны! Примерно в это же время появилась «Сортавала» – дом творчества на территории, бандитски отвоёванной у Финляндии. Там я никогда не был, могу только засвидетельствовать восторги коллег, друзей и родственников – мой брат до сих пор отдыхает там с семьёй каждое лето, несмотря на всё большие бытовые разрушения; настолько покорают его неслыханная по красоте природа. Поначалу в Иваново было лишь 3-4 дачи и так называемая «творилка» – маленькое помещение с инструментом – и жили там только корифеи: А. Хачатурян, С. Прокофьев, Д. Кабалевский. В «Сортавалу» же можно было ездить и отдыхать. В 1946 году у моей тётки Маши (папиной сестры) разыгралась дистрофия, и папа достал им с мамой путёвки в «Сортавалу», где и тогда было хорошее питание, и таким образом болезнь заставили отступить. И уже в моё время туда ездили в основном отдыхать. Там было всего несколько коттеджей с инструментами, и давали их только выдающимся – таким, как Р. Щедрин или Е. Светланов. Постепенно сеть творческих домов разрослась – появилась «Руза», «Репино» под Ленинградом, «Ворзель» под Киевом, «Дилижан» под Ереваном, «Боржоми», «Лилт» в Сухуми... Но самой популярной и престижной оставалась «Руза» – прельщала её близость – всего 100 км – от Москвы. Туда можно было поехать на несколько дней. Именно так и поступил папа, когда в 1953 году ему удалось получить пробное задание от П. Массальского, ставившего во МХАТе «Двенадцатую ночь».

То есть в «Рузе» была сочинена музыка, решившая творческую судьбу отца. И так можно было сказать про многих композиторов. Впоследствии, заходя по делам в музыкальный фонд СССР, я то и дело слышал такие, например, высказывания порученков: Константин Яковлевич! (на другом конце телефонного провода был композитор Листов) Освободилась дача №15 в «Рузе»! Берите, Вы же в ней написали «Севастопольский вальс!» ... Многие композиторы работали редакторами в издательствах или преподавали, поэтому в рабочий сезон могли пользоваться только «Рузой». Да и работающие жены могли туда приезжать с детьми на выход-

ные. Весьма примечателен регламент распределения путёвок в этот рай. Член союза композиторов имел право на 2 месяца со скидкой и ещё на два за полную стоимость – сумму тоже более чем скромную. Сопровождалось это чисто бюрократическим актом. Надо было написать заявление с указанием сочинения, над которым предполагалась работа в доме творчества. Это заявление подавалось в соответствующую творческую комиссию. То есть, если я хотел написать симфонию – в симфоническую, если мюзикл – в секцию музыкального театра, и т.д. Кто-нибудь из правления комиссии накладывал на заявление неизменно положительную резолюцию, после чего оно отправлялось в музыкальный фонд, правление которого окончательно решало, дать ли композитору дачу и кому какую, в соответствии с таблицей о рангах. По существу же проблема распределения возникала лишь во время школьных и, особенно, студенческих каникул, поскольку помимо желания вывезти детей на каникулы, тут ещё важно было, что композиторы-профессора и просто преподаватели высших учебных заведений и музыкальных училищ и сами-то могли поехать в дом творчества на долгий срок только в это время.

По приезду композитор должен был отчитаться о проделанной работе. От этого идиотизма постепенно стали тихой сапой отказываться. Ведь оценивалось не качество музыки, а лишь факт её создания. И было понятно, что в заявлении композитор всегда указывал уже готовое сочинение, поэтому не было ни одного случая непризнания его работы удовлетворительной. Однако находились композиторы, требовавшие, чтобы их произведения-отчёты выслушали, потому, что иначе их просто никто и никогда не хотел слушать. В отличие от домов творчества художников или писателей, каждому композитору предоставлялся отдельный комфортабельный коттедж из нескольких комнат с хорошим роялем и всеми бытовыми удобствами. Коттеджи были расположены на почтительном расстоянии друг от друга, чтобы композиторы не мешали друг другу. В общем, сказочные условия для жизни и, особенно, работы, если ещё учесть, что долгое время подавляющее большинство композиторов – наша семья в том числе – жило в коммуналках. Территория «Рузы» была закрыта для посторонних. Это тоже создавало особый уют, необходимые для творчества покой и тишину.

Первое время запрет на проход через дом творчества со сталинской последовательностью охранялся четырьмя овчарками по кличкам Руслан, Рагдай, Фарлаф и Ратмир. При них состоял легендарный сторож Иван Иванович. Я не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь произнёс его фамилию. Зато все повторяли его очень странно и сложную присказку – чуть ли не после каждого предложения он произносил: «Будь-будь, дай Бог на пасху!» Слово «легендарность» я тут употребил в том рассуждении, что его неординарность и по разговору, и по безумной любви к собакам могла дать основания слагать о нём легенды. Поэтому я не уверен, что всё, что я слышал о нём и сейчас расскажу стопроцентно соответствует действительности. Совсем ещё ребёнком я видел, как Иван Иванович Будь-Будь (так его называли окружающие) общался с собаками, и могу себе представить, что он действительно, как говорилось вокруг, ел с ними из одной миски. А когда одна из собак укусила женщину-музыковеда, Будь-Будь утверждал, что на то была уважительная причина – у пострадавшей, мол, была просрочена путёвка.

Замечательный композитор Борис Мокроусов был не чужд желания принять на грудь. Сама деревня Старая Руза находилась на противоположной от дома творчества стороне речки Рузы, а вождельный магазин – почти на берегу. С трёшкой в зубах, полученной от Бориса Андреевича, Будь-Будь переплывал речку, отоваривался в

сельпо, и на обратном пути в его зубах была уже четвертинка. Во всяком случае, этот магазин десятилетиями называли не иначе, как «мокроусовкой», и это исторический факт... Об Иване-Будь-Будь ходило много и других рассказов, за правдивость которых я бы не поручился. Но по крайней мере я знал их героя, много раз видел его, общался с ним. А вот как оценить байки о доме творчества «Иваново»? Их главными действующими лицами были так называемые «самоходки». Как известно, Иваново – город невест. Если верить слухам, неудовлетворённые жительницы этого древнего русского города шли группками 15 км (действительно, прямого транспорта из города не было) и предлагали себя композиторам, большинство из которых приезжали сосредотачиваться в эту глушь без жён. Я никогда не видел ни одной такой самоходки и не слышал о них ничего правдоподобного ни из одного сколько-нибудь авторитетного источника. Между тем вокруг этого явления создавался фольклор. Фамилия композитора, частушки о котором я хочу процитировать, думаю, выбрана случайно, для рифмы – это очень приличный, высокоинтеллигентный человек:

*Говорят, что Боря Шнапер
На крючок террасу запер.
Он не дуэт большие водку,
В шею гонит самоходку,
Ему творчество в охотку....*

По многим параметрам «Иваново» в моё время не могло конкурировать с «Русзой», где в разное время можно было видеть Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Д. Кабалевского, Г. Свиридова, Э. Денисова, А. Шнитке, Б. Чайковского, М. Вайнберга, Ю. Левитина, Ю. Шапорина, А. Эшпая, А. Холминова, М. Ковалева, Д. Покрасса, И. Дунаевского, В. Соловьёва-Седого, М. Фрадкина, А. Пахмутову, А. Новикова, Э. Колмановского, В. Мурадели, А. Островского, О. Фельцмана, Я. Френкеля, С. Каца, С. Туликова, А. Бабаджаняна, М. Таривердиева, Д. Тухманова, В. Мигулю, П. Бюль-Бюль Оглы, А. Бабаева, А. Рыбникова, Г. Гладкова, А. Журбина, Е. Крылатова, М. Минкова, А. Долуханяна, В. Шаинского, Е. Птичкина, А. Зацепина, М. Дунаевского, Л. Лядову, Ю. Силантьева, а в «Иваново» – максимум Н. Пейко. Дачи тут часто пустовали, особенно не в сезон. И руководство союза композиторов учредило всесоюзный ивановский семинар творческой молодёжи. Каждый член союза не старше 35-ти лет мог приехать в «Иваново» на месяц почти полностью на казённый кошт, включая дорогу. Надо было лишь доплатить символическую сумму – 1 рубль в день. Каждый месяц приезжал новый консультант – опытный, авторитетный композитор, советами которого можно было постоянно пользоваться. Легенды о самоходках были настолько сладкой приманкой, особенно для темпераментных представителей композиторских организаций востока, что в пору было засомневаться: а не правление ли музфонда распускает эти слухи? Однако если можно представить себе ситуацию, при которой цель таки оправдывает средства, так это был как раз тот случай.

На этих семинарах было столько создано, каждый из нас получал столько интеллектуальной и творческой энергии от этого общения в совершенно неслыханных бытовых и моральных условиях! Консультанты жили всегда в 13-й даче, расположенной в самом центре, и некоторые из них рассказывали, как руководство уговаривало их (от чего они, конечно же, с гневом отказывались) следить за моральным обликом семинаристов и фиксировать самоходок. А может быть правление не только ничего не придумывало, но и само было напугано рассказами о са-

моходках? Что действительно постоянно позволяли себе семинаристы, так это долгие, весёлые вечерние застолья, где, понятное дело, не обходилось чаем с лимоном. В это невинное нарушение правил поведения в столовой обычно втягивали и т.н. «вольных казаков» – композиторов более зрелого возраста, которые не имели отношения к семинару. Их было обычно 3-4 человека, двое из которых жили в одной даче. Такая пара как правило состояла из корейского (вьетнамского) полуграмотного композитора и крепкого, пусть и не хватающего звёзд с неба, советского профессионала. Они вдвоём создавали новую вьетнамскую (монгольскую) музыкальную социалистическую культуру. Деликатные и осторожные гости из братских стран обыкновенно сторонились семинаристских попок. Но как-то раз на моих глазах монголу принесли рюмку, налили 50 грамм и попросили что-нибудь сказать. Он долго и растерянно подбирал русские слова и, наконец, решился: «Нас учат, что союз советских композиторов – отец союза монгольских композиторов. Не думал я, что у нас отец – алкоголь».

Была в Иваново ещё одна, уже вполне реальная, хоть и не очень значительная завлекаловка. В отличие от «Рузы» подсобное хозяйство здесь располагалось в двух шагах от дома творчества, и вот уж было раздолье композиторским детишкам – вдоволь насмотреться на телят, поросят и цыплят. Признаться, и для меня, взрослого, это было нешуточной разрядкой. Ребёнком же я ездил только в «Рузу» и был потрясён, увидев живых классиков, портреты которых собирал. Тогда в любом газетном киоске можно было купить небольшого размера портреты вождей – Сталина, Берии, Молотова и т. д., и наряду с ними такого же (как странно!) размера портреты известных артистов: Козловского, Бондарчука, Тарасовой и др. В киоске же у входа в гнесинскую музыкальную школу, где я пяти лет от роду учился в младшем подготовительном классе, продавались портреты композиторов-богов с перечислениями их регалий. Я даже помню, как спрашивал у папы, почему Хачатурян – лауреат Сталинской премии, а Бетховен – нет. И вдруг я вижу Арама Ильича в рузовской столовой прямо перед собой. Вокруг него тогда было много шипения, поскольку для великого композитора, сочинявшего в «Рузе» балет «Спартак», было сделано неслыханное исключение – ему было разрешено не только держать в даче весёлого белого пуделя по имени «Лядо», но и брать его с собой в столовую, чтоб не скучал. А я всё думал – ещё бы! Хачатуряну и должно быть всё позволено, тем более, что «Лядо» мне очень нравился. «Руза» притягивала композиторов, как магнит. Некоторые (например, А. Эшпай) строили себе дачив соседней деревне, чтобы пользоваться рузовскими благами. А их было достаточно. Помимо первоклассного питания в столовой, был ещё буфет, полный дефицита. Д. Шостакович, любивший иногда вкусить хорошего коньячку (впрочем, всегда в более чем скромной дозе) и почему-то стеснявшийся этой слабости, однажды обратился к отцу: «Эдуард Савельевич, возьмите мне, пожалуйста, в буфете бутылочку. Я, видите ли, дорожу своей репутацией, а Вам уже терять нечего».

«Руза» постепенно оснащалась спортивными сооружениями – бильярдом, волейбольной и крокетной площадками, столом для настольного тенниса, наконец, теннисным кортом, который зимой превращался в каток. Правда, среди композиторов было не так уж много спортсменов, многие просто развлекались, играли в спорт. Помню, как кто-то сказал мне: «Иди посмотри, Дунаевский с Фрадкиным играют в теннис, переходящий в футбол». По-настоящему больше всех любил играть в теннис К. Молчанов. Может быть, именно он приобщил к этому виду спорта свою любимую падчерицу Анну Дмитриеву, впоследствии ставшую мастером ми-

рового класса. До первого разряда дошёл и сын Кирилла Владимировича Володя – впоследствии известный телевизионный журналист. В какой-то момент построили новую, двухэтажную столовую и наверху стали показывать фильмы. До этого мы ездили несколько километров на автобусе в дом творчества писателей «Малеевка», где фильмы стали показывать раньше, чем у нас. А потом, совсем уже рядом построили дом творчества «ВТО» с кинотеатром и баром, где многие композиторы проводили чуть не каждый вечер. Был в «Рузе» и собственный медпункт, и библиотека с книгами, нотами и пластинками, и лыжная база. Но самым желанным развлечением для нас стала роскошная сауна, построенная уже в последнее десятилетие советской власти. Однако, чем больше разрасталась и благоустривалась «Руза», тем менее уютной она становилась, и если бы не расстояние, я бы в последние перед эмиграцией годы предпочитал «Иваново», где единственным развлечением, не считая телевизора, оставались телята...



С режиссёром А. Столбовым и М. Ростроповичем



Один из слушателей поёт "Я люблю тебя, жизнь!"



С Андреем Эшпаем

По мере послесталинской, жалкой, но всё же демократизации общества стало проявляться недовольство простых советских людей особыми условиями, которые власть создавала для деятелей искусства – не в последнюю очередь для композиторов. Отражая эти настроения, в «Огоньке» напечатали фельетон о «Рузе» и её обитателях, безмерно наслаждающихся своим Олимпом. Главной мишенью фельетона стал тогдашний таджикский классик Ашрафи, который вместе с многочисленной роднёй занимал две дачи. Под напором общественного мнения в «Рузу» стали пускать не только членов союза композиторов. Там стали появляться служители муз «со стороны»: Леонид Коган, Владимир Федосеев, Вячеслав Тихонов. Во время своих первых гастролей после победы на конкурсе им. П.И. Чайковского в «Рузе» жил и готовился к выступлениям Ван Клиберн. На значительный срок несколько дач отдали пианистам, которые с советской стороны должны были принять участие во втором конкурсе им. Чайковского. Позже приютили знаменитую японскую скрипачку Йоко Саго. На зимние школьные каникулы один раз дали дачу малолетнему Евгению Кисину с преподавательницей, и он выходил оттуда практически только в столовую. В этой связи уместно упомянуть о доме творчества «Дилижан», где в конце 70-х годов я провёл один из полагавшихся мне месяцев. Это горная местность с красивой природой и чистейшим воздухом. Коттеджи были комфортабельны, даже с гаражами. Но во многих из них жили просто видные люди республики, не имевшие к музыке никакого отношения. Армения маленькая и каменная, и лучшего места, чем «Дилижан» вблизи от столицы (около ста км) очевидно не было.

Там я познакомился с первым хирургом Армении, который курировал партийную элиту, с довольно странной для человека его профессии фамилией Загробян. Это был очень интересный и обаятельный собеседник. Как и другие армянские отдыхающие, он считал своим долгом опекать приезжих из других республик. Распорядок дня складывался в «Дилижане» совсем не так, как в «Рузе» или «Иваново». Позаниматься удавалось лишь до обеда, пока наши «хозяйева» отсыпались, а затем следовали приглашения к обеду, переходящему в ужин, и отказаться было невозможно. Чувствовалось, что к восточному гостеприимству тут примешивался стыд за дилижанскую столовую. Как и во многих других казённых заведениях на Кавказе, где социалистическая сознательность не ночевала, кормили там отвратно. А к моим вновь приобретённым армянским знакомцам почти каждый день на машинах

приезжали друзья из Еревана, по дороге заезжая на Севан, около которого продавались свежевыловленные форель и сиг. Воспоминания остались самые отрядные, но больше я в «Дилижан» не ездил, уж очень мало там успел по работе. Долгие застоля не обходились без занятых историй, одну из которых я публикую в этой книге под названием «Сапожник по имени Фауст». За её подлинность я спокоен, поскольку слышал этот рассказ от Арно Бабаджаняна, которого хорошо знал.

А вот ещё один эпизод, который мне известен в пересказе многих, но мало знакомых мне людей. Тем не менее позволяю себе его обнародование, поскольку образ Д. Шостаковича, о котором пойдёт речь, предстаёт здесь вполне узнаваемым. Находясь в Дилижане, Дмитрий Дмитриевич во время прогулки в горах споткнулся, упал и сломал ногу. Разумеется, он был окружён заботой и уходом. Однажды целая делегация композиторов пришла его навестить. Поблагодарив коллег за внимание, Шостакович сказал: «Вот нас всех учат смотреть вперёд... Оказывается, под ноги надо смотреть!» Бывал я и в доме творчества композиторов в Сухуми. От дома отдыха он отличался только тем, что в нескольких номерах были пианино. Но как в таком шуме можно было сосредоточиться - трудно себе представить. Да и море манило, особенно тех, кто приезжал издалека. Отец почему-то очень любил туда ездить, одно время проводил там по 2 месяца в году. Он пользовался особым уважением и симпатией директора дома Отара Васильевича, и когда в Абхазии началась заваруха и папа решил туда не ехать, тот, огорчённый, позвонил и сказал: «Эдуард Савельевич, мне сказали, что Вы к нам в этом году не приедете. Если это из-за непорядков, то Вы совершенно напрасно волнуетесь. У нас здесь полное спокойствие – прямо у ворот дома творчества стоит танк!»...

Некоторую аналогию с домами творчества являли собой семинары творческой молодёжи Москвы. Их организовывал московский горком комсомола в роскошном доме отдыха «Красная пахра». Здесь, правда не творили, но был по-русски сказочным, а общение гораздо более богатым, поскольку собирались молодые представители всех творческих союзов столицы. Завязывались плодотворные содружества. На одном из таких семинаров познакомились кинорежиссёр Павел Чухрай и композитор Марк Минков, впоследствии долго работавшие вместе. Вечером показывали фильмы, которые нигде кроме увидеть было нельзя. Приезжали и проводили с нами беседы видные советские и партийные деятели, а также деятели искусств. Беседы были доверительными и обогащающими. Наиболее интересным мне показалось выступление Ю. Трифонова, посвящённое проблеме искренности писателя. Он рассказал одну особенно запомнившуюся мне историю, имеющую отношение к этой проблеме.

Время действия – начало пятидесятых годов. Поздно вечером к Трифонову пришёл приятель и коллега, чтобы похвастаться: через день в «Правде» будут опубликованы его стихи, посвящённые Назыму Хикмету, томившемуся в то время в турецкой тюрьме. Гордый поэт не отказал себе в удовольствии прочесть это стихотворение, действительно впечатлявшее, полное искреннего сочувствия, а сильными выражениями, вплоть до: «Я ради твоей свободы, Назым, отдал бы свой глаз». Ю. Трифонов поздравил литератора с творческой удачей, но вынужден был заметить, что только что по радио сообщили об освобождении Хикмета. И тут радеть свободы и справедливости воскликнул: «Идиоты! Не могли два дня подождать?!» На одном из таких семинаров художники, которым было поручено украсить мероприятие плакатом с каким-нибудь верноподданническим изречением, довольно крепко похулиганили. Приведа слово в слово навязшую у всех в зубах ци-

тату из Маяковского, они лишь изменили фамилию автора, но этого никто не заметил, поскольку никому не приходило в голову читать это дальше первой строчки. Буквально за час до отъезда смельчаки обратили внимание нескольких семинаристов, в том числе и моё, на свой эпатаж. И я вник и прочёл:

*Ленин жил,
Ленин жив,
Ленин будет жить!
В.И. Ленин...*

Но вернёмся к «Рузе». Одно время там появился директор, стремившийся подчинить «Рузу» привычным ему понятиям. Края дорожек он выложил кирпичом, и сразу стало пахнуть казёнщиной. Но главной проблемой он считал отсутствие разработанных на государственном уровне инструкций для проживающих в доме творчества. В конце концов он пригласил, очевидно из дома отдыха, где он раньше директорствовал, кипу инструкций для отдыхающих и развесил их по всем углам на потеху композиторам. Слово «отдыхающий» по отношению к творцам, которые должны были концентрироваться на работе, стало притчей во языцех. И когда одного маленького композиторского сына, который обожал «Рузу» кто-то в очередной раз спросил, кем он хочет быть, когда вырастет, малыш ответил: «Отдыхающим». ... А для меня «Руза» связана с началом моей композиторской работы. Именно там я маленьким мальчиком сочинил свою первую пьеску. Отец почему-то уехал в это время на несколько дней в Москву, и композитор Сигизмунд Кац помог мне записать этот опус нотами. А через пару лет, когда у меня накопилось уже несколько произведений, отец, тоже в «Рузе», показал меня Григорию Самуиловичу Фриду, преподававшему тогда композицию в консерваторском училище и – факультативно – в школе при нём. Фрид взял меня к себе в класс. Так что не знаю, с чего начинается Родина, но музыка началась для меня с «Рузы». Я проучился у Григория Самуиловича всего четыре года – потом он ушёл из училища, но для меня всегда было большой радостью общаться с этим замечательным композитором и педагогом, а, главное, необычайно интересным и обаятельным человеком. Он умер в 2012 году в день своего 97-летия.

3. Кто-нибудь услышит, Кто-нибудь напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой

К. Симонов

Вот уже не одно десятилетие прошло со дня смерти Юрия Силантьева, бесшумного руководителя эстрадно-симфонического оркестра всесоюзного радио и телевидения. Человек он был своеобразный, и отношение к нему было не однозначным. Но сколько же музыкантов сменилось на этом посту после его ухода! Видно, это не просто – управлять таким коллективом. Силантьеву это удавалось. У него было классическое образование – он с блеском окончил Московскую консерваторию как скрипач. Его имя выбито золотыми буквами на мраморной доске лучших консерваторских выпускников. Работал концертмейстером в прославленном оркестре московской филармонии. Он отличался феноменальным музыкальным слухом – мог даже чисто играть на ненастроенной скрипке. Я не знаю, когда и почему

он решил начать дирижировать, а главное – почему именно эстрадным оркестром. Никакой тяги к лёгкому жанру у него не наблюдалось, и он этого не скрывал. Всё мечтал продирижировать увертюру к «Мейстерзингерам» Вагнера. Когда друзья-композиторы советовали ему ограничить себя в еде, поскольку он всё больше грузнел, Силантьев отвечал: «А для чего мне тогда жить? Ваше г. играть?» Но у него была поразительная хватка – и музыкантская, и организаторская. Он мгновенно вникал в суть любой музыкальной и жизненной ситуации. Сколько раз какой-нибудь музыкант кричал: «Юрий Васильевич, у меня, по-моему, тут написана не та нота». На что Силантьев отвечал: «Играй не ту!» Он понимал, что только начни проверять каждую ошибку в нотах, особенно если она не делает погоды, тут же рухнет весь огромный производственный план. За редчайшим исключением, он не ходил в аппаратную, чтобы послушать записанное, а только интересовался, сколько минут шло соответствующее сочинение. Честно говоря, поначалу меня это шокировало, но потом я понял, что иначе нельзя было справиться с объёмом работы, которую оркестру поручало руководство радио и телевидения. Да и музыкантов надо было обеспечивать. На концертах и записях, происходивших чуть ли не каждую неделю, надо было «вытянуть» десятки новых песен. Тут нужны были, кроме таланта, лошадиная энергия и железная воля. Особенно тяжело Юрию Васильевичу давались концерты пленумов и съездов союза композиторов, с огромным количеством песен из разных республик, которые отбирались Бог знает, по какому принципу.

На предварительных заседаниях Силантьев пытался сократить программу, и когда ему показывали партитуры, он говорил либо: «Это я не знаю.», либо: «Это я знаю, это нельзя играть». Также трезво и сурово относился он и к людям. Когда я в его присутствии стал восторгаться благоденскими способностями одного малоталантливого композитора, Юрий Васильевич меня осадил: «Да брось ты! Он может достать две банки рыбных консервов, – подумал и добавил, – себе». Как организатору ему не было равных. Его усилиями и под его художественным руководством состоялось концертное исполнение знаменитой оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» с Л. Лещенко в главной роли. А как-то раз он раздал нескольким композиторам, в том числе и мне, стихи болгарских поэтов с тем, чтобы записать потом уже готовые песни в Болгарии. Я спросил, зачем ему это надо. Силантьев ответил: «Дым пойдёт». Он умел просчитывать эти длинные ходы, понимал, как привлечь к своему проекту радио, телевидение, прессу. Поэтому при нём оркестр приобрёл принципиально иную чем раньше значимость. Но и к музыкантам оркестра он относился сурово. Помню, как он пришёл к отцу советоваться, через кого можно выбить квартиру для тромбониста, в котором Юрий Васильевич был заинтересован. Папа вообще часто помогал Силантьеву, одно время он был у нас даже почему-то прописан. Они долго и тщательно обсуждали жилищную проблему тромбониста, который всё это время находился на улице, и лишь когда решение было найдено, меня послали пригласить музыканта в помещение... Некоторые проекты Силантьева остались нереализованными. Тоскуя по серьёзной музыке, он подбивал сотрудничавших с ним композиторов на создание крупных полотен для своего оркестра. Обратился он и ко мне. А я, как и мои коллеги, окружавшие Силантьева, хотел продвигаться в песне и мюзикле. Юрий Васильевич стал нажимать: «Подумай! Кто ещё сделает тебе такое предложение?» А потом Силантьев решил мне польстить, дать понять, что я способен на большее, чем сочинение песен. Но выразил эту мысль в своей всегдашней суровой манере: «Сколько можно одно г. писать?»...

Автор многих популярных песен, поэт Лев Ошанин был человеком страстным, напористым и энергичным. Недаром про него говорили, каламбуя его «Гимн демократической молодёжи: «На него взглянув, тот час же ты поймёшь: *Эту* песню не задушишь, не убьёшь!» С ним было трудно спорить, а ведь песнетворчество – это, конечно же, спор композитора и поэта. Ошанин и сам писал:

*Как яростно ссорятся два дарованья,
Пока не сольются в одно!*

Работая над песней, Лев Иванович часто предлагал композитору настолько сырой эскиз, что иногда он напоминал набор слов. Но Ошанин сам понимал это и говорил: «Ты пиши музыку». Я разок осмелился спросить: «Если вы сами понимаете, что стихи ещё надо доводить, то зачем же раньше времени писать на них музыку?» Он ответил: «Чтобы были бемоли». На самом деле Лев Иванович был абсолютно прав. Песня – это совместное произведение, и сочинять его надо совместно, то есть доводить стихи до кондиции, когда уже будет ясен характер музыки. Однако в какой-то момент возникало разногласие с композитором, который, в отличие от поэта, считал работу над стихами не законченной, и всё дело было в том, удастся ли убедить в этом Ошанина. Мне это ни разу не удалось – слишком уж разными были весовые категории, и поэтому у нас с ним ничего толкового не вышло. Впрочем, иногда и в его известные песни проникали несурезицы. Я, например, так и не понимаю, что означают эти строчки из замечательной песни А. Островского и Л. Ошанина „Пусть всегда будет солнце!»:

*Тише, солдат! Слышишь солдат? –
Люди пугаются взрыва!»*

Что, собственно, должен солдат делать тише? Уж не стрелять ли?..

Но композиторы более прочного положения и характера в конце концов выбивали из Ошанина просто гениальные стихи. Такая вот была у Льва Ивановича манера работать. Вспоминается, как в небольшой компании композиторов и певцов зашёл разговор о том, как трудно сотрудничать с Ошаниным. Только Марк Бернес присоединился к хору жалующихся. Он возразил: «Всё это не в счёт. Лев Ошанин из тех, кто знает пгичье слово».

Перестройка и, особенно, гласность лишили нас сомнений, которыми мы пытались заслониться от чудовищных реалий развитого социализма. Расставаться с иллюзиями, особенно людям старшего поколения, было нелегко. Замечательный поэт, классик советской песни Михаил Матусовский издал в это время даже книгу стихов под названием «Горечь». По всей видимости ему особенно тяжело пережить разгул антисемитизма, о котором стали, наконец, открыто говорить и писать, но которому, тем не менее, была дана полная воля. На гражданской панихиде по М.Л. Матусовскому были прочитаны стихи из его дневника, в частности, такое двустушище:

*Не еврей, не иудей, а жид. –
Пусть и в партбилете так запишут!..*

Из высказываний М.Л. Матусовского: "Жизнь уместается в три авторских вечера в Колонном зале и два ремонта квартиры".

Я долго общался с поэтом Марком Лисянским, прежде чем узнал, что он был сыном портового грузчика. Этот факт меня поразил, потому, что речи Марка Самойловича, его манерам, профессиональной и общей образованности мог позавидовать интеллигент в пятом поколении. Первое стихотворение Лисянского, ставшее песней – «Дорогая моя столица» И. Дунаевский прочёл в журнале, и когда М.С.

узнал о появлении песни на его стихи, он не понял о чём идёт речь. Он считал, что песни возникают сами собой, как легенды. Настолько М. Лисянский был далёк от песенной кухни. Впоследствии он стал желанным соавтором для многих композиторов и не только в силу своего таланта, но и необыкновенного человеческого обаяния, редкостной доброты и мягкого, интеллигентного поведения. С ним было очень приятно иметь дело. Иногда вдруг давало о себе знать его происхождение, но это только придавало ему остроумия и самобытности. Я почему-то запомнил, как он отчитывал одного певца, постоянно менявшего жён: «Тебе жениться, что дурно с горы побежать...»

Недоброй памяти С.Г. Лапин – председатель комитета по радио и телевидению при Брежневле – даже не считал нужным вуалировать свою антисемитскую установку. В частности, ему не нравилось, что в популярных телепередачах постоянно принимает участие А.А. Ширвиндт. «Но ведь он так талантлив» – возражали подчинённые Лапина, на что тот цинично заявил: «А вы видали неталантливых Ширвиндтов?»

В связи с отставкой Г.Н. Рождественского на радио возник кризис художественного руководства большим симфоническим оркестром. С.Г. Лапин прочил на это пост В.И. Федосеева, руководившего в ту пору оркестром русских народных инструментов. Это вызывало возражения музыкальной общественности: «Он же ничего кроме русской музыки не знает!», на что Лапин отвечал: «Вот и хорошо. А этих Хиндемутов нам не нужно!». Федосеев взошёл на трон, но между собой музыканты ещё долго называли его «баян-Караян».

Дунаевский говаривал, что композитор и поэт, вместе работающие над песнями, должны переживать настоящий роман со страстями, ревностью, изменами. И действительно, эти отношения, как и в любви, развиваются волнообразно, со взлётами и кризисами. Было время, когда Дунаевский ссорился со своим главным соавтором В. Лебедевым-Кумачом, обвиняя его в нежелании уйти от риторичности и, жалуясь друзьям, преувеличивал, как разочарованная жена: «Ну, что он за поэт? Что может написать человек без яиц?»

Из последних писем отца:

В восемнадцать лет молодой человек хвастается блестяще выигранной партией в теннис. Более зрелый мужчина пытается вызвать зависть у друзей, расписывая, с какой привлекательной женщиной он провёл ночь. К сорока годам люди любят по понедельникам рассказывать на работе о вкусном обеде, которым их угостили в воскресенье в гостях у родственников. В моём возрасте предметом хвастовства может быть только состоявшийся стул...

Я не знаю, когда и на каком уровне сложилось нелепое представление, согласно которому пост директора Большого театра должен был занимать композитор. Долгое время им был М. И. Чулаки, потом К. В. Молчанов. Но, очевидно, властям хотелось видеть в этом качестве более известного композитора, и в какой-то момент эту должность предложили Д.Б. Кабалевскому. Дмитрий Борисович отказался, поскольку не хотел жертвовать временем и силами, нужными ему для творчества. Его стали уговаривать: «Вы же понимаете, что Большой театр – это парадный подъезд нашей музыкальной жизни». «Конечно, – ответил композитор, – вот я и не хочу быть швейцаром».

Я не перестаю удивляться противоестественной закономерности: самыми стойкими бывают всегда самые нелепые слухи. Взять хотя бы легенду о са-

моубийстве И. Дунаевского. Люди старшего поколения до сих пор рассказывают её в деталях: как сын композитора Евгений (а бывает, что вместо него приплетают к делу Максима, который потерял отца в 10 лет) участвовал в изнасиловании и убийстве дочери дипломата Литвинова, как Дунаевский обратился за помощью к Ворошилову и тот ответил: перед законом все равны. Дунаевский не выдержал позора и... Откуда это упорное нежелание отключать мозги, распространяя подобную чушь? Ведь Евгений Дунаевский вообще не был судим. А если бы даже эти устные рассказы соответствовали действительности, то какой бы отец в этой ситуации ушёл бы из жизни, вместо того чтобы помогать сыну, поддерживать его морально и материально? А если ещё учесть известность Дунаевского, его влияние, богатство, неизбывный оптимизм... И кем это надо быть, чтобы воспользовавшись внезапной смертью великого композитора как раз в то время, когда по соседству с его дачей свершилось преступление, чернить его имя, причём без всякой выгоды для себя, а так, из спортивного интереса?...

О культурном и интеллектуальном уровне наших бывших вождей написано и сказано немало. Но не так уж много людей общались с ними в неказённой обстановке, и поэтому свидетельство каждого, кому это удалось, что-то добавляет к нашему представлению о былых правителях... В хрущёвские времена Евг. Евтушенко со своей тогдашней женой Галей были приглашены на встречу Нового Года в Кремле. Из их рассказа я запомнил только, какое тяжёлое впечатление производил Брежнев. Тогда ещё совсем нестарый, он путался в именах и всё время называл Галю Женей. Когда она в очередной раз поправила Леонида Ильича – мол, Женей зовут моего мужа, а я – Галя, он ещё и огрызнулся: «Да что Вам не нравится? Как будто имя Жена – хуже...»

Нет эмиграции без разочарования. У кого-то не осуществились профессиональные планы, кто-то не может привыкнуть к немецкой (американской, израильской) ментальности, очень многие не выдерживают переходного (действительно очень тяжёлого) периода, жизни в лагере для перемещённых лиц.

Моим главным разочарованием на чужбине стали соотечественники. На Родине я жил в определённом людском кругу, который я сам себе создал. В эмиграции же, особенно в первое время, радуешься общению с любым русскоязычным, порою закрывая глаза на его воспитание и культуру или – гораздо чаще – на отсутствие таковых. Не у всех имеются способности к языкам. Но многие и не собираются его учить, кроме как сколько стоит и как пройти. Первое время я помогал и таким. Но однажды по просьбе довольно жлобоватой женщины я пошёл с ней к врачу – у неё были проблемы с печенью. Доктор предложил ей отказаться от таблеток, которые она принимала в связи с другой болезнью. Когда я это перевёл соей подопечной, она вдруг стала кричать на меня: «Ты что, дурак, что ли?» Делая скидку на её провинциальное происхождение, я воздержался от гневной отповеди и спокойно попросил её держаться в рамках приличия, на что она заявила: «А я и не знала, что вы способны на скандал». Больше всего меня удивило, что подавляющее число людей не понимает, что музыкант – это такая же профессия, как и все остальные, что от неё устаёшь и в свободное время хочешь отдохнуть от музыки. Можно понять тех, которые хотят узнать от меня что-то новое для себя о музыке и её служителях. Но сколько же желающих просве-

тить меня, поделиться своими впечатлениями о телевизионной музыкальной передаче или информацией о концертной жизни города, в котором они живут, а то ещё – самое страшное – прочитав собственное стихотворение про осень, чтобы я написал на него музыку! Когда меня в первый раз приглашают в какой-нибудь дом или клуб, я прежде всего выясняю, нет ли там пианино, поскольку визит может превратиться в сверхурочную работу. Отказов соотечественники, как правило, не приемлют, а многие думают, что оказывают мне честь и радость просьбой поиграть или попеть. Если что – сразу обида: что ж это он – пришёл и ничего не сыграл? Он что, только за деньги это делает (кстати сказать, и в такой позиции не было бы ничего антиэтического)? Иногда я сразу, «на берегу» предупреждаю, что играть не буду. У меня действительно много работы. Я устаю, болят руки. Однажды меня заверили, что приглашают без задних мыслей, просто пообщаться. Я пришёл, и поначалу всё было очень достойно, а потом начались вопросы, когда я, наконец, начну играть. Я еле унёс ноги, а присутствующие, которым по всей видимости моя игра была обещана теми, кто меня приглашал, до сих пор держат на меня зло...

Музыканты старшего поколения, выступавшие на фронте, с особой теплотой вспоминают маршала К. Рокоссовского, который, приглашая участников фронтовых бригад на приём, всегда подчёркивал: приходите без инструмента... Но труднее всего привыкнуть к тому, что в отличие от моей прошлой жизни, в эмиграции организацией концертов для русскоязычных занимаются не профессионалы, а люди, никакого отношения к искусству не имеющие. Звонит, например, женщина из Гейдельберга – профессор математики, и когда узнаёт, каков мой гонорар, восклицает: «Да кто же получает столько в час?» На вопрос, где я могу переодеться, в городе Халле мне ответили: «Откуда мы знали, что Вам надо переодеться? Вы же не сказали», а в городе Эрфурте – проще и короче: «Переодевайтесь в туалете». Или, скажем, функционерка одной из самых многочисленных еврейских общин выговаривает певцу, с которым я подготовил программу русских романсов: «Вы же еврей, и эмигрировали по еврейской линии, почему же вы не поёте еврейские песни?» А ведь это такая же глупость и бестактность, как если бы она спросила, почему он не разведётся со своей русской женой и не женится на еврейке. Эта же энтузиастка спросила в перерыве между отделениями моего сольного концерта: «Тут одна хочет послушать вальс Грибоедова. Ты не сыграешь?» Только ещё 10 марок забыла предложить – было бы совсем по-купечески... Впрочем, всё это выводило меня из себя раньше, в начале эмиграции, потом пообвыкся, а сейчас почти и не выступаю. Поджимает время. Хочется сочинить всё, что мне отпущено...

(окончание следует)



Лена Берсон
**"МЫ, КОНЕЧНО, ПОЕДЕМ ТУДА,
ГДЕ БЫВАЛИ НЕ РАЗ"**

Из новых стихов

Когда, моя любовь, тебе осточертеет
Профуканный январь, засыпанный золой,
Пустой остаток дня и ночь, ещё пустее,
Чем тёмное окно на даче нежилой,
Снег выпадет на снег и над землею стылой
Все станет на места и посветлеет вдруг,
А память как брусок хозяйственного мыла
Почти сойдёт на нет и выскользнет из рук,
Когда мои слова окажутся невнятные,
Как чей-то силуэт, нырнувший в темноту,
Как лай собак вдали и выцветшие пятна,
Пролившейся на стол рябины на спирту,
Останется печаль, пригретая тобою,
И прямо над тобой бескровный небосвод.
Подумай обо мне, как думают о боли,
Которая прошла, которая вот-вот...

Ничего, кроме сумерек в детской больнице,
прокварцованной проруби, выцветшей рамы,
Закипающей боли, попытки не злиться.
Никого, кроме мамы.
Только мама среди снегового развала.
Мама, это же я в отделенье сердечном!
Отдаленья такого ещё не бывало
И не будет, конечно.
Забери меня, даже пропахшую хлоркой,
Мы пройдем мимо вахты, прижавшись друг к другу,
И поедем в трамвае с морозною коркой
По крещенскому кругу.

Я выросла в пасмурной Тмутаракани.
В газетной бумаге, под красной коростой,
Под тяжестью книг.
Мы сотканы из неуступчивой ткани,
Мы, как бы сказать, неликвид девяностых,

Досадный затык.
Мы так дорожили волненьем вокзала,
Мы так вырывались из общего ряда,
Из моря голов.
Мы из неизвестного материала,
Из неподлежащих огню и распаду
Бессмысленных слов.
Но как там ни круто замешано тесто,
Все более жалким становится почерк
И явственным сдвиг.
Мы на девяносто процентов из текста,
Припевов, куплетов, обрывков и строчек.
И десять – любви.
Зарыли бесправное наше наследство
На юге Сибири, в предсердии выюги,
Под камень-под крест.
Где пыльное лето короче, чем детство.
Но все, что мы помним еще друг о друге,
Не больше, чем текст.
Мы снегом лечили усталое зреньё,
Ища объявленье: «Судьба без обиды,
Аренда в Москве».
Мы на девяносто процентов из хрени,
Боюсь, даже больше, но это увидим
В последней главе.

Вот смотри – это та же зима,
Это те же дворы и дома.
Список с детства заученных мест,
Но с поправкой на скорый отъезд.
Все с оглядкой на скорый отъезд,
Как с поправкой на временный бзик.
Мы прошли кое-как этот квест,
Сохранив пару жизней и книг.
Наши жизни лежат между книг.
Наша память завернута в плед.
Светлой памяти старых сквалыг
В старой скатерти прячется свет.
Незакатный искусственный свет,
Привлекавший друзей и дворняг,
Столько лет, столько долбаных лет.
Осторожно! Все хрупко и так.
Все так хрупко, чего ни коснись.
Вот смотри, над балконом – карниз.
На карнизе – остатки зимы.
Все без нас обошлось. Даже мы.

Мы, конечно, поедem туда, где бывали не раз.
Мы, конечно, поедem туда, но не прямо сейчас.
Улыбнемся соседям, и шапки заткнем в рукава.
И тележка со снедью проедет опять мимо нас.
Ну когда же поедem? Деревья качнулись едва.
Ну теперь-то поедem. В окошко смотри-не смотри,
Но сначала поедут деревья, мосты, фонари.
Истончится шоссе и дорога сотрется вот-вот,
А потом станет тихо снаружи и тихо внутри.
А потом постепенно отчалил отчаянный год.
Мы читали его как умели, строка за строкой,
И прерваться не смели, глаза протирая рукой.
Кто-то справа налево, а кто – вообще между строк,
Все, от корки до корки, до точки, но только на кой?
Если вспомнится даже не фраза, не слово, а слог.
Слишком коротко для обещаья, но, как ни крути,
Это все, что останется с нами. Ну, ладно, почти.
Робкий свет за стеклом, но земля холодней, чем вчера.
И осталось заснуть и проснуться, и встать, и сойти.
Через два полумертвых часа, полтора, полтора.



Борис Кушнер И ВСЁ СТАНОВИТСЯ СТИХОМ

Избранные стихи, июль-декабрь 2015

* * *

Судьба была слепа и зла,
Но, в целом, справедлива. –
Остались пепел, да зола, –
Любить нельзя счастливо...

7 июля 2015 г., Johnstown

* * *

Мелкий дождь. Водяная пудра.
Даже зонт доставать мне лень.
Так дождём начиналось утро,
Так дождём продолжался день.
Если дождь, то хотя бы ливень,
Что-нибудь, но из ряда вон. –
Чтоб я был, как Ной, очастливлен,
Чтобы крыш разносился звон.
Но надежды не прочны, впрочем,
Так обманчив луч на блесне.
И продолжится дождь до ночи,
Чтоб вернуться в кошмарном сне.

8 июля 2015 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-96

Напрасно взяты в оборот
И почва и среда. –
Ведь если кто-то идиот,
То это навсегда.
Не излечить, как ни лечи –
О, люди, *je vous aime!*
Толпою лезут в ильичи –
Разрушить, а затем...

10 июля 2015 г., Pittsburgh

* * *

Неутомимая заря,
И Солнце вроде пузыря,

Надеюсь, что не лопнет,
Посветит хоть ещё денёк... –
А из-за окон птичьей вопли,
И я, как парус, одинок...

13 июля 2015 г., Route 22, East

ВАРИАЦИЯ 11-97

Мир – сплошное неустройство,
Даже ужас в нём не нов. –
Просто жить – уже геройство,
Разве лишь без орденов.
Вдрызг искоженное поле,
Жизнь подобна миражу. –
Утро. Вновь по Б-жьей воле
Поле я перехожу.

14 июля 2015 г., Johnstown

* * *

Вот и ушёл мой век двадцатый,
Теперь совсем иные даты,
Другим весёлая пора
Любви, отчаянья, пера.
Им жизни плод, а нам огрызки... –
.....
Уйти бы тихо по-английски...

15 июля 2015 г., Johnstown

* * *

Полузабытые мотивы... –
Речушка. Зной. Стрекозы. Ивы.
Мерцанье бликов над водой.
Благоухание крапивы.
И я – смертельно молодой.

16 июля 2015 г., Route 22, West

Now Sleeps the Crimson Petal

By Tennyson

Now sleeps the crimson petal, now the white;
Nor waves the cypress in the palace walk;
Nor winks the gold fin in the porphyry font:
The firefly wakens: waken thou with me.

Now droops the milkwhite peacock like a ghost,
And like a ghost she glimmers on to me.

Now lies the Earth all Danaë to the stars,
And all thy heart lies open unto me.

Now slides the silent meteor on, and leaves
A shining furrow, as thy thoughts in me.

Now folds the lily all her sweetness up,
And slips into the bosom of the lake:
So fold thyself, my dearest, thou, and slip
Into my bosom and be lost in me.

ТЕННИСОН

ЛЕПЕСТОК УСНУЛ БАГРОВЫЙ

Лепесток уснул багровый, белый спит,
Не колышется в аллее кипарис.
Спит пурпурного фонтана золотой плавник,
Светлячок сверкнул во мраке: ты не спи, проснись.

Призраком молочно-белый проплывёт павлин,
Птица-тайна в чёрном парке призраком дрожит.

А земля лежит Данаей перед взором звёзд,
Так и мне открыто сердце до конца твоё.

Метеор скользит беззвучно – в небе борозда.
Так твои мечты сияют и в моей душе.

Лилия, благоухая, к озеру прильнёт. –
Так прильни ко мне, любимый, растворишь во мне.

19 июля 2015 г., Pittsburgh

* * *

О, тайный сок античных амфор,
Кипи, бурли, сверкай шумя! –
Я рухну на полях метафор
Сражённым воином, плащмя.
Раз взялся за такое дело,
О светлом «завтра» не дрожи. –
Душа, спеши покинуть тело! –
А что за тело без души?
Лови Эол под парусами,
Ищи в стене глаголов брешь! –
А станет Слово словесами, –
Вот бритва, горло перережь.

21 июля 2015 г., Johnstown

* * *

Мчание пустое,
Сотни жалких дел. –
Так за суетою
Время золотое
И не разглядел.

22 июля 2015 г., Johnstown

* * *

Ты графомана возлюби,
Преодолей тошноту.
Ведь он не как бы, да кабы, –
Возьмёт любую ноту.
Живописует милый сор
И набуханье почек. –
Да, этот творческий костёр
Неугасимей прочих.
Здесь смолкнут правдолюб и лжец,
Еврей, француз и ненец. –
Он творчества великий жрец,
Невинней, чем младенец.

23 июля 2015 г., Route 22, West

* * *

Жизнь состоит из промежутков –
Прекрасных, непонятных, жутких.
Пусть не ложится на скрижаль, –
Но жизнь была чудесна. Жаль...

23 июля 2015 г., Pittsburgh

* * *

Ужалит памяти оса,
И сразу не до смеха. –
А там дремучие леса... –
Любви дробится эхо...

30 июля 2015 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-98

А за ворот бежит ветерок,
Со столбов хриплым голосом Рок.
«Эй, товарищ, спеши, не зевай,
Поспевай на последний трамвай!
Хохочи, издевайся взапой,

Над истории клячей слепой!
Рок, конечно, со всеми «на ты», –
Оттого, что свершились мечты.
Над Гулагом весны благодать... –
.....
Ах, не надо б мечте побеждать...

31 июля 2015 г., Johnstown

* * *

И приснился же пара гнедых, –
Да, во-первых, не во-вторых!
Ну, а что же снится вторым? –
Полуостров по имени Крым.
Той Алулки убогий рай,
Помидоры, да каравай –
Был такой простецкий обед
При курортном забвеньи бед.
Эй, гнедые, вперёд, алле!
Видишь, замок повис на скале? –
Так и ты корнями вцепись,
Да не в почву! В сонетную высь.
Чтобы пламень, пылал, не гас,
Чтоб крыла расправил Пегас. –
Будь как море из берегов –
Песнь друзьям, гроза для врагов!

3 августа 2015 г., Route 22, East

* * *

Эй, невидимый фонарщик,
Звёзды не туши!
Не сыпай их в чёрный ящик –
Цвет моей души.
А в ответ я слышу слово:
«Не печалься зря.
День сверкнёт, зажгу их снова,
Радуйся – заря»!

4 августа 2015 г., Johnstown

* * *

Мне голос тот не отзовётся,
Увяли гордые слова... –
Жива ли ты? И как живётся,
Если жива...

6 августа 2015 г., Route 22, West

* * *

Виват тебе, психиатрия!
Пусть мне не спеть Аве Мария,
Пусть разбежались корешки, –
Я счастлив тайнами души.
Здесь страсть призванья, не зарплата,
Я отрастил на коже шерсть, –
Все говорят: «Ума палата». –
Ну, да... Палата номер шесть.

7 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

В полосе отчуждения
Цвёл ромашковый рай.
Лепестков наваждение,
До упаду гадай!
Встретил противоречие? –
Не печалься, не плачь, –
Так с эпохи Двуречия
Рядом кнут и калач.

7 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Подули ветры перемен,
Надежда – дочь шаблона.
История ложится в крен,
Как и во время оно.
Народ, безумием умён,
Идёт на штурм Бастилий,
Под вопли лозунгов, имён,
Швырянья роз и лилий.
Но видишь? Лик в огне знамён
Оскален крокодилий.

8 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

День был тусклым от жары,
И зудели комары. –
Серым роем, мелким зудом
Над лужайки изумрудом,
Над моею головой –
Прочь домой, пока живой!
Через три ступеньки прыгай –
Не сидеть у речки с книгой...

9 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Голова кружит волчком,
Вечер – булка сдобная,
Сочиняется молчком
Нечто бесподобное.
Сине море, белый свет,
Ужин, стол посудится. –
Хорошо бумаги нет,
Всё к утру забудется.

15 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

В бомонде пересуды, склоки,
На бале взоры в поволоке.
Она – в карете, он – верхом... –
.....
И всё становится стихом...

16 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Мортира иль гаубица –
Не всё ли равно? –
Пусть она снарядом подавится
И порохом заодно.
Звалось орудье «Колоссаль»,
В нём Круппа стерженела сталь
И гений инженеров –
Бедой месье и сэров.
Огонь! Был отблеск в тучах рыж,
Сжимался и дрожал Париж.
Так громом обернулись латы
Войны проклятой.
.....
Не медь-гранит – бурьян-польнь
Хранят солдатский сон. Аминь.

17 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Не палата больничная –
Неизбежности страх –
Снится нива пшеничная,
Небеса в васильках.
Не сестрица с иголкой,
Но до дрожи души

Сквозь бессонницы долгие
Миражей миражи.

18 августа 2015 г., Shadyside hospital, Pittsburgh

* * *

Воды и гранита гремела грызня,
Море шипело, бездной дразня,
Пенные знаки читай, разумей, –
Это тебе улыбается Змей.
Шёпот его сладкозвучен и разн, –
Это воскрес твой начальный соблазн. –
Взор к горизонту лети из пращи!
Там, в океане Еву ищи.

18 августа 2015 г., Shadyside hospital, Pittsburgh

* * *

Блестящий конкурс. Музыкант.
Был ослепителен талант.
Жюри судило, да рядило,
Ничем его не наградило.
Мерцали грустно фонари... –
Г-дь! Вознагради жюри.

20 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Осточертела левизна
Профессорских теорий. –
Здесь знаний полная казна –
Во многом знанье – горе.

21 августа 2015 г., Pittsburgh

MRI

В мозгах магнитный резонанс –
Как эта музыка предметна!
Не Лондон, Вена, Персимфанс,
Скорее разыгралась Этна.
Мой жалкий ум – беда, скандал –
Магнитный луч нарисовал.
Внушает горькую тоску
Сей ураган в моём мозгу.

22 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Над головой не меч Дамокла, –
Воспетая в веках коса,
Но песня всё-таки не смолкла,
И видят горизонт глаза.
Не отзовусь на зов Харона,
Не хрипи, Стикса постовой!
Не каркай, вещая ворона,
Плачь, чёрный ворон – я не твой.

23 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Не спится. Солнце спозаранку
Воссю мурлычет «*C'est si bon*»,
Но слышу я «Арлезианку»,
Вздыхает горько саксофон.
Его терзания невольны,
Так на ветру шумит листва,
Его качают нежно волны
Гармонии от божества.
День опускает очи долу –
«Не угасай, Светило, нет!» –
Бизе швыряет «Фарандолу»,
Взрыв пулемётных кастаньет.

24 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Виват, виват, однофамильцы,
Моей фамилии кормильцы,
Однофамильцев племена,
Восславьте наши имена! –
Вы все таланты до озноба,
Для вас сама Судьба – зазноба,
Любой прекрасен, спору нет,
Но я открою вам секрет –
Один из нас велик особо.

27 августа 2015 г., Pittsburgh

* * *

Я вспоминаю про жирафа
Тот бородатый анекдот. –
Так время старых фотографий
Не сразу до меня дойдёт.
Смотрю на выцветшие лица,

Они как призраки из сна. –
Увядающей памяти старица –
Да кто же он, и кто она?!

2 сентября 2015 г., Johnstown

* * *

Очевидная нелепость –
Памяти худая крепость,
Покосившийся забор –
По нему бесцельный взор
Бродит, не найдя опоры. –
Смогли музыка и споры,
И, как полная Луна,
Воцарилась тишина.
Лишь, как в джунглях дикобразы,
Колют рваные рассказы,
Эхо мёртвых голосов... –
Прочь!.. Заклинило засов.

2 сентября 2015 г., Johnstown

* * *

Прилёт вздремнуть – упал с дивана. –
Приснилась Есипова Анна.
«Тебе Дзержинский дал бы срок
За то, как ты сыграл «Сурок»!
Здесь не трактир, сурок не краля.
Прочь с глаз, проклятие рояля»!
Зачем ей злиться позарез,
Взывать к Плеядам, к Овену? –
Всего-то крошечный дизель
Добавил я Бетховену...

6 сентября 2015 г., Pittsburgh

* * *

Время ингересное,
Острое, не пресное.
Леты вдруг крутой изгиб –
Только ахнул и – погиб.
Ты вздыхаешь, старина? –
«Мне б пустые времена» ...

8 сентября 2015 г., Route 22, East

* * *

Матросы бусами по реям, –
Внезапный вздох – и верный гроб.
Вот так опасно быть евреем
В осаде завистей и злób.
Не нам все стороны медали,
Судьба слепа и жребий лют. –
За то, что мы им Б-га дали,
Нас не простит весь прочий люд.

11 сентября 2015 г., Route 22, West

5775 – 5776

Шана Тova. Дожили. Снова –
Шана Тova – Какое слово!
Младенец-год и на порог! –
Спасибо, милосердный Б-г.

13 сентября 2015 г., Элул 29, 5775, Pittsburgh

* * *

В лесу невзрачная поляна,
Деревьев призрачные сны.
И вышний гул аэроплана
Частицей этой тишины.
Неслышно окружает осень, –
Бедою сердце не трави. –
Осины под охраной сосен
Ещё трепещут от любви.

16 сентября 2015 г., Johnstown

* * *

Вот так я и прожил,
Смеясь и греша, –
Влюбляться до дрожи
Устала душа. –
Змеёй равнодушие –
Эй, миг, распали! –
Да сердца оружие
Ржавеет в пыли...

18 сентября 2015 г., Route 22, West

* * *

Старость? Ещё побачим! –
Мы – звёзды на ярмарке разума. –

А, значит, к чертям собачьим
Реальности безобразия.
Счастья включу эмоции,
Злости казну разорю. –
Мчать по шоссе без лощи
Прямо в зарю.

21 сентября 2015 г., Route 22, East

ЙОМ КИППУР

Осень у Творца на мольберте.
Чёрно-красные краски смерти.
Во весь взор ни души.
Неужели и я здесь лишний? –
Г-ди, в Книгу Жизни,
Пожалей, запиши...

22 сентября 2015 г., 9 Тушпей 5776, Johnstown

* * *

От криков вороньих
Погусторонних
Холод по позвоночнику. –
Что у птиц на уме,
Что кричат они мне –
Человеку-заочнику?

25 сентября 2015 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 12-5

То початки, то Никита,
Бесконечный Михалков,
Над рекой кустом ракига,
Караваны облаков.
У разбитого корыта
Я с наивною строкой.
Этот край полузабытый,
Где найги другой такой?
Это юности поляны
И опасные леса, –
Закадычные Коляны
И девичьих глаз роса.
Мелкий дождь, удушье ветра,
Не проснулся королём...
Сочиняю это ретро –
Не уснуть бы за рулём.

28 сентября 2015 г., Route 22, East

* * *

Стояла липа во дворе,
К окну тянулись ветки. –
Она в морозы, в январе
Была седа, как предки.
Столетьем измеряя стаж,
Обозначая веху,
Она на мой шестой этаж
Легко смотрела сверху.
И видя сквозь неё рассвет,
Под сердца вздохи-всхлипы
Я вспоминал весенний цвет
И свой, и старой липы...

30 сентября 2015 г., Johnstown

* * *

Травы, полынь, лебеда,
Миги стали годами.
Мерно гудят провода,
Кладбище под проводами.
Ветхость замшелых камней,
Чьи то глаза там погасли?
Время всех мудрых умней,
Книги истории – ясли.
Лес в октябре молчалив,
Вечности сжаты в недели.
Лета последний отлив,
Первые зимние мели.

1 октября 2015 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 12-7

Я весь излом, конфликт, причуда,
Я – одурь, мака маковой. –
И если снится мне Иуда,
То непременно Маккавей.
Я – бунг в манжетах Гумилёва,
В жабо сиднейский кенгуру,
И если вдруг не хватит слова,
Я задохнусь, взорвусь, умру.

1 октября 2015 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 12-8

Философии не надо,
Мудрости замученной.

Мне бы грома канонада,
Мне бы молний с тучами!
Мне б любовные мотивы,
Жаркая бессонница. –
Так к чертям императивы,
Разгуляйся, вольница!

2 октября 2015 г., Route 22, West

* * *

Ветра нервные порывы,
Изумрудная роса,
И турбинной песней живы
Золотые небеса.
И неотразимо ново
В контрапункте голосов
Озаряющее слово
Над волнением лесов.

6 октября 2015 г., Johnstown

* * *

Яблоч в листве золотые бока,
Облако в сини беспечно. –
На океан, на огонь, облака
Можно смотреть бесконечно.

15 октября 2015 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 12-10

Ленин в мавзолее,
Есенин – в Астории. –
Урагана злее
Ветер Истории.
Засыпает сажей
Беженцев котомки. –
Что об этом скажут
Пылкие потомки?

21 октября 2015 г., Johnstown

* * *

Где-то охоты
Тающий выстрел,
Лес от заботы
Сник, обезлиствел.
Кажется вовсе
Ещё не январь... –

Как ни готовься,
Не лжёт календарь...

21 октября 2015 г., Johnstown

* * *

И хочется остро в метафор метель,
Избегнув тщеславья опасности,
Достичь невозможно высокую цель –
Классической стройности, ясности

22 октября 2015 г., Route 56, East

* * *

От мелкой суеты зверя,
Я позабыл в себе еврея.
Еврей же знает назубок,
Что всем на свете правит Б-г.
Так о себе не думай много:
Любая суета от Б-га.

23 октября 2015 г., Route 22, West

* * *

Аэропланнне нити
Над поседеньем вершин. –
Песни дороги, звените
Бешеным шелестом шин!
Здесьний фарватер узок,
Жалки шансы в лого,
Звуками музыки музык
Я озарён зато.
Сердцу легко и весело
В отблесках давних дней.
К чёрту катись, депрессия,
Жарче, табун коней!

26 октября 2015 г., Route 22, East

* * *

Пусть я лихой гуманитарий
И даже кой-какой поэт,
Я не пою великих арий,
Поскольку слуха нет как нет.
Мой голос при нехватке слуха,
Как скрежет циркулярных пил. –
Да, мне на ухо села муха,
На муху мамонт наступил.

27 октября 2015 г., Johnstown

* * *

Она говорила загадками –
Поровну сладкими, гадкими.
Скрежет зубовой,
Пенье сирен. –
Демон любовный,
Имя – Кармен.
Шаль полуночная,
Огнivo, трут. –
.....
Знала ведь точно, –
Карты не врут.

30 октября 2015 г., Route 22, West

* * *

Лес вдруг призрачен,
Будто выточен, –
По отдельности дерева. –
Лишь обочины
Оторочены, –
Камни острые,
Мох-трава.
Тучи по-сини, –
Слёзы осени.
Как зимою в ночь
Из сеней.
Невесёлая
Встреча осеней –
Леса осени
И моей.

30 октября 2015 г., Route 22, West

* * *

Несмело пробудился звук,
За ним другого озаренье,
И вот уже натянут лук, –
Лети, стихотворенье!

31 октября 2015 г., Pittsburgh

* * *

Река сияла под солнцем,
И ветер баритонил Отсем,
И лодки качались остро –
Хрупкие острова.
И сам я такой же остров,

Наполненный жизнью остов,
Затеянный столь же просто,
Как дерево и трава.

И радость кругом полыхала,
Совсем, как субботняя хала,
Когда садится семейство
Дружно за праздничный стол. –
Осеннего дня чародейство,
Людей и воды компанейство,
И сладостно мне фарисейство –
Тора, небеса, Эол.

1 ноября 2015 г., Pittsburgh

* * *

Любой нечистой силы хлеще
Ежеминутная беда. –
В квартире исчезают вещи –
Неотвратимо, без следа.

3 ноября 2015 г., Johnstown

* * *

Записывать шальные строки,
Ломать в азарте карандаш... –
Мефисто: «Стих – галдёж сороки. –
За рифму душу мне отдашь?»

5 ноября 2015 г., Johnstown

* * *

Ели живы еле-еле,
Леса чёрная тоска. –
Листопадные метели
Отзвенели, отлетели –
И на ветках – ни листка.
И в такую пору года,
Да при перемене мест,
Даже мелкая невзгода
Вырастает в Эверест.
Смерти верный подмастерье,
Ночь к мольбе, а не к гульбе.
Чёрный ворон чистит перья
Над дорогой на столбе.

6 ноября 2015 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 12-11 (7-е НОЯБРЯ)

Престольный праздник в ноябре,
Знамёна, марши, в серебре
Прожекторов политбюровцы –
Идеологией торговцы. –
Все равны, как на подбор,
С ними дядька-Черномор.
Непреклонное веселье,
Что отчасти питиё,
А сознание от зелья,
Не причём здесь бытиё.
Воронки мои, Маруськи,
Дым заводов – окоём.
А язык всех лучше – русский,
Ленин говорил на нём!
Дети прыгают с мячами,
По брусчатке танков гром.
Озаряйся кумачами
Всё бурлящее кругом!
Шаг чекань в колонне мощно,
Радость в горле, хоть кричи! –
Мы все-дневно и все-ночно
Счастья куём ключи!

7 ноября 2015 г., Pittsburgh

* * *

Прочь, суесловие сорочье,
Верлибра слизистая муть! –
Достаточно четверострочья,
Чтоб обозначить жизни суть.

11 ноября 2015 г., Johnstown

* * *

Торжественный покой надгробий,
Ушедших протяжённый след.
Здесь все равны – босяк и Нобель,
У смерти привилегий нет.
Я ухожу. К чему тревожить
Печаль заброшенных камней? –
Смеялись, злились, пели – что же? –
Так наша жизнь. А что за ней?

12 ноября 2015 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 12-13

Очнитесь, не станьте кровавой золой,
И Рейн, и Луара, и Висла.
Сегодня не где-то – над вашей землёй
Зелёная туча нависла.
Почувствуй у горла приставленный нож
Беспечно-болтливый Потомак. –
Проснись, а не то пропадёшь ни за грош, –
С тобой не рождённый потомок.
Опомнись, коль сможешь, интеллектуал,
Защитник всеобщего права.
Отрава, которую наколдовал, –
Смотри, – оказалась кровава.
Не знаю к чему мой словесный угар, –
Ни славы, ни смеха, ни прока... –
Не зря, умирая, хрипел кочегар:
«Раскинулось море широко»...

14 ноября 2015 г., Pittsburgh

* * *

Вечное зеркало,
Отрешённый лик, –
Так река сверкала
Каждый миг и блик.
Солнце в ней дробилось,
Облака рвались... –
Мне дана, как милость,
Голубая высь.
За рекой, за краем,
Слёзы проглотив,
Жалобно вздыхая,
Пел локомотив.
Что хотел он? Чарки?
Ждал зелёный свет?
Что кричали чайки
Жалобам в ответ?
Г-ди Великий,
За бурление вен,
Золотые блики,
Будь благословен!

15 ноября 2015 г., Pittsburgh

* * *

Мороз, явившийся с утра, –
Прямолинейна, не хитра,
Зима застыла на пороге. –

В такую пору благодать
В постели тёплой сладко спать,
Но мне – азарт и гром дороги. –
По знакам ледяной зари
Неспешно гасли фонари,
И золотились гор отроги.

23 ноября 2015 г., Route 22, East

* * *

Тень переулка раненого,
Мрачного, как Эльсинор.
Но кто-то играл Рахманинова –
Прелюд до-диез-минор.
И был музыкант любителем, –
Несколько тактов – провал.
Но я в пенале-обители
Слушал и ликовал.
Счастье моё еженощное! –
Пусть ни двора, ни кола, –
Это звучание мощное –
Времени колокола.

3 декабря 2015 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 12-15

Облепили птицы
Траурный костёл. –
Пенились зарницы,
Veni, vidi, vici
Прокричал орёл.

Чёрною пургою
Взвилось вороньё. –
Как судьба изгоя,
Горькое нагое
Дерзкое враньё.

Песни наши стары –
Памятников медь.
Рухнули Икары –
К ужасу гитары
Под неё хрипеть.

9 декабря 2015 г., Johnstown

* * *

И снова завершая круг,
Ступенью ближе к храму,

Молюсь за счастье глаз и рук –
Отца и Маму.

10 декабря 2015 г., Pittsburgh

* * *

Зари золотистые взоры
И ветер, сметающий сор,
Давно позади светофоры,
Распахнут долины простор.
А дальше вздымаются горы,
Туманные тайны хребтов,
И мерно мерцают приборы
Под давний призыв «Будь готов!».

14 декабря 2015 г., Route 22, East

* * *

Вот так очнёшься, час неровен –
Забыл, позор! И вспыхнешь вдруг –
Ведь День Рождения! Бетховен! –
Мой проводник, учитель, друг...

17 декабря 2015 г., Pittsburgh

* * *

Литературная возня,
Порой пиры, порой резня,
Мы на Парнасе? Нет, скорей
На ассамблее дикарей.

18 декабря 2015 г., Pittsburgh

* * *

Ни синевы, ни облаков –
Сплошные игры дураков,
Вдобавок, настоящих –
Проклятый зомбоящик!
Сухой щелчок – такой покой! –
И до светил подать рукой.

20 декабря 2015 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 12-17

Кружу, как ветер, по этажам,
Необъяснимых зданий.
Слова швыряю падежам
Моих прогневших Даний...

Что ж, Эльсинор, судьба слепа
В моих пенатах шатких. –
В пустых глазницах черепа
На лестничных площадках.
Сметает щебень ураган –
Следы былых народов,
«Не быть, не быть» ревёт орган
Замёрзших дымоходов.

21 декабря 2015 г., Pittsburgh

* * *

Сумрак себе тождественен,
Но голос: «Г-дь Един»
В небе особо торжественен
Под громы турбин.
Здесь меркнут чины и почести,
Земные соблазны – прах.
И люди в полете отчасти
Ангелы на крылах.

24 декабря 2015 г., A-320, Pittsburgh–San Francisco

* * *

Зеркало залива,
Мост змеёй седой,
Золотая слива
Солнца над водой
Бешено и низко
Тень как минный трал –
Вот и Сан-Франциско,
Город-либерал.

24 декабря 2015 г., A -320, Pittsburgh–San Francisco

* * *

И снова петь Сиренам,
В садах румян ранет,
А мне опять рефреном,
Что нас на свете нет.
Пучины океана,
И Музы, и Парнас,
И Эос так румяна... –
Да нет на свете нас...

28 декабря 2015 г., San Francisco

* * *

Сознания чистые листы,
Мальчишка-безобразник,
И километры пустоты –
Вот так кончался праздник...

29 декабря 2015 г., А-319, San Francisco–Pittsburgh

2015

Год, как песочные часы, –
Последние песчинки. –
В висках жужжание осы –
И тени нет заминки.
И не дано продлить нам миг,
Не выпросить отсрочки... –
Крепись, не позабудь, старик,
Своей последней строчки.

31 декабря 2015 г., Pittsburgh

Составлено для портала «Заметки по еврейской истории»
16 февраля 2016 г., Johnstown.



Владимир Алейников

РОЗА В ДОЖДЕ

Стихотворения

* * *

Шум дождя мне ближе иногда
Слов людских – мы слушать их устали, –
Падай с неба, светлая вода,
Прямо в душу, полную печали!

Грохнись в ноги музыке земной,
Бей тревогу в поисках истока, –
Тем, что жизнь проходит стороной,
Мы и так обмануты жестоко.

Падай с неба, память о былом,
Припадай к траве преображённой,
Чтоб не бить грядущему челом
Посреди страны полусожжённой.

Лейся в чашу, терпкое вино,
Золотое марево утраты, –
Мне и так достаточно давно
Слёз и крови, пролитых когда-то.

Где-то там, за гранью тишины,
Есть земля, согретая до срока
Тем, что ждать мы впредь обречены –
Ясным светом с юга и с востока.

Не томи избытком доброты,
Не пугай внимания нехваткой, –
В том, что явь не пара для мечты,
Важен привкус – горький, а не сладкий.

Потому и ратуй о родном,
Пробивай к неведомому лазы,
Чтоб в листве, шумящей за окном,
Исчезали века метастазы.

Может, весть извне перелилась
Прямо в сердце, сжатое трудами?
Дождь пришёл – и песня родилась,
Чтобы стать легендою с годами.

* * *

Те же на сердце думы легли,
Что когда-то мне тяжестью были, —
Та же дымка над морем вдали,
Сквозь которую лебеди плыли,
Тот же запах знакомый у свай,
Водянистый, смолистый, солёный,
Да медузых рассеянных стай
Шевеленье в пучине зелёной.

Отрешённое нынче смотрю
На привычные марта приметы —
Узкий месяц, ведущий зарю
Вдоль стареющего парапета,
Острый локоть причала, наплыв
Полоумного, шумного вала
На события, чтоб, россыпью скрыв,
Что-то выбрать, как прежде бывало.

Положись-ка теперь на меня —
Молчаливее вряд ли найдёшь ты
Среди тех, кто в течение дня
Тратят зренья последние кошты,
Сыплют в бездну горстями словес,
Топчут слуха пустынные дали,
Чтобы глины вулканный замес
Был во всём, что твердит о печали.

Тронь, пожалуй, такую струну,
Чтоб звучаньем её мне напиться,
Встань вон там, где, встречая весну,
Хочет сердце дождём окропиться,
Вынь когда-нибудь белый платок,
Чтобы всем помахать на прощанье,
Чтоб увидеть седой завиток
Цепенеющего обещанья.

* * *

Слова и чувства стольких лет,
Из недр ночных встающий свет,
Невыразимое, земное,
Чью суть не всем дано постичь,
И если речь — в ней ключ и ключ,
А может, самое родное.

Давно седеет голова –
И если буйною сперва
Была, то нынче – наподобье
Польни и плакун-травы, –
И очи, зеленью листвы
Не выщев, смотрят исподлобья.

Обиды есть, но злобы нет,
Из бед былых протянут след
Неисправимого доверья
Сюда и далее, туда,
Где плещет понизу вода
И так живучи суеверья.

И здесь, и дальше, и везде,
Судьбой обзанный звезде,
Неугасимой, сокровенной,
Свой мир я создал в жизни сей –
Дождаться б с верою своей
Мне пониманья во вселенной.

* * *

Для высокого строя слова не нужны –
Только музыка льётся сквозная,
И достаточно слуху ночной тишины,
Где листва затаилась резная.

На курортной закваске замешанный бред –
Сигаретная вспышка, ухмылка,
Где лица человеческого всё-таки нет,
Да пустая на пляже бутылка.

Да зелёное хрустнет стекло под ногой,
Что-то выпорхнет вдруг запоздало, –
И стоишь у причала какой-то другой,
Постаревший, и дышишь устало.

То ли фильма обрывки в пространство летят,
То ли это гитары аккорды, –
Но не всё ли равно тебе? – видно, хотят
Жить по-своему, складно и твёрдо.

Но не всё ли равно тебе? – может, слывят
Безупречными, властными, злыми,
Неприступными, гордыми, – значит, живут,
Будет время заслуживать имя.

Но куда оно вытекло, время твоё,
И когда оно, имя, явилось –
И судьбы расплескало хмельное питьё,
Хоть с тобой ничего не случилось,

Хоть, похоже, ты цел – и ещё поживёшь,
И ещё постоишь у причала? –
И лицо своё в чёрной воде узнаёшь –
Значит, всё начинаешь сначала?

Значит, снова шагнёшь в этот морок земной,
В этот сумрак, за речью вдогонку? –
И глядит на цветы впереди, под луной,
Опершись на копьё, амазонка.

* * *

Багровый, неистовый жар,
Прощальный костёр отрешенья
От зол небывалых, от чар,
Дарованных нам в утешенье,
Не круг, но расплавленный шар,
Безумное солнцестоянье,
Воскресший из пламени дар,
Не гаснущий свет расставанья.

Так что же мне делать, скажи,
С душою, с избытком горенья,
Покуда смутны рубежи,
И листья – во влажном струенье?
На память ли узел вяжи,
Сошурясь в отважном сиянье,
Бреди ль от межи до межи,
Но дальше – уже покаянье.

Так что же мне, брат, совершить
Во славу, скорей – во спасенье,
Эпох, где нельзя не грешить,
Где выжить – сплошное везенье,
Где дух не дано заглушить
Властям, чей удел – угасанье,
Где нечего прах ворошить,
Светил ощущая касанье?

* * *

От разбоя и бреда вдали,
Не участвуя в общем броженье,

На окраине певчей земли,
Чей покой, как могли, берегли,
Чую крови подспудное жженье.

Уж не с ней ли последнюю связь
Сохранили мы в годы распада,
Жарким гулом её распаяясь,
Как от дыма, рукой заслоняясь
От грядущего мора и глада?

Расплескаться готова она
По пространству, что познано ею –
Всею молвью сквозь все времена –
Чтобы вновь пропитать семена
Закипающей мощью своею.

Удержать бы зазубренный край
Переполненной чаши терпенья! –
Не собачий ли катится лай?
Не вороний ли пенится грай?
Но защитою – ангелов пенье.

* * *

Конечно же, это всерьёз –
Поскольку разлука не в силах
Решить неизбежный вопрос
О жизни, бушующей в жилах,
Поскольку страданью дано
Упрямитесь слишком наивно,
Хоть прихоть известна давно
И горечь его неизбывна.

Конечно же, это для вас –
Дождя назревающий выдох
И вход в эту хмарь без прикрас,
И память о прежних обидах,
И холод из лет под хмельком,
Привычно скребущий по коже,
И всё, что застыло молчком,
Само на себе непохоже.

Конечно же, это разлад
Со смутой, готовящей, щерясь,
Для всех без разбора, подряд,
Подспудную морось и ересь,
Ещё бестолковой, верней –

Паскуднее той, предыдущей,
Гнетущей, как ржавь, без корней,
Уже никуда не ведущей.

Конечно же, это исход
Оттуда, из гиблого края,
Где пущены были в расход
Гуртом обитатели рая, –
Но тем, кто смогли уцелеть,
В невзгодах души не теряя,
Придётся намаяться впредь,
В ненастных огнях не сгорая.

* * *

Ставшее достоверней
Всей этой жизни, что ли,
С музыкою вечерней
Вызванное из боли –
Так, невзначай, случайней
Чередованья света
С тенью, иных печальней, –
Кто нас простит за это?

Пусть отдавал смолою
Прошлого ров бездонный,
Колесованье злое
Шло в толчее вагонной, –
Жгло в слепоте оконной
И в тесноте вокзальной
То, что в тоске исконной
Было звездой опальной.

То-то исход не даром
Там назревал упрямо,
Где к золотым Стожарам
Вместо пустого храма,
Вырванные из мрака,
Шли мы когда-то скопом,
Словно дождавшись знака
Перед земным потопом.

Новым оплотом встанем
На берегу пустынном,
Песню вразброд не грянем,
Повременим с почином, –
Лишь поглядим с прищуром

На изобилье влаги
В дни, где под небом хмурым
Вывели наши флаги.

* * *

Взглянуть успел и молча побрести
Куда-то к воинству густому
Листвы расплётной, – и некому нести
Свою постылую истому,
Сродни усталости, а может, и тоске,
По крайней мере – пребыванью
В краю, где звук уже висит на волоске, –
И нету, кажется, пристойного названья
Ни чувству этому, что тычется в туман
С неумолимостью слепою
Луча, выхватывая щебень да саман
Меж глиной сизую и порослью скупую,
Ни слову этому, что пробует привстать
И заглянуть в нутро глухое
Немого утра, коему под стать
Лишь обещание сухое
Каких-то дремлющих пока что перемен
В трясине тлена и обмана,
В пучине хаоса, – но что, скажи, взамен? –
Труха табачная, что разом из кармана
На камни вытряхнул я? стынущий чаёк?
Щепотка тающая соли?
Разруха рыхлая, свой каверзный паёк
От всех таящая? встающий поневоле
Вопрос растерянный: откуда? – и ответ:
Оттуда, где закончилась малина, –
И лето сгинуло, и рая больше нет,
Хоть серебрится дикая маслина
И хорохорится остывшая вода,
Неведомое праздная везенье, –
Иду насупившись – наверное, туда,
Где есть участие – а может, и спасенье.

* * *

День к хандре незаметно привык,
В доме слишком просторно, –
Дерева, разветвись непокорно,
Не срываясь на крик,
Издают остывающий звук,

Что-то вроде напева,
Наклоняясь то вправо, то влево
Вслед за ветром – и вдруг
Заслоняясь листвой
От неряшливой мороси, рея
Как во сне – и мгновенно старея,
Примирённо качнув головой.

Так и хочется встать
На котурнах простора,
Отодвинуть нависшую штору,
Второпях пролистать
Чью-то книгу – не всё ли равно,
Чью конкретно? – звучанье валторны,
Как всегда, непритворно,
Проникает в окно,
Разойдясь по низам,
Заполняет округу
Наподобье недуга –
И смотреть непривычно глазам

На небрежную мглу,
На прибрежную эту пустыню,
Где и ты поселился отныне,
Где игла на полу
Завалилась, блеснув остриём
И ушко подставляя
Для невидимой нити – такая
Прошивает, скользя, окоём,
С узелками примет
Оставляя лоскут недошитым,
Чтоб от взглядов не скрытым
Был пробел – а за ним и просвет.

* * *

Призрак прошлого к дому бредёт,
Никуда не торопится,
Подойдёт – никого не найдёт,
Но такое накопится
В тайниках незаметных души,
Что куда ему, дошлому,
Торопиться! – и ты не спеши,
Доверяющий прошлому.

Отзвук прошлого в стёклах застрял
За оконною рамою –

Словно кто-нибудь за руки взял
Что-то близкое самое,
Словно где-нибудь вспыхнуло вдруг
Что-то самое дальнее,
Но открыться ему недосуг, –
Вот и смотришь печальнее.

Лишь озябнешь да смотришь вокруг –
Что за место пустынное?
Что за свет, уходящий на юг,
Приходящий с повинною,
Согревающий вроде бы здесь
Что-то слишком знакомое,
Был утрачен – да всё же не весь,
Точно счастье искомое?

Значит, радость вернётся к тебе,
Впечатления чествуя,
С тем, что выпало, брат, по судьбе,
Неизменно соседствуя,
С тем, что выпадет некогда, с тем,
Что когда-нибудь сбудется, –
И не то чтобы, скажем, Эдем,
Но подобное чудится.

* * *

От заботы великой твоей
О таких вот усталых
Сочинителях книг запоздалых
О слетевших с ветвей,
Индевеющих листьях, о тех
Улетающих к югу пернатых,
Что в лесных обигали пенатах
И напелись за всех,

О таком, что потом
Непреренно напомнит о прошлом,
От которого жарко подошвам
На ковре золотом,
Пересыпанном зернью росы,
Зачернённом дождями,
Там, где ржавыми вбиты гвоздями
Дорогие блаженства часы,

От заботы о том,
Что томит меня ночью туманной,

Что аукнется тьмой безымянной,
Перевяжет жгутом
Что-то нужное сердцу – а там
Переменит пластинку,
Что тревожит меня под сурдинку,
Что идёт по пятам,

Как-то зябко становится вдруг,
Чаровница-погодка, –
Воровская ли ветра походка
И луны ведовской полукруг
В запотелом окне
Навевают под утро такое, –
Но стоишь, позабыв о покое,
От людей в стороне.

* * *

Всё дело не в сроке – в сдвиге,
Не в том, чтоб, старея вмиг,
Людские надеть вериги
Среди заповедных книг, –
А в слухе природном, шаге
Юдольном – врасплох, впотьмах,
Чтоб зреньё, вдохнув отваги,
Горенью дарило взмах –
Листвы над землёй? крыла ли
В пространстве, где звук и свет? –
Вовнутрь, в завиток спирали,
В миры, где надзора нет!

Всё дело не в благе – в Боге,
В единстве всего, что есть,
От зимней дневной дороги
До звёзд, что в ночи не счесть, –
И счастье родного берега
Не в том, что привычен он,
А в том, что устав от снега,
Он солнцем весной спасён, –
И если черты стирали
Посланцы обид и бед,
Не мы ли на нём стояли
И веку глядели вслед?

* * *

А чуда ни за что не рассказать –
За дружеской неспешною беседой

На сплав немногословности не сетуй
С тем, что узлом впопыхах не завязать,
Не выразить, как взгляды ни близки
И сколь ни далеки шаги в пространстве –
И всякий раз, и в трезвости, и в пьянстве,
Кусаешь недомолвок локотки.

Коль чуду не стоять бы на своём,
Иную обрели бы мы дорогу,
Ведущую к забвенью понемногу, –
И мы его и видим, и поём,
И чувствуем, и чувствуем везде,
Где есть надежда так, а не иначе
Уйти к нему тропой самоотдачи,
В мирской не задержавшись чехарде.

Когда подобно рвению оно
И вместе с тем похоже на смиренье, –
Намёков и примет столпотворенье
Горенью без раздумий отдано
Для жертвенного света и тепла,
Для внутреннего строгого отбора,
Где истины крупичами не скоро
Сверкнут на солнце пепел и зола.

ЭЛЕГИЯ

Кукушка о своём, а горлица – о друге,
А друга рядом нет –
Лишь звуки дикие, гортанны и упруги,
Из горла хрупкого летят за нами вслед
Над сельским кладбищем, над смутною рекою,
Небес избранники, гонимые грозой
К стрижам и жалобам, изведшим бирюзой,
Где образ твой отныне беспокою.

Нам имя вымолвить однажды не дано –
Подковой выгнуто и найдено подковой,
Оно с дремотой знается рискованной,
Колечком опускается на дно,
Стрекочет, чаемое, дудкой стрекозиной,
Исходит меланхолией бузиной,
Забыто намертво и ведомо вполне, –
И нет луны, чтоб до дому добраться,
И в сердце, что не смеет разорваться,
Темно вдвойне.
Кукушка о своём, а горлица – о миллом, –

Изгибам пгичьих горл с изгибами реки
Ужель не возвеличивать тоски,
Когда воспоминанье не по силам?
И времени мятежный водоём
Под небом неизбежным затихает –
Кукушке надоело о своём,
А горлица ещё не умолкает.

* * *

Мне вспомнилась ночью июльской ты,
Отрадой недолгою бывшая,
В заоблачье грусти, в плену доброты
Иные цветы раздарившая.

Чужая во всех на земле зеркалах,
Твои отраженья обидевших,
Ты вновь оказалась на лёгких крылах
Родною среди ясновидящих.

Не звать бы тогда, в одиночестве, мне,
Где пени мгновения жалащи, –
Да тени двойные прошли по луне,
А звёздам дожди не товарищи.

Как жемчуг болеет, не чуя тепла,
Горячего тела не трогая,
Далече пора, что огненные ушла,
И помнится слишком уж многое.

А небо виденьями полно само,
Подобное звону апрельскому, –
И вся ты во мраке, и пишешь письмо –
Куда-то – к Вермееру Дельфтскому.

РОЗА В ДОЖДЕ

Едва прикоснусь и пойму,
Что миг завершился неожиданно,
Не знаю тогда, почему
Ты вновь далека и желанна.

Едва осознаю вблизи
Томящее чувство исхода,
Скорее ладонь занози –
Не в ней ли гнездо непогоды?

По дальше – не знаю, когда –
Быть может, в цепях расставанья –
Коснётся меня навсегда
Жестокое имя желанья.

Ты роза в дожде проливном,
Рыдающий образ разлуки,
Подобно свече за окном,
Случайно обжѐгшая руки.

Ты ангельский лепет во сне,
Врачующий шѐпот мученья,
Когда зародилось во мне
Мечтанье, сродни отреченью.

И с кем бы тебя обручить,
Виновницу стольких историй? –
Но сердце нельзя излечить
От ропота вне категорий.

Из этих мелодий восстань –
Довольно расплѣскивать чары –
Ещё на корню перестань
Изыскивать щебету кару.

В нём хор, прославляющий днесь
Красу твою позднюю летом,
Чтоб ты в ожерелье чудес
Осталась немеркнувшим светом.

СВЕТЛЯКИ

Нам не вспомнить, зачем в ночах
Появились они из детства,
Отягчая плечей размах,
Точно призрачное наследство.

Потаённой соседства птиц,
Засыпавших в кустах и кронах,
Белизна изумлённых лиц
Отражалась в очах влюблённых.

И на платьях, жасминно-бел,
Цвет неистовой пел в объятых,
Чем представить восторг умел,
Захлебнувшийся в воспрятых.

Смысл событий и суть вещей
Открывались во мгле кромешной,

Где поспешность была плащей
Неизбежной любви прибрежной.

Восставали за валом вал,
Иступлённое мела в черни, –
Там на воле давали бал,
Домогались земли дочерней.

В море гул оставался цел,
На земле исцеленья ждали –
И тогда я взглянуть посмел
На открытую сцену дали.

Там сверкала призывов тьма
И мерцала надежд армада –
И сводили меня с ума
Светляки на подмостках сада.

Их теперь не найти нигде –
Заблудившись в иных канунах,
Топят девы в ночной воде
Ярый воск отражений лунных.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Где ночь встаёт на стогах ноября
И есть ещё дыханье в мире этом,
Горит она, вечерняя заря,
Колелемым дарованная светом.

Нет возраста тебе, святая дрожь,
Затронувшая сердце и ресницы, –
Не часто ты рождаешься – и всё ж
Так просто не уходишь со страницы.

Коснулось наконец-то и тебя
Вторженье жертвенного зова,
Чтоб жил ещё, сгорая и любя,
В стихии горестного слова.

Заря вечерняя! – за что же мне тогда
Во имя верности ты днесь уже открылась,
Чтоб крылья не сложившая звезда
Как птица в небе появилась?

За что, тобою полон и ведом,
Куда лишь Ангелы да праведники вхожи,

Иду нежданно в тумане золотом,
Биенье тайны растревожа?

И чашу полную без робости беру,
Скорбей и радостей вмещающую диво, –
Един Господь – а с Ним я не умру,
Заря вечерняя, ровесница порыва.



Татьяна Вольтская

ВОКРУГ РОЖДЕСТВА

* * *

Ах, как хочется снега – небесного белого семени,
Что течет, прикасаясь едва, по рукам, по лицу,
Ах, шестерка-трамвай, как во сне, добежали и сели мы –
Ты на снег в волосах не смотри, не вези нас к кольцу.

Вот метель задышала, мехи развернула тальянкою,
Спотыкаясь, хмелея и перебирая басы.
Я вернулась домой, и под дверь незажившую ранкою
Пробивается свет, и не надо смотреть на часы,

Потому что я дома. Напишет метель *Anno Domini*
На стене в переулке Татарском, и в мягкую сеть
Остановку запутает, дверь Гастронома. Ничто меня
Не заставит отсюда убраться – ну, разве что смерть.

Потому что меня обнимают живые и мертвые,
Среди хлопьев слетаясь на зыбкое пламя слезы.
Узнавая по запаху, в ноги мне тычутся мордами
И углы, и ступени, и тумбы – как старые псы.

Фонари созревают в снегу, будто яблоки белые.
Посидим-посидим, черный хлеб посолим-посолим,
И не спрашивай, где я ходила, и что я наделала:
Где бы я ни была – позабуду ль Иерусалим!

Ты несешь мне любовь, словно пайку в блокаду – украдкою,
Как махоркой обсыпанный сахар – растает к утру,
Только сладость останется. Кожа моя Петроградская,
Сторона невозможная, снежная. Здесь и умру.

* * *

Мир сотворен словом.
Что же сказал Бог
Волнам своим соловым,
Ловящим каждый вздох

Губ Его, гулким залам
Суши, пустой пока,
Дереву – что сказал Он,
Пасущему облака,

Жаворонкам и совам,
Верблюду и кораблю? –

Мир сотворен словом,
И это слово –
 люблю.

* * *

А что нам терять, кроме пыток
Войной, ожиданьем, тюрьмой?
Струится любовный напиток
Обманной, слезливой зимой,

То капает с веток вспотевших,
То по лобовому стеклу
Стекает – и выпивших тешит,
Стоящих на зябком углу.

Хозяевами банкета
Они еще мнят себя, но
Не чувят – небесное это
Час от часу крепче вино,

По скулам текущее, иго
Желаннее, слаще ярмо –
На теплых, не вяжущих лыка
Над бойней, болотом, чумой.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Старый год обветшал, запаршивел –
В складках – дождь, на веревочке вошь,
Да засохшая кровь – на блошинный
Тощий рынок и то не снесешь.

Силуэт корабля или гроба,
Обращенный к закату кормой,
Молодящаяся Европа,
Подводящая веки сурьмой,

Занесенный над ней полумесяц,
Изогнувший свое острие.
За подарками бегая, месит
Грязь безумное племя мое.

Время вытерлось, высохло, сжалось,
И, как голое тело в дыре –
Новый мир, позабывший про жалость,
Приоткрылся – и скрылся в чадре,

Обагрён, обесчещен и выжжен.
Время вышло, и дверь заперта. –

Жаль, в обломках уже не увижу
Молодые побеги креста.

* * *

Война да война, то на Киев идем, то на турка,
Как поршень, скрипучее время, зловонный дымок.
Закутайся шарфом, в карманы задраенной куртки
Засунь кулаки, выходя за порог.

Кивки, да плевки, да ухмылки, да бранные речи,
Стрельнем – и гогочем, и в небе скользят кумачи,
И хлопья вороньи, и пепел, и призрак во френче.
Не надо на улицу. Сядь. Помолчи.

Гнилая зима отольется тоскою:
И небу мы в тягость, и сами себе не нужны,
И мокрый бессмысленный снег, словно семя мужское,
На землю пролитое зря, а не в лоно жены.

* * *

Улетает год, язычество торжествует:
Это ваше время настало, волхвы и маги,
Терпеливо пасущие в небе звезду живую.
Короли, как положено, голы, деревья наги,

Богачи прижимисты, холодно, воздух кислый,
И орел наливается яростью двухголовой,
И куда ни глянешь, везде торжествуют числа –
Это их пора. Еще не родилось Слово.

Год изъеден ходами обманов, пустых видений,
Похвальбы, а сам раздетый сидит, разутый:
То приход, то ломка, то поиски лишних денег,
То любовь по скайпу – та еще камасутра,

То опять стрельба. Обесценены дни, как ласки
Разрешенные, потерявшие вкус и трепет,
Разливается ночь от Токио до Аляски,
И кусты, как мокрые волосы, ветер треплет.

А душа с надеждою носится, как с порезом,
В жажде чуда к числу целебному приникая,
И плывет звезда чешуйчатая над лесом,
Вместе с сердцем вздрагивая плавниками.

* * *

Все не было, не было нам зимы,
Все маялись мы – и вот,

Мороз. Торжественные дымы,
Упертые в небосвод.

Так суп дымится, так дышит сеть
Веток, так жаждет сад
Причастья снега – как будто смерть
Сделала шаг назад,

В лишенную очертаний тьму
(Мы знаем, мы были внутри).
Зима. Не спрашивай, почему.
Просто благодари.

* * *

Небо круто посолено звездами,
Месяц бел и прозрачен: ладонь.
Все раздать бы скорей, что не роздано,
И лететь, заклиная: не тронь

Ломких трав, пересыпанных инеем,
Как хвоинки, разбросанных снов,
Мхов стеклянных. Лишь солнечной хиною
Можно вылечить этот озноб,

Это странствие долгими верстами
По лесам и болотам души.
На хрустящие снежные простыни,
Укачав, меня положи.

* * *

Снизу вверх – не сосна: звезда –
Холодна, высока, мохната,
И осинок под нею стадо
Разбредается у моста,
И деревня свисает с куста
Алой гроздью. – Сорвать? Не надо.

Узловатые корни шпал
И стальные ветки сегодня
Райским деревом стали на сотни
Ледяных километров. – Устал?
Как горит на валу краснотал!
Здравствуй, новое лето Господне!

* * *

Звезды вышли и встали рядом
Среди сада, плечом к плечу.

Снег. Мороз. Говорить не надо.
Молча светят, и я молчу.

Дома пышет печное чрево,
Скачут красные языки,
Машут вправо и машут влево
Скоморошеские колпаки,

И дитя, разомлев у печки,
Над страницей склонено.
Пар над чаем плетет колечки.
Звезды молча глядят в окно.

Так молчали они на Калке,
Подо Ржевом и на Неве.
У калины, как у гадалки,
Карты красные в рукаве.

Не ходить же к ней, как Саулу,
Не по росту мне царский грех.
Печь погасла, дитя уснуло,
Перед сном помолясь за всех.

* * *

Ковш небесный танцует на ручке,
Точно рыба на мокром хвосте.
А мороз-то все круче и круче.
Мчится в санках опальный поручик,
На плечах у него – по звезде.

В голове рассыпается фраза,
Как метель, шелестящим «прощай»,
Снег скрипит, из ущелий Кавказа
Мгла глядит на него в три глаза,
Вожжи крутятся, как праща

Неудачливого Давида.
На весь мир нестерпима обида,
Бог – на небе, а царь – для виду,
Чтобы только оформить судьбу –
Подорожную, ссылку – и с тем он
Удаляется, а уж следом
На крыло поднимается Демон:
Как певца успокоить в гробу –
Дело техники. Версты да версты.
Кто увидел ego – тот мертвый,
С пулей в сердце, с печатью на лбу.
Дай-ка снежную розу сорву,

Брошу вслед – лепестки сырые,
Лепеча возвышенный вздор,
Осыпаются – как Россия,
Начиная с Кавказских гор.

* * *

Нам в Рождество дарован свыше снег,
И черное, как видишь, стало белым.
И ходит благодарный человек,
Большой свече уподобляясь телом.

Шаги скрипят, и в валенках тепло,
И праздничной резьбой какой-то мастер
Одел и сад, и крышу, и стекло.
И Ель идет навстречу – Богоматерь.

И тает воск лица, и рук, и ног,
Бегут колеса звезд, мелькают спицы,
И кажется, вот-вот родится Бог
Во тьме души. И мир от слез двоится.

* * *

Ночь. Березы висят, как дымы
В твердом воздухе, срубленном крепко
Средь наждачной мерцающей тьмы
И в грудной настороженной клетке.

Тучи, поднятые, как мосты,
Сосны, вбитые в землю, как сваи.
В доме духи огня и воды,
Словно сердце и мозг, оживают.

Стены дышат, стреляют не в такт,
Появляются белые знаки
На окне. Я прижмусь к тебе так,
Как замерзшая буква к бумаге.

МОЛИТВА

Боже, дающий всем
В очередь дождь и ведро,
Даже бродяг под сень
Дома вводящий, гордых

Низвергающий с гор,
Благоволяющий к спору
Мудрых, сырой простор
Птице, лозе – опору,

Дарующий, суму
Нищему, штык – солдату,
Племени Своему
Ты подаешь – стигматы

Огненные, любви
Ссадины. В жилках синих
Щелкают соловьи.
Господи, сохрани их –

Уст Твоих дикий мед,
Пламя кистей рябинных,
Избранный Твой народ
Любящих и любимых.

* * *

Вот и к нам пришли холода.
Окна матовы. У канавы
В пух и прах из легчайшего льда
Разодеты сухие травы.

Лес не дышит, не видит снов.
Я – смотри – не боюсь мороза:
Вся я в золоте твоих слов –
Ярче угра, богаче Креза.



Тамара Ветрова

КУЗЬМОВНА

И МЫШЬ СО СТЕКЛЯННЫМ ГЛАЗОМ

Кузьмовна сидела на детской табуретке, а на взрослой – та служила столом – грудой лежали альбомы для рисования. Помещение освещалось настолько слабо, будто дело происходило в подземном царстве, во владениях Черной Курицы. Тяжелая мгла струилась из-под пыльного занавеса, но Кузьмовна, человек бесстрашный и почти лишенный предрассудков, знай себе занималась делом, несмотря на пригваившуюся за спиной тьму. Она методично просматривала один альбом за другим, то и дело задумываясь и улыбаясь. А то и напевала: отец, дай руку мне... – хотя и песни такой не было. А была известная поэма Лермонтова, не положенная, кстати говоря, на музыку. На одном листе было написано желтым карандашом: «Моя жизнь». Дальше несколько рисунков: желтая девочка гуляет среди фиолетовых цветов ростом с подъемный кран. На верхушке одного цветка примостилось солнце, круглое, как монетка. Лучей у солнца не было, словно оно втянуло их в себя, как кошка коготки. Кузьмовна покачала головой. Не очень-то она одобряла солнце как непрременный атрибут картины мира. Солнце не точка в конце предложения, тем более не восклицательный знак. Конечно, это было бы совсем не плохо, если бы все на свете завершалось таким вот образом. Да ведь это не так. Симметрия – предрассудок (подумала Кузьмовна с улыбкой). А она старалась выжечь из души предрассудки, окопавшиеся внутри. Ее бабка, помнится, наставляла девочку: встретишь медведя – поцелуй его и шагай дальше. У бабки все выходило просто: поцелуй и шагай дальше... У нее же получалось иначе. Прошло более тридцати лет со времени бабкиных наставлений, но медведь не исчез из памяти, не стал казаться безопаснее или нереальнее. Наоборот, словно укрепил свои позиции и приблизился к ней. Кузьмовна нередко ощущала присутствие огромного зверя и чувяла его тяжелый дух. Медведь обычно прятался в тени, укрывался во мраке черного двора с разбитым фонарем, а то и сопел в углу подвала, где Кузьмовна хранила картошку. Зверь и сейчас стоял неподалеку, возможно, стоял по ту сторону тяжелого занавеса... Медведь был предрассудком, но что же поделаешь. Даже будучи предрассудком, опалял Кузьмовну своим тяжелым, как молот, дыханием.

Помещение, которое выделили Кузьмовне для уроков, располагалось на первом этаже Дома культуры «Солдатский» и было не только темным, но и ледяным. Конечно, днем, когда приходили на урок рисования дети, дела обстояли получше: на улице было светло, а внутри они включали обогреватель. Но в пять часов вечера обогреватель необходимо было сдать старой ведьме Ангелине Антроповне. Та забирала прибор и запирала его в складе, до следующего утра. Ну а Кузьмовна, которая не успевала днем разобраться с рисунками и, в особенности, с надписями, которые дети делали под рисунками, оставалась еще поработать. Но теперь уж ей приходилось трудиться почти в темноте и холоде. Потому и сидела в валенках и тулупе, словно на дворе, как в кинофильме «Хождение по мукам», стоял девятнадцатый год.

Кузьмовне не повезло. Ей довелось обучать детей рисованию в гибельное для планеты время. Солнце, конечно, еще не погасло, но освещало такую картину, что не приведи бог увидеть во сне. Ее родной город Солдатск выглядел непогребенным

покойником. Он опустел, потемнел и медленно и необратимо вращался в мерзлую землю. Брошенная восемь лет назад шахта зияла клубящейся тьмой. Дети рассказывали (повторяя, естественно, родительские байки), что из шахты то и дело вылазят *черные*, от которых ничего хорошего ждать не приходится.

– Что же они делают? – удивлялась Кузьмовна (которая не очень-то верила в подземное зло).

– На рынке цены загибают, – отвечали дети.

– А они что, торговцы?

– Какие торговцы. Просто *черные*. Могут и без глаза оставить, – прибавляли ученики нелогично.

Вот теперь и это, думала Кузьмовна с сожалением. Она внимательно рассматривала каждый рисунок и читала детские каракули. Они казались Кузьмовне лучшим почерком, какой только можно представить. Каракули, если уж на то пошло, были своего рода искусством, как каллиграфия у китайцев. Только те достигали результата путем творческих усилий, а эти полагались на природу. Природа стояла и дышала им в затылки, вот и выходили каракули на славу. Большое яблоко стучит ногами, люди, как муравьи, разбегаются, читала Кузьмовна и морщила лоб. Ей нравилось это яблоко с ногами (кстати, так оно и было нарисовано: яблоко чуть не на весь лист, на двух ногах, похожих на крючья). Зловещее, однако, получилось яблоко, но это и естественно: чудо хорошенькое да принаряженное бывает только на открытке. Настоящее ЧУДО выглядит довольно жутко. Как человек с горбом – что красивого? Чудо – горб на лице природы... Возьмите-ка избушку на курьих ножках. Ого! Куриные ноги, многократно увеличенные, в пупырышках и неровной желтоватой коже... Много лет назад Кузьмовне один знакомый дал почитать рассказ, где человек видит в окошко своего дома гигантскую куриную ногу. Кузьмовна прочитала и околела от страха. Вот вам и чудо...

Ноги в валенках слегка остыли. Это потому что она сидит и почти не двигается, зачиталась... «Мама сказала, что подарит мне лошадей, – читала Кузьмовна, – но прошло два года, а их нет». На листе бумаги были лошади, четыре прекрасных темно-синих лошади и в стороне (так как Кузьмовна велела заполнить пространство листа) стоял небольшой стог. Этот холм не был похож на стог, но ученик написал для бестолковых: «Стог», правда, вместо «г» написал «к». Все-таки она поняла и засмеялась. Главными тут были лошади, а еще главнее – лошадиные глаза, все различных, самых красивых цветов: синие, розовые, светло-голубые и фиолетовые, как августовская ночь.

А вот рисунки Снежного городка. Хотя рисовать там особенно нечего: елка, накренившаяся, как падающая башня, и Дед Мороз со Снегурочкой – причем оба со зверскими какими-то лицами... «Что же это такое, – переживала Кузьмовна. – Бармалей, а не дед Мороз. Медведь-батюшка...». Все-таки на уроке она разговаривала с ними про Снежный городок. В их беседах он получался ничего себе, уж во всяком случае, получше настоящего... Ну а потом малышня принялась за дело и нарисовали этот самый Снежный городок. А в придачу написали сочинения «Что я видел в Снежном городке». «Видела, как Сережа Починин бил Кристину и уронил»...

Директор их школы, которая ютилась в хозяйственном пристрое Дома культуры, увидел как-то рисунки с детскими каракулями и сделал Кузьмовне выговор: лучше бы поделки к празднику приготовили. Из природного материала. А то вон елка на рисунке, как костыль.

– А она и есть костыль, – возразила Кузьмовна дерзко. – Было бы кому опираться.

Директор бросил на Кузьмовну такой взгляд... Ей захотелось зажмуриться, а лучше – выключить свет. И будет, как в сказке: старик сказал, что ему темно идти войной. Вспомнив сказочный сюжет, Кузьмовна несвоевременно рассмеялась. А директор топнул ногой и раскричался, причем как? Ни слова не разобрать.

– Рот полон каши, – шепнула Кузьмовна.

– Чего-чего?

Кузьмовна вздохнула и сказала:

– Я вам, Геннадий Степанович, сочувствую. Вам надо кислым молоком полечиться.

Причем сказала-то безо всяких намеков, и впрямь сочувствуя своему начальнику, уродливому, как смертный грех. Ни единого светлого пятнышка!

После этой дискуссии отношения с директором школы окончательно разладились. Кузьмовна опасалась, что ей укажут на дверь либо лишат права пользоваться обогревателем и в дневное время.

«Костер разожгу, – решительно подумала смелая женщина. – Принесу из дома противень, на нем и стану жечь». Но и сама понимала, что такие меры – все равно что переход к военным действиям. Забил снаряд я в пушку туго...

Дни катились за днями, земля неторопливо совершала положенные обороты. Некоторое время спустя в полях повеяло весной, и Кузьмовна неожиданно так обрадовалась, так обрадовалась... А спроси, что за радость, – пожалуй, и не нашла бы ответа. Или сказала бы: вот ведь как хорошо, как радостно, что я дожила до весны. Праздник!

Однажды, в очередной раз засидевшись в своей каморке, Кузьмовна задремала. На улице был ледяной весенний вечер, тонкий серп луны горел в небе, как серебряная подкова. Кузьмовна вначале загляделась на луну, а потом сама не заметила, как погрузилась в сон. Она по-прежнему была одета в телогрейку и валенки, а перед ней на табуретке все так же лежала стопка альбомов с детскими рисунками. На верхнем листе была нарисована фиолетовая мышь, которая глядела немного вбок. Эта мышь и приснилась Кузьмовне – фиолетовая с блестящими глазами из стекла. Что за мышь? Во сне Кузьмовне все стало ясно. Мышь облизывалась на кусок пошехонского сыра. Длинные зубы горели в лунном свете, и мышь подумывала, как ухватить кусок. Но вдруг что-то перепугало беднягу, и она бесшумно брызнула прочь... Нырнула в дырку под газовой плитой, да сбилась с дороги. Темные переходы вывели дурную мышь на темно-синее небесное поле, где она вмиг истлела в космическом котле, все истлело, кроме стеклянных глаз... Так мышь стала звездой, благодаря блестящему глазу.

Кузьмовна вздрогнула и чуть не свалилась с табуретки. Открыла глаза и замерла: на ее коленях, свесив длинный хвост, заснул мышонок размером с детскую рукавичку. Вот и не верь после этого в сны... Во что же тогда, спрашивается, верить?



Владимир Матлин

ДВА РАССКАЗА

Голубой цветок любви

Это произошло в первый год моей адвокатской практики. Я только что окончил юрфак и был, естественно, очень молод. По распределению я попал, как писали в старину, в город N***, в областную коллегия адвокатов. Перед самым отъездом из Москвы я женился на своей школьной подруге Юле, девочке из интеллигентной профессорской семьи. Моя юная жена только что окончила институт иностранных языков имени Мориса Тореза и была таким же, как я сам, выращенным в семейной теплице ребёнком.

Но это всё, так сказать, экспозиция, а история начинается с того, что меня вызвали к заведующему юридической консультации, где я работал, и поставили в известность, что завтра я должен ехать в Дальне-Покутино, где районный суд будет слушать уголовное дело некоего молодца, ограбившего местный магазин.

– Но позвольте, – попробовал я возразить, – там же есть постоянный адвокат.

– Да, но подсудимых двое, и один валит на другого. Суд решил, что нужен второй адвокат, чтоб не было потом отмены из-за «конфликта интересов». В общем, иди домой, собирайся в путь.

И я пошёл. По дороге я заглянул в несколько магазинов, пытаюсь купить какой-нибудь провиант, но... Те кто помнят пустые полки провинциальных магазинов в шестидесятых годах прошлого века, вопросов задавать не станут. В общем, всё, что мне удалось достать, это зубной порошок «Улыбка» и земляничное мыло.

Дома мне предстояло объявить Юле о командировке. Вообще говоря, командировки в тот период не были для меня редкостью. Стажёра адвокатская коллегия гоняет по всей области, где только есть «шлюхие» дела, то есть такие, за которые гонорар не светит, и от которых, понятно, маститые адвокаты отбодряются всеми способами. В тот момент я уже формально не был стажером, но правила «игры на новенького» всё ещё распространялись на меня.

Так что большой неожиданностью для Юли моя поездка не могла быть. Проблема для неё была не в том, что я уезжаю, а в том, куда я еду: она болезненно воспринимала мои командировки именно в Дальне-Покутино. Хотя прямо она ничего не говорила, я видел это по тому, как она отводит глаза и поджимает губы. Конечно, о причине я догадывался...

То же произошло и на этот раз. Едва я сказал, что завтра еду в Дальне-Покутино, Юля помрачнела и отвернулась.

– Надолго? – спросила она, глядя куда-то в область своего плеча.

– Ну, завтра к середине дня доберусь до места, ознакомлюсь с делом и постараюсь завтра же повидать подзащитного. Послезавтра с утра слушание. Думаю, за один день управятся. Правда если придётся писать кассационную жалобу...

– Понятно. А где ты будешь ночевать?

– Где всегда: там есть какой-то Дом колхозника или что-то в этом роде. Жуткая дыра. С клопами.

Дальне-Покутино – обыкновенное село, которое при очередной административной перекройке сделали районным центром, не позаботившись о том, что ныне

зовётся солидным словом «инфраструктура». Попросту говоря, ни транспорта, ни гостиницы, ни ресторана, ни поликлиники, ни кинотеатра, ни... так далее. К тому же райцентр располагался в стороне от железной дороги, и попасть туда из N*** можно было только автобусом, который тащился по пыльным раздолбаным просёлкам три с лишним часа. Таким путём я добрался до Дальне-Покутина примерно к полудню и тут же поспешил в районный суд.

Местная Фемида обитала в деревенской избе: зал заседаний в горнице, совещательная комната в закутке за печкой, канцелярия и архив в сенях. Во дворе в бывшем сарае помещалась юридическая консультация, состоящая из одного адвоката. Оттуда я и начал всё знакомство с делом.

Этим единственным адвокатом села Дольне-Покутино была Женя Лурье, наша сверстница, выпускница Харьковского юридического института. Так же как и я, она угодила по распределению в N***-скую областную коллегия адвокатов, и после стажировки её отправили адвокатствовать в это самое Дальне-Покутино. (Мне удалось избежать подобной участи, замечу в скобках, только потому, что я был женат, жена работала в N***, а гуманный советский закон не разрешал разлучать супругов).

Женя встретила меня на пороге сарая-кабинета:

– А-а, опять тебя прислали... – В голосе её мне послышалось разочарование.

– А кого бы ты хотела?

Вопрос был бестактный и даже жестокий: ведь я прекрасно понимал, как она тоскует здесь в одиночестве. И вообще, ей двадцать четыре года, а какие здесь мужчины?.. Да и у нас в коллегии преобладали старые и женатые... В этом смысле и нужно было понимать её ответ:

– Да всё равно, кого бы ни прислали. Значит, ты будешь защищать Сбитнева? Тогда поспеши в канцелярию, а то Нинка сейчас уйдёт на обед, и кто её знает – может сегодня и не вернётся.

Я застал Нинку в последнюю минуту, она уже закрывала свой офис в сенях. Недовольная, что задерживаю её всякими пустяками, ворча и чертыхаясь, она выдала мне под расписку уголовное дело.

– Нина, ты сегодня вернешься?

– Не знаю, – буркнула она, запирая дверь на висячий замок. – Делов невпроворот.

Имелись в виду, разумеется, домашние дела, а не судебные.

Дело выглядело довольно нелепо, во всяком случае, на первый взгляд. Мой подзащитный, городской парень по имени Виталий Сбитнев – уголовник-рецидивист по кличке Чума, имеющий к 27-ми годам три судимости, – решил ограбить магазин в Дальне-Покутино. «Для сбора необходимой информации», говорилось в обвинительном заключении, Сбитнев «создал преступную организацию», то есть подыскал себе помощника из местных жителей. Им оказался 17-летний школьник Вася Хохлаткин. И вот в ночь с 7-го на 8-е мая, повествует далее обвинительное заключение, «банда Сбитнева – Хохлаткина, вооруженная плотничьим молотком и охотничьим ножом», взломала двери магазина и похитила оттуда моток веревки, керосиновую лампу и спички. При этом Сбитнев зверски избил Хохлаткина, последний пришёл домой окровавленный и всё рассказал родителям.

Странная история. Зачем такой опытный вор, как Чума, полезет грабить жалкую сельскую лавочку, да еще свяжется с деревенским мальчишкой? Что-то здесь не досказано...

Прихватив уголовное дело (Нинка так и не появилась), я вышел из сеней во двор. Посреди просторного двора, на пороге своего кабинета-сарая сидела, расставив голые колени, Женя и кормила хлебными крошками рыжую курицу. Увидев меня, она натянула юбку на колени и подвинулась, освобождая место рядом с собой.

– Ну что? Как понравился детективный роман? – Она продолжала бросать крошки.

– Ничего не могу понять. «Вооруженная банда» похищает веревку и керосиновую лампу... Бред какой-то!

– Если бы это, по крайней мере, была лампа Аладдина, – Женя засмеялась и повернулась ко мне. – Ты обратил внимание на дату, когда это произошло? В ночь на 8-е мая. Верно? А чем замечателен этот день? Ага, не знаешь. Это единственный день в году, когда в нашей лавочке продают водку – к празднику Победы. Разрешено райкомом. В течение этого святого дня сельпо продает тысячу двести литров водки, примерно по два литра на каждый двор. Никто не работает – все в очереди. А вечером и на следующий день все пьют. Хватает примерно на сутки, утром десятого мая похмеляются уже одеколоном.

– Почему же тогда он водку не взял?

Женя усмехнулась и легко поднялась на ноги:

– Её там не было, водки этой. Не привезли. Хохлаткин дал неверную информацию.

– Я вот чего не понимаю. Если бы водка там оказалась, что бы он сделал? Ты говоришь, тысяча двести литров. Ведь это две тысячи четыреста бутылок...

– По двадцати бутылок в ящике – сто двадцать ящиков. Немалый груз, это сразу приходит в голову.

– Вот именно. Почему же следствие?..

Женя сделала предостерегающий жест:

– Не здесь. Давай зайдём внутрь.

Мы зашли в сарайчик, на дверях которого красовалась самодельная надпись «Юридическая консультация». Земляной пол, скамейка, сколоченный из досок стол, два табурета. Вместе с нами в помещение проскользнула и рыжая курица.

– Ты что, откармливаешь её на праздник?

– Как можно?! – всплеснула руками Женя. – Это Глаша, моя единственная подруга. – Она понизила голос, хотя кроме Глаши, нас никто слышать не мог. – Так вот, насчет следствия и прочего. Ты должен знать, что Вася Хохлатки – сын второго секретаря райкома, Фрола Хохлаткина. Так что следствие... оно не заинтересовано, чтобы узнать слишком много. Я думаю, у Васи был какой-то напарник с подводой, но я Васин защитник, и не моя задача его разоблачать, понимаешь? А когда Сбитнева спрашивают, что он собирался делать с водкой, тот отмахивается: «Чего-нибудь бы придумал». Так он и расскажет...

Она сидела на табурете, выпрямив спину, темные волнистые волосы сбегали на загорелые плечи. В глазах её светилась насмешка, когда она сказала:

– Я могу пригласить тебя на обед. У меня гороховый суп и картофельные котлеты. Хочешь? Я тут рядом живу.

В ответ я пролепетал что-то нечленораздельное, что, мол, спасибо, у меня есть с собой консервы... и я должен дело изучать... и спать лечь пораньше...

Она заметила моё смущение:

– Ладно, ладно, я понимаю. Женя боишься. Ей ведь тут же донесут, что ты ко мне домой заходил...

Мы оба замолчали.

– Пойду, пожалуй. А то и в клоповнике места не будет.

Женя вздохнула и всё с той же иронической улыбкой сказала:

– Знаешь, когда я уезжала сюда из Харькова, мама очень плакала. Я говорю: «Ты что? Я же не на войну» (У меня папа погиб на фронте в 43-м). А она: «Я знаю, ты там за русского замуж выйдешь». Наивный человек. Я бы с удовольствием, да где его взять?..

Я попрощался и пошёл к выходу. Возле дверей Глаша взглянула на меня одним глазом и презрительно обронила «ко-ко».

Судья Мурзаева известна была резкостью и жёстким характером. Когда я попросил свидания с подзащитным, она стала на меня орать:

– Где ты вчера был? Не мог на день раньше приехать? Что же я теперь – слушание должна откладывать? На десять часов назначено, а сейчас уже половина десятого. Ты мне процесс срываешь!

Но не дать свидание она не могла: это был бы верный повод для кассационной жалобы. В конце концов, накричавшись досыта, она сказала:

– Ладно, даю тебе свидание, но помни: в одиннадцать часов заседание должно начаться, кровь из носу...

Моя встреча с подзащитным состоялась в КПЗ районного отделения милиции, которое разместилось, как и все учреждения, в деревенской избе. От остального помещения комната отделялась прочной железной решеткой. Сбитнев полулежал на полу, посреди клетки. Его светлые волосы были всклокочены и засорены соломой, синие глаза выражали сонливое безразличие. Под майкой видны были широкие плечи и сплошь покрытые татуировкой руки. Крепкий, ладный, красивый, следует признать.

Я представился и сел на единственный табурет. Он не шевельнулся, не изменил позы, только переспросил:

– Владимир Израйлевич, говоришь? Еврей, значит. Ну, ладно, ништяк, среди евреев тоже правильные ребята попадают. У меня был кирюха, Лёва по кличке Вахлах. Классный мужик. Мы такие дела с ним приворачивали... Жалко, его зарезали суки на зоне.

О своём судебном деле он говорил крайне неохотно.

– Меня подставили, понимаешь? Я влип в это дело обманом. Тут начальство сводит счёты между собой, а я вроде пешки оказался. Говорят, прокурор хочет подсадить Хохлаткина-отца. Мне этого Васю, дурачка деревенского навязали, а он обманул. И не он – он сам ничего не знал, а так его научили... Да чего ты, в натуре, будешь голову себе забивать? Меньше знаешь – крепче спишь. Так ведь?

Я пытался возражать:

– Поймите простую вещь: чтобы успешно осуществлять вашу защиту, я должен как можно полнее знать все обстоятельства дела, все эти взаимоотношения в среде районных начальников...

– Брось ты, Израйлевич. Чего ты стараешься? Если из-за башлей, то никто тебе ни хрена не заплатит, у меня родственников нет. Учти, на зоне я работать не буду, так что по исполнительному листу отчислять тебе не с чего. А мне чего они сделают? Ну, посóдят на четыре года, значит, выйду через два. Ведь мне в тюрьме, что у тёщи на блинах. А вот если начну в их дела лезть, добиваться, кто водку свистнул, то тогда они меня достанут, где захотят – до зоны не дотяну... Ты, в натуре, лучше бы здешней адвокатшей занялся. Я видел её – классная тёлка!..

Так же он вёл себя и в судебном заседании. С самого начала он попросил карандаш и бумагу, на это он имел право, и судья разрешила. Ради такого события, как судебное заседание, Сбитнев пригладил волосы и надел рубаху – синюю, под цвет глаз. Он сидел с безразличным видом, односложно отвечал на вопросы, что-то царапал карандашом и поглядывал на Женю Лурье. А она старалась изо всех сил. Линия защиты была простой: подсудимый Вася Хохлаткин – хороший мальчик, школьник, ни в чём плохом ранее не замеченный, был сбиг с толку опытным уголовником-рецидивистом, который втянул Васю в преступное дело почти что против его воли. А потом еще и избил. И получается, что он скорее жертва, чем преступник.

А Сбитнев поглядывал на неё и улыбался своей сонной улыбкой, даже не пытаясь возражать. В том же духе высказывались и свидетели: милиционер, Васина учительница, Васина мама. Васин папа, второй секретарь райкома, тоже был вызван свидетелем, но в суд не явился ввиду неожиданной командировки. Все они дружно показали, что вот приехал уголовник, чтобы украсть их водку, и бедного Васю чуть ли не силой заставил помогать ему в этом гнусном деле. Мама Хохлаткина производила впечатление женщины ограниченной и заботливой. Она явно боялась как-нибудь невзначай нарушить инструкции мужа и потому говорила сбивчиво и путано. И вдруг в её показаниях мелькнула странная фраза насчет того, что водку де намеренно не доставили, но говорили всем, что доставили. Значит, кто-то хотел спровоцировать кражу? Я уцепился за эти слова и стал расспрашивать Хохлаткину, но судья сняла мои вопросы как не относящиеся к делу.

В два часа был объявлен перерыв на обед. В столовке при райсовете в меню значился «суп перловый на м/бульоне» и «рыбные консервы в томате с карт./пуре». И то и другое было несъедобно. В полном расстройстве, злой и голодный, я сидел на крыльчке райсовета, как вдруг появилась Нинка и шёпотом сказала, что Сбитнев хочет меня видеть.

Подивившись в глубине души патриархальной простоте местных отношений, я пошёл в милицию. Начальник сказал, что судья разрешил мне разговор с подзащитным и кивнул в сторону железной клетки. На этот раз Сбитнев сидел посреди клетки на табурете. Его ничуть не смущало то обстоятельство, что табурет был единственным и я, следовательно, должен был стоять перед ним навытяжку.

– Слышь, Израйлевич, я просить тебя хочу. Очень прошу. Передай... ну этой... адвокатке Лурье... Передай ей вот эти листочки. Подойди поближе. Встань боком... Знаю, что не положено, но очень прошу. Век тебе благодарен буду.

С этими словами он сунул мне под полу пиджака сложенные в несколько раз листки бумаги. Я попытался поговорить с ним о процессе, но его эта тема не интересовала:

– Ладно, всё нормально. Ты лучше иди, а то перерыв кончится.

Женя была в своём сарай-офисе вдвоём с Глашей.

– Тебе послание.

Она развернула листки, пробежала их глазами и покраснела. На её губах появилась растерянная улыбка. Прочитав письмо, она молча протянула мне оба листочка.

На одном был портрет, нарисованный карандашом. Я не большой знаток, но смею утверждать, рисунок был замечательный. Прежде всего, портретное сходство. Не вообще женский портрет, а именно Женя, её черты, её широко расставленные, слегка продолговатые глаза, высокие брови, заостренный подбородок... Короче – она. На втором листе было письмо, оно начиналось так:

«Голубой цветок любви! Юная Афродита! Твоя красота подобно солнцу затмевает всех других женщин. Как бы я хотел ласкать твои ланиты, целовать ступни твоих ног...»

Читать дальше я не стал:

– Тут очень уж личное, мне неудобно как-то.

Я вернул листочки Жене. Она явно была взволнована. Глаза сияли, на губах блуждала улыбка. Её обычная ирония исчезла без следа. Мне, честно говоря, всё это казалось очень странным. Как может интеллигентная, образованная девушка, которая читает Бёлля и Хемингуэя, любит Листа и Скрябина, как может она принимать всерьёз эту полуграмотную безвкусицу?

Женя перехватила мой взгляд и вздохнула:

– Я всё знаю, он уголовник и проходимец, я знаю. Но... – Она задумалась, подыскивая слова, потом махнула рукой: – Только женщина может это понять...

После перерыва показания давал завмаг – немолодой, толстый мужчина с неуместно высоким, почти писклявым голосом. Он рассказал, как обнаружил утром 8-го мая сорванный с входной двери замок и пропажу лампы и веревки.

– У меня вопрос к свидетелю, – прервала его адвокат Лурье, и получив разрешение судьи: – Не могли бы вы оценить стоимость похищенного?

Завмаг замялся:

– Ну... веревка, значит, по шестьдесят копеек моток. Так. А лампа керосиновая с восьмидесятикопеечным фитилём... она ... точно не помню, но больше рубля стоит. Рубль-двадцать, пожалуй.

– Таким образом, – подытожила Женя, – ущерб от хищения составил где-то рубль и семьдесят копеек. Так? Прошу занести это в протокол.

– Не забывайте сломанную дверь, – громко сказал прокурор и вскочил с места. – Это не просто мелкая кража, а кража со взломом, то есть при отягчающих обстоятельствах. Нам повезло, что ящиков с бутылками не оказалось в магазине, а то бы...

Неожиданно судья объявила внеочередной перерыв и ушла с народными заседателями за печку на совещание. Возвратились они примерно через полчаса.

– Суд вынес определение. Прошу всех встать, – строго сказала судья Мурзаева. Твёрдым голосом она прочла документ, в котором говорилось, что в процессе рассмотрения данного дела суд установил стоимость похищенного имущества, которая равна одному рублю восьмидесяти копеек. Таким образом, считает суд, на этот случай распространяется примечание к статье шестой УПК РСФСР, которое говорит, что действия, хотя формально и имеющие признаки уголовных преступлений, но незначительные по своим последствиям, уголовному преследованию не подлежат. На основании изложенного суд постановляет: настоящее дело производством прекратить, подсудимого Сбитнева из-под стражи освободить немедленно. Определение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Судебный зал, то есть горница избы, был переполнен публикой, и не было человека, который бы не выразил своё отношение к происшедшему самым непосредственным образом. Одни бурно ликовали, другие (их было не меньше) выкрикивали угрозы в адрес подсудимых и открыто ругали Мурзаеву: ведь куда девалась водка, так и осталось тайной.

Я заметил, что через головы толпившихся людей, судья подавала мне сигналы. Я пробился к ней.

– Вот что, – шепнула она, приблизив ко мне лицо, – скажи своему подзащитному, чтобы уезжал отсюда как можно скорее. Подальше от греха. Утренним автобусом.

Я попытался найти в толпе Сбитнева – его в зале не было. Вышел на улицу, оглянулся по сторонам – не видно нигде. И тут я догадался зайти в сарайчик под вывеской «Юридическая консультация». Сбитнев и Женя стояли в уголке и тихо разговаривали. Он держал её руку, она была багровая от смущения.

Женя заметила меня первая:

– Поздравляю, коллега, с успехом, – сказала она, высвобождая руку. К ней вернулся её обычный тон.

– Да ладно тебе. Это ты всё сделала своим вопросом насчёт стоимости верёвки.

Женя тонко улыбнулась:

– Я почувствовала, что Мурзаева была бы рада к чему-нибудь придраться, чтобы прикрыть это дело. Её положение было ужасным: станешь на сторону прокурора – райком больше судей не назначит, пойдёшь с райкомом – прокурор со света сживёт, ведь с ним работать...

– Ты, Израйлевич, тоже молодец – дипломатично вставил Сбитнев.

– Судья просит передать вам, Виталий, чтобы вы как можно скорей уезжали из Дальне-Покутина. Немедленно, сегодня же. Иначе вам грозят большие неприятности.

– На чём же он сегодня уедет? – вмешалась Женя. – Ближайший автобус завтра утром.

– Не бойся, Израйлевич, – сказал Сбитнев покровительственным тоном. – Я не пропаду. Вон адвокат Лурье приглашает меня на гороховый суп с картофельными котлетами. Как можно отказаться?

На следующее утро я покидал Дальне-Покутино. Голодный, небритый, искушенный клопами, я стоял на автобусной остановке, озираясь по сторонам. Сбитнева нигде не было.

Автобус опоздал минут на двадцать. Сбитнев так и не появился...

Соломон, водитель автобуса

Автобус номер двадцать девять ходил от центра города до химкомбината. Это был обыкновенный маршрутный автобус, но поскольку на химкомбинат ездили почти одни работники комбината, пассажиры автобуса все знали друг друга. Все были сослуживцы. И все нервничали, боялись, что автобус опять сломается, застрянет в пути, такое случалось нередко. Надо сказать, что автобусный парк состоял сплошь из рухляди, списанных отовсюду машин. Поэтому ходили городские автобусы крайне нерегулярно. А опозданий на работу нам не прощали. Время было строгое, военное...

Мне только-только исполнилось пятнадцать, но я наврал в отделе кадров, что шестнадцать, и начальник посмотрел на это сквозь пальцы: люди нужны были до зарезу. Таким образом я был зачислен учеником наладчика, а это значило, что я получаю рабочую карточку, то есть 800 граммов хлеба в день. Благодаря чему моя семья – мама и две младшие сестры – из голодного существования переходили на полуголодное. Так что я очень ценил свою работу и опаздывать не хотел, как и остальные сотрудники химкомбината.

В тот день, о котором я рассказываю, два утренних автобуса не вышли на линию, и потому на трёхчасовый набралось полно народу. К вечерней смене мы вроде бы попевали, – только бы в пути ничего не случилось! Мы тревожно поглядывали на водителя, молчаливого невзрачного человека, заросшего рыжей щетиной. В ав-

тобусном парке он появился недавно, про него никто ничего не знал. Знали только, что зовут его Соломон.

Поначалу всё шло хорошо, автобус в клубах жёлтой пыли и лилового дыма продвигался в сторону комбината; позади остался центр города, железнодорожная станция, мост. И тут чёрт толкнул в бок спавшего до того Бубака. Он проснулся и начал что-то говорить. Вначале это было неразборчивое пьяное бормотание, но потом речь его сделалась более определенной, и стало понятно, что он говорит на обычную для пьяных тему – поносит евреев. К этому все давно привыкли, и вниманья на его болтовню никто не обращал, тем более что сам Бубак был личностью мало уважаемой: всегда полупьяный, оборванный, грязный, скандальный. На работе его без конца переводили с места на место: из табельщиков в диспетчеры, из диспетчеров в охранники, из охранников в кладовщики... толку от него не было нигде. Но ему всё прощалось, поскольку был он инвалидом войны, только недавно вернувшимся с фронта, вернее из госпиталя – раненый, контуженный, больной, рука не двигается, нога не сгибается, голова трясётся... Нёс он обычное:

– Ишь абрамчики... жиды проклятые. Сидят, понимаешь, в тылу, на рынке торгуют, а мы за их кррровь проливаем... Я на Втором Украинском воевал, Днепр, понимаешь, форсировал. А они жируют в тылу...

Как я уже сказал, это обычное, почти что природное явление: пьяные обязательно поносят евреев. Не то, что трезвые никогда этого не делают – делают, ещё как! Но трезвому нужен какой-то повод. Ну, допустим, на рынке запросили слишком высокую цену, и тогда уж... И неважно, что продавец-то вовсе не еврей..

Так вот, дребезжа и содрогаясь всем корпусом, автобус продвигался по шоссе, люди негромко переговаривались, кондукторша Зойка считала деньги в своей сумке, как вдруг пассажиры вскрикнули и повалились друг на друга: автобус резко затормозил, съехал на обочину и остановился. Передняя дверь открылась, и негромкий хрипловатый голос произнёс:

– Пусть он вЙидет. Никуда не поеду, пока он не вЙидет с автобуса.

Мы поняли, что это заговорил водитель Соломон. Кажется, до той поры никто не слышал его голоса, а тут вдруг сфинкс заговорил. Наступила тишина. Потом люди стали спрашивать друг друга:

– Кто «пусть вЙидет»? Кто?

– Да это он на Бубака, – объясняла Зойка поведение своего напарника. – Ну, за то что ругает евреев. А он сам, Соломон-то, он это... – и понизив голос, – он еврей.

Тут опять наступила глухая пауза. Прервала паузу Лизавета Фадеевна, пожилая женщина, работавшая на комбинате в отделе готовой продукции много лет:

– Да брось ты, Соломон, кто на Бубака обращает внимание? Пьянь безмозглая, контуженный на голову. На него обижаться – себя не уважать, ей-Богу. Давай поедем, а то опоздаем, не ровен час.

– Никуда я не поеду, – ответил Соломон ровным голосом. – Пусть он вЙидет с автобуса.

Тут пассажиры дружно стали уговаривать Соломона, что Бубак – просто ничтожество, наплевать на него, нужно ехать. Соломон выслушал их доводы, ничего не отвечая, вытащил ключ из зажигания, встал и вышел из автобуса.

– Пока он не вЙидет, не поеду, – бросил он на ходу. Отойдя в сторонку, он уселся на жёлтую осеннюю траву, показывая таким образом серьёзность своих намерений. Дверь автобуса осталась открытой.

Что делать? До начала смены всего полчаса, а ещё ехать и ехать...

– Когда следующий автобус? – спросил кто-то из пассажиров.

Зойка махнула рукой:

– Да не будет никакого «следующего». Сегодня на линию один Соломон вышел, все остальные в ремонте. А Соломон сам чинит свой автобус, он ведь механик.

– Во, хитрый еврей, – подал голос Бубак.

Кто-то предложил:

– Надо пойти к нему, попросить за всех.

– Вот Зойка с ним работает, знает его, – сказала Елизавета Фадеева. – Пойди, Зоя, поговори с ним. Скажи, мы извиняемся за Бубака и просим ехать. Должен же он понимать, в каком мы положении.

– Вот еще, – огрызнулась Зойка. – Я его не обижала, чего это я пойду извиняться? Вы его обговняли, вот теперь и расхлебывайте.

Тут неожиданно вступил старик Поплугов, инспектор ОТК:

– Я полагаю, нужно вот его послать на переговоры. – Он указал на меня. И отвечая на недоуменные взгляды: – Его Соломон быстрее поймёт, чем нас, потому что они свои...

Эта фраза шибанула меня, как утюгом по голове. «Свои!» До сих пор я наивно надеялся, что мои сотрудники не знают и не догадываются, а вот даже Поплугов, с которым я никак не соприкасаюсь, прекрасно знает...

Предложение Поплугова понравилось, и все дружно стали меня просить поговорить с Соломоном. «Ты ведь тоже опаздываешь на работу».

Ох, как мне не хотелось... Но противиться воле коллектива я не посмел и медленно поплелся к тому месту, где на травке восседал Соломон. Подойдя вплотную, я сел рядом с ним и прочно замолчал, не зная, что сказать. Соломон сбоку посмотрел на меня, усмехнулся и проговорил:

– Ага, тебя выбрали. Они думают, еврей еврею не откажет. Так они ошибаются. Не поеду, пока этот поц сидит в автобусе.

В общем, на другой ответ я не особенно и надеялся. Больше меня задело, что вот и Соломон с первого взгляда определил...

Несколько минут мы молча сидели, опустив ноги в канаву. Молчание прервал Соломон:

– Слушай, а ты сам-то откуда? Ведь евреи в этом городе не живут.

– Мы эвакуированные из Ленинграда. Мама и две сестры – девять лет и семь. А папа на фронте.

– Пишет? Папа-то.

– Последнее время что-то давно не было писем.

– Ну, это еще ничего не значит. Ничего плохого. В наступлении почта хуже работает.

Мы опять помолчали. Соломон вздохнул, потер щетину на подбородке и тихо сказал:

– У меня хуже. У меня семья осталась в Виннице. Жена и сын. Что с ними? В газетах такое пишут... не хочется верить.

Я заметил, что из автобуса за нами пристально наблюдают. Они не могли слышать нашего разговора, они только видели, что мы о чём-то беседуем. И это, наверное, подавало им надежду. Я подумал, что будет честнее вернуться в автобус и сказать, что миссия моя провалилась.

Моё сообщение, естественно, радости не вызвало. В наступившей тишине голос старика Поплугова прозвучал твёрдо:

– В таком разе пусть Бубак вылезает. Его вина, пусть вылезает из автобуса.

– Да я-то что такого сделал? – возмутился Бубак. – Я только сказал, что все говорят. Чего вы на меня вешаете?

– А Соломону обидно, – сказала Зойка. – Он фронтовик, у него левой ступни нет, миной оторвало. Еле-еле разрешили автобус водить. Ему обидно.

– А я-то откуда знаю, что он инвалид? Я ничего такого не сделал. Только сказал...

– Во-во. Сперва подумай, потом варежку разевай. Твоя вина, вылезай из автобуса! – включилась Елизавета Фадеева.

Тут все пассажиры разом навалились на Бубака: твоя вина, вылезай из автобуса! Что ему оставалось делать? Бурча под нос ругательства, он вылез. Постоял несколько секунд, раздумывая, а потом поковылял в сторону комбината.

– Эй, Соломон, он вылез! Поехали, поехали! – закричали несколько человек и замахали руками из окон.

Соломон поднялся с травы, отряхнулся, и направился к автобусу. Я обратил внимание, что он хромает на левую ногу. Он сразу завёл двигатель и плавно взял с места. Работники комбината заметно повеселели: авось не опоздаем, поспеем в последнюю минуту.

Автобус набрал скорость и в клубах дыма двигался по шоссе, как вдруг затормозил и остановился. Что опять? – заволновались пассажиры, и кинулись к окнам.

По обочине, сильно хромая, шёл Бубак.

Передняя дверь автобуса распахнулась.

– Пусть садится, – сказал Соломон. – Я не знал, что он хромой. До комбината ему нипочем не дойти. Пусть садится в автобус.

Вот и всё, вся история – случай с водителем автобуса Соломоном. Вскоре меня перевели в утреннюю смену, и я потерял его из виду. Вспомнил я Соломона значительно позже, когда читая историю Холокоста, узнал, что в Виннице всё еврейское население было поголовно уничтожено. При активном участии местных полицейев.



Леонид Гиршович

МОЙ СЭКС

Еда – сэкс пожилых. (Есть ёфикаторы, а я – эфикатор: спасем «э оборотное», внесем его в красную книгу, пока оно не разделило судьбу галапагосских черепах). Итак, повторяю, еда – сэкс пожилых. Что из этого следует? Да лишь только то, что говорить о еде мне не совсем прилично, но, как известно, седина в бороду, бес в ребро.

Давным-давно один хороший человек, хоть и ёфикатор, заметил: «Самый страшный голод – половой». Сегодня он повторяет за старушкой из анекдота хрущевской поры: «Пережили голод, переживем и изобилие». Блажен, кто верует в реинкарнацию, лично я не переживу, голодать мне больше не придется.

«Любовь возможна только платоническая, остальное – вавилонская блудница», – сказал гомосексуалист Вейнингер перед тем, как застрелиться. Справедливость этих слов я постиг, когда несколько месяцев прожил без воды и пищи. Жив был исключительно тем, что поступало в вену из фляжки, подвешенной к штативу. Сосед по палате приоткрывает крышку над дымящимся рагу из кролика под соусом «бearnес» и участливо спрашивает: «Что, нет аппетита?». А пришедший проведать меня коллега-соотечественник, свидетель моих еще недавних раблезианских подвигів, констатировал: «Да, чувак, ты уже свое отъел».

Зато под моим пером столы ломились, даром что я не мог составить компанию своим героям, разве лишь в качестве платонического гурмана. Бескорыстного соглядатая, сказал бы я, по лестной для себя аналогии вспоминая дам и девиц у Гоголя, другого бескорыстного соглядатая. Впрочем, насчет его бескорыстия – не знаю, разное говорят. Я же умозрительных желаний чужд, желание что-то съесть неотделимо от чувства голода, которого я не испытывал. Сосед, заглядывавший под крышку с больничным рагу, как некогда заглядывали под шляпки дамам, имел полное право учтиво осведомиться: «Kein Appetit?».

Бог милостив, он вернул мне былую способность есть за двоих. Правда в обмен на потребность это описывать – непристойную и шлебейскую, по словам Генри Джеймса, американца, выкрестившегося в викторианскую литературу. «Обед прозаичен – что о нем можно сказать, кроме того, что ты его съел? Одни пошляки как удачу, позволяют себе смаковать вслух каждое съеденное блюдо». То есть достаточно сказать: «Мы тронулись в путь сразу после завтрака». Или: «Обед с товарищем министра. Разговор велся вокруг...». Или: «Моцарт (бросает салфетку): „Довольно, сыт я“».

Казалось бы, «гони подробности», распиши свою «жизнь званскую». Нет, взор целомудренно отведен от того, что на столе. Это сегодня показное благочестие от кулинарии вывернуто наизнанку: во всех подробностях диетоповедание, анорексия напоказ – жрицы мод вышли на арену. А тогда, в эпоху корсетов, увлажнять полость рта описанием кушаний было сродни описанию того небольшого, где требования целомудрия отмечены еще большей строгостью. И там и там искусство недомолвок в цене. Рисую румяную корочку со скрупулезностью бидермайеровских портретистов, в два счета пересушишь начинку. Основательность соблазнительной не бывает – лишь мимолетность. Скупое название блюда скорее вызовет слюноотделение. «Рагу из кролика под соусом „бearnес“» (что кролик больничный – роли не играет).

Метафорой, опрометчивым сравнением рискуешь испортить аппетит, коли не знаешь приоритетов читателя. «Подали форель, розовую, как тело девушки» – а ему, оказывается, подавай девушку, розовую как форель. Про следующую перемену блюд сказано: «На толстом слое головок спаржи подали сочные бараньи котлеты». Похабник. Но десятилетним, прочитав «Милого Друга», я представил себе, как русалку-мутанга, которую и в рот-то не возьмешь, заедают горяченькими, со сковородки, котлетками. Почему через мясорубку пропущена не говядина, а баранина – кот его знает. «Котлета» ведь от слова «кот» – а вы не в курсе? Подозреваю, не в курсе был и Вильям Похлебкин, чьи вдохновенные выписки из советских меню не дают мне спать по ночам:

Похлебка ленивая со сметаной
Котлеты рыбные с кашей гречневой и свежим огурцом
Вареники с вишнями

Почитать его «Кухню века», так до середины тридцатых годов Россия не знала мороженого, кроме как приготовленного на буржуинских кухнях и разносимо-го прислугой. Бедный старик! Твой апломб превосходил твои познания, как минимум, на одно стихотворение Маршак:

*По дороге – стук да стук –
Едет крашеный сундук.
Старичок его везет,
На всю улицу орет...*

Кто-то ударяется в кулинарную амбицию, уходит в нее по колено. А кто-то другой вследствие тех же комплексов бьет все рекорды кулинарного легковерия. То, что Будденброки вкушали в русском переводе, имеет не больше отношения к тому, что ели они в оригинале, чем фамилия переводчицы к фамилии автора*. Надо свято верить в заграничу – как верила в нее Наталья Ман – чтобы, ничтоже сумняшеся, на сладкое подать пудинг с макаронами (а не с миндальным печеньем «Макгопе» или «масароп», скорей всего Томас Манн написал это слово по-французски)**.

В России гастрономическая конвергенция невозможна. В плане еды Россия и Запад – Двудликий Янус. У первопроходцев заграничи местная еда, в отличие от автомобилей, вызывала горькое разочарование: шоколад горький, огурец не хрустит, колбаса кошерная. (Вы ели когда-нибудь кошерную колбасу? Страшное дело). И у всего такой бесстыдно-обнаженный вкус, как будто с языка содрали кожу.

Моему профессору всю его жизнь Пруст прослужил кислородной подушкой, поэтому я принес ему пачку печенья «мадлен», оказавшихся яичными кексами. Профессор уже был слеп и не разговаривал, лишь издавал нечленораздельные звуки. Так что спасительное умение «восхищаться по необходимости» давалось ему легче – сравнительно с другими, конечно. Многих ложный стыд разочарования вынуждает делать хорошую мину при плохой еде, которая – еще одна характерная черта – чем хуже, тем лучше. В смысле дороже. Какой-нибудь деликатес вообще нельзя взять в рот, не говоря о хваленом французском шампанском: кислятина. Вот почему на вопрос, относящийся к иностранному вмешательству во внутренние дела отечественных желудков, каждый раз приходится давать уклончивый ответ. Тебя спрашивают: «А нам это будет вкусно?». И сами же качают головами: ну да, вкусовые добавки, пестициды, куры клюют пенициллин, водка замерзает в морозильнике.

Только в отсутствие Запада возможно кулинарное западничество. Здесь философский камень – взбитые сливки, дом молитвы – кафе типа «Незнайка», обето-

ванная земля – Прибалтика, где на вывесках писалось «Neznaika» и взбитые сливки посыпались шоколадной крошкой. Думаешь, все в прошлом? Но когда по первому каналу радушная московская хозяйка с уютным присюсюкиванием и ласковыми глазами всех твоих украинских родственниц, в том числе и безымянных, запекает мясо «по-французски» – в майонезе, ты понимаешь: нет, не перелетел еще на Святой Руси советский гурман-западник. Бывало, одна из таких родственниц и родственных душ той, что я вижу сегодня в телевизионном ящике, готовя пфлюйменцимес, широким движением состругивала в казанок куски масла и приговаривала: «Какое масло? Где тут масло?».

Социальный нерв советских застолий – специальность Вайля и Гениса, творческообразующая, хотя далеко не единственная (Вайль восхитил меня пассажем об имперскости Малера – покойся же с миром). Я даже не очень помню, что они пишут – помню, что со знанием дела и с любовью к предмету. «Книга о вкусной и здоровой пище» для них примерно то же, что для Льва Рубинштейна песни Дунаевского.

Естественно, что это – переводные картинки и моего детства. И въедливы они как чернильный синяк на среднем пальце сбоку. Что до возраста, то по Фрейдю любви все возрасты покорны, включая самый нежный. А значит, все формы сексуальности, какие только сопровождают человека от колыбели до могилы. Но если архитектурные излишества из консервов «снатка» («Kamchatka»), корреспондирующих с лепниной Елисейевского гастронома, оцениваются по номиналу задним числом – что семилетнему Гекуба! – равно как и лохани с развесной икрой, то неутоленная страсть к соседской жареной колбасе могла бы о многом поведать моему психоаналитику – обзаведись я им. И тогда прощайте неврозы.

У каждого в детстве своя вкусовая табель о рангах. Моя подвергалась ревизии с частотой партийных пленумов – и вот уже арбуз смещен со своего поста «сахарной трубочкой», вслед за которой к власти приходит коллективное руководство в составе винного желе, вишневого желе, клубничного желе, цитрусового желе и «дюшеса». Они, как витраж в лучах заходящего солнца. Церковь в Комбре мне с успехом заменяет гастроном «диетического питания» на углу Загородного и Звенигородской. Пубертат ознаменован новыми перестановками. К власти приходит дуумвират: на первое солянка, на второе – как вы догадались? – котлета по-киевски. Один служивший на Севере военный, будучи в Москве проездом, пригласил пообедать учившуюся там племянницу, которая попросилась прийти с подругой. Когда обе заказали «солянку мясную сборную» и котлеты по-киевски, военный не удержался: «Что ж это вы, девушки, как бляди-то заказываете?».

Вкусы переменяются не только с возрастом, но и с эпохой. Сорок лет назад мясных лавок в Ганновере было как автобусных остановок. Больше нет ни одной. Всё попряталось в гастрономы, только там собака-мясник тебе нарубит котлет. Раньше за ушами у всех стоял хруст от ветчины, розовой, как тела у Рубенса; или от белых баварских сосисок; или от тартара – того, что немцы называют «цвибель-мет»: фарш с луком. Нынче правят бал экология и здоровый образ жизни. У всех к ушам на завязочках подвешена торба с особым «био»-овсом, что вкупе с новейшими медицинскими препаратами фирмы «Байер» поднимет нашу среднюю продолжительность жизни на высоту пичьего полета над Марсом. Я так счастлив, я очень ценю открывающуюся передо мной возможность есть, есть, есть.

Между прочим, «котлета», от французского côte (ребро), кусок мяса на ребрышке, о чем смутное воспоминание хранили «отбивные котлеты», пока и они не сделались просто «отбивными» – в противовес «котлетам». Рыбные же котлеты это

те, в которых попадаются косточки. А еще «котлетой» назывался бакенбард, растущий от «ребрышка» у виска. Куриным котлетам всегда имплантируют косточку, натянув на нее кружевной бумажный чулочек. Вэри сэкси выглядят котлеты «деволяй» и пожарские котлеты, названные так по имени торжокской трактирщицы Дарьи Свиридовны Пожарской – а не князя Пожарского, как некоторые думают.



Рисунок автора

А хоть бы и князя Пожарского! Главное, что это – исконно русское блюдо, в то время как извращенец Кюстин, русофобствующий каждой клеточкой своего порочного существа, объявил создателем пожарских котлет какого-то оголодавшего француза.

Сей гастрономический опус, обличающий неведомо чего, именно по этой причине мне бы хотелось закончить на лирической ноте – песенкой, Бог весть когда, Бог весть где и Бог весть кем сочиненной:

Мальчик, личико-луна

Щечки кругленькие. Щечки розовенькие.

Глазки – узенькие.

Экий бутуз,

Экий бутуз.

Улица заснежена. Со школы дети выбежали.

Девочки шествуют с портфелями.

Арифметика в клеточку да русский в линейку.

Экий бутуз,

Экий бутуз.

Домой ворóтитя – мать котлет нажарит.

А коли пить захочется, так можно вáрюшку пососать.

Ледяная, приятенькая.

Мальчик – личико-луна.

Примечания редакции

[‡] Наталия Ман – псевдоним Наталии Семёновны Вильям-Вильмонт, супруги Николая Николаевича Вильям-Вильмонта, редактора собрания сочинений Томаса Манна в 10 томах, 1959-1961, в первом томе которого и опубликован перевод "Будденброков".

^{**} В последующих изданиях "Будденброков" ошибка переводчицы исправлена: макароны заменены на миндаль.



Анна Наталия Малаховская
ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ТЬМА

Повесть

(продолжение. Начало в № 1/2016)

5 глава:

В СЫРОМ И ГУЛКОМ ЗАМКЕ

– Ну что, хромаешь? – сочувственно спросила Катержина, открывая ему дверь. Это сочувствие отзывалось тем самым ватным, что-то упрятавающим в себя тоном голоса, который появлялся у неё каждый раз, когда из глубин прошлого грозил вынырнуть некий опасный подтекст, о котором в семье было принято не говорить. Обходить его молчанием, на цыпочках. И теперь этот подтекст разнёсся в прихожей запахом тех самых яблок и груш, которых в наше время уже не отыщешь. Запах яблок показался Яну розоватым, румяным, он всплыл слева от Катержины, а справа раздавался золотой запах груш, такой медовый, что ему – тогда, в том ласковом детстве, – захотелось непременно грушу, и он уже протянул руку к одной из них, как вдруг из-за прилавка возникло хитрое лицо с бараньими завитками волос на макушке, и что-то там пробормотало это лицо, нет, скорее физиономия или попросту морда, так хотелось бы сказать, промямлила она что-то про ботиночек, который надо снять. И тут только до Яна дошло, что ботинок надо действительно снять, и немедленно.

Такое с ним уже случалось, нечасто, но всё же: может быть, раз в год, – и поэтому Катержина тут же догадалась, в чём дело. Застрявшие когда-то в ране осколки выходили наружу, когда им заблагорассудится. «Она тебе такая же мама, как я тебе папа», – продолжала нечистая морда, высунувшаяся из-за плеча Катержины, и он снова содрогнулся от предположения, что эта мерзкая, мерзкая тварь могла бы каким-нибудь образом оказаться его папой... заодно он заметил теперь, почему-то, несмотря на боль, что морда эта отнюдь не была мордой старухи, на ней не сияло ни одной морщины, морда была гладкая и противная и говорила она про то, что ботиночек у него модный, а у его настоящей мамы лицо было красивое и руки тоже и что, стало быть, разжала она ручки свои в тот момент, ухитрилась-таки мозгом, которого уже не было на месте, уберечь ребёнка и отпустить... Всё это омерзительное появилось вдруг в этом воздухе, в котором ни яблок ни груш не предвиделось, и уж тем более бывшей соседки.

Но стоять на одной ноге... и он случайно, не заметив, что делает, ступил-таки на правую...

– Как с фронта, – кивнула Катержина, указывая на треугольник письма в его руке. И, догадавшись, что он не понял, что она имеет в виду, добавила:

– С фронта приходили такие письма, во время войны, – без конвертов, треугольниками.

Поверх боли, на самом верху, замаячила мысль о том, что можно было бы опуститься на четвереньки и так добраться до своей комнаты и до постели. Но слева, из угла, на него кто-то настойчиво смотрел. Подал ему сигналы. Вглядевшись, Ян понял, что это был не кто-то, а что-то: палка от швабры. Она сама пошла

к нему в руки. Он дёрнулся к ней навстречу, ухватился. Бумажными губами выдал:

– Обезболивающее.

– Ты разжуй, тогда скорее подействует, – говорила Катержина, протягивая ему стакан с прозрачной жидкостью. Она сияла, слегка поблескивая в том свете, что падал из окна, и не была ничуть задета той краснотой боли, в которую был погружён он сам.

Потом он лежал, и больная нога улеглась нормально, словно бы в ней и не было ничего такого уж нестерпимого. Катержина подложила под неё подушку от дивана, и теперь она была высоко, много выше нормальной здоровой левой ноги.

Теперь пространство разделилось. То, на котором он лежал, не в счёт, оно было неинтересным: подумаешь, какие-то там диванные подушки и шторы на окнах (не открывай, не открывай шторы! – крикнул он Катержине). С левой стороны, где ничего не болело, ветер дул в лицо и по ветру неслись, задевая чёрные листья, детские башмачки, про которые когда-то было произнесено слово, что они якобы модные. Но теперь этим башмачкам было некогда и не под силу гордиться своей красотой, им надо было лететь по ветру (или это был не ветер?) и зафигиить кому-нибудь в лицо, в глаза, только успевай увернуться.

Но больная нога проваливалась в какую-то другую реальность и даже грелась в ней. В этой реальности виделось что-то белое, очень белое, гладкое и с золотым крапом посреди, кажется, это была ванна, и в ней была вода, тёплая, и в этой воде было хорошо, в ней никакой боли не предвиделось. Но, когда он поднял глаза, он увидел над ней грязную стену. Эта возмутительная стена была обклеена чем-то вроде газет, и из неё кое-где высовывались рыжие кирпичи. Такого стена быть не должна, никакая стена не имела права выглядеть таким образом!

Итак, реальностей было три? Первая из них, та, что прикасалась к его спине, реальность дивана, комнаты и всего того, что было принято считать настоящей, принадлежащей к действительному миру, оказалась порожней изнутри, в ней не было ничего, что могло бы показаться каким бы то ни было смыслом. В той, что неслась на него слева, смысл был, и ещё какой, но от него только успевай увернуться. А в той, что мерцала для него справа... её смысл ускользал от него, как рёбрышко мыла в тёплой воде. Это была такая добрая реальность, в которую хотелось погрузиться навсегда и никогда не выходить наружу. В ней было до того хорошо, что смысла и не надо.

Справа, оттуда, где из крана шла тёплая вода, доносилось что-то вроде голоса, под спиной чувствовалась какая-то поддержка, что-то тёплое и доброе, может быть, это были руки, и проносилось над водой ощущение или сообщение о каком-то цветке, почему-то синем, хотя никакого цветка нигде было не разглядеть. Но он каким-то образом присутствовал в этом мире с тёплой водой, в котором вообще ничего не болело. С полки наверху высовывалось ватное деяло, из которого понаглуму торчал клок ваты. Это было некрасиво. А зато цветок, о котором шла речь, хотя его и не было видно, этот цветок был очень красивый.

Осколки, наверное, выходили наружу. Пока обезболивающее действовало, они выходили бесшумно, почти не давая о себе знать, и Яну начинало казаться, что его действительно кто-то моет в той самой ванне, смывая с него слой за слоем. И не только с него самого, а и с того самого письма, которое он получил сегодня и которое было предназначено, может быть, для того, чтобы погубить его окончательно, чтобы вонзиться в него, но уже таким осколком, который не выгатишь ни-

когда. Ему вспомнилась фотолаборатория, в которой он сам недавно проявлял летние снимки: в красном свете фонаря он погружал белые листки засвеченной бумаги в раствор проявителя, и на бумаге начинали возникать сначала расплывчатые, неопределённые контуры, пока не вырисовывалось окончательно то самое, что он снимал. Ему показалось, что он снова в той же лаборатории, в том же красноватом свете, и погружает в ванночку с проявителем Анино письмо – этот треугольничек, «как с фронта». С письмом стало происходить что-то странное: некоторые слова начинали бледнеть и съёживаться. Чем больше он отмывал это письмо в проявителе, тем меньше слов на нём оставалось, пока не вырисовалось только одно его имя, написанное кириллицей, и всего одна фраза, – но теперь она уже не была написана дребезжащим почерком больного человека. Она разрослась и раздалась во все стороны, теперь она уже полностью заняла всё пространство треугольника, жирная и высокая, одна эта фраза:

«В СЫРОМ И ГУЛКОМ ЗАМКЕ ТАК СТРАШНО УМИРАТЬ».

В сыром и гулком замке! Ну да! В реальности коммунальной квартиры, в которой Аня жила как бы на самом деле, кроме плесени за спиной шкафа могли бы вырасти – в теории – и совсем другие мысли. Не о том, что она кому-то что-то там должна, а о том, что, может быть, и ей кто-нибудь что-нибудь должен. Например, не травить её плесенью, а плесень со стен хотя бы отмыть. Но в реальности сырого и гулкого замка никакие другие мысли вырасти не могли.

Про этот замок она словно бы проговорила. Эти слова как бы принадлежали к общей ткани письма, их можно было бы списать за счёт высокой температуры, излишней впечатлительности или обозвать поэтической метафорой. Но отсюда оказалось видно, что они-то и были самыми важными во всём письме. Единственно важными. Они намекали на какую-то другую быль, потому что действительность той комнаты, из которой Аня глядела на свет и видела стену с полуобвалившейся штукатуркой, это была не совсем настоящая реальность. Ей не хватало чего-то: скорее всего, чего-то вроде сока жизни. А сырому и гулкому замку как раз этого вполне хватало, он нахвтался этого сока, по горло наглотался из таких же покорных барашков, которые поверили, что они кому-то там чего-то «должны». Не кому-то, а чему-то – именно ему, этому замку.

Мысль о том, что в этот замок можно было бы и войти. Когда она появилась, он не заметил, но вот теперь она стояла рядом: он ощущал её как живое существо рядом с собой, не то чтобы как человека, а, может быть, как того Лиса, которого приручал Маленький принц. Но теперь его не надо было долго приручать, он был рядом, невидимый, но тёплый и живой.

С другой стороны какой-то голос нашёптывал, что замок этот явно придуманный, плод воображения, и нечего туда соваться. Но мысль о том, что всё-таки войт и можно, ткнулась ему в плечо, и он погасил, как гасят свечи, и тот ветер, что бушевал слева, и ту ванну с тёплой водой – справа.

Теперь осталась только эта розоватая ванночка с проявителем, в котором плавало Анино письмо. Он продолжал оттирать что-то с этого скользкого листка бумаги. Постепенно ему стало казаться, что на бумаге действительно начинают появляться какие-то контуры...

К запаху проявителя, и без того неприятному, стал примешиваться какой-то новый дух: затхлости, той особой застарелой затхлости, которая бывает, когда старьё не выкидывают столько лет, что забылись уже и те люди, что эти вещи, нужные когда-то, на этот чердак положили. Нет, это не чердак, на чердаке всё-таки продувает...

И тут до него стало доходить, что выхода из этого помещения нет. Как он сюда поместился, здесь оказался, уже не вспомнить, но через ту дверь, через которую он входил (если входил), уже не выйдешь. Закрыто. Кромешный мрак. Ему припомнилось это странное слово, которое объясняло, что кроме него самого ничего уже на свете нет, и почудилось, что именно это слово залепило ему глаза и заткнуло рот.

...Нет, он был здесь не один. Не совсем один. За ним, мягко пересыпаясь, двигалось что-то. Это была масса мельчайших шариков, вроде манной крупы, но только чёрного цвета, как и всё здесь. Скорее как груды маковых зёрен, но в то же время они порой поблёскивали, как глазки. Или это ему показалось? Когда он останавливался, и масса останавливалась тоже, когда делал шаг вперёд, масса пускалась за ним вслед.

Дышать можно было только с большим трудом. И всё же удалось расчуть ещё один запах. Как будто бы впереди со скрипом приоткрылась какая-то дверь, и стало видно...



«В замке»

Конечно, видно ничего не могло быть, мрак был кромешным, но запах проникал, сыростью и чем-то ещё, донельзя, до отвращения невозможным.

Этот запах был – красным.

Хотя ничего, кроме чёрного цвета, здесь быть не могло. И всё-таки там, впереди... Ян поёжился. Откуда-то дуло? Эта промозглая, подкожная сырость наполнила со всех сторон... и тут вспомнилась добрая ванна, и как в ней было тепло, и зачем только он её решил погасить ради того, чтобы попасть... сюда?

Нет, там всё-таки что-то было, что-то не только чёрное, оно лежало там, впереди, в следующем пространстве, как на алтаре, как кровавая подкладка, как содран-

ная с кого-то шкура. Так, может быть, лежит зверь, когда из него вынимают внутренности и превращают его, ещё живого, в его же пушистую оболочку, так, может быть, будет лежать и тот Лис из сказки, если из него захотят сшить лисью шубу...

Раздался крик. Ян не сразу сообразил, что вскрикнул он сам: ступил на больную ногу. В такую боль он никогда ещё не проваливался. И тут он понял, кто схватил его за ногу.

– Мама, отпусти! – прошептал он, впервые в жизни обращаясь к своей родной, настоящей матери.

Справа зазвенел телефонный звонок. Сначала Ян не услышал его, а увидел: как длинношюю тёмную иглу, пронзающую желтоватое, цвета охры пространство между кухней и его комнатой, и только во вторую секунду до него дошло, что это было такое: примитивное, уютное, такое привычное, будничное, и всё же... Весь этот кромешный замок, из которого не было и быть не могло никакого выхода, рухнул в одно мгновенье: распался на части, которые Ян не успел разглядеть, они были как клетки шахматной доски, они мелькнули мимо его глаз, обрушиваясь в пропасть или в пустоту, куда-то вниз, – от одного этого... вонзившегося, как стрела. На вид он был, как стрела, этот звонок телефона. И тут Ян, наконец, понял...

Его мама, его родная мама, не та, что казалась ему мамой в детстве, а настоящая. Это не она, конечно, позвонила сейчас Катержине. Из того мира, в котором она находилась, не позвонишь. Но она, может быть, навела руку того, кто прикоснулся в тот миг к телефону. Просто так прикоснулся. Навела эту руку не для того, чтобы сообщить названной матери своего сына что-то важное. А для того, чтобы сообщить что-то важное – и до крайности важное! – самому своему сыну.

Телефон. Как это просто. На свете есть телефон. И это значит, что не надо ждать писем бесконечно долго, придут-не придут, пропустит ли их тот самый то ли дракон то ли удав. И это значит, что можно выяснить, что там происходит, именно сейчас, в эту минуту, нанизанную, как на стрелу, на этот телефонный звон, – да, сейчас, а не месяц назад.

Что эту мысль подала ему – оттуда, откуда ничего вещественного подать невозможно, именно его мать, показалось настолько очевидным, что захотелось хоть как-нибудь её поблагодарить...

Дверь распахнулась и вспыхнул свет: на пороге стояла Катержина.

– Ну что, поехали? – спросила она. – Я уже заказала такси.

– Куда?

– В больницу. Удалять эти осколки. – И она протянула ему лыжные палки – от тех самых лыж, от самых дорогих, гоночных, как настаивал когда-то Гинек.

6 глава:

НОВЫЙ ВОЛОДЯ

– А мне Ян вчера звонил, – молвил Володя.

«Какой Ян?» – чуть не вырвалось у неё, но тут же она сообразила, что Володя, конечно же, ответил бы: у тебя, что знакомых с таким именем как собак нерезанных? К тому же его хитренькая, весёлая физиономия недвусмысленно свидетельствовала о том, что именно тот самый Ян и звонил, единственный. Второй вопрос был: как это – звонил? И третий – а почему – тебе? С какой стати – тебе? На что он ответил бы, и по делу, – ну не тебе же! Какие телефоны в больнице? Поэтому Аня благоразумно задала второй вопрос и получила развёрнутый ответ о поисках теле-

фонного номера при помощи обмена телеграммами, и как ему ловко удалось устроить, чтоб телеграмма из-за границы не попала в руки ни родителям, ни соседям.

– Телеграмма пришла на моё имя, – Владимиру Аларчину лично, – и он выпрямился и гордо расправил плечи.

– Но телефон-то? Ведь его в Новый год... – и ей вспомнился тот омерзительный звук, который последовал вслед за тем, как сосед Валерик в шелковой жилетке вырвал бедный телефон из стены и шмякнул его об пол. И пригланцовывал на его останках и при этом вопил...

– Ну не вспоминай, не вспоминай! У нас теперь новый телефон, уже поставили. Такого приятного цвета, кремового.

– А Валерик?

– Ну, судили его... тётя Шура лжесвидетельствовала, что дрался один его дружок, а сам он стоял, сложив ручки, как ангелочек. Она ведь с его бабушкой дружит, ты знаешь, с Женей. Его на три года осудили. Между прочим, ты ведь мне тогда жизнь спасла.

– И если бы телефон оставался на месте...

– Не валяться бы тебе тогда в этой больнице! Ты ведь тогда и простудилась – окончательно! Так что же мне ему сказать – как ты себя чувствуешь? Выздоровливаешь, или как? Он ведь снова будет звонить – кстати, через два часа!

Деловой тон его голоса сбивал с толку. Обычно Володька мямлил что-то не разбери-пойми, что, и удалялся в свою обитель, за занавесочку, заниматься там своими особо тайными делами и не обращать внимания на протекающие снаружи события. Но теперь... словно бы стрелка качнулась – как в рулетке – и указала вдруг почему-то именно на него. И он вылез из-за спин всех тех, кто заслонял его до сих пор, вылез и приосанился, расправил пёрышки, и стало видно, что он не какой-то там Вовкаморковка, а уже почти взрослый человек, который берёт на себя ответственность обманывать родителей – но теперь уже на полную катушку, всерьёз. Аня почувствовала себя так, как тот, кто привык проваливаться в снег то по колено, а то и по пояс, и вдруг получил в подарок лыжи и встал поверх топкой поверхности, и ощутил, что она его держит. Володька перешёл на её сторону! У неё появился – впервые в жизни – союзник в бесконечной борьбе с превосходящими силами противника.

– Ты на химический пойдёшь? – спросила она его с уважением, невпопад, конечно, но он показался ей теперь уж таким взрослым – почти студентом. Который решил провести очень сложный эксперимент и уверен, что всё получится на славу.

– Куда я пойду? Мне ещё два года думать!

– Смотри, через 2 года тебе будет 18! Смотри, загребут!

– Да не волнуйся ты за меня, уж поступлю куда-нибудь. Очень уж ты за меня беспокоиться стала. Побеспокоилась бы лучше за Яна. Он ведь тоже в больнице лежал.

– Он – в больнице?

– Ну да, у него в ноге осколки с военного времени ещё, операцию делали. Не тебе одной по больницам валяться! Он довольно долго со мной говорил. У него такой голос... странный.

– С акцентом?

– Да, с акцентом. Ну, мне пора, он уже скоро будет звонить, надо сторожить у телефона, чтоб Ксения не перехватила. Так что же мне ему сказать?

– Спроси лучше у врача. Температура каждый вечер подскакивает, как по часам. И сбить никак не могут.

Его старшая сестра сидела теперь среди подушек. Как король на именинах, – подумалось ему почему-то. И ничуть не была похожа на того человека, у которого день за днём вырастает температура. – правда, до вечера ещё далеко, вот как раз пришли раздавать обед и его попросили – освободить палату.

«У него такой голос... странный», – повторила Аня про себя, когда за братом закрылась дверь, и дико ей показалось и невероятно, что у этого существа – у Яна – почти придуманного в ночные часы, почти уже до конца оплаканного, могло бы оказаться что-то до самого последнего ужаса реальное, как голос. К тому же странный – с акцентом. Она уже почти забыла, что тогда, в Праге и у бабушки в деревне, он действительно говорил с акцентом и к тому же путал слова, вставлял чешские посреди русских и превращал всё это вместе порой в такую неразбериху, что оставалось только смеяться... что это был не гладкий такой, из воздуха слепленный, как воздушный шарик или, точнее, как мыльный пузырь, который посверкал-посверкал – да и разлетелся вдребезги. Это был человек с руками и ногами, почти как она сама, только ростом повыше и голос с акцентом, и даже, как она сама, он лежал в больнице. И у него болела нога! Мыльному пузырю можно сказать: разлетись вдребезги! – но живому человеку такого не скажешь. И вместо того, чтобы обидеться на её письмо, этот человек вызвонил её брата и спрашивает о её здоровье. Перевёл всё то, что она ему писала, на другие рельсы? Не заметил – или не захотел замечать? Решил не принимать всерьёз? Отнёс все её доводы за счёт болезни – или испугался за неё в самом деле?

Потом ей пришло в голову, что и она для него должна была превратиться в какое-то туманное существо, нереальное совсем или реальное только наполовину. Она ему зачем-то оказалась нужна, прежде всего его интересует её здоровье, скорее всего она напугала его своим письмом вместо того, чтобы отвести... как собиралась... Или же она хотела чего-то совсем другого? По крайней мере – ну да, услышать этот голос, который услышит сейчас Володька, если Ксения не перехватит трубку, но это несправедливо, этот голос хотелось бы услышать ей самой, ведь этот голос о ней и про неё... ну да, про неё, про её здоровье, которое сейчас уплывало куда-то, вырвалось из рук и убежало, посверкивая где-то там, вдали, красивой шапкой или колокольчиками в поднятой руке.

7 глава:

ТОПОР С РЮШЕЧКАМИ

– Ян, я хочу с тобой поговорить. Можно? – Катержина приоткрыла дверь в его комнату. Он стоял спиной к ней, повернувшись лицом к окну.

– Ромашка завяла, – пробормотал он.

– Ну что ты хочешь? Ведь зима. Весной мы новую посадим.

– Я не хочу новую! Я хочу, чтоб эта расцвела снова!

– Ты хочешь... чтоб эта... снова?

Теперь он повернулся к ней лицом.

– Что-то ты мне совсем не нравишься! – вырвалось у неё.

– Не нравлюсь я тебе? Что во мне тебе так уж не нравится? Что я ромашку захотел?

– Знаешь, Ян, не всё возможно, – она невольно покосилась на тот портрет, что стоял у него на столе, – не всё возможно, но есть кое-что такое, что действительно возможно. И об этом я хотела с тобой поговорить.

– Что возможно? Консерваторию закончить? Оперу писать? – слова выскакивали с отвращением, словно бы и консерватория и опера были какими-то мерзкими животными, от которых он спешит избавиться.

– Я не о том. Я совсем не о том. Я пришла к тебе... покаяться. Рассказать тебе мою страшную тайну.

– У тебя-то? И страшная тайна?

– Ты не смейся. И у меня может быть страшная тайна. И она касается тебя. Вот послушай. Да ты сядь, сядь. Или у тебя опять нога болит?

– Ничего у меня не болит!

– Так слушай. Пока ты лежал там под общим наркозом... ты понимаешь, мы ведь за тебя очень волновались! И я позволила себе... я прочла то письмо... тревожное. (Она подождала, что сейчас будет – после этого признания. Накричит на неё? пойдёт мебель колотить или бить посуду? Но он сидел тихо и головы не поднимал. Поэтому она продолжала):

– Мне кажется, что ты его не так понял, это письмо. И об этом я хотела с тобой поговорить.

– Я не могу об этом говорить. (Как же это может быть, что его милая, добрая Катержина, так не похожая на мачеху из сказки, этак запросто, одним махом смогла сорвать с него всю кожу?)

– Сядь. Поговорить надо. Я понимаю, что после такого письма не только нога заболит.

– Ну что ты всё сводишь на свою любимую, на эту... психосматику! Ты же знаешь, что осколки выходят когда захотят!

– Но такого ещё никогда не бывало. Тебя ни разу ещё не оперировали под общим наркозом. Врач сказал, что у тебя сопротивляемость организма упала до самого минимума, ниже некуда.

– Ну и что дальше?

– А то, что ты всё не так понял. Ты понял всё наоборот.

– Всё я понял так, как там написано, и учить меня не надо, я не маленький! Она хочет, чтоб я к ней не приставал, и я выполню её пожелание, можешь быть уверена!

– И тем самым уже сейчас заложишь фундамент своего будущего несчастья.

– Почему?

– Ты думаешь, такое можно когда-нибудь забыть? А если забудешь, станешь, как твой худший враг.

– Какой это мой худший враг?

– Гинек. Я ведь знала его... невесту. Откачивала её... после...

– После чего?

– После того, как он бросил её накануне свадьбы. Никогда не видела такого красивого лица. Я ведь твою маму при жизни не встречала. Пока не увидела Аню...

– Опять ты о ней! Ведь больно же!

– Сейчас хотя бы больно, и то хлеб. А потом противно станет.

– Это почему же?

– Когда начнёшь забывать её и по бабам таскаться. Не отмоешься!

– Так ты обо мне думаешь? Такой я для тебя, значит?

– Таким станешь, когда предашь свою любовь!

– Это не я предаю, это она!

– А ты так и пойдёшь у неё на поводу?

- Ну ладно, если ты так, тогда скажи честно, что ты думаешь про это письмо?
- Что это письмо тяжело больного человека.
- Нет, ты эти отговорки брось, это – не бред сивой кобылы, то, что она там написала. Ты серьёзно скажи: что это такое?
- Что она тебя очень сильно любит. И никогда не разлюбит – это уж как пить дать.
- Любит?! Это называется – любит?!
- Но она же пишет, какое для неё счастье, хотя бы даже просто твоё имя написать!
- Это знаешь, это всё рюшечки и цветочки на том топоре, которым она отрубает мне голову.
- Можно и так посмотреть. И так увидеть. Но она определённо не так это видит. Она, по-моему, не понимает, что в руках у неё – топор.
- А что же она понимает? Если она хоть чуточку меня любит... пусть хоть моё имя, хоть что-то от меня... то что же это – шизофрения? Раздвоение личности?
- Можно и так посмотреть. Но это ведь, – и вдруг загадочная усмешка скользнула у неё по лицу:
- Не зря ведь про советского человека говорят, что он думает одно, говорит другое, а делает третье.
- И какое мне в этом утешение?
- Можешь положитьсья, что она сделает третье, когда увидит тебя снова.
- Как это – сделает третье?
- Ну смотри, эта её шизофрения на самом деле очень простая: люблю тебя до изнеможения – это то, что она думает. «Больше не пиши, и я писать тебе не буду», – это то, что она говорит. Видишь, какая раскладка?
- Ну и где же гарантия, что она сделает что-то третье?
- Какой ты смешной! В любви никаких гарантий не бывает! Но если она укладывается в эту схему, в тройную, то сделает что-нибудь третье... тут уж выбирай, тут уж неясно, что, но не первое и не второе.
- А что же может быть третье?
- То ли на шею тебе бросится, то ли вены себе перережет.
- Ты это серьёзно? Или шутишь?
- Ян, ты что, думаешь, она тебя так и забудет? После такого письма... – хорошо, она сейчас болеет, всю энергию, нужную для самоубийства, пустила в это русло...
- А разве для самоубийства энергия нужна?
- Ты уже об этом думал?
- Ну уж по крайней мере лучше, чем в Гинека превратиться!
- Если бы ты сейчас туда смог приехать... всё решилось бы само. Уверю тебя. Там нет никаких преград. Все преграды придуманные, дунь – разлетятся.
- А что ты скажешь про этот замок?
- Про какой замок?
- Про сырой и гулкий. В котором умирать страшно.
- Ян, ну что ты про эти глупости!
- Это не глупости!
- Ну, температура у человека, я же говорю, она себе эту болезнь вместо самоубийства...
- Придумала, хочешь сказать? Прицепила? А на самом деле там был сосед, который телефон из стены вырвал, и ей пришлось без пальто бежать на улицу, в милицию звонить, в мороз – а ты говоришь, что болезнь она себе придумала!

- А ты откуда знаешь?
- С её братом говорил.
- Так ты...
- Что – я?
- Совсем не такой дурак, как я... предполагала? А ещё про топор какой-то говоришь, с рюшечками и цветочками. Так ты, может быть, тоже уже научился тому же: одно говоришь, другое думаешь, а делаешь совсем третье?
- Так я же не ей позвонил.
- Ещё бы. В больницах телефонов не бывает.
- Всё равно! Не буду ей звонить. Не хочу с ней говорить. Я только хотел узнать, жива ли она... и вообще.
- Вообще! Сколько ей лет? Какого она года?
- А какое это имеет значение? Думаешь, за год она поумнеет?
- Она поумнеет гораздо раньше. Но вступать в законный брак до 18 лет...
- Ты совсем с ума сошла? Какой там брак? Она мне письма ей писать запрещает!
- А ты о бабушке своей не подумал? Она только о детках ваших и мечтает.
- Все, что ли, с ума посходили? Сплошная семья сумасшедших.
- Она ей уже и платье свадебное подобрала.
- Ну ладно, бабушке ещё можно простить...
- Ты ей всё простишь! Ведь это же «твоя бабушка»! Папину ты на дух не признаешь.
- Бабушке можно простить, она 20 лет как единственной дочери лишилась и в... ну в общем, ей замену вообразила... но ты-то! Катержина! Ты всегда была такая умная, такая сдержанная!
- Да, и сдерживалась, много лет. Сколько лет, знаешь? Сколько лет я терпела?
- Что ты терпела? У тебя всё хорошо.
- Что я терпела? Слезы твоего отца терпела. По ночам. Как заснёт, так и начинается.
- Мой папа... плачет?
- Ты что, всерьёз думал, что такую любовь можно забыть? Если бы не ты... не крошка тогда... он бы сразу с собой покончил, жить без своей Милочки... – она всхлинула. – Не все же в Гинеков превращаются.
- И я бы не превратился.
- А тебе и не надо. Не потребуется. Где вы жить станете: у бабушки или у нас?
- Ты дразнишь меня, да? Просто издеваешься? Человек запрещает мне даже письма ей писать, а ты всё выворачиваешь. Наизнанку! Я не знаю, я сам заболею с вами со всеми. Вот лягу и скажу, что у меня шизофрения. Ты этого замка просто не учишься, просто не хочешь замечать!
- Какого замка?
- Я уже тебе говорил: в котором так страшно умирать.
- Я вчера с твоим учителем говорила.
- С Карелом?
- Да, встретила его его улице, случайно. Он про оперу твою спрашивал и очень из-за твоей ноги расстроился. До того тебя расхваливал, прямо-таки... надежда чешской музыки, будущий Дворжак или Сметана, что-то в этом роде.
- Ты опять от замка уходишь! Что с тобой? Я знаю, что Карел меня любит, ну любит он меня, почти как бабушка, но я ведь про замок тебя спрашивал.

- Что в нём такого интересного?
- Ну например... что из него не выйти.
- Как это – не выйти?
- Ну понимай, как знаешь. Простого выхода оттуда нет.
- Ты имеешь в виду... минные поля? И думаешь, что и в душе такие минные поля могут быть?
- Я думаю, что в душе может быть замок. И хочу понять, что в нём такого... ну почему его нельзя бросить, просто от него отказаться, что он такое вообще, как его можно определить, чтобы вытащить на свет?

8 глава:

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ТЬМА

Посреди ночи Аня проснулась. Как будто кто-то швырнул её в эту постель. Она оглянулась и поняла, что она в больнице, что все в палате уже спят, кто посвистывая во сне, кто похрапывая, что из-за двери сочится скупая полоска света. Однако прямо перед ней в воздухе над кроватью стояла большая доска со множеством клеток, и над нею светилась надпись – несравненно более яркая, чем та художочная полоска света, что выглядывала из-под двери. Надпись была большими печатными буквами:

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ТЬМА

Аня взгляделась. В каждую из этих клеток, что были на доске, она не просто взглядывалась – она входила внутрь и начинала осознавать всё то, что в этой клетке происходило. Происходившее в каждой из этих клеток по-своему отвечало на вопрос, откуда взялась тьма, и эти ответы казались до того ясными, прозрачными, что никогда в жизни их не забыть.

В клетке внизу в центре она задержалась. Снаружи было видно только папу, совсем молодого, как он перешагивал через сучья бурелома. Аня вошла и огляделась. Лес был весёлый и праздничный, как толпа на демонстрации первого мая: все деревья пахучие и смола так красиво переливалась на ладони. Но и другие деревья, обросшие мохом, они пели и радовались все толпой, не так близко друг к другу они стояли, как люди на демонстрации, но пели тоже, так, незаметно для себя пели или шумели вершинами, там, в вышине над головой. Да, они пели тоже, хотя не шли никуда, а оставались на месте, а пел по-настоящему, голосом, один только папа, он шёл по лесу и пел, а она иногда только подпевала, ей было совсем мало лет, и перебираться через сучья на земле было трудно, легче было под них подлезать, и почему на земле вместо травы растут иголки? А это потому, что деревья все хвойные, вот такое трудное слово сказал папа, и лес поэтому называется бор, а папа идёт, шагает и поёт при этом, он поёт «не спи, вставай, кудрявая», но она, маленькая девочка, совсем не кудрявая, а это он сам кудрявый ещё и без никакой лысины, и кудри золотистые и прозрачные на солнце, а глаза такие синие и весёлые, и он поёт про то, что мы всё добудем, поймём и откроем, и никак, никаким образом не могла бы закраться мыслишка, что чего-то недопоймём... но теперь, в это мгновение и, может быть, из-за того, что у болезни наступило решение и все протекающие по сосудам осколки доброты решились сказать ей своё слово, вот теперь-то всё стало абсолютно ясно. Это был не сон, хотя но-

чью и в темноте, это была как бы доска с клетками, и внизу посреди ей была открыта сейчас именно эта: теперь, в возрасте, когда должно бы исполниться предсказание, данное тогда трёхлетнему человеку, что мы всё поймём и откроем, наверное, и пришло время действительно всё понять? Она привстала в постели и оглядела эту доску, светящуюся сейчас перед ней: в каждой клетке что-то происходило, там пели люди и летели шары в это счастливое небо, и она сама восседала, как на троне, на папиных плечах надо всей толпой и обозревала весь этот праздничный мир сверху, может быть, самая главная во всём этом торжестве и восторге.

Там не было никакого потока и перетекания, всё, что творилось в каждой из клеток, было обособлено от других: потоком была она сама, и она теперь спокойно перетекала, переплывала из одной клетки в другую, не сомневаясь уже в своих способностях познать всё и до конца. Всё теперь и наконец-то стало ясным до дна: словно бы она смотрела в воду, абсолютно прозрачную и недвижную, не всколыхнётся. Это было её чувство, собственной её больной головой воспринимаемое. И в то же время это спокойствие проникновения не смущалось тем движением, которое наблюдалось в каждой из этих клеток, и папа молодой, какой он был красавец, и куда всё делось, зачем помертвел взглядом? И зачем говорит он теперь, что знает будто бы абсолютную истину, истину в последней инстанции? Но тогда, в той живой клетке он шагал, и трещали сучья хвороста под ногами, и пел, и это была самая важная и единственная правда, и поэтому лес, который назывался бор и пахнул так одуряюще, он тоже пел, он соглашался с папой и говорил, переговариваясь вершинами там, в вышине, что, конечно же, всё добудем и что нам нет преград.

А казалось бы, что ему, лесу, лучше знать, возможно ли добыть именно всё, и стоит ли это делать? Почему же деревья соглашались с тем, что нам нет преград, почему соглашался с этим и сам вечерний свет, горящий на стволах: он ведь знал, что он недолгий и скоро уйдёт, что преградой ему поставлена ночь, а деревья знали, что преградой им земля внизу и облака вверху, и почему же тогда все они соглашались, что нам нет преград ни в море ни на суше? Преград было достаточно, но их было достаточно в обычном мире, в будничном измерении, а папа своей песней в тот миг проложил себе дорогу – и не только себе, но и всем остальным – в какое-то другое, абсолютно счастливое пространство, в котором преград действительно не было, и не только преград. Вот сучья трещали под ногами, хворостины, и он шагал прямо по этим хворостинам и пел «нам ли стоять на месте». Потому и шагал тогда, чтоб на месте не стоять, но вот что он делает теперь и зачем нацепил не только лысину на голову, но и это мёртвое выражение на лицо, если не стоит на месте? И не просто стоит, а врос уже в это место, обзавёлся уютами и пузатыми банками с соленьями и прочими вареньями между дверьми, прирос к месту и уже никуда не летит, а всё повторяет слова, что будто бы мы куда-то всё это пронесём, не уюги, конечно, и не банки, а что-то несказанное, тот свет, ту «осуществлённую мечту», но о чём была мечта и как это себе представить, что «зная страны своей, пламя души своей мы пронесём через миры и века», если уже никакого пламени в душе не осталось, а осталось только это полое знамя, которое без поддержки пламенем души совсем уже опустело и превратилось в никому не нужную тряпку?

Но тогда и там, в этом лесу, всё было совсем не так. Лес говорил таким низким голосом, его шорох был как бы хором, который пел вместе с папой те же самые слова, и этот вечер в лесу может быть и не сохранился бы в памяти, если бы не выступил так откровенно и так отчётливо в этот самый страшный момент болезни на нижней строке этой доски «Откуда взялась тьма», – и это было единственным,

что вспомнилось потом, утром, когда она открыла глаза и убедилась в том, что все остальные клетки, все прозрения укатились и испарились вместе с ночной тьмой, и только одна эта клетка горела перед глазами – зацепилась в волосах и не ушла вместе со всеми остальными. Тьма взялась, – нет, не столько она взялась, сколько сидела на качелях, раскачиваясь – кто кого перевесит, а кто взлетит под облака, она сидела на качелях с тем абсолютным счастьем, которое пылало и цвело в тот незабываемый вечер в лесу, – и смотрела ему в глаза.



«Свет в лесу»

9 глава:

ТАЙНА ЧУРИКОВ

– Теперь скажи мне, почему ты решил выкинуть человеческие голоса? Чем они тебе не угодили? – спросил Яна его старый учитель, пан Карел, сидя в фонарике, выходявшем окнами в замёрзший сад.

– Ну в принципе ведь мало что изменилось. Я заменил их духовыми инструментами: гобоем, и флейтой, и саксофоном, и фаготом – для пьяницы.

– Но почему? И когда ты принял это решение?

– В ночь под Новый Год.

– Так точно помнишь? И с чего же это взбрело тебе в голову?

– Ну, посоветовал... один очень опытный композитор. Мне бы самому, конечно, такое ...

– Опытный композитор? – Карел вздрогнул. Яну показалось, что он из милого, уютного пожилого учителя превратился в кого-то другого. Задетое самолюбие и попытка вообразить, что какой-то другой композитор мог бы оказаться опытнее, чем он сам, – это превосходило силы учителя.

- Кто же такой «опытный», а? – ядовито спросил он.
- Мысливечек.
- Это который же? Я только одного знаю, и он уже пару столетий как на том свете пребывает. Или у него есть потомки? Что-то не слышал о таких.
- Нет, я того самого и имею в виду, о нём и говорю. Вам говорю, пан Карел. Вы же для меня – как дедушка. Другому бы не сказал... и Вы не говорите! Не рассказывайте никому!
- Ну-ка объясни, объясни! – Облегчение было написано на лице старика: необходимость с кем-то соперничать отпадала, с покойником не посоперничает.
- Ну, пришёл он ко мне.... я как раз тогда был у бабушки.
- В деревне?
- Ну да. Пришёл ночью... видимо, во сне. И говорит...
- Ну не тяни, не тяни! Что он сказал?
- Что опера у меня хорошая, но что это не опера, а что-то совсем другое, что я должен придумать ей новый жанр и убрать все человеческие голоса.
- Ничего себе! И ты?
- Вот партитура. Смотрите. Этот новый жанр не совсем новый, к нему уже прибегали другие, правда, после Мысливечка, он их, видимо, не знал.
- Какой же это жанр?
- Ну как у Мусорского, например, «Картинки с выставки». Или у Сен-Санса: «Карнавал зверей». Череда связанных между собой эпизодов, нанизанных на одну проходящую тему. У Мусорского это – променада.
- Вот это хорошо, очень хорошо, так и напишем, ссылочку на ихнего пьяницу дадим, им это оч-чень понравится!
- Вы это про какого пьяницу? В «Маленьком принце» про пьяницу только один эпизод!
- Да я не про того, я имею в виду этого композитора, который тоже на букву «М» начинается, но никаких советов он никому дать не сможет, даром, что пребывает на том свете сравнительно недавно, но пропил он всё, что у него от ума оставалось – а ведь какой был гигант! И до каких высот сумел бы, наверняка, подняться, если бы не водка!
- Вы про Мусоргского?
- Про кого же ещё! Не так у них много гениальных-то. Особенно если на душу населения считать. Вот, кстати, Березовский тоже был, вместе с нашим Мысливечком ведь в Болонье учился, говорят, хороший был композитор, но вернулся домой, и его продали...
- Как это – продали?
- А вот так. Крепостной он был. Добрый барин в Италию послал – учиться, а злой барин продал. И Березовский тоже спился...
- Как это – крепостной?
- Ну раб, ну как это ещё объяснить? По-немецки для этого есть хорошее слово: *Leib-eigene*. Понимаешь, тело человека является собственностью кого-то другого, человек сам себе не принадлежит. У них ведь всего сто лет с хвостиком, как крепостное право отменили. Сто лет и пять в придачу.
- У кого это – у них?
- Ну, у русских. У советских, то есть, – поправился он.
- И по-русски это слово так и звучит – крепостные? От слова «крепость»?
- Или от слова «крепко» – крепко их держат!

– Крепость похожа, по сути... на замок...

– Новую шутку задумал? Опять без человеческих голосов?

– Не знаю. Ещё не задумал, а так... про замок думал.

– Ладно, думай-думай, а пока пора формуляр заполнять. Твой Мысливечек не дурак оказался! Двести лет на том свете, а какой ум! Какая прозорливость, можно сказать! Ты понимаешь, о чём я говорю?

Формуляр, этот лист бумаги с впечатанными в него графами – Ян только мельком на него взглянул. Промелькнул взглядом. Встал:

– Можно открыть окно?

– Смотри, не простудишься? Да открывай, открывай!

Ян стоял у открытого окна, прислонившись лбом к раме. Ему почему-то показалось, что грудь у него раскрыта – нараспашку. Стреляй, кто захочет. Ему предстала его собственная рубашка, фланелевая, тёплая, в сине-коричневую клетку, как она будет выглядеть, если он распахнёт сейчас пиджак и скажет «ну стреляйте, стреляйте, чего же вы ждёте!» Откуда взялась мысль о расстреле и кто мог бы его расстрелять? Ведь не добрый же его учитель, красивый старик, с шевелюрой, что сияет над его загорелым лицом, как серебро?

– Ну что ты вскочил? Опять нога болит? (Сейчас это случится, сейчас прозвучит выстрел, и поэтому оттянуть как-нибудь, ну например, сказать, что ему надо выйти в сад подышать воздухом, но ведь и вправду нужно).

– Ты кувыркнёшься сейчас. Ну иди, иди. Или лучше ляжешь? Что с тобой, на тебе лица нет! (Пан Карел, не говорите, пожалуйста! Не говорите больше ничего. Не рассказывайте, почему Вы о прозорливости Мысливечка проговорились. Не говорите про этих самых, у которых так мало гениев. Я не могу дышать, я не знаю...)

– Да, молодой человек, не зря некоторые сны смотрят! Я хотел тебе сказать. Я уже и мачехе твоей было намекнул, но она что-то не ... Ладно, всё. Ложись.

И Карел уложил Яна на свой диван, на этот роскошный, как всегда казалось Яну, с золотистыми набалдашниками в виде женских бюстиков по бокам, на котором он теперь лежал и слушал запах старины, тех годов, в которые жил ещё его дедушка... пропавший в Панкраце...

– А из-за чего ты с Олдржихом-то подрался? – вдруг спросил Карел, то ли и вправду такой умный, что решил отвести его мысли в сторону, то ли просто любопытный.

– Мы не дрались! Я просто хотел его удержать, чтоб он с лестницы не упал!

– Но в чём дело-то было?

– Он меня... в плохую компанию пытался втянуть.

– Ага. Так-так. Но всё-таки – в чём же было дело? До моих ушей донеслось...

– Что донеслось до Ваших ушей?

– Опять бледнеешь. Ты после этого наркоза стал сам не свой!

– Ладно, говорите. – И Ян поднял голову, чтоб встретить удар лицом к лицу, не как покорный барашек. – О чём Вы хотели мне сказать?

– Так, хочу тебя развеселить. Твой Мысливечек догадался. И причём 31-го декабря он догадался о том, о чём я узнал совсем недавно – что на конкурс там принимают только инструментальные произведения. Бери инструменты какие хочешь, хоть из Индии вези, но почему-то человеческие голоса они на этот раз запрещены. И он, поистине гениальный и более того, об этом узнал накануне – за три месяца! – и благодаря такому доброму совету у тебя и партия готова – к сроку!

Теперь оставалось только спросить, кто такие *они*. И где будет проходить этот конкурс. Да, такой намечался план разговора, и Карел явно ждал этих вопросов, и даже наслаждался в предвкушении (надо бы познакомить его с бабушкой!), и словно бы прятал от него что-то, как конфету в золотой обёртке... в золотой фольге... игра в прятки... у бабушки... – и тут слово «чурики» выплыло вдруг из памяти и встало перед ним в полный рост.

– Мне чурики! – сказал Ян.

– Что это значит?

– Что мои предки меня охраняют. Что я выпал из этого мира в какой-то дру-гой, в котором мои предки столпились вокруг меня и никому не дадут меня в обиду!

– Это ты где слышал? Это на каком языке? На африканском? Я недавно смотрел фильм о том, что в Буркино Фасо есть такие обычаи, что предки действительно охраняют...

Ян встал. Он дышал часто и с трудом, но перед ним всё вдруг прояснилось: словно сдёрнули занавеску.

– Ян, ты про это напишешь следующую оперу – договорились? Я дам тебе почитать книгу об этих обычаях, там такие маски – пальчики оближешь! Их и масками-то трудно назвать, они закрывают всё тело, и те, кто в них танцуют, превращаются то ли в богов, то ли в усопших предков... Вот ты и порозовей! Правда, там эти предки не столько защищают, сколько надо защищаться от них самих, приносить им что-то в жертву...

– В жертву? – Ян дёрнулся.

– Да ты не бойся, не кого-то ведь, а что-то, кошельки с деньгами или сладости. И танцуют они, как сумасшедшие.

– Предки танцуют?

– Ну, это танцем не назовёшь, скорее, пляшут. Как сказал в этом фильме один местный: трезвый не смог бы так плясать. Ну конечно же пляшут не предки, а те люди под этими одеждами, из листьев, такие узкие и длинные листья болтаются, почти как солома, с ног до головы, а на голове высоченные деревянные построения, и всё это вместе называется маской. И на время танца эти «маски» считаются воплощением предков, они порой очень агрессивные, их надо задобрить. И после такого праздника считается, что – всё, он уже ушёл в загробный мир и больше к тебе приставать не будет, не будет тебя мучить.

– Но для этого, чтоб не мучил, надо, чтобы кто-то сыграл его роль?

– Они не воспринимают это как «роль». Они абсолютно всерьёз считают, что маска и есть то ли бог, то ли предок, то ли всё вместе. Человек с абсолютно серьёзным лицом, чёрным, но черты лица совершенно цивилизованные, и одежда тоже, говорит с полным убеждением «это и есть бог».

– Бог! Что-то нехорошее.

– Так тебя учили?

– И жертвы были. Не только сладости? Ведь так?

– Нас учили, что Бог... что выше этого ничего не бывает.

– И Вы поверили?

– Ян, я верю только в тебя, между прочим.

– ?

– Что если ты оправившись от этой болезни...

– Вы прямо как моя бабушка!

– Нет, я говорю серьёзно. Я считаю, что такие, как ты, – что вы можете изменить мир. К лучшему. И если не бог, то уж точно покойные предки придут вам на помощь – тебе ведь один из них уже помог! К плохому композитору он бы не пришёл, даже и во сне!

– Ну и чем же может изменить мир к лучшему композитор, пусть даже и очень хороший? Знаете Вы хоть одного, кто изменил мир к лучшему?

– Я знаю одного, кто изменил мир к худшему. Но ведь можно и наоборот!

– Кто это изменил мир к худшему?

– Вагнер. Приехал в Вену, где его боготворили, как великого гения, и начал внушать своим поклонникам, что антисемитизм – это не просто предрассудок, распространённый в серых низах общества. Вытащил его из тех мест, где ему полагалось оставаться, и ввёл в салоны, в порядочное общество. А до тех пор принародно показывать себя антисемитом, знаешь, это было как опозориться, как при всех в штаны наложить. А он не только говорил, он ещё и писал статейки такие – ну, к чему это привело, ты ведь знаешь. Не зря гитлер с его потомками дружил, у них дневал и ночевал.

– Но не он ведь один?

– Не он один. Но пока такое говорит какой-нибудь вояка вроде бисмарка, предрассудки остаются там, где им и полагается распространять свой смрад – внизу. Как бы они ни ценили своего бисмарка, а божественным его никто не называл: язык бы не повернулся. А когда такое повторяет божественный гений, каким они считали Вагнера... Так что роль гения в истории...

– Я его за гения не считаю. По-моему, его музыка какая-то напыщенная, всё пыжится, пыжится, и выливается в какую-то истерику. Неудивительно, что фашисты на ней торчали, как говорится. Как наркотик.

– «Протофашистская» музыка, как считает один француз. Но, за кого бы мы с тобой его ни считали, ты лучше прислушайся к этой истории, вдумайся в неё. Как только композитор начинает развивать свой талант, у него словно крылья вырастают, он может крыльями взмахнуть – а куда уж он полетит, это – другое дело. Талант – это страшная сила. К тебе будут прислушиваться. Вот увидишь! Твое слово будет иметь вес.

– И будут кричать, как мой отец, «нас всех ест удав!»

– Так он и сказал? Я его очень хорошо понимаю. Поскольку название у тебя такое безобидное, ну что там, – «Маленький принц, сцены из сказки», – то цензура пропустит, не беспокойся.

– Вы и об этом подумали? Вы всерьёз приняли мою оперу, то есть неоперу, за какую-то крамолу?

– Ну так если нас всех ест удав, то о чём говорить? А кстати мы ушли от темы. Так ты с Олдржихом больше не дружишь?

С высоты того, что он сейчас понял, и Олдржих и та сцена на лестнице увиделись Яну какими-то мельчайшими, как песчинки на дне морском, крошками, ничего не значащими.

– Но это слово – как ты сказал? Чурики? Так и просится... написать бы... ну просто музыкальная фраза, мелодия, а не слово! Чуу-ри-ки – да это как птицы щечбечут. Подаришь мне это слово или сам будешь писать?

– Подарю. Раз оно Вам так нравится.

– Между прочим, Олдржих окажется тебе конкурентом. Но не волнуйся. Знаешь, то, что он сочинил, твоей неопере и в подмётки не годится... но там будут и другие соперники! Из других стран.

– Слово «Чурики» означает, что я не могу проиграть, даже если меня догонят или поймают. Достаточно только во время выкрикнуть это слово.

– Это на каком языке?

Ян посмотрел на учителя. «Пан Карел, Вы такой любопытный, как маленький ребёнок!» – хотелось ему сказать, но вымолвилось совсем не то, и не вымолвилось даже, учитель сказал ему только, сказал глазами, что да, именно там и будет проходить этот конкурс, и ты не бойся, ты выиграешь всё равно, даже если проиграешь.

Теперь ему стало всё открыто и ясно, как в снежном поле. Он шагал по улице и слышал, как позванивали, обгоняя его, трамваи, и знал всё, за один раз, глотком, как бывает только во сне. Словно сдёрнули одеяло с головы – или задвижку с глаз. Так вот кто живёт в этом замке! Вот почему в нём и гулко, и сыро, вот почему в нём кто-то непередаваемый гоняется за тобой по пятам... и вот почему из него не выйти! У неё не шизофрения, – думал он теперь про Аню, – её просто заколдовали. И не кто-нибудь другой, а её же собственные чурики. В этой стране, где, по подсчётам Карела, гениев маловато, а если считать на душу населения, так и правда... и что они с ними делали? Сначала подстраивали дуэли, потом доводили до самоубийства, а там и в Сибирь... Вот и Аня, если б ей позволили учиться, стала бы, может быть, настоящим художником, как Боттичелли, как Ван Гог, и все онеменели бы перед её картинами, окостенели бы от счастья и, полностью отменив свою шершавую суть, воскликнули бы: не хотим никаких минных полей! Никаких сырых и гулких замков, никакой плесени за шкафом, а хотим вот только вот их, вот таких картин, и дайте человеку рисовать, она нам такой мир наколдует, что нам в нём жить захочется, а не тащиться по краю бледной тенью, заживо усопшими, замордованными навсегда!

«Так всё-таки, – подумал он, глядя вниз с моста на реку, на могучую воду, которая там бесновалась вокруг стоек моста, – всё-таки, чего им от неё надо – этим чурикам?» – Вода не отвечала, свирепела по-своему, по своим каким-то внутренним причинам, скрытым в глубине, но из её пофыркивания можно было заключить, что предложение нацепить на себя какие-то соломенные ошмётки и пуститься в пляс никакого одобрения у неё не вызывает.

10 глава:

ЧЁРТОВА КУКЛА

– Да вы что??!

Александр Николаевич, пропустив мимо ушей Володин возглас, обратился к жене:

– Ну так что, Верочка? Я думаю, ты права. Выпускной класс, рисковать нельзя. Я две недели потратил, все пороги исходил, чтоб добиться для неё разрешения сдавать экзамены – а теперь она не будет, что ли, их сдавать?

– О чём тут говорить: в санатории она до середины апреля пробездельничает, всего полтора месяца останется до экзаменов. Нет, отказывайся от путёвки, да и дело с концом. Лучше мы на эти деньги репетитора ей возьмём.

– Ох! – вздохнул Александр Николаевич. – Все удивляются, почему я до сих пор докторскую не защитил: а когда мне работать? Ещё теперь ищи ей учителя! И так вся жизнь на семью уходит!

– Ничего, потерпишь – раз в жизни дочь в институт поступает!

Тут послышалась трель телефонного звонка, Александр Николаевич пошёл в коридор к телефону.

– Мам, – Володя обернулся от стола к Вере Павловне, – вы правда не хотите Аню в санаторий отпускать?

– Ты молчи уж, делай уроки. Без тебя разберёмся. Смотри, если ещё раз тройку по биологии принесёшь – лучше мне на глаза не показывайся.

– Ну всё-таки, она так болела, – умоляющим голосом, словно сам испугавшись своих слов, пробормотал Володя.

– Если б она ещё в больнице не бездельничала, я бы посмотрела. А то вчера прихожу – а она, видите ли, рисует! Это вместо уроков-то!

– А она к Мухинскому готовится.

– К чему?

– Ты же сама говорила, что будешь ей репетитора искать для Мухинского.

– Когда это было? – усмехнулась Вера Павловна. – Ты, брат, по-моему что-то сочиняешь.

– Какая ты! От своих же слов отказываешься.

– До чего же ты ещё глупый! Мать о вашем же будущем заботится. Не стать Аньке никогда художником. Потому что таланта у неё нет – понимаешь ты это? Что, я её дрянных рисунков не видела – или я совсем уже в искусстве не разбираюсь?

– У неё в школе из-за её рисунков чуть не передрались: всем хотелось её последние работы получить!

– Ну и дураки. Что они понимают! Что бы она ни воображала о себе, что она не такая, как все, таланта от этого не прибавится. А образование она получить должна. Ты знаешь, что это такое – женщина без образования? Дворником пойдёт работать?

– На что ей ваше образование, если она умрёт?

– Ну, в этом случае, – промолвил отец, появляясь из-за спины полированного шкафа, – конечно, образование ей не понадобится. Но пока этого не случилось, надо делать всё, чтобы его получить.

– Пока этого не случилось, надо делать всё, чтобы этого не случилось, – возразил Володя. Он не привык спорить с родителями, и теперь ему было как-то не по себе. Его словно бы знобило.

– Ладно, – мать махнула на него рукой, – так что там, Санюшка?

– Опять из месткома звонили, – отозвался отец. Он говорил, прислонившись к шкафу, и на фоне блестящего дерева чётко выделялось его бледное лицо с выступающими на лбу костями черепа.

– Опять путёвку предлагают?

– Да они бы, конечно, так не настаивали, – им-то что? Если б им не написала эта Франичкова. Неудобно всё-таки получается.

– Вот чёртова кукла! Ей-то какое дело? Как ты думаешь, как она могла узнать? – Небось, Анька написала, – ответила Вера Павловна сама себе. – Как дело до дела, так она больна, уроки не делает, а письмо написать силы нашлись. Вот девка! Осрамила нас.

«Мама, за что вы так Аньку не любите? Чем она вам виновата, что немальчиком родилась? Вот я вам родился мальчиком, могли бы, казалось бы, от Аньки и отстать!» – хотелось бы сказать Володе. Он поглядел в лицо матери. Она казалась ему сейчас похожей на рассвирепевшую тигрицу, но свирепую как-то почти по-весёлому, как вратарь, что ожидает удара в ворота и знает, что отобьёт, да ещё как, зафигилил в

ответ так, что и места живого не останется! Она была даже и не вратарём теперь, а словно бы самими этими воротами, напружинившимися в ожидании удара. «Мама, ну почему же тебе всегда надо использовать такие слова, такие яркие выражения, чтоб побольнее ударить?» – Ещё одна фраза, которую он не произнёс, но вспомнил при этом бабушку, папину маму, как она ему объясняла перед сном, когда он уже лежал в постели, что всё то, что он выкрикивал в лицо своим родителям, можно сказать и помягче, вежливыми выражениями, и что тогда никому не будет обидно.

– Мама, это я звонил Катержине, а совсем не Анька! – вымолвил он вдруг, даже сам не понимая, откуда у него взялось столько наглости.

– Это ты... звонил? – вся ярость с лица у матери сползла, как сдунули. Это её любимчик, продолжатель рода, тот, на ком зиждились все её надежды... и так её обманул? Так нагадил ей в самую душу? Это он оказался в стане врагов родины?

– Не говори! Не верю! Чего тебе-то от неё надо?

– Она волновалась за Аню и просила позвонить, вот я и позвонил. Она...

– Кто она вообще такая?

– Мать... то есть мачеха...

– Ну, чья она мачеха? Отвечай!

Теперь вся грозность матери нацелилась на него. Все жерла пушек, все дула пулемётов. И он впервые почувствовал, какая это громадина, какая неподъёмная тяжесть, какой это танк – или пятиэтажный дом, вот если он на тебя налезет...

– Она мачеха моего друга.

– У тебя уже и друзья завелись... там? Не мог где-нибудь поближе друзей себе отыскать?

– Разве друзей себе ищешь по географическому признаку?

– А по какому же? Ну, говори! За красивые глаза ты его полюбил, что ли? Да ты и глаз-то его никогда не видел, не ври! Во что ты ввязался, понимаешь? В какое положение нас поставил? Что о нас теперь подумают – что мы не заботимся о здоровье родной дочери?

– А вы заботитесь о её здоровье? Ты поняла, почему она так заболела? Она мне жизнь спасти захотела!

– Вот это я слышу впервые.

– Я объяснял уже тысячу раз.

– Ну и что? Ну спасла, спасибо ей.

– И ты всё равно её ненавидишь.

И тут, как только это слово произнеслось, до него дошло, что это была действительно не просто какая-то там скарредная и скучная нелюбовь, не просто пренебрежение и невнимание, а жаркая, жгучая ненависть. Как само это слово подошло к её очам, как впечаталось! Как они пылали сейчас, но возразить ничего не могли, потому что слово было – в самую точку.

– Как ты называешь её картины, – продолжал Володя, – дрянными, вшивыми и паршивыми, ещё как? А ты понимаешь, что в этих картинах вся её душа, что ты душу её так называешь – что ты её душу топчешь! Пусть она даже не дочь тебе, пусть чужой человек, но ты и домработнице не стала бы так душу топтать!

Теперь они стояли друг против друга – два вратаря, и как будто мерялись яростью. Володе казалось, что он уж таким взрослым стал, выпростался из-под униженного положения своего недавнего детства и выпрямился во весь рост. Но чего он не понимал, того не понимал: что если захочешь кому-то душу потоптать, так уж точно не домработнице, потому что та хлопнет дверью и уйдёт, да ещё и слухи

о тебе распустит. Он не знал, как сладко рушить чужие мечты через много-много лет после того, как твои чаяния растопгал и разрушил кто-то другой. Почему не смотря на то, что ведь пелось в песне «нам открыты все пути», а всё же некоторые пути оказались закрытыми, и хотя пелось «кто хочет, тот добьётся», а всё же чего-то добиться не удалось? Он присутствовал при ритуале повторения всех этих заветных песен, и по праздникам, и при гостях, и всё же не понимал, что это были не просто песни, что они были для его родителей как исповедание веры, как для китайцев писания Мао, в которых каждое слово было непреложной истиной, истиной с самой большой буквы. И если песни оказывались в чём-то неправы, если не сбывалось напророченное в них, то рушилась вся жизнь, всё самоуважение, всё ощущение себя нужным членом общества. И что эти руины в душе надо было чем-то прикрыть, а боль на ком-то выместить, и кто же лучше подходил на эту роль, чем тот, кто топтался на тех же пяти метрах свободного прохода между шкафами и кроватями, кто вечно болтался под ногами и кто уж точно никуда не уйдёт, потому что уходить-то некуда!

– Ну вот, сказал он мне, твой сын, – обратилась Вера Павловна к мужу, когда тот снова появился в комнате, – как-то устало проговорила, словно из неё выходил воздух, как из воздушного шарика, – сказал он мне всё. Что чужая мачеха о твоей дочери больше заботится, чем родная мать!

– Ну в принципе этого и следовало ожидать, – спокойно отозвался Александр Николаевич. – Так и подумают, хотя вслух и не скажут. А какой там у них институт роскошный, какие лаборатории! Я не могу отказаться от этого проекта, над которым мы работаем вместе с Вацлавом.

– С каким это Вацлавом?

– С мужем этой... чёртовой куклы! – и по лицу отца скользнула лёгкая усмешка, так быстренько промелькнула, напомнив Володе, каким он был весёлым папкой всего-то лет десять назад, какие истории рассказывал ему перед сном, и, главное, сочинял их сам, специально для сына! Так значит, папа пишет какую-то общую работу вместе с отцом Яна! И поэтому Анька – да, поедет в санаторий! «Да здравствует наука, да здравствует прогресс!». захотелось воскликнуть Володе: ему вспомнилась первая строчка той речёвки, что их заставляли орать в пионерском лагере. А вторую строчку той же речёвки вспоминать не хотелось, потому что там были слова про «славную политику ЦК КПСС».

11 глава:

ИТАК, ПАРОЛЬ – СВОБОДА

«Итак, пароль – свобода».

Кенсабуро Оэ

«Сашка, дорогая, привет тебе с этой горы! Здесь совсем не такой воздух, как внизу. Он светится, как синее стекло витража, и он невесомый. От него сама становишься, как он. А какой он на вкус, я просто не могу описать. Я вообще никогда такого не пробовала. Теперь скажу тебе, что такое эдельвейсы. Они совсем не похожи на звёзды, они уютные такие, как серые лапки под щечкой. Под щечкой, потому что я в этой траве лежу. А другие цветы тут больше обыкновенных, земных, трава – выше и гуще. Лежу и занимаюсь математикой, можешь себе представить! Как я её

ненавижу, ты ведь знаешь. На последние гроши купила хоть какую-то тетрадку для рисования и уголёк, уже решила, что буду рисовать. Вернее, кого: видела тут одно очень интересное лицо, может быть, удастся сделать портрет.

Ну, пока кончаю, порана следующую процедуру! Ты мне пиши, не забывай! Надеюсь получить твоё письмо не сегодня-завтра, я же давала тебе адрес заранее. Твоя уже почти здоровая (или мне это только кажется?).»

В поезде, когда Аня ещё ехала в санаторий, она обратила внимание на одну девочку. Девочка была шупленькая, бледная, в старой некрасивой одежде (позднее Аня всегда с раздражением и досадой вспоминала её перешитую серую юбку и линялый синий свитер). Она стояла в коридоре вагона и смотрела в окно. В сочную зелень травы – как-то странно, неподвижно смотрела, словно видела одну только чёрную пустоту, всегда существующую между живыми клетками. Случайно её взгляд коснулся Ани – словно к месту пригвоздил – и снова за окно. Невозможный взгляд, какого вообще быть не должно в природе. Аня, подходя к гостинице (в санатории мест не хватало), вспомнила его и поёжилась, как от холода.

Номер в гостинице был роскошный, с балконом и ванной, выдержанный в строгой гармонии оттенков серого и коричневого. Одна из Аниных соседок по номеру, отреккомендовавшаяся Дуней, спала на широком двуспальном ложе, негромко посапывая. Другая, Надя, стояла перед зеркальным шкафом и примеряла очередное платье, вглядываясь в своё отражение с угрюмой сосредоточенностью. Аня заметила: прямо к балкону был теперь поставлен узкий медицинский диванчик; за журнальным столиком спиной к двери сидела новая соседка и что-то писала. Дуня громко зевнула и перевернулась на бок, продирая глаза.

– Жень, а ты что – всё письмо пишешь? – удивилась она.

– Угу, отозвалась новенькая: видно, они уже успели познакомиться.

– Эх, какие у тебя руки-то белые, – не унималась Дуня, – видно, ничего не приходится по хозяйству заниматься.

– Наоборот, – возразила Жень, – только хозяйством, с утра до ночи.

Тут Аня села на свою постель – отсюда ей было видно в профиль Женино лицо. Да ведь это – та самая девочка, из поезда!

– И правда белые, – отозвалась Жень, глянув себе на руки. – Они всегда у меня такие. – И она снова принялась писать.

– Ну ладно, – Дуня, кряхтя, поднялась с постели, – пойдём, что ли, на танцы?

– Нет, не хочу, – покачала головой Жень.

Надя озабоченно одевалась.

– Да ты надень что-нибудь хорошее, однотонное! – посоветовала ей Дуня.

– А ты, Аня?

– Я простудилась сегодня немного, ноги промочила, там, в ущелье, – лучше полежу.

– Подумаешь, простудилась! Ты для этого, что ли, приезжала в санаторий, чтоб в постели валяться?

– Пошли с нами, – мотнула головой Надя, – вставай, слышишь?

– Я танцевать не умею, – возразила Аня.

– Ну и что? – Надя пожала плечами.

Надя и Дуня долго одевались, пудрились.

– Так ты будешь вставать? – ещё раз напустилась Надя на Аню.

– Я же сказала, что не умею танцевать.

– Ну, как хочешь, – равнодушно промолвила Надя.

– Счастливо оставаться! – осклабилась на прощанье Дуня. И дверь за ними захлопнулась.

– А между прочим, – заметила Женя, поворачиваясь к Ане, – ты прекрасно танцуешь. Я сегодня видела тебя в долине.

Ане показалось, что Женино лицо, приветливое, улыбающееся, приблизилось к ней. И только в этот миг она поняла, что эта бледенькая девочка старше её – старше не на год и не на много лет, старше на целую бездну: что она знает что-то такое, чего лучше, может быть, никогда и не узнать.

– Я сразу узнала тебя, – прибавила Женя.

– Ну что ты всё – они да они! – Женя удобней устроилась в глубине кожаного кресла, натянув на колени полы ветхого халатика. – Зачем тебе их мнение? Если один только раз разглядеть их до конца, почувствовать, что они такое – они как лохмотья расплутятся и спадут, как старая обожжённая кожа с новой, здоровой.

– Ты считаешь, что они неправы, а я права. Но как это доказать? Они же взрослые, они умнее.

– При чём тут взрослые? – поморщилась Женя. – Я тоже думала, что взрослые что-то особенное знают, пока сама не стала взрослой и не поняла, что себе только надо было верить – да уж поздно. Они неправы во всём, потому что они неправду говорят. Они обманывают, это само собой, они и себя самих обманывают, из самых лучших побуждений. А, о чём тут говорить! Ты же сама чувствуешь в себе правду. Зачем глушить этот голос? Так уродовать себя – и для чего? Столько всего ненужного вам внушают, и никто не скажет единственного, того, что помогло бы вам выжить.

– Чего же?

– Что вы – свободны.

– Как это – свободны? – оторопела Аня.

– А вот так. Ты знаешь, что такое – свободный человек? Человек, свет которого не связан, не стиснут?

Ане вспомнился один такой человек, свет которого был не связан и не стиснут, в тот самый момент, когда на его свет уже накладывали не то что путы, а настоящие кандалы... ей вспомнился этот момент в поезде, когда он так крепко стиснул ей руку на прощанье, и подумалось почему-то о том, что свет – это самое подходящее слово для того, что произошло тогда – лучше слова не подберёшь.

– Если не бояться стать самим собой. Только один раз не побояться – и тогда ты свободна, тогда ты можешь всё.

– Как это?! Как это я могу всё, если я не могу ничего?

– Так я же не говорю, что ты уже свободна. Ещё сначала освободиться надо. Ты же сама в себе чувствуешь эту поднимающую силу, эту – неоторимую. Не гони её, не убивай себя. Поверь ей. Поверить – вот в чём всё дело.

– Как я могу поверить, если я не знаю, в чём правда? Может быть, то, что они говорят, что у меня нет таланта, больше соответствует действительности?

– Ты знаешь, где правда. Все всегда знают, где правда, но не все могут даже себе в этом признаться. Я же говорю, что себе поверить нужно. Поверить – всё равно, что на доску встать, которая ведёт тебя через все бездны. Свет – невесом, но если на него одного опереться, если всё остальное забыть и откинуть, как несуществующее...

тогда он тебя вынесет, и ты сама светом станешь. Ведь и то, что они говорят, и то, что ты чувствуешь – пока что равно соответствует действительности, причём ровно настолько, насколько ты им веришь. Чему поверишь, к тому и придёшь. А потом они будут потирать руки и хихикать: смотрите, вот видите, мы же говорили...

– Как будто это так просто – поверить! Как можно поверить, если не верится? Если что-то давит и клонит...

– Аня, ну я это знаю. Поверить не просто, особенно сначала. Но ведь если вдуматься – это всё равно, что на нужный поезд сесть.

– Как это?

– Ну вот ты стоишь на вокзале с билетом до Киева, скажем. Ты же ещё не в Киеве, но ты твёрдо знаешь, что доберёшься туда, если сядешь на нужный поезд. Ты же не сомневаешься, не думаешь, что поезд куда-нибудь в Мурманск свернёт, правда? Так и тут. Надо сжать зубы и уже не смотреть по сторонам. Твоя душа тогда свободна от чужих посягновений, и они тебя не собьют, как поезд не собьёт чужое расписание. Ты это решила, что будешь художником – и уже всё.

– Это ещё бабушка надвое сказала, кем я буду.

– Ну, если ты так хочешь... Знаешь, что будет? Если не верить, а тосковать в сомнении и плыть по течению? Зачем тогда готовиться, учиться рисовать – правда? Лучше потратить время на бесплодную тоску и ещё более бесплодные занятия в школе. Потом поступить туда, куда уготовили тебе твои родители, чтоб учиться с отвращением. И – лучше бы тебе вовсе не родиться, никакого смысла в твоей жизни. Теперь, предположим, ты поверишь. Даже не поверишь ещё, если сил нет, а только решишь, что верить лучше. Я не говорю, что нельзя плакать и приходиться в отчаянье – но при всём том ты будешь вести себя как человек, который решил. Ты будешь готовиться. Бабушка надвое сказала? Ну и что, от неё не убавится, если ты прямо пойдёшь туда, куда тебе нужно. Не надо как на безысходную грусть смотреть на жизнь, когда впереди неизвестность. Ведь битву никакую не выиграешь, если заранее плакать и покоряться. На жизнь надо смотреть как на битву, в которой ты свободна сражаться именно за то, чего ты хочешь сама.

– Нет, мне кажется, я так не могу. В жизни сделать я ничего не могу.

– Ну, разумеется, тебе так внушили. До чего же удобно жить с таким человеком, который ничего не может! Ты не представляешь. Если ты согласишься, что ты ничтожество – ты им и станешь. Я же вижу, я сразу увидела. По походке: ведь ты даже ходишь будто не по твёрдой земле, а по кромочке между двумя ямами. Ты не веришь себе, а им ты тоже поверить не можешь: совесть не позволяет, чутьё правды не пускает. Помню я эту походку, этот голос, этот взгляд... Как клеймо на нас на всех, как будто во всех нас Салтычиха утюгом залепила – и так этот след и остался, как у той крепостной девушки на лице! Почему все люди должны быть так несчастны? Неужели никого спасти нельзя?.. – она опустила голову. Облокотившись подперев голову рукой, она неподвижно сидела, как бы окаменевшая в глубине роскошного кресла, в своём ветхом зелёном халатике...

– Женья! – тихо позвала Аня.

– Что?

– Ну вот смотри... если ты права, что человек должен бороться за то, чего хочет... так что же тогда ты сама?

– Я? Да я-то уж ничего не хочу.

– Как? Все чего-то хотят.

– Вот я обо всех и говорю. А обо мне поздно говорить.

– Почему?

– Не о ком потому что.

Аня внимательно взгляделась в её лицо.

– Неужели в шестнадцать лет я могла бы поверить, что стану такой! – вдруг усмехнулась Женя.

– Да тебе и сейчас больше шестнадцати не дашь.

– Так как раз потому, что с шестнадцати лет я и недели не прожила. Если все живые минуты собрать, то едва пять дней наберётся. Разве за пять дней можно постареть?

– Вы кончите когда-нибудь? – раздался вдруг из-под одеяла грубый Надин голос, – спать не дают человеку!

Женя встала, накинула плащ, Аня выключила настольный свет, и они вышли на балкон.

– Женя, шёпотом спросила Аня, – почему же это? Как это могло с тобой случиться?

– Просто. Ничего особенного в этом нет. Я ведь тоже не была свободна. Ладно, расскажу – чтоб тебе неповадно было.

Так плохо была видна Женя в темноте, что Ане порой становилось жутко: будто она бредит с открытыми глазами или разговаривает сама с собой.

– То есть мне казалось, что я свободна, и, действительно, внутри себя я знала, чего хотела. Но в жизни почему-то получалось так, что я следовала принципам тех людей, которых не могла уважать, и всего только потому, что они меня воспитали. В решительный момент сморозишь вдруг такую глупость, которую в тебя годами вдальблывали – такую глупость, что она всю жизнь твою уничтожит. Нет, как свободно ни работает сознание, вести себя действительно свободно невозможно, когда за спиной всякий миг будто слышишь язвительный шопот. Конечно, и судьба, и обстоятельства... и к тому же все, кто мне так сочувствовали (они даже сами верили этому) как бы случайно делали всё, чтоб меня погубить – просто за мой счёт было легче всего самоутвердиться, я была доверчивая дуручка, и мне было совсем плохо. Но, как бы то ни было, если б я сама была свободна – вся эта судьба и все эти обстоятельства были бы для меня, как игрушечный домик из веточек: сдунешь его, и нет. Чем свободней человек, тем труднее его достать судьбе. А теперь мне самой приходится жить в этом веточном домике.

– Как это?

– Ну так: я всем только считаюсь, а на самом деле я – никто: не жена, не учительница, даже не домохозяйка. Каждый миг и час я должна делать то, что мне противно, в чём я не вижу смысла. И в этом домике из пустоты я живу и вынуждена называть его моим настоящим домом. Фиктивная вся жизнь, понимаешь? Но если бы только это...

– А что же ещё?

– Если б на один миг ты могла это почувствовать... Бывают страдания, и ты, наверно, знаешь... когда голову хочется об стену разбить, под машину броситься. Но это ещё жизнь, – я бы дорого дала, чтоб такую боль ощутить. А то, что у меня, – не дай бог никому.

– Что же может быть хуже, чем под машину броситься?

– Что? Мёртвому ходить и живым приговоряться.

– Так вот же ты, – Аня притронулась к Жениному лицу, внезапно сама чего-то пугаясь.

– Потрогать-то можно... и всё потрогать можно, да дело не в этом. Видишь ли, когда человек жив, он этого не замечает, но вот как я теперь вспоминаю – раньше весь мир вокруг меня был как бы населён прозрачными существами: как древние греки верили, что в дереве живёт дриада, в ручье – нимфа. То есть это просто душа, жизнь каждой вещи. Они были мне родные, эти прозрачные существа, я их даже почти видела: особенно при солнце. Конечно, я нисколько не думала о них – как о воздухе не думаешь – но среди них и в самой сильной боли я чувствовала жизнь.



«Дух зелёной листвы»

А теперь все они умерли. Вещи остались, потрогать их можно, – но зря всё это, всё зря. Вот поэтому всё, всё, что я вижу, мне так противно. Ты не можешь себе представить эту тоску, когда вроде и боли нет, и всё в порядке... и только жутко на всё смотреть. Не знаю, чего я боюсь: будто в безвоздушное пространство меня выкинули, моё живое в их мёртвом. Даже плакать невозможно, даже умереть не хочется...

Женя повернулась: вышла из-за чёрного дерева луна, и Аня увидела побелевшее Женино лицо.

– И вот когда я утром увидела, как ты танцуешь на горе – знаешь, мне стало страшно. Неужели и тебя, думаю, как меня – косою скосит?

На другой день было утро и солнце: как и говорила когда-то Саша, что каждый день бывает утро и солнце. Вечером был концерт. Поздно вечером, когда они вернулись в номер, на столе лежало письмо для Ани и телеграмма Жене. Письмо было от Саши:

«Аничка, я пишу впопыхах. Ты не представляешь даже, что у нас сегодня случилось. Кажется, так просто, а я не знаю даже, с чего начать. Я всё время о тебе думаю, все эти месяцы, что ты болеешь. Если б не ты, не то, что ты мне тогда говорила, этого бы ничего не случилось. То есть всё бы, конечно, случилось, только я бы не сделала ничего. Так вот. Вчера был субботник, мы приходим, смотрим: а восьми человек нет, как раз из компании Коробки. А норму-то дали на двадцать восемь, на весь класс! Ну, ты сама понимаешь, что нам пришлось отдуваться за них, за них всю их долю грязи перетаскивать. Как вчера все возмущались, кричали – я не то что большие всех, может быть, я меньше всех кричала. Решили на сегодня собрание устроить. Прихожу утром в школу, спрашиваю: когда будет собрание? Все молчат, пожимают плечами, по углам шушукуются. Стало мне известно, что Коробка, оказывается, всех своих просто не назначила, вычеркнула из списка, как комсорг. По углам все возмущаются, а сказать боятся. Я уж даже забыла, как это случилось: все сидели после какого-то урока в классе, и вот я спрашиваю: будет собрание? Все снова молчат, и вроде бы как на меня: есть что сказать, так говори. Не то чтоб я совсем не боялась, нет, мне даже будто стыдно чего-то было. И вот тут я вспомнила тебя, как ты тогда про свиней говорила, и ещё раньше как ты сказала: не пойду к этим сволочам. Может быть, мне просто стало страшно, что и я для тебя тоже стану одной из сволочей. И тогда я стала говорить, ничего особенного, одну правду. Дело же не только в работе, главное, что они людей презируют, всегда издеваются, а никто слова сказать не может. Ну тут, как я стала говорить, как, смотрю, Павлова скрючила своё лицо и усмехнулась, только я про справедливость сказала – тут уж меня понесло. Тут я, кажется, действительно много смешного наговорила, потому что я как в воду кинулась. Не привыкла ведь никогда правду говорить. Ну, потом всё стало нормально, потом другие стали говорить. Я даже не знала, как много людей думают так же, как я. Потом собрание было вечером с родителями и с Татьяной. Многие выступали. Самое поразительное, что я запомнила – это как говорил отец Коробкиной. Такой елеинный тип, лысина будто маслом намазана, чем-то он на клопа похож. Говорит, что его Риночка и музыкой занимается, и с учителями к университету готовится, мол, времени не хватает на все эти мероприятия, – значит, другим ничем порядочным заниматься не нужно, другим только и остаётся, что за его Риночку работать. Да причём он так прямо и сказал: «у нас же в стране нет, – говорит, – противоречий между интеллигенцией и рабочим классом». Представляешь? – прямо такие слова и выговорил! Дескать, вам – физический труд, а моей дочери – наука. В общем, даже писать противно. Только он это сказал, как всем всё стало ясно, даже тем, кто сомневался. Я даже слышала, как кто-то у меня за спиной сказал: буржуй!

Но после этого выступала Татьяна. Я её до сих пор не пойму. Начала она вроде задравие, как вдруг свела всё к тому, что мы говорим всё это из зависти, и ей это обидно, что мы сами хотели бы занимать такое же положение, как Коробка. С одной стороны, говорит, нехорошо, когда ученица ходит в школу в туфлях за 70 рублей, а с другой стороны, завидовать тоже нехорошо. Меня это в самое сердце поразило. Я Коробке на ноги не смотрела, и мне наплевать, в чём она ходит. Пусть хоть в золото оденется,

если б человеком была. Но как же Татьяна могла так сказать? Сама всё время нам высокие материи внушает, а простое слово про справедливость понять не хочет, даже и не пытается, всё на туфли свела. Я очень об этом с тобой хочу поговорить. Я помню, ты однажды сказала, что Татьяне больше не веришь. Но, послушай, как же это возможно? Для чего ей было нас обманывать? Да, я сейчас поняла: когда я ей возразила, что я о правде говорила, а не о туфлях, так она так усмехнулась на меня, будто я хочу её обмануть. Представляешь? У меня сейчас такое чувство, после всего этого, будто я впервые свободно хожу, и людям не стыдно в глаза посмотреть. Но всё Татьянино лицо из ума не идёт, как она этак усмехнулась. Не просто противно, а как-то не по себе мне от этого стало, и очень хочу с тобой об этом посоветоваться. Ну ладно, целую тебя, поправляйся и больше никогда не смей так болеть!

Твоя Саша».

Аня положила письмо на постель и оглянулась на Женю. Та стояла, потирая лоб рукой, и сосредоточенным взглядом обводила свои вещи: чемодан, плащ на вешалке, книги на столе.

– Что в телеграмме?

– Славик заболел – я уезжаю.

– Ребёнок у тебя заболел? – переспросила Дуня. – Да неужели? А я смотрю – телеграмма, ещё до ужина принесли, я хотела захватить в столовую, да забыла.

Женя начала складывать вещи.

– А ты мужу позвони – может, он сам справится? А то как же: и путёвка пропадёт, и ты так больная и останешься? – Дуня всё не могла успокоиться. Аня не могла выговорить ни слова.

– Как же я тут останусь? – отозвалась Женя, запихивая в чемодан свой линялый свигер.

– Да, – вздохнула Дуня, – мужики – они что могут? Так, гляди, ребёночка и загубит...

Когда все легли спать, Женя ещё продолжала собираться. Надя потребовала, чтобы выключили свет, и в темноте, стараясь не шуметь, Женя складывала книги.

– Ты мне напишешь, когда он поправится? – шепотом спросила Аня.

– Ага. Дай мне свой адрес.

Аня встала и босиком подошла к окну: в блокноте, призрачном от лунного света, кое-как нацарапала адрес.

...Аня проснулась – Жени в комнате не было. Аня кинулась к окну: внизу, в бледно-жёлтом воздухе ранних сумерек, Женя уходила в гору, сгибаясь под тяжестью рюкзака. Аня хотела помочь ей нести вещи, – но теперь её уже всё равно не догонишь.

(окончание следует)



Арнольд Денкер ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО Я НЕ МОГ ОТКАЗАТЬСЯ

Перевод с англ. и предисловие Льва Харитона

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Арнольд Денкер... Имя этого американского шахматиста навряд ли хорошо известно нынешним любителям древней игры. А ведь в 1944–45 годах он дважды становился чемпионом США, и впоследствии Международная шахматная федерация присвоила ему звание гроссмейстера. Автору этих строк довелось познакомиться с Денкером осенью 1984 года, когда в Москве проходил первый матч за шахматную корону между Антолием Карповым и Гарри Каспаровым. Я работал тогда переводчиком в пресс-центре матча, и одним из моих «подопечных» был Денкер. В один из вечеров гроссмейстер преподнес мне подарок – свои мемуары. Большею частью они касались его шахматной жизни, его друзей и соперников, Нью-Йорка, в котором он прожил всю жизнь. В одну из наших встреч он высказал свое пожелание, чтобы я перевел когда-нибудь хотя бы один из его рассказов. Это был очень давно, и, наконец я решил сделать небольшой перевод из книги Денкера. С ним и познакомятся читатели.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО Я НЕ МОГ ОТКАЗАТЬСЯ

Когда становишься чемпионом США – независимо от того, в каком виде спорта, – то всегда получаешь массу самых необычных деловых предложений. И хотя я выиграл первенство по шахматам в 1944 году – не самое популярное тогда времяпровождение, – тем не менее я получил немало невероятных предложений.

Одно из них было от компании по уборке мусора в Южной Неваде. Мне предлагали пост президента этой компании, при этом уже стартовая зарплата была баснословной. Но когда я узнал, что компания находится в руках мафии, я, понятно, даже думать перестал об этом предложении. Было предложение и от одного фермера в Нью-Джерси. Он полагал, что если я настолько умен, что стал чемпионом США по шахматам, то наверняка найду способ, как увеличить количество и вес его цыплят...

Короче говоря, было много предложений, планов, было и много всякой «липы». Но все безрезультатно. И вот, когда казалось, предложения перестали поступать, раздался телефонный звонок от некоего господина Кобака, у которого была аптека в Хартфорде, в штате Коннектикут.

Шел 1946 год. Кобак прочитал, что я еду в Москву играть в матче на десяти досках между СССР и США. Холодная война уже началась, и Госдепартамент США надеялся улучшить отношения между двумя сверхдержавами, организовав международное соревнование. Кобак предложил где-нибудь отобедать, чтобы за едой обсудить одно дело, выгодное, как он выразился, для нас обоих.

Через пару дней мы встретились в небольшом немецком ресторане на 14-й улице в Нью-Йорке. Кобак, невысокого роста и ничем не примечательный человек,

пришел вместе со своей единственной дочерью, брюнеткой с зажигательным взглядом. Ей было лет 30. В руках у Кобака была толстая папка, наполненная картами, чертежами, вырезками, картинками, с помощью которых он объяснял свою историю.

Семье Кобак в свое время принадлежала единственная аптека в Туапсе, маленьком русском городе на Черном море. Именно в этот город за 30 лет до этого бежали многие русские аристократы, спасаясь от большевиков. Кобаки разбогатели на золоте и бриллиантах, помогая переправлять беженцев в Турцию. Но самим Кобакам пришлось в конце концов спасаться, когда коммунисты узнали, чем они занимаются. Уходя из Туапсе, они зарыли все свои сокровища в потайном месте.

Старик показал мне на картах, где нужно было искать клад. Он даже дал мне фотографии своих родственников, изображенных прямо перед входом в аптеку. «Все эти годы, – сказал он голосом, пораженным эмфиземой, – я надеялся что власть там переменится, но теперь мне ясно, что при моей жизни это не произойдет. Мне бы хотелось, чтобы моя дочь могла насладиться этим богатством». Кобак сказал, что русские готовы поделить с ним клад «фифти-фифти», то есть на равных, так как им нужна твердая валюта, и он попросил меня представлять его интересы. «Половина всего, что вы сумеете отвоевать, – заключил он, – будет ваша, и по самым скромным подсчетам, это будет полмиллиона долларов».

Голова у меня пошла кругом. Половина миллиона долларов, может быть – больше! Такое бывает только в кино! Я мог разбогатеть. И для этого мне не надо было работать! От такого предложения я не мог отказаться.

Неделю спустя, в августе 1946 года, я отправился в Гронинген играть в первом большом послевоенном турнире. В нем участвовали лучшие шахматисты, и главное, самые сильные советские гроссмейстеры. Я старался разыграться, чтобы хорошо потом играть в матче против СССР, запланированном на сентябрь. В Гронингене я сделал интересную ничью с Михаилом Ботвинником, который вышел на первое место на пол-очка впереди Макса Эйве.

В Гронингене, однако, мне было не до шахмат. Я думал только о том, с кем из советских я могу поделиться моей тайной. Мой выбор пал на Сало Флора, знаменитого чехословацкого гроссмейстера, который поселился в Москве после того, как его страна была оккупирована нацистами в 1939 году. Во время турнира мы подружились и часто беседовали. Помню, как в Гронинген прилетела моя жена Нина и привезла из Нью-Йорка подарки для Раисы, жены Флора. Казалось естественным, что именно к Сало я должен был обратиться с рассказом о моем «деле». К моему удивлению, на него вся история впечатление не произвела, и он воспринял ее как нечто вполне обычное. Он пообещал организовать в Москве встречу с соответствующими должностными лицами.

Специалисты по советской истории уверяют меня, что такое легкое общение между западным человеком, с одной стороны, и подданным империи Сталина, с другой, было обычным явлением. Объяснение состоит в том, что даже в сталинском «железном занавесе» были то тут, то там щели – именно используя их, диктатура могла удовлетворять свои интересы. Например, охотники за богатствами вполне могли оставаться безнаказанными – при условии, что они были аполитичны и от них шли поступления в твердой валюте на соответствующие счета в советских банках. «Поройся в моем кошечке, а я пороюсь в твоём» – такова была философия советской диктатуры.

В первый же день в Москве Флор позвонил мне и сказал, что все устроено и что он заедет за мной утром на следующий день. Мы встретились в гостинице

«Москва», и я был представлен двум людям, которые выглядели именно так, как, по моему представлению, должны выглядеть агенты тайной полиции. Мы немного поговорили, и они согласились организовать все так, как я даже и не мечтал. Дележ денег – никаких проблем. Поездка в Туапсе – и опять никаких проблем. Мне будет предоставлен частный самолет. Единственная проблема состояла в том, как объяснить, что я остаюсь в Москве после отъезда американской команды.

На следующий день Сало с женой приехали рано в нашу гостиницу – у них уже было решение. Нина, моя жена, притворится больной и отправится на несколько дней в больницу. Я, как верный муж, останусь в Москве. План казался разумным, но моя жена не хотела о нем и слышать. «Они отравят меня, – сказала она, – а тебя выбросят из самолета, и все будет выглядеть как естественная смерть». Такое случалось все время, пока царствовал Сталин, и Нина настаивала на том, чтобы возвратиться в США вместе со всей командой.

Что было делать? Проговорив всю ночь, мы решили довериться Сало. Мы вынули наши карты и предложили ему половину нашей доли. Если все получится, думали мы, мы все равно останемся в таком денежном выигрыше, о котором и не мечтали. В свою очередь, Сало обещал дать нам телеграмму, когда клад будет (или не будет) найден. «Встретил Вашего отца в Туапсе» (или наоборот) – таков был наш пароль.

Вернувшись в Нью-Йорк, в ожидании телеграммы я позвонил Кобаку и рассказал ему обо всем. Он тихо выслушал меня, и даже если он не был доволен тем, как я веду дело, он этого никак не выразил. Прошло много недель. Затем пришла телеграмма: «Не встретил Вашего отца в Туапсе». Сердце у меня защемило, и я отправился в Хартфорд, чтобы сообщить грустную новость Кобаку. Он, казалось, был расстроен меньше, чем я – это я объяснял его болезнью. Дочери же его, как он сказал, не было дома – она гостила у друзей. Такова грустная концовка истории, которая могла принести мне горы золота! И все же вскоре я смирился с мыслью, что для того, чтобы заработать, нужно трудиться, и я забыл об этом деловом фиаско.

Много лет спустя кто-то сказал мне, что Сало развелся (по правде, его первая жена умерла) и что он живет с женщиной много моложе его – и в этом не было ничего удивительного, если учесть, что развод в СССР всегда был простой процедурой. Но мое любопытство пробудилось, когда я узнал, что Сало и его новая пасия постоянно ездят в Прагу. Заграничные поездки всегда были накладными для советских граждан. Надо платить не только за проезд. Самое главное, нужно было давать большие взятки, чтобы получить визы. Много позже до меня дошел слух, что Флор и его дама поженились и переехали жить в шикарный номер гостиницы «Украина». Возможно, неожиданное процветание Сало было связано с моими деньгами? Деньгами, вырванными из тайного заточения? Конечно же, шахматный тренер не мог позволить себе жить в гостинице «Украина» среди номенклатурушников.

Многие годы меня мучили сомнения. Последней каплей был рассказ одного еврейского отказника, что он видел Сало и его жену, разъезжающих по Москве в машине марки «Нова-Цейс». Меня взбесило двурушничество Флора. Я потерял сон. Я знал, что не обрету в душе покоя, пока не увижу его.

Однажды (это было в начале 80-х годов) я послал телеграмму Флору, сообщив, что приезжаю в Москву, и попросил его встретить меня в аэропорту. Вместо него пришла женщина, представившаяся как жена Флора и назвавшая себя Еленой. Привлекательная, темноволосая женщина, где-то чуть за 60, она привезла меня в их квартиру. Она объяснила мне, что Сало нет дома и что мы увидим его завтра.

Неудивительно, думал я, ведь он читает лекции и ездит по всей стране. Ночью я выспался, и после отличного завтрака Елена и я отправились на встречу с моим другом.

По дороге Елена неожиданно призналась, что с Сало случился удар и что он находится в больнице за городом. Самые дикие мысли пронеслись в моем мозгу. Почему она не сказала мне этого раньше? Почему? Почему? Она резко свернула с главной дороги и мы подъехали к уродливому, низенькому зданию.

Когда мы вошли, нас встретила грузная дама, одетая в неряшливый халат. Она провела нас по длинному и темному коридору. Затем она открыла дверь в одну из комнат и оставила нас. В пыльной комнатенке была постель и малюсенькое, с решетками, окно. А постель была столь маленькой, что более походила на люльку младенца, и на ней лежал кто-то с измороженной морщинами шеи и седой головой, повернутой к стене. Неужели это был великий гроссмейстер Сало Флор, или Елена играла со мной в какую-то игру? Я был испуган, смятен и просто не знал, что и думать.

Елена нагнулась и тихо тронула лежавшего за плечо. Я видел, как он медленно повернул голову и взглянул совершенно пустым взглядом. Прошло несколько секунд. Елена что-то шепнула на ухо больному и жестом попросила меня подойти поближе. Когда я наклонился, я услышал такие жуткие крики, какие никогда в моей жизни не слышал. Он пытался что-то сказать, но из гортан вырывались только звуки – не то крики, не то стоны. Ситуация была настолько душераздирающей, что я просто потерял способность соображать. Да, человек этот был похож на Сало, но это был скелет, который весил не больше 30 килограммов...

В комнату вошла та самая сестра, которая встретила нас. В руках у нее был шприц. Скоро наступил покой. Хотя все это продолжалось не более четверти часа, я чувствовал, что совершенно истощен, и, возвращаясь на машине в Москву, не мог произнести ни слова.

Войдя в квартиру Сало, я без всякого стеснения налил себе стакан водки, проглотил его залпом и буквально распластался в кресле. Пока Елена готовила что-то поесть, я начал вглядываться в нее более пристально, ибо меня начало точить чувство, что мы где-то раньше встречались.

Елена, видимо, догадалась, о чем я думаю. «Вы все еще не узнаете меня?», – спросила она. Я признался, что лицо ее мне знакомо. «Должно быть, я сильно растолстела», – сказала она – и дочку Кобака вы узнать не можете!» Боже мой! Я мог видеть какое-то небольшое сходство, но я не мог представить себе, что она делает в Москве. И тут она рассказала свою историю.

После того, как я вернулся в 1946 году в США и привез отцу Елены плохие вести, он отправил свою дочь в Москву, чтобы проверить, правдив ли мой рассказ. Она встретила Сало на одной из его шахматных лекций. Это была любовь с первого взгляда. Она сказала, что после они поженились и жили счастливо до того, как с Сало случился удар. «Все это, конечно, ужасно, – перебил я, – но как насчет моих денег?» «А никаких денег не было», – ответила она. «Откуда же у вас столько денег, что вы так хорошо живете?» Я хотел показать ей, что я не так глуп, и что ее голое утверждение еще не истина в последней инстанции.

Елена подошла к большому комоду и выдвинула один ящик. Она достала из него какой-то весьма официально выглядящий документ и дала мне его в руки. «Это – последняя воля и завещание отца Сало, – сказала она. – Он был одним из самых богатых людей в Чехословакии. Он оставил нам все деньги – поэтому-то мы

постоянно ездили в Прагу. Я подозревала, что вы будете чувствовать себя обманутым, но я также знала, что бессмысленно доказывать нашу невиновность. Вам необходимо было приехать самому и узнать правду. Только представьте ваши подозрения, если бы я дала вам телеграмму с просьбой не беспокоиться, потому что Сало слишком болен, чтобы встретиться с вами!

Возвращаясь в Нью-Йорк, я не мог избавиться от самых разных чувств и мыслей. Ничего себе ситуация! Мне было даже стыдно, что я подозревал Сало и Елену. Она была права – я хорошо сделал, что приехал сам.

И вот тут-то разорвалась первая бомба. Уже во Флориде от кого-то я узнал, что Сало неожиданно поправился, и что они с Еленой переехали в Прагу, где он умер несколько месяцев спустя (на самом деле, он умер в Москве).

Но вторая бомба была посильнее, и она взорвалась, когда я получил номер одного русского шахматного журнала, посвященного покойному гроссмейстеру Флору. В журнале было несколько его лучших партий, список наиболее важных турнирных побед и фотографии, на которых он был снят с другими знаменитыми шахматистами. На одном из снимков он давал сеанс одновременной игры детям, а подпись под фотографией, если мне не изменяет память, была такая: «Ежегодный сеанс Сало Флора в сиротском приюте Марибу – единственном доме, который он знал в детстве».



Анри Труайя

КРУГОВОРОТ

Перевод Эдуарда Шехтмана

Три месяца и семнадцать дней Жан Дюпон искал случая порвать со своей любовницей, не сказав ей при этом: «Я не люблю тебя больше» (слова, которым влюблённая женщина верит с трудом).

Седьмого декабря, в девять вечера, он отправился к ней, чтобы подготовить почву. Как это каждый знает, самое лучшее для такого предприятия – явиться с видом крайней усталости, приправленной лёгкой грустью. По дороге Жан Дюпон мысленно повторял несколько вступительных фраз: «Я немного закрутился сегодня... Не обращай на меня внимания... Ничего, это пройдёт... А, переутомление, что ещё?.. Ты не сможешь этого понять... Да-да, работы у меня невпророт... Лучше расскажи о себе, дорогая...»

Встретившая его «дорогая» выглядела в этот вечер необычно: куда только делался её вид породистой кобылки, хоть сейчас готовой к выезде. Глаза были влажными, нос припухшим, помада расплзлась вокруг губ подобно экземе. Дюпон чмокнул её в щеку, она не поцеловала его в ответ. Она не пригласила его сесть в кресло, где он уютно коротал время каждую среду и субботу вот уже пять лет. Она не прижалась к его мужественной груди с мурлыканьем: «Ты пахнешь улицей», не проворковала ему в ухо: «А я знаю, о чём ты думаешь, маленький негодник!» Всего этого не было. Дениза Паке смотрела ему прямо в глаза, как смотрела бы женщина, которая прячет в своей сумочке флакон с серной кислотой. Вдруг замогильным голосом она объявила:

– Жан, я не люблю тебя больше. Нам надо расстаться.

– Что?

Он стал пунцовым. Удивление и радость оглушили его.

– Дорогой, дорогой! – вскричала Дениза. – Я причинила тебе боль, ведь правда? Но я не могла иначе. Я полюбила другого. Австралийского дантиста. Я ему рассказала о тебе. Он тебя уважает, хоть вы и не знакомы...

Далее развернулась захватывающая сцена. Жан Дюпон, избежавший объяснения, счастливый, словно обретший невесомость, изображал едва сдерживаемое отчаяние: гримаса поражённого электрическим током, прыгающий мускул на щеке, пальцы судорожно вцепились в спинку стула, как в парапёт моста, прерывистое дыхание...

– Я понимаю, понимаю, – стонал он.

А Дениза, встрёпанная, вся в слезах, перешла к подробностям:

– Сначала я сопротивлялась как могла... Но это было сильнее меня, сильнее нас...

– Он твой любовник?

– Да.

– Прощай, Дениза.

– Мы останемся друзьями?

– Нет между нами места дружбе!

– Но мы вынуждены будем видеться каждый день в бюро...

– Я сменю его. У «Французской компании тюбиков и пипеток» найдётся с десяток других контор.

– Ты меня ненавидишь?

– Нет. Я уже пытаюсь тебя забыть

– Ты страдаешь?

Жан Дюпон вспомнил какой-то фильм, где бородатый молчаливый актёр ответил на аналогичный вопрос одним лишь словом: «Ужасно».

И он изрёк:

– Ужасно.

Потом он пошёл к выходу походкой смертельно раненного человека. Когда за ним закрылась дверь, он с шумом выдохнул «уф!», удовлетворённо потёр руки и легко сбежал вниз по крутой лестнице, где пахло пережаренным салом.

На улице свежий ветер влепил ему оплеуху, и он остановился на минуту перевести дух.

Свободен! Свободен! Свободен! Автомобили катили мимо, лаская слух восхитительным шорохом. Прохожие шли с добрыми приветливыми лицами. Витрины магазинов были залиты ликующим светом. Над крышами домов в бешеной пляске зажигались и гасли зелёные, красные, синие буквы реклам. А дождь праздничными хрустальными нитями заткал фонари с их стёклами цвета топшёного масла. Жану Дюпону казалось, что весь мир разделяет его радость.

Возвращаться домой в метро он считал недостойным такого вечера. Такси – вот что надо сегодня. Такси и кино. Кино и кружка лучшего пива после сеанса. Кружка пива и, если повезёт, пикантное короткое приключение, «лёгкая закуска», как называет это коллега Клиш. Вперёд! Несколько такси стояло посредине бульвара Монмартр. Жан Дюпон устремился к ним. Он не пробежал и половины пути, как его оглушил рёв клаксона: невесть откуда взявшийся автомобиль мчался прямо на него. Он хотел отпрыгнуть, но поскользнулся и грохнулся оземь. Две беспощадных фары кололи его пиками лучей... Мигающая неоновая вывеска мазнула красным по мокрому мостовой, словно плонула кровью.

– А-а-а! – только и вырвалось из груди Дюпона.

...Он открыл глаза и увидел грязные башмаки почти у самого лица. А там, высоко, образовав кружок и склонившись, как над глубоким колодецем, месиво незнакомых лиц глазело на него. Страх овладел им. Нестерпимая боль судорогой свела тело. И он снова потерял сознание.

У Жана Дюпона были множественные переломы и бесчисленные ушибы. «Два месяца полного покоя в гипсе», – сказал ему хирург. И добавил: «Вы ещё дешёво отделались».

На третий день после случившегося его навестил в больнице коллега и близкий приятель Жером Клиш.

С лицом скорбным, понимающим, он уселся у изголовья постели и вздохнул:

– Ах, старина, старина...

Действительно, Жан Дюпон являл собой печальное зрелище. Голова его была сплошь перебинтована, оставлен лишь маленький квадрат, в котором едва поместились глаза, нос и губы. По коже будто прошлись рашипилем. Левая рука – в гипсовой темнице. Обе кисти превратились в кули ваты, утыканные английскими булавками... Ввиду тяжести состояния его поместили в отдельную палату.

– Да, не повезло, что и говорить, – негромко отозвался он.

Клиш зябко поёжился.

– И всё из-за женщины! Подумать только!

– Как это из-за женщины?

– Не прикидывайся простаком.

– О какой женщине ты говоришь?

– О Денизе Паке, чёрт побери, о ком ещё!

– Не понимаю.

– Разве не она причина... – начал Клиш.

Жан Дюпон вскрикнул так, будто машина снова подмяла его под себя.

– Ты совсем спятил!

– Не вижу, почему. Дениза мне всё рассказала. У тебя была с ней связь?

– Ну.

– Ты пришёл к ней в тот самый вечер, когда тебя переexало?

– Ну.

– Она сообщила тебе, о чём уже знали мы все, – что любит другого?

– Ну.

– Теперь мой черёд спросить «ну?»

И Клиш торжествующе улыбнулся, как штангист, расправившийся только что с рекордным весом.

– Давай продолжай, – угрюмо сказал Жан Дюпон.

– Дальше всё просто. Узнав, что тебе дали отставку, ты выходишь на улицу и бросаешься под колёса первой же машины.

Дюпон хрипло откашлялся.

– Идиот несчастный, – прошипел он. – Знал бы ты, что вот уже почти четыре месяца, как я сам хотел порвать с ней. Дениза мне только облегчила задачу. Она избавила меня от тягостного разговора, она...

– Занятно! Что-то не приходилось слышать об этом так называемом охлаждении к ней.

– Я порядочный человек, только и всего.

– Одно не мешает другому.

– Послушай, Жером, прошу тебя мне верить, что седьмого декабря, уходя от Денизы, я был счастлив, как сбежавший из тюрьмы, как утопающий, которого вернули к жизни, как...

– И потому-то ты сломя голову бежишь бросаться под машину?

– Но я не бросался под машину! – завопил Дюпон. – Я поскользнулся, я потерял равновесие – и всё, и ничего больше!

Клиш омерзительно ухмыльнулся с видом человека, которого не проведёшь на мякине.

– Вот как? Жаль только, что свидетели придерживаются другого мнения. «Это могло быть лишь актом отчаяния», – так они говорят в один голос.

Жан Дюпон задохнулся от ярости.

– Негодяй! Негодяй! – сипел он. – Но Дениза? Что она? Вы её спрашивали в бюро? Она-то что говорит?

– Она нам сказала, что ты стоял совершенно потерянный, что она виновата: ей надо было быть бережней с тобой, поделикатнее.

Лицо Дюпона стало мокрым от пота. Он поднёс свою большую белую лапу снежного человека к подбородку, чуть сдвинул бинты. Дыхание его было неровным. Взгляд пьяного, если не сумасшедшего.

– Ну ладно! – сказал он наконец. – Так и быть. Признаюсь тебе кое в чём. Я не только не люблю Денизу, я ненавижу её. Если б мне принесли её на блюде голой, я бы сказал: «Нет». Она тупа, бесцветна, толста до отвращения. У неё скверные зубы. Она ходит как утка. Не умеет одеваться. У неё пальцы детоубийцы.

– А, причины всегда найдутся, – Клиш хитро прищурился.

Опустошённый, сломленный, Жан Дюпон елозил головой по подушке.

– Сказать правду, – продолжал Клиш, – весь этот камуфляж меня удивляет. Ну что тут постыдного, так любить женщину, чтобы желать умереть, если она разлюбила?

Дюпон прикрыл глаза веками, словно собирая все свои силы к последнему прыжку.

– Клиш, – произнёс он голосом умирающего. – Я больше не хочу тебя видеть. Уходи отсюда. Убирайся. И чтобы впредь ноги твоей здесь не было.

Но Клиш, казалось, оглох. Со снисходительной миной на лице он поправлял на раненом одеяло.

– Агусеньки-агу, – приговаривал он. – Ты крутишься, раскрываешься, так и простудку схватить недолго. Ах ты, мой миленький..

– Не смей называть меня «миленьким»!

– Кстати, ты знаешь, наш шеф Маландрен собирается к тебе сегодня вечером?

– Я его выпру! – вдруг взвизнул несчастный. – Выпру его! Я выпру всех!

Он приподнялся на локте, но острая боль в плече пронзила его, и он рухнул, словно тюк, обратно в подушку. Сквозь туман, поплывший перед глазами, он видел, как Клиш встаёт, надевает пальто, нахлобучивает шляпу с уныло опущенными полями. Потом он услышал удаляющиеся шаги.

Спустились зимние сумерки, когда пожаловал мсье Маландрен. Это был круглый маленький человек с лицом, заплывшим жёлтым жиром, носик – шишечкой и чёрные блестящие глаза-бусинки.

– Ну-ну, – начал он, примазываясь на стуле возле Дюпона. – Орёл! Вы можете гордиться, что взорвали мирную жизнь нашего бюро.

– Вы так любезны, – буркнул потерпевший.

– Но каков сюжетец, а? Вы знаете, что я вами восхищаюсь?

– Ради бога, почему?

– Это прекрасно – любить до самозабвения, презирать самоё смерть!

– Но я как раз не любил и я не презираю смерть!

– Друг мой, – вкрадчиво сказал мсье Маландрен, склонившись к квадрату, свободному от бингов. – Мне 47 лет. Но я тоже, тоже был молод. И скажу вам просто, без затей: «Я понимаю вас. На вашем месте я поступил бы, возможно, так же». Мужчины спокойные, ведущие размеренный образ жизни – они-то и способны в сердце своем вскормить необузданную страсть!

Жан Дюпон, изнурённый утренним визитом, лишь слабо протестовал:

– Это просто несчастный случай... Совсем не самоубийство, мсье Маландрен...

Шеф улыбнулся с благодушием отца семейства:

– Вы славный малый и ваша скромность делает вам честь. Вы знаете, что я просил мсье Мурга ускорить ваше продвижение по службе?

– Спасибо, мсье Маландрен, – пробормотал Дюпон, – но клянусь вам...

– Дайте-ка мне вашу руку, дорогой юноша. Мы две родственные души. Мы понимаем друг друга с полуслова.

И мсье Маландрен пожал пухлыми пальчиками громадную забингованную конечность своего подчинённого, распятого не на больничной койке – на жертвенном алтаре любви!

Снова оставшись один, Дюпон погрузился в размышления. Всё в нём протестовало против романтической интерпретации его коллегами этого несчастного случая. Без сомнения, Дениза Паке лопалась от гордости при мысли, что он искал смерти из-за неё. И, конечно же, она охотно согласилась с ролью роковой женщины, этакой потрошительницы мужчин. Она, верно, пыжится сейчас вовсю, говорит «бедняга», упоминая о нём, нацепила фальшивые драгоценности в старинной оправе, губы сделала на размер больше с помощью помады цвета бычьей крови, а из ресниц – обувную щетку. Как же ему не повезло! Он, который совершенно охладил к ней, который решил бросить её куда раньше, чем она обнаружила то же намерение по отношению к нему, он-то и оказался в дурацком положении отвергнутого воздыхателя! В глазах всех – он жертва, выжатый плод, потерявшая интерес игрушка, которую капризный ребенок ударом ноги загоняет под шкаф...

Но после разговора с мсье Маландреном в Дюпоне ослабла уверенность, так ли уж обоснован его гнев. Если разобраться, похоже было на то, что симпатии на его стороне. Люди почтенные, уважаемые осуждали поведение Денизы и восхищались его поступком. Мысль, что из-за женщины можно захотеть умереть, была лестна всем его сотрудницам да, пожалуй, и нескольким сотрудникам. Но, о господи, ведь он не хотел умирать из-за неё! Оснований восторгаться им было так же мало, как у Денизы – кичиться собой. Он тоже, выходит, обманывает всех. Он тоже не заслуживает эпитетов, которыми его награждают. А, чёрт, ну почему не хотят ему верить?

Жан Дюпон провёл ужасную ночь. Когда он под утро заснул, ему приснился странный сон: большая чёрная обезьяна передразнивает все его движения, под конец она принимается работать за его столом в бюро...

На следующий день после обеда, его навестила машинистка со службы – аппетитная девушка, крашенная, завитая и говорунья.

– Это прекрасно, что вы так поступили! – воскликнула она и покраснела. – Вы её без памяти любили, так ведь?

Жан Дюпон чувствовал себя как на эшафоте. Он хотел ей объяснить всё... но решимость оставила его, он отвернул голову к стене.

– Ах, если бы все мужчины были такими, как вы, – щебетала она. (Легко было догадаться, что имеются в виду не все, а кто-то один из них). – Вы сильно страдали?

Жан Дюпон вперил в неё долгий взгляд. С беспокойством она ждала ответа. Она боялась разочарования. И он пожалел её. Он промямлил через силу:

– Пришлось... э-э... нелегко.

– Вы решились на такое внезапно?

– Да... то есть, нет... в общем... разве в такие минуты рассуждаешь?

Он умолк. Собственная ложь одновременно и удивила его, и была ему противна. Ему было стыдно, что превозносят его за заслуги, которых на самом деле не было.

– Когда видишь таких мужчин, как вы, снова веришь в любовь, – голос гостьи вибрировал.

Жан Дюпон напустил на себя смущённый вид:

– Не будем об этом больше, – прошептал он.

Машинистка, восхищённая, ретировалась.

В последующие дни ему нанесли визиты ещё несколько сотрудников. И все они свидетельствовали своё уважение его истинно рыцарскому поведению, повелительной силе его чувств. В почте на своё имя он нашёл несколько анонимных писем и записок, согревших его измученное сердце.

«Я б хотела, чтобы меня любили так, как умеешь любить ты». Подпись: «Неизвестная блондинка».

Попалось даже одно четверостишие:

Умереть пожелавший из-за неё,
Для меня не захочешь ли жить?
Длить не в силах, о нет! я томленья своё...
Я твоя – стоит лишь помянуть.

И подпись: «Одна из коллег, умеющих ценить возвышенную страсть».

Мало-помалу речи визитёров обоего пола начали расшатывать его, казалось, непоколебимое представление о случившемся. Жан Дюпон силился вспомнить в подробностях, что у него было на уме, когда он отправился к Денизе в последний раз. Действительно ли у него было желание порвать с ней? На самом деле он почувствовал облегчение, узнав, что она разлюбила его? Верно ли, что он сказал «уф», захлопнув за собой дверь? Конечно, в тот злополучный вечер он не испытывал к Денизе пылких чувств, что были когда-то. Но нежность к ней, нежность оставалась неизменной. Он, должно быть, тайно страдал, видя, что она предпочла ему австралийского дантиста. Он не хотел в этом признаться ей, признаться себе – ведь самолюбие его было уязвлено. Но в глубине его души кровоточила рана, которая не вполне ещё, наверно, зажила и теперь. Когда этот автомобиль нёсся на него, может быть, у него было время вернуться? А когда он упал, не бессознательный ли импульс удержал его на месте? Не то, чтобы он бросился под колеса, нет. Но если он оказался на их пути, то потому, что не чувствовал более вкуса к жизни.

«Вот она, истина, единственная подлинная истина», – решил он.

Когда Жером Клиш вновь пришёл к нему и задал вопрос: «Ну, как наш моральный дух?», Дюпон вяло промолвил:

– Хвастать нечем, старина. Всё то же.

Он заговорил о Денизе... Спрашивает ли она о нём? Как она выглядит: печальной, угнетённой, может быть, виноватой? Думает ли придти к нему в больницу?

Клиш, запинаясь, вынужден был ответить, что Дениза Паке даже не интересуется его здоровьем.

– Она такая же гордая, как и я, – кротко заметил Дюпон. – Она не хочет подавать виду, что жалеет меня.

После ухода Жерома он позвал сиделку и попросил сходить к нему домой, принести коробку из-под богинок, перевязанную бечёвкой. В ней он хранил письма и фотографии своей любовницы. Он принялся перечитывать длинные послания, каждая фраза которых будила рой дивных воспоминаний. Он надрывал себе глаза и сердце в молитвенном созерцании снимков той, из-за которой – о, это так возможно! – он хотел умереть.

Почему она не навещает его? Ведь она виновата в том, что, произошло. Она это знает! Боится ли уступить состраданию? А, может быть, её страшит, что она не совладеет с собой и всё у них начнётся сначала?

Сиделка под его диктовку написала записку: «Дорогая Дениза, я тебя прощаю. Жду. Приходи. Жан». Прошедшая после этого недели была тяжким испытанием для его нервов. Он вздрагивал при малейшем шуме в больничном коридоре. Однажды к нему забежал старый приятель – Дюпон разговаривал с ним, злобно морщась. Вскоре обескураженные коллеги перестали его навещать.

Один бесконечный день сменял другой; заброшенный всеми, он стал задумчив, порой разговаривал вслух, нет-нет да слезинка скатывалась по щеке и падала в бинтах. Он обращался к фотографиям Денизы. Он отвечал на свои собственные слова так, как хотел, чтобы отвечала она. Временами, сдерживая стон, он кусал подушку. Сиделки уже начали беспокоиться за него и шептались между собой, что «эта женщина» сведёт его с ума. Тем не менее они снова и снова соглашались писать под его диктовку Денизе Паке. Все эти письма оставались без ответа.

К концу второго месяца Жана Дюпона выписали из больницы. Врач разрешил ему прогулки не более часа. В первый же раз, выйдя из дому, он отправился к своей гордой подруге. Взобравшись на пятый этаж и остановившись у двери Денизы, он почувствовал такое сердцебиение, что должен был прислониться к стене. «Сейчас я увижу её, сейчас увижу, – повторял он себе, – и всё будет как прежде!» Он позвонил. Никто не отозвался. Он позвонил снова. Потом в третий раз, в четвёртый... После каждого звонка в квартире воцарялась тишина, леденившая ему душу. Он ударил кулаком в дверь.

– Эй, что вы там стучите! – донёсся снизу строгий голос. Жан Дюпон перегнулся через перила и увидел поднимающегося к нему консьержа.

– М-м... будьте любезны... мадемуазель Дениза Паке... где она сейчас?

– Кто её знает, уж недели три, как съехала.

– Три недели?

– Ну да, сразу после свадьбы.

...Медленно – ступенька за ступенькой – Жан Дюпон опустился по лестнице. Потом он вышел на улицу. Потом два часа бесцельно бродил в соседних кварталах, пришибленный, несчастный, но вместе с тем очень спокойный. Странная жизнь началась для него – без всякой связи с прожитым до этого дня. Он смотрел на куда-то спешащих людей, на освещённые витрины и что-то похожее на удивление охватывало его при мысли, что вот... мир продолжает существовать, но он уже не принадлежит этому миру.

Он очутился на бульваре Монмартр. Сял мелкий дождик. Сполухи неоновых реклам с унылой монотонностью повторяли себя на залитых водой мостовых. Вдали мокло в неподвижности стадо такси. На чёрном небе теснились фиолетовые тучи.

Взвизгнув тормозами, из-за поворота вынырнул автомобиль и понёсся в брызгах вдоль бордюра. Жан Дюпон втянул голову в плечи, прижал локти к бокам и, когда до машины осталось три шага, бросился ей навстречу.

Разящий удар, тысяча игол, сноп молний... К нему подбежали – он был мёртв.



Александр Левинтов
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

**Коммунальные
воспоминания**

мышами пахнут
углы, подвалы;
пелёнки малых
желтеют пряно;
скрипят до рвоты
ночами койки
а утром морды
фырчат у мойки,
всё воскресенье
стучат костяшки,
опять веселье
у рыжей Пашки,
а после драка
стеной на стенку,
в вечернем мраке
кровища с пенкой,
воняет дурно
маргусалином
тут каждый умный,
клин выбьет клином,
еврей селёдку
до смрада жарит,
что задохнёмся,
его не парит;
а сколько визгу
от тёти Клавы,
но мы без риску
ей соль в какаву
читает Толик
«Трёх мушкетёров».
устал до колик
пердун матерый,
у телефона
шебечет Райка,
глупа и томна
как «Угадайка»;
опять в колхозах
всё уродилось

и до морозов
— заколосилось,

то сев по зяби,
то зыбь на север;
в парадном хляби,
а в сене клевер,
идем из бани,
слегка помывшись,
по-тараканьи
снуя обмылком,
в «Продуктах» ныне
снетка купили,
горчит польнюю
сухарь с ванилью;
мне бред тот давний —
как не со мною,
закрою ставни,
махну рукою.

Андрюшка

Я только поступил в Университет, еще хожу на все лекции и выгляжу как надраенный мелом пятак, а тут такое семейное событие: у Светы родился сын.

Это был огромный семейный праздник, не однодневный, а просто начавшийся с 24 октября и все продолжающийся и продолжающийся.

Больше всех радовался дед — ведь он впервые стал дедом, ему было тогда всего 42 года, а он уже — дед!

И ему нравилось быть дедом, он уже предвкушал время, когда не один — целая куча внуков будет вертеться вокруг него. И, конечно, первого своего внука он обо-жал.

Это праздничное настроение передалось и мне — помню, подарил своему первому племянцу первую стипендию, 22 рубля. Тогда это были приличные деньги.

По ночам Андрюшка давал всем прикурить — горласт был. Чуть позже выяснилось — бронхиальная астма, все время на грани выживания (у моего младшего внука Димки тот же страшный диагноз, инвалидность, та же жизнь в ограничениях и под дамокловым мечом кризиса).

Так он и рос — цепляясь за жизнь. Но зато — весельчак (как и Димка, очень похожий на него, такой же щуплый и белобрысый).

Потом они уехали в Красноводск, место, не совсем приспособленное для жизни, особенно для цивилизованной жизни и больного ребенка. Уж сколько Света там намучилась и настрадалась с Андрюшкой — а ведь, поди ж ты: теперь помнится только фотография — голопузый пацан, стоя в детской кроватке, уписывает здоровенный арбузный шмат, больше своей головы раза в два. Чего-чего, а вкусно поест — это он умел мастерски с самого раннего.

Когда Козочкины уезжали в Минск, провожали их на Белорусском вокзале всем наличным семейством. Кто о чем, а мы с Андрюшкой дурачились и смеялись друг другу до животиков:

- дядя Саша, ты похой
- а Андрюшка нехооший
- а ты похой
- а ты нехооший

Надо же, какими мы были дураками, один большой, а другой маленький.

Тревога за Андриюшку и его жизнь не покидала семью всегда, но особенно, когда его призвали в армию, в САВО (Среднеазиатский военный округ), в автовойска. Шла нелепая и преступная афганская война, репетиция чеченских войн и отработка военно-финансовых технологий. Андриюшка, слава богу, в Афган не попал, но... местный комиссар, по тогдашнему, не политрук, а зам по полигработе (так, кажется), приказал «дедам» избить пацана за то, что он москвич, астматик, за то, что как все москвичи, спор на язык и балагур, за то, что он – сын подполковника. Те, конечно, постарались, помимо всего прочего, отбили почки, врачи в госпитале чудом спасли... Витя ездил в САВО, как-то свел концы с концами и провел самостоятельное расследование этого преступления, с огромными трудами как-то утряс дело и спас сына, но – реального наказания никто, кажется, не понес: армия.

... шли годы. Андриюшка стал Андреем Викторовичем, степенным, хозяйственным, ответственным главой семейства и отцом быстровзрослеющих сыновей, но – с каким азартом он поедал салат оливье и рассказывал анекдоты! – для нас он так и остался Андриюшкой, любимцем Семьи и несправедливой жертвой тяжелых внешних обстоятельств.

Розка и Васена

Те зимы, зимы моего детства, были морозны и снежны – страна никак не могла оттаять от немного ужаса войны, да и Сталин был не только жив, но и казался бессмертным, и этот бесконечный гнет делал зимы особо суровыми.

Жили мы в военном городке одного из самых забытых и зачуханных областных центров страны, славившегося тем, что здесь сливались как-то уж очень быстро и безнадежно.

Окна нашей комнаты выходили на железную дорогу, что пробегала мимо гарнизонного забора, а до забора шел небольшой парк редко посаженных деревьев. Сквозь радужные узоры на окне от летящего по гулким от стужи рельсам паровоза была видна только черная труба и за ней – белый хвост пульсирующего пара. К Москве поезда мчались, из Москвы – подползали усталые: оставался всего километр до нашего вокзала.

Это сейчас бродячие собаки живут и в городе и за городом, а тогда они жались к жилью и городу, потому что в лесах и полях хозяйничали и разбойничали волки. Их было очень много. Правительство платило по сто рублей за каждого убитого волка, но держать, тем более использовать ружья было запрещено, за это оно давало пять лет.

Где грелись бедные бродячие собаки, никто не знал, потому что их отовсюду из тепла гнали, а стужа везде стояла страшная, колочая. Может, догадывались под снег зарываться? Жрали же они все подряд, даже собственные промерзшие говны. От одного этого вида жратвы меня мутило и выворачивало, а они давились, рыгали, но все-таки глотали эту мерзлую гадость.

К нам прильнула Розка, худющая и долговая сука с мученическим взглядом и в светло-рыжей демисезонной, явно не по погоде, шкуре.

Родители смотрели сквозь пальцы на то, что мы ее подкармливаем, но вообще-то нам особо нечем было ее порадовать и побаловать: работает только отец, а пять человек детей подчищали все так, что тарелки особо и мыть-то было не надо. Кости? Но ведь мясо мы ели далеко не каждый день. Тем не менее, что-то к концу дня у нас все-таки накапливалось для Розки, и кто-то из взрослых детей, тех, кто

уже ходил в школу, выдавал собаке ее паек. Двое младших только наблюдали. Всем пятерым было строго-настрого запрещено гладить и вообще трогать собаку – да мы и сами знали по своим одноклассникам, что такое стригучий лишай и прочие собачьи радости.

Розка была пуглива и робка, как газель, и с таким же печальными и все понимающими глазами. Голод и холод делает человека и зверя мудрым и понимающим.

Однажды искристым солнечным утром, которое прямо из Пушкина: «Мороз и солнце! День чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный!», в нашем маленьком парке раздалась пальба. Мы было рванулись к нашим валенкам и пальто, но мама строго сказала: «Нельзя! Еще ненароком подстрелят вас» и разрешила выйти и во двор лишь через час, после того, как стихли выстрелы.

У горки, где мы обычно катались на санках и без них, валялась наша Розка. Она уже совсем замерзла и заоченела, а мы глотали слезы и не могли кататься.

«Живодеры» – коротко объяснила мама. Она так произнесла это слово, что я на всю жизнь сохранил к этим людям ненависть и непонимание.

А Васена сначала была котом Васькой, шустрым и очень ласковым котенком серой масти. Васька жил у нас, зимой мы его не выпускали – собаки сожрут. А летом Васька лазал по деревьям и крышам сараев, мышковал. Дома мы его мыли в тазу, с мылом.

Потом он оказался Васеной.

Васена ушла из дому, а через несколько дней мы нашли ее за сараями со смешными комочками, с котятками.

Мы побежали домой сказать маме, что Васька стал Васеной и что у нее котята и можно их перенести домой?

Мама разрешила, но мы опоздали.

Мальчишки из нашего дома положили слепых котят у стены и забили их камнями. Те очень тоненько пищали, вертели слепыми головами и дрожали тоненькими мышинными хвостиками. Мы подросли, когда еще жив был последний, но он уже был весь раскалечен.

Потом я дрался с каждым из тех, кто участвовал в побоевении, один на один. И победил всех, даже тех, кто был сильнее меня – так я был зол.

Живодеры-кошкодеры поймали Васену и всех других кошек, когда я был в школе. Это случилось первого сентября. Я носился меж домов в надежде, что вырву у них нашу Васену.

Но они уже уехали.

Мой друг Женька Каверин

Он родился в Калуге в начале сентября 1942 года, почти через год после того, как город заняли немцы. Худющий, болезненный, белобрысый, горбоносый. Отца не было. «Он ушел» – ответила однажды на его вопрос мама, потому что ей больше нечего было сказать. Он ушел со своими на Восток, может, где-нибудь там, под страшным смертельным Ртищевым и остался, может попал в плен и уж совсем вряд ли вернулся домой – солдаты с той войны редко возвращались домой.

Отчество он получил по мужу своей мамы, который пропал без вести в первые недели войны и так ни разу не нашелся. Старшая сестра, Светка, едва помнила его – в начале войны ей было три годика.

Когда вернулись наши, маму много раз таскали и в военную комендатуру и вызывали в особый отдел. «Изнасиловали» – коротко объясняла она ситуацию с

Женькой. Ее обзывали подстилкой и другими словами, но соседи, те, что оставались в зоне оккупации и потому насмотревшиеся и натерпевшиеся всякого и от чужих и от своих, не выдали ее и никто не сказал, что немец приходил к ней почти до самого нового года, пока их часть не двинули дальше, на Тулу.

Когда Женька пошел в школу, школьная врачиха сказала маме: «Не жилец» – сильные остатки рахита, явная анемия, туберкулез в ранней стадии, общая дистрофичность. «На всякий случай отдай его в какой-нибудь спорт, чтоб побольше двигался, может, выскочит».

Женька стоял рядом с мамой и в нем ходуном ходила злость – на врачиху, на школу, на весь свет: он не хотел просто так умирать.

Ни в одну секцию его не взяли – сопля без мускулов.

Когда он учился во втором классе, во дворе мужики врыли в землю четыре столба и на них положили огромную доску. Так появился в Калуге и Женькиной жизни настольный теннис. Еще до настоящих холодов он стал общепризнанным королем двора в теннису. Даже из больших мальчишек никто не мог устоять против его точных и сильных ударов, производимых звонкой фанерной ракеткой, обклеенной с двух сторон тонкой аптечной резиной.

Через год он был принят в секцию настольного тенниса при городском дворце пионеров по три раза в день ездил на трамвае туда, возвращался домой поздно, взмокший и то гордый, то злой, в зависимости от того, как шла в этот день игра.

В школе он учился неплохо, благодаря сестре Светке, шедшей на четыре класса впереди него и круглой отличнице.

В 14 лет он стал чемпионом города среди школьников и впервые выехал на всесоюзные соревнования. В 9-ом классе он стал чемпионом СССР среди взрослых. Его манера игры отличалась умом, мощной атакой, злым и упрямым характером, позволявшим ему вытягивать безнадежные мячи, сету и партии.

В Калуге он был кумиром и потому привык быть кумиром. Он рано узнал вкус денег, успеха и женщин: настольный теннис сделал его сильным, накаченным, хотя и с явными отклонениями в фигуре: правая рука и плечо были заметно более развиты. Короткий жесткий ежик почти скрывал его соломенную блондинистость, которую он с детства ненавидел и пытался скрывать.

В Москве он без усилий поступил в Университет, сначала на один факультет, потом перевелся на другой: к этому времени он был уже восьмикратным чемпионом страны: в одиночном, парном, миксте и командном первенстве, дважды был на чемпионате Европы и даже был на чемпионате мира в Китае, где занял неожиданно высокое, восьмое место в одиночном разряде, первый из европейцев после семи китайцев.

В Университете, несмотря на индивидуальный учебный план, он не стал отрезанным ломтем: щедрый, компанейский, лишенный чванства, он был «как все», и это его устраивало.

На третьем курсе он чуть не завалил всю свою карьеру. Бес, он же приятель по сборной, попутал его купить триста долларов.

Сделка была совершена в такси, и Женька сразу почувствовал нечто недоброе в коротком общении с двумя фарцовщиками. Он позвонил сестре, вызвал ее с работы на улицу и все рассказал. «Немедленно иди на Лубянку и сдай эти проклятые доллары».

Он так и сделал. Потерял 600 рублей, отданных фарцовщикам, оказавшимся, конечно же, сотрудниками КГБ. Его хотели выгнать из Университета и посадить

на три года. Лишили всех шестнадцати званий чемпиона страны и мастера спорта. Из сборной, естественно, выгнали и сделали его невыездным.

Этот кошмар длился два года.

В конце учебы он женился. На еврейке. Ко всем евреям он испытывал не просто симпатию, а неистребимое и необъяснимое, глубинное чувство вины. Из общезжития он переехал к жене, дочке какого-то ученого филолога, жившего в писательском доме на Красноармейской, в тылах метро «Аэропорт».

У них родилась дочка, которую Женька очень любил.

Дочь пошла в маму, которая с каждым годом все больше макияжился, материлась и пила. Он и сам пил немало, а, главное, безмерно, жадно, до злого осатанения.

В сборную он все-таки вернулся. Но там уже главенствовали другие люди и другие порядки. Его лучшего тренера, литовца, посадили за какие-то махинации – и за Женькой потянулся длинный и неприятный хвост. Ему разного рода намеками ставили лыко в любую строку – и по поводу его валютных сделок, и подозрительно хорошего немецкого, и бесследной пропажи сотни фирменных накладок Dunlop, и скрытых от таможни 120 рублей при выезде на отдых в Болгарию.

Иногда он находил в своем почтовом ящике «Посев», «Континент» или еще нечто подобное, нес это на Лубянку, а там криво улыбались и благодарили: «Это мы сами Вам положили, для проверки».

Из активного спорта пришлось уйти – на тренерскую работу: те же выезды, те же мелкие гешефты, только нервотрепки стало неизмеримо больше. Он узнал, что такое интриги в спорте и как могут подставлять и продавать самые, казалось бы, верные и тертые люди.

Он все-таки достиг вершины – стал гостренером, распределителем фондов, ресурсов, благ, наград и наказаний. В его ведении оказался настольный теннис, большой теннис и почему-то бобслей, которого в стране тогда не было. Но это продлилось недолго.

Будущий глава теннисной мафии, а в те времена простой чемпион СССР Тарпищев с товарищем решил как-то проиграть своему постоянному партнеру, тогдашнему министру обороны Гречко. После проигранного сета маршал молча сел в свою машину и уехал, оставив двух чемпионов страны страдать и мучиться вопросом, что же теперь будет?

А Гречко, вернувшись в свой кабинет на Фрунзе, тут же вызвал к себе дрожащего от страха министра спорта Павлова:

– я твоих сраных чемпионов СССР в теннис обыгрываю, а у меня даже никакого спортивного значка нет.

Примчавшись к себе в офис на Калининский и приказал выписать маршалу звание и значок мастера спорта по теннису, референт протрусил в кабинет гостренера с устным приказом Павлова. Женька сам неплохо играл в большой теннис, почти на мастерском уровне, не раз видал министра обороны на кортах «Шахтера» в Сокольниках:

– да я этого Гречку с лопатой наперевес обыграю! Хрен ему, а не мастера спорта!

Из своего кабинета Женька вышел безработным, менее года пробыв в Евгениях Петровичах.

Он стал медленно спускаться с вершин достигнутой карьеры: просто тренер сборной, просто тренер «Труда», просто тренер ДЮСШ... тренерская работа на обочине успеха – непрекращающееся пьянство. Друзья уезжали – в Америку, в Гер-

манию, в Израиль. Первыми, конечно, уехали евреи. Один из них, многократный чемпион страны и долгий, постоянный, изнурительный соперник, позвонил перед отлетом в Нью-Йорк:

– ни с кем не хочу прощаться, только с тобой, завтра в Сокольниках, в «Праге», подходи к двум.

И на следующий день сгинул навсегда. Как потом многие другие.

Незаметно Каверин из Женки превратился в Петровича. Бывшая жена с дочкой давно уже в Израиле. Другие женщины были хороши для всего, кроме семьи. Впрочем, для всего остального они тоже становились все хуже.

Ему стало совсем неудобно на этой не совсем родной родине, о чем он помнил всегда: никто, даже самые близкие друзья не знали истории его происхождения, которым он мучился – всегда в одиночку.

Ему пообещали место в детском спортивном клубе Тель-Авива, он, почти не раздумывая, встал на крыло и махнул в страну своего неоплаченного долга.

Сначала все было хорошо. Ему платили по двадцать шекелей в час, но он один раз сорвался, другой – и его просто выгнали с работы. Там с этим просто.

И тут, наконец, спуск замедлился и остановился: падать уже было некуда.

После 60 человек попадает в капкан: не пить уже нельзя и пить уже нельзя, нельзя работать и нельзя не работать, потому что до пенсии еще два года, тратить здоровье уже нельзя и беречь его уже нельзя. Нельзя жить и нельзя умирать.

О нем неожиданно вспомнили, помогли вернуться.

Мы сидим в баре, два полурусских человека. Хотя по нашим опухшим лицам этого не скажешь. Нам есть, о чем молчать и во что не верить.

В ожидании младшего брата

Между нами – неполных три года. И то, что сохранила память об этом самом первом детстве, отрывочно, сумбурно и никак не укладывается в хронологический ряд, но ведь именно эти сорок пять месяцев по сути и определили меня как личность, именно тогда сложился тот гомеостазис, что инстингуирует меня и делает существом с определенным именем и артиклем.

По сути, это – несколько эпизодов жизни, внутренней жизни, прежде всего.

Яблоко

Я лежу в больнице. Темно – в Питере зимой темно почти всё время, и это, стало быть, зима. Я укрыт одеялом с головой – сам так укрылся. Здесь тепло, очень тепло, и от этого болеть лучше, томно, даже уютно. Мне привычно болеть, потому что, когда ты болеешь, ты наедине с самим собой и своей болезнью, и ты совершенно свободен в своих мыслях, мечтах и иллюзиях, основной сюжет которых – моя смерть.

Скрипнула дверь, что разрушает моё уединение. Я делаю окошко в своем одеяле и вижу: ко мне приближается большой человек в военной форме. Это мой папа. Он берет меня на руки и целует, шекоча жесткой щетиной. Потом он опускает меня на кровать и дает огромное темно-красное яблоко. Оно такое большое, что его надо держать двумя руками и такое красное, что краснота проникла и под кожу и неровными протуберанцами пронизывает мякоть почти до косточек. Яблоко мягкое, и его не надо грызть, можно просто кусать и есть, бесконечно долго.

– это апорт, – говорит папа, и я, постепенно объедая яблоко, начинаю вспоминать, что у меня есть мама, есть сестры, есть еще очень много родных и близких людей, что я не одинок в своей болезни и поэтому опять не умру.

– больше не хочу, спасибо, – и опять накрываюсь с головой и в подступающей жаре слышу, как папа уходит.

Облака

А это весна, точно весна, потому что небо голубенькое, как выпветшее, а ветки за окном голые. Ветер треплет эти голые ветки и несет по небу очень легкие и быстрые облака. Они очень быстро несутся и исчезают из виду, а я лежу навзничь в кровати у нас дома, форточка приоткрыт, и всё тот же легкий весенний ветерок слегка колышет легкую тюлевую занавеску, а на солнцепёке сейчас – я знаю – по растрескавшемуся тротуару снуют маленькие коричневые блестящие жучки, радуясь теплу, солнышку и апрелю, а я лежу, неподвижный, на кровати, под легким одеялком и остро понимаю, что умру – сейчас или потом, но непременно умру, а эти легкие неверные облака, и этот ласковый ветерок, и эти голые ветки, которые скоро будут зелеными, и даже те жучки на прищипке – все это будет жить и будет жить вечно, всегда, а я – умру, сейчас или потом.

И в этом заключена огромная и таинственная разница между мной и миром.

Бог

Наша семья, как и все вокруг совершенно индифферентна к Богу, церкви и религии – даже эти слова не употребляются и понятия никак не обсуждаются. Сказка о попе и работнике его Балде воспринимается не атеистически и не антирелигиозно, а с тем же потешным отношением, как и черт, мелкий персонаж этой сказки.

И тем не менее.

Перед сном я часто разговариваю с невидимым и всевидящим, который важнее Сталина и Деда Мороза, который надо всеми и поэтому с ним можно общаться, только лежа на спине. Он знает обо мне всё, поэтому наш разговор – это мои вопросы к нему и его ответы на них. Я не помню ни одного его ответа, потому что не помню ни одного своего вопроса, но я помню, что такие вопросы я не мог задать никому.

Я знаю, что ко мне он относится особо. Он любит меня и защищает. И я даже могу пожаловаться ему, а он меня как-нибудь утешит.

Я никому не говорю о нем, потому что даже не знаю, как его назвать и как его зовут.

И он очень строгий.

Совесть

Иногда мне кажется, что есть какой-то совсем другой мир, где всё то же самое и все те же самые и даже я там совсем такой же, и происходит всё одно и то же, но это не здесь.

И ещё.

Я уверен, что если не делать и не думать ничего плохого, то будешь бессмертным.

И вот однажды я сделал что-то очень плохое. И меня наказали. Я стоял в углу и горько плакал, потому что понял: вот, теперь и я когда-нибудь умру, и бессмертие потеряю мною навсегда. И теперь длина жизни будет зависеть только от одного – от того, как много и часто я буду делать и говорить злого.

И иногда я делал плохое просто из чувства мести к себе, чтобы скорей умереть, раз уж я такой плохой.

Детский сад

Я вошел в группу – и как был здесь всегда. Вошел во все игры и правила сразу, перезнакомился со всеми и сразу нашёл друзей. А больше всего мне понравился деревянный крейсер посередине комнаты, в котором или вокруг которого мы и играли. Меня не покидало чувство, что я здесь уже был и много раз, просто, наверно, болел, а потому некоторое время отсутствовал. На обед давали по столовой ложке моего любимого рыбьего жира с солью и черным хлебом, а всё остальное была невкусная ерунда, сильно забывленная.

В конце смены за мной пришла мама, но я не хотел уходить и устроил ор, который был остановлен только тем, что всех уже забрали, я остался один и играть было не с кем.

Стихи

Я – самый маленький, и поэтому меня все любят.
И терпят.

Ольга, моя средняя сестра, уже большая и читает мне «Руслана и Людмилу» из голубенького сильно потертого томика Пушкина. Она умеет хорошо читать. А я на лету запоминаю эти легкие волшебные стихи, понимая в них то, что хочу понять, а что не понимаю, то – в разряд чудесного и необъяснимого. Или нахожу свои смыслы, например, переделываю «самовластье» в «самосластье», то есть в горячий яблочный пирог с переплетениями из зарумянившегося теста, этот пирог умеет печь только мама, и он самый сладкий на свете, «самосластье»

Но это из другого стихотворения Пушкина, которое мне тоже очень нравится.

- а я тоже умею читать
- не ври, ты не умеешь
- а спорим, умею
- спорим, на, читай газету

Я знаю, что это газета «Правда» и поэтому громко читаю:

- правда!
- а дальше?

А дальше я вздохнул, с восторгом и пафосом начинаю врать, сочинять на ходу, и от того, что я так ловко и безошибочно вру, меня несет и несет дальше, это не стихи, но нечто ритмичное и пафосное, про мир во всем мире и коммунизм, который скоро настанет. Ольга переворачивает страницу, и я продолжаю также самозабвенно врать дальше. Собственно, я пересказываю то, что говорит радио, но вышвенно и вдохновенно.

Ольга долго слушает этот восторженный бред, потом всё-таки не выдерживает:
– врешь ты всё, нет там ничего этого.

Я понимаю, что она права, но ведь как долго и интересно я сочинял!

Игрушки

Их было три, но одну, маленького целлулоидного пупсика я безжалостно спалил, сидя под письменным столом, с одной спички. Он сгорел моментально – я даже испугаться не успел, а потом немного повонял-повонял и ничего от него не осталось, ни синь-пороху.

Была у меня железная дорога, какая-то уж больно сильно замурзанная и засаленная, сильно б\у и уже совсем дряхлый секунд хэнд. Я её очень любил, но играл в нее редко – боялся, что совсем развалится и сломается.

А еще у меня был заяц, серый-серый, но, в молодости, наверно, он был коричневым или белым, а мне он достался уже сильно поседевшим, полысевшим, потертым и потасканным. Руки-ноги и голова у него безвольно болтались из-за сильной потери мелких опилок и песка, пуговичных глаз уже не было – остались только темные круглые вмятины от них. Заяц мне достался по наследству, не знаю, от кого.

Я с ним разговаривал, и мне казалось, что мы очень похожи – и внешне и судьбой: такие маленькие, а пора помирать. Мне очень хотелось, чтобы мы это сделали вместе и одновременно, поэтому спали в обнимку. Мы были не заразные и поэтому не боялись друг друга.

Оружия, всяких там пистолетиков, сабель, оловянных солдатиков и прочего у меня никогда не было – спасибо родителям.

Малое количество игрушек заставляло воображать (это значит – не просто фантазировать, а включать и себя в эти образы) и превращать в игрушки всё подряд. Особенно я любил разбирать и ломать всякие вещи, будильники, например. Как только я затихал в какой-нибудь такой затейливой игре, мама приходила в волнение: чего он там еще затевает или уже отчебучил.

Однажды я сидел в ногах у деда Давыда и по обыкновению своему в чем-то ковырялся. Неожиданно дед громко-громко и резко чихнул – и я добавил к своей дилексии заикание, года на три.

Я и сам теперь так чихать умею – это от гипертонии.

Мытьё

Мама ставила на пол корыто или большой таз, выстраивала нас по очереди, меня – третьим, последним. Я завидовал сестренкам: они уже такие чистые, пушистые. А потом ставила в корыто меня. Мыльная вода была теплой, мама подливала горячей, густо намыливала, потом окатывала теплой водой и в конце наступало самое прекрасное: она брала небольшой черпачок с холодной водой, окатывала потихоньку этой водой и приговаривала: «с гуся – вода, с Сашеньки – вся хужоба, с гуся – вода, с Сашеньки – вся хужоба». Я не понимал, куда может от этого деться моя хужоба, если я и такой худой, но это обливание доставляло огромное удовольствие и наслаждение – что-то внутри, в животе и груди, поднималось, распирало радостным освобождением, замирало, ёкало, хотелось ещё и ещё. Мама ставила меня на табуретку, что стояла рядом, сильно растирала полотенцем, на деревянном крашеном полу оставались большие темные пятна воды и мыльные лужи, она относила меня в постель, и я мгновенно и счастливо засыпал, чистый, пушистый и немного с крыльями.

От бани, куда мы тоже ходили, у меня остались самые радостные ощущения: сырой туманный пар, много теплой воды, обмылки и, конечно, душ, где и наглотаешься, и напрыгаешься и навизжишься всласть.

С тех самых пор и сидит во мне убеждение, что вода и жизнь – почти одно и то же.

Голод

Есть хочется всегда и промышлять, чего бы поесть, приходится всё время. Но это – не голод. Голод приходит сам: и внутри начинает тоскливо сосать, становится страшно – сейчас умру, наступает безразличие и апатия, прерываемые бурчаниями и урчаниями кого-то там внутри, в животе: «кишка на кишку протокол пишет», вдруг подступают сильные рези, сворачивающие тебя пополам и винтом, слегка пошатывает и подташнивает, а, слив это время неожиданно налетает чей-нибудь сильный вкусный

запах – свежее испеченного хлеба, копченой рыбы, колбасы, чего угодно, потому что всё в это мгновение кажется вкусным, то в голове возникает сильная боль, и теряешь всякую волю, и за кусок хлеба, кажется, всё бы сейчас отдал; всё-таки, кажется, чаще всего голод приходит и налетает при появлении аромата недоступной тебе еды: где-то жарят картошку на рыбьем жире, проехал фургон с горячим свежим хлебом, прошла мимо женщина с авоськой, из которой пахнуло селедочкой или воблой...

Не знаю, почему, но я тогда сильно стеснялся своего голода и старался его не обнаружить.

А потом всю жизнь провел в страхе голода, ел обычно очень быстро и жадно. И только теперь перестал его бояться.

Первый стыд

Это было в другой больнице – я часто лежал в разных больницах.

Вечер.

Меня помыли в ванной, и я должен был совсем голым пройти по коридору, где кастелянша должна была выдать мне нательное бельё. Там, в ярко освещенной бельевой, было несколько тёток в халатах, толстых и шумных. Завидев меня, они почему-то громко засмеялись, и это так смутило меня, что естество моё напряглось огрызком карандаша.

– смотри-ка, какой нахал – и нет ничего, а уже на нас ополчился!

Мне стало нестерпимо стыдно, но от этого стыда, а еще от того, что они все рассматривали меня и мой тоненький кончик с наглым удивлением и любопытством, напряжение во мне только нарастало, и я не знал, что мне с этим делать и как увернуться от их взглядов, и всю ночь, уже одетый и под одеялом я горько проплакал от бессильного возмущения, стыда и непонимания, что эти взрослые тетки нашли в моей наготе смешного.

Война

Первое своё путешествие, вылазку в мир, я совершил, выйдя за ворота нашей академии связи. Шел как минному полу: заранее остерегаясь предстоящего и побаиваясь забыть дорогу домой, но – шёл, потому что было интересно и непонятно: чужие дома, машины, деревья, люди. Я шел, как бы разгребая руками этот новый для меня мир и ушел довольно далеко – появились трамваи и шумные, трезвонящие перекрестки.

Вдруг из черных раструбов-репродукторов, висящих высоко на столбах, раздалась громкая и грозная музыка. Наверно, думаю я сейчас, это был «Марш демократической молодежи мира», появившийся именно тогда, весной 1947 года. Мне показалось, что началась война, и я опрометью бросился домой.

Войны я боялся панически.

У нас дома была огромная книга «Падение Берлина» (или «Взятие Берлина»). Она была богато иллюстрирована и каждая цветная иллюстрация была прикрыта матовой занавеской из папиросной бумаги. Со священным ужасом я приподнимал эту занавесь, и передо мной открывался странный и страшный разбомбленный город, серый и мрачный. Больше всего страху и трепета на меня нагоняла река Шпрее – и своим чуждым зловещим названием, и серым камнем домов и набережной.

В клубе академии висела огромная картина «Смерть героя». Даже я понимал, что так в жизни не бывает, что это пафосный и очень мрачный символизм: на надгробии лежал в полной парадной форме герой со звездой героя на груди кителя.

Над ним склонились другие воины, такие же мужественные и скуластые, а ближе всех к нему – Мать Героя, самая мужественная и скуластая. Еще несколько воинов пристально смотрят вперед, они на страже. Герой накрыт кумачовым боевым знаменем, шитым золотом, знамя ниспадает с надгробия до земли. На заднем плане идет ожесточенный бой.

Больше всего я боялся, что Герой сейчас встанет со своего ложа и начнет громить врага, ну, и меня, ненароком.

Дома у нас хранился тяжеленный отцовский револьвер и совершенно неподъемная парадная шапка в ножнах – символы войны и смерти.

Летающие машины

Мой первый сон был и сладостен и мучителен: фиолетово-малиновая карусель с провалами в полу, мы бегаем по этому вращающемуся кругу, и надо перепрыгивать через провалы в полу, а провалы с каждым оборотом карусели – всё больше и больше, и прыжки становятся всё более похожими на полёты, от которых с ужасом и восторгом замирает сердце.

Другой сон не был сном. Мы ехали на поезде в Москву, был такой глубокий-глубокий вечер, наверно, всё-таки уже ночь, и по небу летали маленькие автомобильчики, легковушки и грузовички, весело мигая фарами. Я пытался всем объяснить, что видел это своими глазами наяву, а мне все говорили, что мне это приснилось, и только много-много лет спустя я понял, что был прав, что мне это не приснилось, и всё это было взаправду: автомашины не летали по воздуху, а проносились по мостам над железной дорогой и нашим поездом.

Вглядываясь в фотографии

Дедушка, папа и я



Сколько себя помню, в папиной семье непременно говорили:

– как похож на Женю, ну, вылитый Женя!

А в маминей семье:

– как похож на дедушку Сашу, ну, вылитый дедушка Саша!

Это, конечно, не только льстило, но и приводило в замешательство, и я с недоумением вглядывался в своё отражение в зеркале: ничего похожего ни на того, ни на другого не было. Но ведь взрослые же люди утверждают!

И вот теперь я достиг возраста дедушки Саши, а скоро папа может оказаться в такой же возрастной разнице, как я по отношению к нему в год его смерти. И я опять всматриваюсь в наши фотоизображения: ничего общего!

И тем не менее.

Дело ведь вовсе не в портретном сходстве.

И дедушка Саша и папа прошли сквозь всю мою жизнь образцами для подражания. И я стараюсь быть похожим на них.

Две труженицы

Тётю Машу, старшую сестру дедушки Саши, я видел всего один раз, в Долже. Такая же сухая, как он, вся в чёрном, молчаливая, но с удивительно доброй, всё понимающей и всех прощающей улыбки. От мамы я слышал до того, что тётя Маша – великая труженица, и это действительно было так: без дела она не сидела ни минуты. Натруженные руки сцеплены и всегда готовы к действиям, к работе. Она была очень набожна, но не слащавой истовостью современных, считающих себя воцерковлёнными и потому считающих себя вправе поучать остальных, как надо молиться и верить, как жить. Ничего подобного! Никаких нравоучений, осуждений и неодобрений!



... когда я приехал в Должу на следующее лето, тётя Маша уже умерла. Её младшая сестра, тётя Варя, сводила меня на её могилку, под светлые молоденькие березки, на открытом ветрам луговом юру. И странно, я сидя рядом с тихой могилкой, я не почувствовал никакой утраты. Было светло и грустно. И радость от того, что я хоть немного, но знал этого кроткого человека, что она вошла в меня и подарила мне свою доброту.

Другой такой же труженицей и добрым человеком стала та, с которой я прожил всю жизнь – моя старшая сестра Света. И чем старше она становится, тем больше к ней переходит добрая мудрость тёти Маши и её бесконечное трудолюбие.

И обе они – едва ли не самая большая радость в моей жизни.

Die Geschwister

В немецком языке так называют брата и сестру, братьев и сестёр, одним словом. В других языках я не находил подобного понятия.

С самого раннего детства и довольно долго, чуть ли не до двадцати лет я был очень близок с Олей. Это она читала мне сказки Пушкина из голубенького потрепанного десятигомячичка, «Руслана и Людмилу» читала настолько наизусть, что и я вскоре знал эту поэму наизусть. Это она учила меня читать, ещё в Ленинграде, это с ней мы на морозе лизали за чем-то металлический забор, и у меня прилип к нему язык, она в страхе сбегала домой за горячим чайником и, пусть и с кровью, но мы отодрали мой несчастный. Нет, она не защищала меня, как это делала Света – яростно и неистово. Мы дружили тихо, живя скорее фантазиями, чем реальностью. Ещё нас объединяло то, что мы оба много, часто и опасно болели, и эта слабость сблизжала нас.



И вот теперь я смотрю на своих внуков, Ваню и Соню. Они, мюнхенские, очень похожи нас, ленинградских. Я не знаю и, конечно, не доживу до тех времён, когда они повзрослеют, но, как и мы, они – настоящие Geschwister.

Семейная фотография

Мы несколько раз пытались создать большой семейный портрет, и эта первая попытка – самая удачная из всех.

Это снималось в телеателье у станции метро, которая сегодня называется «Партизанской», летом 1956 года, 60 лет тому назад. Здесь изображено 17 человек, три поколения:

Бабушка Роза, бабушка Оля и дедушка Саша – никого из них в живых уже давно нет.

Мама, папа, тётя Наташа, дядя Саша, дядя Лёва, тётя Галя – их тоже уже никого в живых нет.

Света, Оля, Лена, я, Миша, Марина, Аня, Наташа – нет больше Ани и Марины, осталось 6 человек, сильно меньше половины.



И мы теперь на переднем крае, дедушки-бабушки, а кто уже и пра-. Нас стало много. И за нами – много, уже десятки человек. Наша семья растет, напоминая дерево – с могучим стволом, множеством ветвей и мелких веточек, листочков.

И пусть мы не так хорошо знаем друг друга – ведь нас разбросало и раскатало по всему белу свету. Пусть мы такие разные и из множества пород – тем звучней песня жизни, которую мы исполняем – хором и каждый сам по себе.



Дмитрий Бобышев

Я ЗДЕСЬ (ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ)

Трилогия. Книга вторая

АВТОПОРТРЕТ В ЛИЦАХ

(продолжение. Начало в №12/2015)

В пасмурном Баку

Как я упоминал ранее, в нашем отделе работали две блондинки. Молодая была очень даже миловидна, хорошо сложена, стилишно одевалась и вообще подпадала под категорию „почему бы и нет”, хотя в категорию „да, это она” всё-таки не входила. Но на всякий случай со мной держалась с некоторой опаской, глянуть в глаза – ни боже мой, разговаривала лишь о работе. И вот выпала ей чередой ехать в командировку, – причём, не одной, а с кем-то ещё из отдела. И этот кто-то, похоже, должен был оказаться мной. Как она, бедная, взволновалась! Закрылась у начальницы, долго её, видимо, убеждала, и что ж? Уехала с тем славным мальчиком, с которым я частенько беседовал на вольные темы.

А мне вскоре пришлось тоже поехать в командировку, но с другой блондинкой. Та, хоть и молодилась, ни под какие мои категории уже не подпадала. Зато у неё оказался могущественный покровитель в Закавказье, куда мы направлялись, и её там встречали, как королеву. А мне, соответственно, досталась, ни дать, ни взять, роль пажа или же, если хотите, адъютанта при ней. К самому покровителю, который был министром (председателем госкомитета) Азербайджана по образованию, мы восходили по ступеням его иерархии.

Сумгаит. Запах мазута и пыли, вдали – Каспий, к водам которого не тянет даже в жару. ПТУ нефтяников, расположенное в стандартном здании школы. Входим к директору. Обстановка – казённая, но с колоритом: накидки, ковры. Массивное лицо, сужающееся кверху, к крутой волне белоснежной шевелюры. Брови же, наоборот, жгуче-чёрны, как и тоненькая вертикальная полоска под носом. Выражение лица – вельможное-величественное, жестикология тоже. Вносится фарфоровый чайник на подносе с набором пригласенных стаканчиков. Разливается чай, предлагается кос-халва. Ведётся неторопливая беседа, одновременно даются короткие указания беззвучно входящим и выходящим помощникам. Чайная церемония затягивается, но нам дают понять, что всё ещё впереди.

Наконец, эскортом из газика и коломбины (версия микроавтобуса) подвозят нас за пару кварталов отсюда к типично советской стекляшке „Фабрика-кухня №2”. Там – пусто, хотя ещё и вигаёт запах общепита. Да в углу торопливо доедают последние посетители. На задах – суэта персонала в белых фартуках, доносится волшебный аромат капнувшего на жаровню жирка с маринадом, а в центре накрыт уже пышественный стол, уставленный дарами моря, гор, долин и садов. И – виноградников, конечно. Коньяки, водки, вина. Контрабандная белужья икра. Зелень, закуски, маринады и солёности. Копчёности. Дипломатические здравницы, имитирующие стиль международных приёмов:

– За советско-азербайджанскую дружбу!

Конечно же, шашлыки из баранины с печёным луком, пряной подливой и маринованным чесноком. И – верх кулинарного совершенства, впервые мною отведаанный шашлык из осетрины с гранатовым соусом нар-шарап.

– За дорогих гостей из прекрасного города на Неве!

– За гостеприимных хозяев. За Ваше здоровье, богатый и щедрый Азиз-ага-муэллим!

От аэродромного павильона с надписью БАКЫ – мимо придорожных маслин и кедров, по крепкому шоссе со скоростью, ощутимой даже после самолёта – в город. Штрихи пропадающего под дождём снега, сквозные вышки, качающие нефть безлюдно на серо-коричневых склонах, такого же цвета отары овец, чередование холмов с протяжённостью долин – всё это слагается в затейливый и свежий ритм, напоминающий чем–то: волю, вольность. Ну, может быть, лишь региональную, местную.

„Совет халгына эшг олсун!“ – таким окриком встречает Баку нашу голубую коломбину. Шофёр Айдын в широкоформатном кэпи бросает автомобиль в зазор между автобусом и Кразом, мыахаем и замечаем, что уже мчимся по городу: базар, пустырь, нефтеперегонный завод, шашлычная, – вот из чего складывается на первый взгляд город Баку.

В центре не без губернского шика, конечно, всё гораздо приглядней и многомерней. Там контрастно сошлись две экзотики: пальмовые ветви гнулись под снегом. От моря с нефтяными вышками, от Девьей башни с романтической и кроваво-жадной легендой поднимались улицы ступенями и площадками в гору. Чтоб осмотреться, я заходил во дворы, похожие на внутренность бараньих тушек с рёбрами лестниц и галерей. В этом восхождении город виделся мне лишь как дробность, я же искал его цельный образ, эмблему, но она и так подразумевалась: нефть. Вокруг нефти вскипало и пучилось как настоящее, так и былое, где на жаровнях стреляли вдруг жиром и голубыми дымками шашлыки, восседали князья, а потоки квалифицированной рабсилы направлялись на бурение скважин, выкачивание этой самой нефти, её перегонку в ректификационных колоннах, отделяющих чёрное золото от червонного, которое сыпалось в карманы хозяев жизни. И вот на высоком холме в точке схода городских перспектив я увидел строение, расположенное широким обзором. Там, как мне завистливо–мечтательно дали понять местные, была главная столичная ресторация и происходили лукулловы загулы начальства. А над строением, словно на его цоколе, возвышалась громадная фигура крепьша–Кирова в ораторской позе, поправшего весь лежащий под ним ландшафт. Он и был другим, насильственным символом города – даже не рукой, а пятой Москвы.

Когда мы вошли в кабинет, коротышка–министр бросился к моей дебелой спутнице, но бросок его завершился всего лишь рукопожатием. Министр удостоверился, что приём в Сумгаите был по нашей оценке „более, чем великолепным“, и нас препроводили в гостиницу „для своих“. Она представляла из себя просто–напросто квартиру с казённой мебелью, телевизором, пустым холодильником и горкой, укомплектованной двумя дюжинами фужеров. Блондинка тут же упорхнула, а я остался смотреть телевизор.

Как раз передавали финальную игру с чемпионата мира по хоккею. Финалистами стали чехи и наши, – и это при том, что менее года прошло с подавления „Пражской весны“. Стало быть, на матче ожидалась большая заруба! Советские вышли в красной форме, что ещё определённой указывало: тут уже не спорт, а битва символов. Я не часто смотрю спортивные состязания, а болею за какую–либо

команду ещё реже, но в таких случаях переживаю за слабых и оттого всегда бываю разочарован. И здесь я от всей души желал проигрыша нашим, восторженно любовался диагональными проходами битника-Недоманского к воротам Пучкова, страстно ненавидел массивного Рагулина, игравшего в тот раз, вопреки своему обыкновению, в шлеме, когда он останавливал стремительные скольжения чехов. Зрелище само по себе было остро динамичным, вратари в страшных масках то и дело отбивали шайбу, то одна, то другая команда вела в счёте, а к концу установилось шаткое равновесие 3:3. Я упивался своим изменничеством, мстительно желая проигрыша нашим и оказавшись заодно с Владимиром Печериным, русским иезуитом и невозвращенцем XIX века:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья.

Последняя строчка у него, конечно, захромала неуклюжей инверсией, но мысль ясна и в целом выражена хлестко.

– Г–о–о–о–л!!! – это уже кричу я.

Чехи на последней минуте становятся чемпионами.

Но какова оказалась моя коллега и попутчица! Вернувшись с какого-то, по-видимому, министерского угощения (может быть, даже в той самой ресторации у Кировского подножья), она сделала мне едва ли скромное предложение – оставить её на какое-то время одну в квартире:

– Дмитрий Васильевич! Сходите куда-нибудь в кино, что ли... Вот вам.

– Что вы, что вы, Вера Назаровна! У меня своих нет, что ли?

Попыталась сунуть два рубля. Уже этот нестерпимо вульгарный жест, не говоря о самой ситуации, заставил меня чуть ли не выбежать наружу. Чёрный автомобиль, стоявший на углу квартала, тронулся с места и медленно двинулся по направлению к нашей „гостинице"... Как в детективе! Долго бродил я по улицам незнакомого города, скудно сдобренным неоновыми огнями. Одна из надписей меня привлекла, я почувствовал зверский голод. Из двери подвальчика слышались ритмически-заунывные звуки, под которые мне тут же представился по меньшей мере танец живота, потянуло оттуда чем-то пряным и съестным, и я оказался внутри накуренного зала с низким поголкем, столиками и невысокой эстрадой.

Странно: ни одной женщины. Кажется, там не было также и ничего спиртного. Между тем, солидные мужские компании, сидящие вокруг, явно пришли сюда хорошо провести время. И они веселились, то и дело обращаясь к музыкантам. Тех было всего двое, но шум от них стоял порядочный. Младший поддерживал своим бубном с цимбалами затейливый восточный ритм, а старший с электро-мандолиной, наоборот, вёл какую-то простенькую мелодию. Он же пел в микрофон куплеты, вызывающие взрывы смеха за столиками. Пел он, разумеется, на здешнем турецком, но звали его грузинским именем Андроник. Время от времени кто-нибудь отваливался от своей компании и поощрял Андроника, но рубль шёл не прямо в смушковую шапку, стоящую ведром на полу, а непременно в руку музыканта, отвлекая её от мандолины на миг, полный торжественного бахвальства. И вдруг – что я слышу? Андроник запел на понятном языке:

Я больная, ты больной,
приходи ко мне домой,

будем вместе стрептоцид глотать,
генацвале!

Обрадовался я, как при встрече с чем–то знакомым, почти родным. Это же антикварная пошлость, как мило, как любезно с его стороны! Но глотать стрептоцид мне было незачем, да и не с кем, я расплатился за ужин и ушёл.

В Ереване без Арарата

Утром моя коллега объявила, что она задерживается в Баку на неопределённое время, и я с облегчением вылетел в Ереван один. Вряд ли я побывал бы в столь примечательном, но уж очень далёком городе по собственному почину, без помощи моего НИИ, поэтому, наверное, пора предельно кратко изложить, зачем я туда ездил. Моя контора разрабатывала научно обоснованные методики, как лучше готовить рабочих для промышленности. Например, нефтяников. Наука выдвигала гипотезу: с тренажёрами их готовить гораздо лучше, чем без тренажёров. Мысль очевидная, но для её обоснования нужно поставить эксперимент с учащимися. В профтехучилищах (ПТУ), которые были закреплены за нами, я заключал финансовый договор с преподавателями, и они проводили эксперимент, обречённый на успех: брали две группы, экспериментальную и контрольную, и одну обучали с тренажёром, а другую без. „Для пущей вящести” в первую набирали сообразительных ребят, а во вторую тупоголовых. Результаты присылали мне с отчётом, я это обрабатывал и сдавал в научную часть, и кто-то там кропал себе „диссер”.

Один из двух пэтэушных преподавателей, с кем мне предстояло заключить договор, встречал меня в Ереване на потрёпанном „Москвиче”, которым правил его брат Манук.

Небо было затянуто, но склоны холмистого взгорья и без солнца разворачивали желто–коричневые и розово–пурпурные плоскости так, что они казались телесными, тёплыми. Глина и туф – вот на чём и вот из чего высился и раскидывался этот город нежных, естественных тонов и пропорций. Меня, как я понял, везли на дом к другому преподавателю, где как раз сейчас начала готовиться пирушка „в честь дорогого гостя”, а потому братья выжидали и со вкусом провезли меня по Еревану, останавливаясь и гордясь достопримечательностями. Правда, Манук не всегда верно находил к ним дорогу, но никогда не разворачивался, а, захав не туда, головокружительно подавал машину задним ходом.

Холм Эребуни. Влажная глина, впечатывающая каждый шаг в свою трёхтысячелетнюю историю. Дворцовые стены, а точнее – всего лишь полы и фундаменты царя Аргишти. Клинопись на камне: „Я, владыка...” А владыка чего? Чем он владычествовал – глиной?

– У нас самая большая история. Первое в мире государство!

– Да, древность... Урарту! Помню со школы.

Оттуда – к центру города, где недавно открылся юбилейный фонтан, отмечающий, по существу, вечность этой страны: прямогольщик воды в массивных каменных бортах и мириады бьющих сверху струй.

– Здесь столько фонтанов, сколько лет нашему государству. У нас вторая в мире вода, но зато первый в мире камень!

Дальше – новопостроенное розовое здание: Библиотека древних рукописей. Внутри мы не идём, но у братьев появляется новая тема для национальной гордости: армянский язык.

– Учёные доказали, что он лучше других подходит для мирового языка.

– Какого? Эсперанго?

– Вот этого. Слушай. Если кто родился, мы говорим „данвецав” – горе. Если плохая жизнь, мы говорим „мецацав” – большое горе. Если кто умер, мы говорим „магацав” – опять горе. Ты понял?

– Понял. Жизнь – юдоль страданий.

– Вот!

Наконец, мы в гостях у другого смуглого брюнета. Скромная квартира в новостройке, скромница жена, даже не присевшая за стол, весь уставленный яствами, которые она же и наготовила. Нет, скромная, конечно же, но роскошь! Выпечка с сыром, лаваш, почти чёрная душистая бастурма для закуски, пучки свежей зелени – лука, мяты, кинзы, много маринованных и свежих овощей. И, конечно же, шпаги шашлыков с острой и пряной подливой! И – веселящие запахи и возгласы пирушки! И – коньяк, – причём, самый подлинный с тремя звёздами и Араратом, – лучше и благородней любого многозвёздного, как утверждают знатоки.

За что мне такие почести? Чем я могу за них отплатить? Я ведь не любовница министра!

– Не беспокойся. Ты наш гость. Вот приедем в Ленинград, ты будешь нас принимать.

Я представил себя эту картину и осекся, решив как-то расплатиться с ними здесь, на месте.

Заклучение договора на следующее утро заняло не более 20 минут, и мы приступили ко второму туру развлечений: Эчмиадзин. По пути сделали крюк и обещали вокруг не меньшей достопримечательности. Трест „Арагат” вместе с заводом и погребями–хранилищами находился внутри внушительной цитадели с мрачными стенами и чуть ли не подъёмными мостами над окружающим рвом. Во всяком случае, впечатление было полной неприступности этой крепости для мародёров и прочих любителей поживиться. Такая же стена отделяла, помнится, и завод Шампанских вин в Ленинграде, где я имел честь строить один из погребов, но можно ли отлучить выпивку от выпивох? Действительно, в ереванских магазинах найти коньяк было немислимо, между тем, как бутылки с Араратом и звёздными наклейками украшали столы жителей розового города.

Но тут ударил час раннего обеда, и мы остановились у придорожной харчевни. Здесь уж я решил, что наступает мой джентльменский черёд, и первым вскочил из-за стола, чтобы расплатиться у кассы. Не тут–то было! Короткая реплика по-армянски, и кассир (это был мужчина) вместо моих денег взял плату, протянутую из-за моего плеча. Я был в отчаянии.

– Успокойся, друг! – признался, наконец, мой сопровождающий. – Это ведь не мои деньги. Нам специально выдают премию для приёма гостей из Центра.

И действительно. Я припомнил, что институтец мой, хоть и находился на задах Лиговки, был не просто НИИ, а ВНИИ, то есть Всесоюзным научно–исследовательским центром. Какое облегчение! Больше я об этом не думал.

Стоит ли мне здесь описывать Эчмиадзин? Место, конечно, пленительное, впечатляющее своей духовностью. Это – армянский эквивалент того, чем является Троице–Сергиева лавра для русских или Ватикан для итальянцев, да и для всех католиков. Но мне претят путевые очерки туристов–отпускников и отпускниц с легкомысленным пёрышком в одной руке и пухлым бедкером в другой, – менее всего я хотел бы им уподобить свой текст. Лучше отошлю читателя к последнему тому

энциклопедии поискать там на букву „Э”. Звук этот, между прочим, изображается по-армянски буквой, похожей на пятёрку с высоким жезлом и обозначает слово „Бог”. Он-то меня и сберёг на пути обратно.

Наша поездка должна была иметь эффектный финал. Заставили меня любоваться грубыми изваяниями крылатых быков, чья видимая мощь всё-таки была неадекватна реальным силёнкам этой небольшой страны, да и конкретно этих вот потомков новых сыновей, моих смуглых сверстников, похожих один на другого, как братья, только одного с усами, а другого без. Они были мне симпатичны и для уровня преподавателей ПТУ сообщали достаточно: и об истории армян, и об их окружённости врагами, теперешними и давнишними. Действительно, геноцид 15-го года для них был почти вчерашним событием, и в этом они были схожи с потомками Авраама, Исаака и Иакова. Так же гордились историческими несчастьями, верили в национальную исключительность, знали наперечёт всех своих героев и чтили Диаспору.

Заканчивал поездку по их замыслу вид на Арарат. Подвезли меня к краю обзорной площадки, откуда должна была развернуться панорама долины (уже – турецкой), а дальше – увь... Пухлая стена тумана заслоняла весь дальнейший вид. Спутники мои были огорчены до-нельзя, даже извинялись за погоду. Стали утешать:

– Ты второй человек, который не смог увидеть Арарат. Первый был русский царь. Приехал, а здесь дождик идёт...

Гора, красующаяся на государственном гербе Армении и на их наиболее знаменитом продукте (всё-таки он не первый в мире, увь) оказалась за пределами моего зрения.

И вообще – за границей.

Астраханские сутки

Возвращаться мне пришлось рейсом, имевшим короткую остановку в Астрахани, и я, разохотившись на впечатления, жалел, что не успею там ничего увидеть.

Ещё на пути в аэропорт прибилась ко мне в автобусе разбитная особа, назвавшаяся Людмила Хамова – наименование вполне ей соответствующее. От нечего делать я дал себя вовлечь в её забавную интригу. За ней, оказывается, пустился бурно ухаживать здешний предприниматель (это в советские-то времена), и она просила меня не препятствовать ей изображать перед ним мою жену. Предприниматель тут же и объявился и, подсев к нам в самолёте, назвал себя мебельным фабрикантом Давидом. Это был рано толстеющий и лысеющий сангвиник примерно моих лет, возбуждённый своими успехами и деньгами, как уже имеющимися, так и предстоящими. И, конечно, кокетливыми ужимками Хамовой, моей мнимой супруги. Меня он беспрерывно угощал коньяком и сигаретами „Филип Моррис”, усыпляя супружескую бдительность, закармливал виноградом „дамские пальчики” и внаглую ухаживал за Людмилой. Между тем, приближался момент, когда мы все едва не погибли в воздухе.

Дело в том, что после краткой посадки в Астрахани самолёт взлетел (это был, кажется, турбореактивный ИЛ) и на подъёме врезался в клин перелётных гусей. Гусиный пух вмертвую залепил ему двигатель, но, по счастью, не оба, и пилот умудрился приземлить нас обратно. Долго и томительно самолёт продержали на полосе и, наконец, сообщили, что рейс задерживается „по техническим причинам”. Томили, томили, мучали ожиданием, затем объявили, что полёт возобновится лишь утром, а ночлег обещан в гостинице. Только тогда я узнал об истинной причине задержки.

Мой мнимый брак к тому времени сам собою расторгся, Людмила с Давидом растворились где-то в номерах, а я рванул на автобусе в город, связанный для меня в первую очередь с Председателем Земного Шара. Сюда он стремился перед кончиной, пока Мигурич не затасил его под Новгород; здесь его отец, орнитолог, основал птичий заповедник, в результате чего мы имели гуся. Но я мечтал закупить вяленых лещей, сколько на то хватит моих подорожных, привезти их целый мешок домой и устроить пивное празднество. Увы, базар уже успел закрыться, и я тем же автобусом доехал до центра. Вспомнились записи Шевченко Тараса Григорьевича, который служил здесь солдатом. Живописность бедных лачуг он сравнивал по контрасту с безобразием мезонинов, отличающихся лишь флотскими рожками в окошках этой груды мусора. Я вспомнил своего отчима, капитана первого ранга, и вдруг расдосадовался за флотских. С чего это поэт вовлётся в антагонизм между родами войск? Ведь он кобзарь, а не пехотинец!

Даже Астраханский кремль не представлял из себя достопримечательности, разве что его стены. Располагались там ДОСААФ и ГрОб (гражданская оборона), стоял грузовик, пачкающий соляжкой бульжную мостовую, и стало мне там пыльно и тоскливо. Автобус вывез меня из города, и, когда стал виден аэропорт, я вышел в степь. Ржавые трубы были кое-как свалены среди сухого былья, поодаль закатилась в приямок мятая металлическая бочка, пятна соляжки расплывались на плоской супеси, распротранённой на все четыре стороны и переходящей вдали в бледную голубизну неба. И вдруг всё преобразилось, зазолотилось сиянием: я жив! Я ещё увижу чудеса света, свершу великие замыслы, испытаю любовь сверх-красавиц и звёзд, исполнюсь днями! И, главное, духом вознесусь в мировой и словесной гармонии. Да что там – уже возношусь...

Слёзы дикого вдохновения брызнули у меня из глаз, я побежал (побежал!) по степи в направлении аэропорта.

У Родины-мачехи

Любезный мой Германцев, оказавшись „на химии” в сибирской ссылке (о причинах этого – чуть позже) бывал осведомлен о культурно-артистической жизни обеих столиц не меньше моего. Вот что он писал из своего пургатория в Ново-Кузнецке от 20-го апреля:

„Деметр! На обороте – пастишь Наймана а-ля Элиот с элементами поп-арта, но мне, ей-Богу, нравится. Спасибо за письмо, автопортрет и смелую разгадку пушкинского ребуса. „Волны” твои всем нравятся. Мой бывший однокурсник, преподающий в местном ВУЗе теорию литературы, отметил „изысканное сочетание ямба и анапеста, почти не встречающееся в поэзии, а также удачную форму семистишия, насыщенность и афористичность.”

Далее он писал о художнике Зеленине, о пирушках с актёрами и актрисами местного театра, а на обороте, действительно, было напечатано стихотворение „Проезд соломенной сторожки”, в котором образная полифония осложнилась введением иноязычных строк на итальянском, французском и английском. Причём, очень естественно! Стихи из Умберто Сабы, Бодлера и оперы Перселла „Дидона и Эней” фонетически отражались в русском тексте, и это музыкально обогатило его. Между тем, за симфоническим рокотом звучала московская, весьма гротескная историйка:

Средь ветхих на снос идущих дачек
помещичью я увидел усадьбу

с крышей стеклянной и с колоннадой,
с хриплым псом за глухим забором.
Во двор въезжали машины с гипсом
и увозили, укрыв брезентом,
„Перекуём мечи на орала”...
Можно ли верить древним старухам,
писающим посреди тротуара?
Говорят, что хозяин здесь не бывает,
что он ни лепить, ни ваять не умеет,
еврей, выдающий себя за серба.

Заканчивалось всё каким-то английским лимериком в стиле весёлого цинизма, характерного для нашего общего друга.

К тому времени и Рейн, и Найман окончательно обосновались в Москве, где вполне осуществилась для них мечта жить на свободных хлебах: для Рейна сценарно-журналистских, а для Наймана переводческих. Их личные отношения перетасовались не лучшим образом, а в условиях замкнутого сообщества это могло обозначать, да и обозначало только вражду. Разумеется, с некоторыми перемириями. То один, то другой наведывался в Ленинград, – думаю, что с неизбежным ностальгическим чувством, и мы встречались дружески. Рейн даже останавливался в моей коммуналке на Петроградской стороне, по утрам занимал у меня бритву, злословил о знаменитостях, хвастался успехами, клянчил у меня ключи для встреч с какими-то красавицами, получал отказ и затем исчезал.

Найман, видимо, ночевал у младшего брата, пошедшего в инженерию, но мы с ним встречались чаще, полней, живей, сердечней. И длинно переписывались. Наведывался и я к нему в Москву. После одного такого дружеского заседания на Дмитровском шоссе он вышел меня проводить.

Мы отправились к другой ветке метро через полудачный посёлок, неожиданно для меня оказавшийся посреди застроенной Москвы. Запущенные домики с бузиной в углу забора, узкие проулки, по которым может проехать, раскачиваясь бортами, лишь один грузовик с газовыми баллонами. Заборы были и повыше, и поглуше, а названия совсем диких: „Проезд соломенной сторожки”. Что это? Найман увлекательно рассказывал историю посёлка, сам себя перебивая, отвлекаясь даже излишне на заботу, чтоб я не споткнулся, чтоб под ногой не оказалась лужа – вот тут и вон там... Вдруг остановился у сказал:

– Посмотри сейчас вверх! Узнаёшь?

Я чуть не сел. В тесноте проулка над высоченным забором полнеба застилала бетонная туча с чертами человеческого, даже как будто женского лица. С искажённым в крике ртом. Если бы звук соответствовал гримасе, он бы разрушил округу. Но разинутая пасть была безмолвна.

– А ты загляни внутрь! Только осторожно...

Я посмотрел в щель ворот, и сразу же на мой погляд изнутри прыгнули два волкодава с оглушительным лаем. Отскочив, всё же я успел заметить колонный портик усадьбы, каменный торс титанического автоматчика с круглым диском и несколько сравнительно мелких Ильичей. Мастерская Вучетича! А над забором высилась, конечно, голова Родины-матери „в натуральную величину”.

Этот чудовищный монумент на Мамаевом кургане я видел совсем недавно в ещё одной рабочей поездке в город Волжский, соединённый с Волгоградом через

плотину электростанции. Плотина была лишь недавно построена и на моей памяти несколько лет служила пропагандной моделью для прессы, так же как, разумеется, и электростанция, и химкомбинат, да и весь Волжский – „самый молодой город в стране”. Меня и поселили – то в молодёжном общежитии, причём, в женском, но султаном в гареме или петухом в курятнике я себя не чувствовал: мне выделили комнату с 7-ю пустыми койками в изолированном незаселённом этаже. Большею частью мне было жарко, пыльно, голодно и, конечно же, одиноко, и я пытался расшеяться, бродя вдоль Ахтубы, либо уезжая в Волгоград.

Электричка была пущена по верху плотины, и с одной стороны в её грязнущие окна были видны подступающие волны „Волжского моря”, а с другой взгляд мутно парил над простором, где далеко внизу возобновляла своё нижнее течение великая река, впадавшая, в конце концов, в Каспийское море.

Оттуда, поднимаясь в её русле, шли против течения косяки древних осетров, каждый год, многие и многие тысячелетия и даже миллионлетия тянулись каждым хрящом своим вверх, и вдруг – стоп! Бетонная плотина. На ходу электрички видно было, как огромные рыбы выпрыгивали из воды в мезозойском недоумении. Над ними вились чайки, кружили по бурлящей воде моторки браконьеров, кое-где виднелись милицейские фуражки, и всё это копошение происходило в очевидном заединстве. Последнее, что я заметил из электрички, было тело огромной рыбыны, взлетевшее в воздух. Да – так и оставшееся в памяти: далее сквозь муть окна замелькали стены депо, кучи щебня и будки стрелочников.

Волгоград с его помпезным центром и парадным береговым спуском выглядел вполне по-сталински, по-сталинградски, а зияния и пустыри меж домами как бы указывали, чуть не тыкали тебя носом в землю, ради которой разыгрывалось, может быть, самое кровопролитное сражение Великой войны. Земля, прямо сказать, была так себе: сорная, выжженная, пыльная. Ясно, что дело было не в ней.

Родина-мать нависала над редкими насаждениями при подъезде, и весь ландшафт казался опасно свихнувшимся, сплятившим. Там начиналось мифологическое пространство и, поднимаясь к нему, я видел то каменный торс размером с батальон автоматчиков, то, входя в круглый склеп с именами сотен тысяч жертво-героев на стенах, смотрел в оторопи на их коллективную мёртвую руку с факелом, желтовато высунутую из земли.

Сама грозовая, замахнувшаяся мечом Родина ничего материнского, разумеется, не выражала. Формы её железобетонного корпуса представляли гибрид гулливерской Венеры с великанскою Никой: имелся даже тяжеловесный намёк на крыло. Но голова была не античной, а самой что ни на есть советской, с обкорнанными коротко волосами. В полуобороте назад её рот немотно гремел что-то беспощадное, но что? Что там кричали политруки от Слуцкого до Брежнева: „За Родину, за Сталина!” Но она же сама – Родина, значит, остаётся лишь Сталин. Тогда прямым текстом гнала она на смерть, потому что так оно и получалось даже средне-статистически: шестеро (по другим подсчётам до десяти) своих солдат клали за одного врага. Какая же стратегическая цель была у этих гекатомб, кроме пропагандной, ведь немцы и к Волге прорвались, и до Кавказа уже дошли? Вот и у Слуцкого вырвалось позднее:

Волга впадает в Каспийское море...

Не верю!.. Весь мир – пропаганда.

И я не верю. Это из-за имени крошились черепа. Из-за названия города: Сталинград.

Другой Германцев

Имя Германцева лишь изредка упоминалось на страницах этих заметок, а между тем в каких-то эпизодах моей жизненной оперы ему случалось быть запевалой. В качестве собирательного и несколько условного персонажа он впервые появился у Анатолия Наймана в романе-эссе „Поэзия и неправда” заодно с такими безусловно реальными фигурами, как Бродский, Рейн, сам Найман или я. Критики впоследствии попрекали Наймана тем, что Германцев его – всего лишь зеркальный образ, отражающий автора в альтернативной реальности, то есть не в самой жизни, а в её вероятиях. Ну, во-первых, на допросы в КГБ выдёргивали, как редиску с грядки, наверное, каждого из нас, а такое вероятие, как превратиться из свидетеля в обвиняемого, выпадало едва ли не через двоих на любого третьего или четвертого. Вот Германцев таким первым-вторым и оказался. А, главное, узнаваемым и убедительным был стиль его жизни с неприятием всего, что принудительно насаждалось в обществе. С неприятием аскетическим, надо сказать, и упорным. Иначе говоря, я вижу под этим именем конкретную персону, знакомую мне на протяжении всей жизни, и это лишь нормально, что у Наймана его многосторонняя личность предстала в несколько иных разворотах, чем виделась мне.

Чтобы выразить это различие, я, пожалуй, немного изменю его имя в сторону большего сходства с прототипом. Впрочем, имени своего он не любил, назывался по фамилии и специально для друзей извлёк из неё квадратный корень: Герман. Пусть так.

По своей внешности, да отчасти и по характеру он мог бы успешно играть роль теневого друга–инспиратора при любом Фаусте, буде таковой обрёлся в одной из ленинградских компаний в те годы. Увы, ни Фауста, ни Гёте он не нашёл и поэтому дружил со многими, составляя по умственным запчастям да шестерёнкам образ своего коллективного напарника, кореша, – выражался он исключительно на тогдашнем арго, но без мата, не признавая язык газет и официоза.

Мы стали видеться с ним довольно часто, когда он бросил свой ВТУЗ, тот самый, где Рейн чуть позже заканчивал высшее образование. Ну, с Рейном понятно, он получил диплом и таким образом избежал солдатчины. А вот Германцев решил ни за какими зайцами не гоняться, поскольку службе в армии не подлежал из-за позвоночника, якобы повреждённого при падении с дерева. Как его занесло туда наверх, он скромно умалчивал, но ходил коньком-горбунком, подняв плечи и закинув назад голову, как Мандельштам. Освобождённое от сопроматов и диаматов время Герман бросил на языки, попросту глотая увлекательные материалы сначала только из польских, а потом итальянских, английских и прочих европейских журналов в Публичке: о кино, выставках, скандалах со знаменитостями, стиле в одежде и поведении. Скоро он стал экспертом–западником, и не только среди деклассированной сайгонской богемы, – к его острому замечаниям прислушивались и „юноши из интеллигентных семей”, тяготеющие к вольному слову. Ну, и девушки, само собой... К счастью, девушки были любы нам разных типов, и это нашу дружбу спасало. Да случись и пересечения, думаю, это нас бы не разобщило. А вот в литературе вкусы почти совпадали, и, так и эдак, отношения крепши.

Каким-то необъяснимым образом он оказался в Вологде, что-то вкрутил в мозги местным библиотекарям, и в результате вернулся в Питер с томиком „Фистесы” Хемингуэя. В знак расположения подарил книгу мне, и вот она передо мной с рассыпающимися листами, изданная на худой бумаге в 1935-ом, с пометами проверок в 1940-ом, 47-ом, 50-ом, 55-ом, с печатью: „Вологда. Обязательный экзем-

пляр государственной книжной палаты. Пользоваться бережно.” И со штампами на 17-ой и последней странице: „Вологодская областная библиотека им. Н.Г. Чернышевского”. Добыть такое считалось тогда геройством. Книга запорхала из рук в руки. Считалась шикарнейшей фраза, телеграфированная из Сен-Себастьяна в Памплону, и мы её имитировали и смаковали: „Милый! Мне хорошо и спокойно. Брэт”. Назовите, кто б не мечтал получить такую телеграмму? Чтобы вернуть книгу из уже двадцати восьмерых рук, я прошёл по всей цепочке, благо, что все собрались на каком-то модном концерте в Филармонии. К разъезду я вышел на последнего – им был Володя Герасимов:

– Отдавай книгу!

– В настоящий момент её у меня нет. Я дал почитать матери Лёши Лифшица.

– Так. Это будут уже 29-ые руки. Звони ей сейчас же.

– Ты хочешь, чтобы я беспокоил почтенную даму в 11-ом часу вечера? Это же варварство!

– А закливать книги не варварство? Звони немедленно! – потребовал я беспощадно.

Он мог бы возразить справедливо по поводу явно имеющегося здесь факта библиотечного хищения, но не возразил, и на следующий день книга вернулась. Что общего было у нас с её героями, обеспеченными американскими бездельниками, болтающимися по Европе в поисках удовольствий и развлечений? Ну, во-первых, молодость, а во-вторых этот стиль – что в жизни, что в письме. Мы бы и сами были такими, окажись на их месте. Да и не так уж они бездельничали – вкалывали, гнали строку, ну а потом, естественно, „культурно отдыхали”, как говорили у нас прежде, или „оттягивались по полной”, как говорят сейчас. К тому же у всех были свои болячки, от которых они пытались отвлечься, участвуя в мужественном и ярком зрелище – бое быков. Фиеста, праздник! Каждый из нас немного играл в эту книгу, особенно это получалось у Германцева, даже внешне: обязательный свигер, непременные американские джинсы (а на что ж тогда знание языков?), короткая битниковская стрижка и непокрытая голова при любой погоде. В стране пыжиков и кроликов это являло собой заметный контраст.

Я попытался играть в фиесту с другим ленинградским денди, Ильёй Авербахом, предложив ему потратить один из выходных с самого утра на посещение значных мест, выпивку и разговоры об „иронии и жалости”. Я предложил зайти для начала в блинную, расположенную в подвальчике на Невском, и его ирония была вот именно, что безжалостна. Ещё бы – блинная! Действительно, когда я заказал порцию коньяку (я настаивал именно на „порции”), буфетчик пожелал уточнить:

– А сколько именно: 150 или 200? Может быть, начнёте с соточки, а там посмотрим?

В этом счёте на граммы изгонялся сам дух фиесты. Убогость быта карикатурно высмеивала наше западничество, особенно в случае Германцева, да и всего его круга, куда я включил бы и Хвоста, и Енота, и Славинского, да и Швейка, о которых я уже писал или ещё напишу. Последний, по свидетельству Довлатова, заявил при допросе в милиции (к нему вязались насчёт тунеядства):

– Да, я работаю мало... Но я ведь и ем мало!

Это полностью относилось и к Герману. Пустая консервная банка, когда-то послужившая ему обедом, теперь являла собой пепельницу, перевёрнутый ящик осуществлял застолье. Правда, имел место диван, но спинка от него, распластанная на полу, предоставлялась как ложе для засидевшегося гостя (или гостыи). Зато из-

влекался откуда–то сам–, а потом уже и тамиздат, могла вдруг возникнуть пачка „Мальборо“, а то и бутылка „Столичной“ в экспортном исполнении, – правда, без закуски. Тогда уже начиналась праздничная роскошь, фиеста с последующей изгагой и интеллектуальным шумом в голове.

Будучи иногородним, Герман обеспечил себе номинальную прописку, но вынужден был снимать жильё: всякий раз довольно фангастическое. Какое-то время он селился минутах в 15-ти ходьбы от меня, на 9-ой Советско-Рождественской. Странное дело, – мои близкие и, прежде всего, мать и Федосья терпеть не могли двух из моих ценимых друзей: его и Горбаневскую. Наверное, чуяли каким–то инстинктом их будущее пребывание „в казённом доме“, опасались моей вовлечённости в их дела... Но именно эти двое так ощутимо поддержали меня на Западе! Чей же инстинкт оказался вернее? Как бы то ни было, а Германцев гораздо реже навещал меня на Таврической, чем я его в гротескно–мрачном подвале на Девятой, где он снимал часть дворницкой на совершенно божеских, как он уверял, условиях. Достопримечательностью там была уборная, расположенная, из-за чрезвычайной заглублённости подвала, на возвышении, так что посетители должны были восходить за нуждой, как на трон или же на эшафот, что кому больше нравилось.

У меня в ту пору возникли виды на одну даму. Нельзя сказать, что такую уж прекрасную, хотя звали её как раз Елена. Я знаком был с ней и раньше, она нравилась мне ладной, немало мальчишеской фигуркой и стрижкой „под пажа“, сходство с которым усиливало из–за её увлечения фехтованием. Любо–дорого бывало поздороваться с ней у Зимнего стадиона, спешащей туда с рапирой на тренировку. Но у неё развивался в то время бурный роман, завершившийся браком с преуспевающим (и при этом талантливым) художником. К тому же он был хорош собой и носил совершенно неземное имя! Увы, райского счастья у них не получилось, они драматически расстались, бедняжка лишилась своего (буквально) света в окошке и попыталась наложить на себя руки. Даже после болезненных перипетий она оставалась заиклена на нём: свет, свет и свет... Я не выдержал:

– Ну что „свет“? Нужно ведь и самой что-нибудь излучать!

Она вдруг очнулась:

– Что ты сегодня вечером делаешь?

– Обещал зайги к Германцеву.

– Возьми меня! Я хочу с ним познакомиться.

– Хорошо, пойдём вместе.

– Только я буду с подругой!

Как было ей отказать? Но эта зашоренная Елена, эта навязанная попутчица, её ожидание – всё предвещало испорченный вечер. Наконец, подруга явилась (полное невзрачие), и мы добрались до того Девятого подземелья. Герман королевствовал в своём крепко накурённом кругу, шутки уже клонились к абстракции, даже сюрю. Изю рта в рот пошла обслюнявленная сигарка: джойнт! Неужели и я приложился? Вряд ли, иначе б запомнил. Зачем же я здесь? Елена сняла с меня обязательства перед ней, и я побрёл по морозцу домой. Часов пять сна оставалось ещё до работы.

Не тут–то было! Среди ночи – звонок. Чтобы не перебудить всех, бросаюсь к телефону.

– Кто это? Что надо?

– Где моя дочь? Дайте немедленно адрес притона, куда вы её отвезли!

– Знаете что? Оставьте меня в покое. Дочь ваша – взрослая особа, сама знает, куда ей ходить.

И – шварк трубкой! Звонит опять. Я дал отбой, подержал трубку подольше на коротких гудках, положил. Звонит всё равно:

– Как вы смеете! Я – полковник Советской армии! Я обращусь в КГБ!

– Вот что, полковник: не шумите. Люди спят. Я сейчас пойду по тому адресу и отправлю вашу дочку домой. Больше не звонить.

Что тут было делать? Пришлось идти. Я догадался надеть семейные валенки и захрустел порошей по оледенелой Таврической. Мороз заворачивал крепко, голова прояснилась. Значит, этот ревнивец–папаша, не дождавшись дочурки, стал давить на Елену, и та ему выдала мой номер! Ну, спасибо...

Вот и подвальное окошко. Стучу в него:

– Герман! Герман!

Выскакивает очумело.

– Это ты, Деметр? Забыл чего?

– Девица у тебя?

– Уже час, как уехала на такси. А что?

– Её папаша у меня весь телефон оборвал: где дочка? Что ты в ней нашёл, такой замухрышке?

– Не скажи... Кожа у неё хорошая!

Некоторое время мы с Германом не виделись, а когда встретились, он, оказывается, вдруг „ломолодел“: стал опять учащимся, поступил на филфак, да ещё и на английское отделение. Вполусерьёз говаривал он, что из них готовят будущих шпионов, а общий снимок первокурсников на картошке фотограф мог бы выгодно продать „Интелледжент Сервис“, потому что там – все до одного. Острота рискованная, но надо было знать, с кем так шутить.

Кумиром его оставался Стась Красовицкий, а хвалил он при мне больше Наймана, показывал неизвестные мне тексты, читал стихи наизусть. Иногда я мог бы даже ревниво досадовать, если б не был уверен, что и обо мне Герман худого не скажет. Общался он с множеством лиц и, перенося идеи (вместе с байками, шутками, может быть, даже и сплетнями) из компании в компанию, совершал, как пчела, перекрёстное опыление. Создавал общий стиль.

Вдруг объявил:

– Тебе нужно познакомиться с Хвостом!

Я уже и сам был наслышан. От Германа же – от кого ещё? Он и тексты пустотно–абстрактные демонстрировал, и песенки волохонско–хвостенковские напевал. Это было забавно, и я был не прочь полюбоваться на такое чудо света. Пришли мы с ним в коммуналку на Греческом проспекте что–то хорошо уже за полдень, часу во втором. Открывает добрый молодец хипповой наружности и в халате на голое тело. Алёша.

– Рад буду познакомиться, – говорит. – Только подождите минутку у двери.

Постояли мы, два 30-тилетних дурадея, в коридоре, думая, что он брюки тем временем натягивает.

Входим. А там – театр.

Хвост принимает визитёров

Сцена представляет из себя захлавленную комнату в типичной ленинградской квартире. Её не убирали уже лет 20, а до этого – ещё 40. Слева – пыльные окна, вокруг – ломаная мебель попережку с подрамниками, пустыми бутылками и раздавленными тюбиками красок. Справа стоит мольберт с неумелым наброском женской фигуры зеленовато–кишечных тонов. В центре находится двуспальная

кровать, на которой возлежит парочка. Это – Алёша и Элеонора, оба в чём мать родила. Целомудренные зрительницы могут набросить на них лёгкую накидку. Входят Германцев и Бобышев.

Хвостенко (*лѐжа*): Добро пожаловать! Я Алёша Хвостенко. Но можете называть меня просто Хвост.

Элеонора (*лѐжа*): А меня – просто Дунька. Хи-хи! (*Прикрывает ладонью выбитый зуб*).

Германцев (*дипломатично*): Мы тут шли мимо, решили заглянуть.

Гости осторожно садятся на ломаные стулья.

Хвостенко: Пожалуйста, смотрите. (*Указывает на мольберт*). Вот моя последняя работа метафизического плана. В ней поднимается тема: из чего сделана женщина? Ответ: из дерьма.

Элеонора (*прикрываясь ладонью*): Хи-хи!

Хвостенко: Дунька, молчи! А вам нравится?

Бобышев: Нет.

Германцев: А по-моему, клёво.

Хвостенко (*не обидевшись*): Ну, ничего. Я прочитаю вам „Вторую священную книгу Верпы”. Первой книги вообще не существует, я начал прямо со второй. Верпа – это персонаж наподобие Заратустры. (*Камлает*). Ну как, понравилось?

Бобышев: Нет.

Германцев: А по-моему, так, гениально, старик!

Хвостенко (*озабоченно*): Ну, и правильно. Мы лучше споём вам частушки. Дунька, запевай!

(Поют дуэтом на мотив „Калинка–малинка”)

Мы весёлые покойнички,
развесёлые покойнички.

Могилка, могилка моя,
раскудрявая могилка моя.

Наши гробики дубовые,
наши саваны шелковые.

Могилка, могилка моя,
раскудрявая могилка моя.

Мы во гробиках поплясываем,
кверху косточки подбрасываем.

Могилка, могилка моя,
раскудрявая могилка моя!

Хвостенко: Ну как, нравится?

Бобышев: Вот это – да...

Германцев: Ну, я ж тебе говорил!

Элеонора: А я нравлюсь?

Бобышев: Очень.

Занавес.

Адмиральский час

Парочку эту я встретил потом и в одетом виде, – в Москве, совершенно случайно. Хорошенькую Дуньку, правда, украшал ещё и синяк под глазом, но она была так же непосредственна. Синяк на такой славной мордочке меня возмутил, и я наорал на Хвоста, объявив Дуньку поколенческим достоянием, а ему как-то побегловардейски и бретёрски пригрозив купировать хвост и заодно уши. Он добродушно поинтересовался, что значит глагол „купировать”. Я объяснил, что так поступают со щенками боксёров и доберманов. Он повздыхал и в свою очередь пожаловался на Дуньку – она, оказывается, пырнула его кухонным ножом в бок, он лишь оборонялся.

– Хорошо ещё, что в ребро, а не между.

– А с чего это она так?

– По пьяни...

Тут уж мне крыть было нечем.

Затем я видел их уже отдельно. Его – в других мировых столицах: Париже, Лондоне и Нью-Йорке, её – в ином образе и в бывшей столице, которая вдруг припомнила своё прежнее название: Санкт-Петербург. А затем мы все умерли, распались на частицы, перемешавшись с прочим мусором этого Мира, наши духи улетели в трансцендентный астрал, а личности оставили свои отпечатки на чём придётся, на фотографиях, на листах бумаги, в каких-то записях и, в частности, в этом вот человекотексте, специально для того и задуманном.

И вот из него или из подобного ему источника вновь возникает мой друг Германцев уже на Васильевском острове, где-то на пересечении Среднего проспекта и Кадетской линии. В эту историческую эпоху она называется Съездовской, ибо дело происходит при советской власти, в жаркий день августа 1968-го года. Рядом с Германцевым вполне естественно возникает автор этих заметок, и вместе мы бредём к новому пристанищу нашего гиперактивного бездельника, либерала и опылителя чахлах лужаек ленинградского андеграунда. Довольно позднее утро, воскресенье. Уже несколько дней, как „наши” танки дают „Пражскую весну”, оккупировав Чехословакию. Александр Дубчек арестован, самосожженец Ян Палах ярко пылает на площади св. Вацлава. Маринин рыцарь Брунsvик бессильно висится над рекой вровень с Карловым мостом. Влтавские лебеди тщетно попрошайничают в своих заводах, людям до них сейчас нет дела.

Все эти дни мне было и страшно, и срамно одновременно. „Голоса” в приёмнике глушились топотом и гиком. Вот я и поехал с утра к Герману в надежде на его диссидентские связи, потому что – дальше же некуда, что-то надо же, наконец, сделать! Но и связи в тот день, если были, все притаились. Я вошёл в арку двора, повернул налево. Над этажами коммуналок высился купол св. Екатерины, и на нём каменный ангел странно и грозно заносил свою десницу. Видимо, эта рука в своё время поддерживала крест, представить который было более чем уместно на православном соборе. Но креста-то и не было, десница воздымалась в жесте, проклинаящем беспамятных святотатцев внизу.

Герман оказался дома, его окошко, едва возвышающееся над асфальтом двора, было открыто, и он пригласил меня зайти прямо через подоконник. Но тема разговора требовала открытого воздуха, и вот мы идём по „Васькиной деревне” к Неве, находясь ещё в видимости разгневанного ангела.

Уже жарко, у пивного ларька толпится мятая, изжѣванная рабочей неделей очередь. Но не заливать же и нам зенки в такие дни! Попадающиеся навстречу офицеры из Военно-транспортной академии отводят глаза в сторону. На набережной обдувает, на Менделеевской линии затишье, а площадь перед БАНом, где впоследствии встанет бронзовый академик Сахаров на словеском валуне, сейчас испускает жар. Мы мрачно обмениваемся новостями:

– Людвиг Свобода в Москве, Дубчек неизвестно где и жив ли, а Пеликан, Шик и Сморковский уже, кажется, в Вене!

– Что же нам делать? Вот и „сладкий академик” закочумал, и Солж затаился.

– Ну, с Солжа-то всё и началось в Праге. Как зачитали на писательском съезде его „Письмо о цензуре”, так и пошло...

– Да, ему есть ради чего беречься!

– Побережѣмся и мы. Нема дурных!

Мы идѣм мимо заколоченных лабазов Биржевого, выходим на Волховской переулок, где работает наша подруга Галя Руби. Но – воскресенье, Галя увезена родителями на дачу на 69-ый километр, где сейчас она пропальвает их огородец, рассаживает „усы” клубники, чертыхаясь на весь свет. В момент, когда мы сворачиваем на Тучков переулок, пушка на Петропавловке выстреливает полдень. Адмиральский час! Мы выходим опять на Средний и покупаем у молодого узбека арбуз.

– Бери. Сладкий!

А в этот момент на Красной площади в 635-ти километрах к югу и чуть к востоку от нас семеро смельчаков, собравшихся у Лобного места, вынимают транспаранты из коляски с грудным ребѣнком и разворачивают их в сторону Кремля:

– Позор оккупантам!

– Руки прочь от ЧССР!

– За вашу и нашу свободу!

Среди смельчаков находится и восьмой, ничего не подозревающий младенец Ося Горбаневский, наташин младший сын (а старшего Ясика она оставила дома). К ним уже бегут агенты: скрутить, немедленно вырвать из рук, разорвать, растоптать, разбить в кровь лицо...

Когда дошли сведения об этом событии, они вызвали у нас вспышки стыда и приливы гордости вместе с каким-то облегчением, как если бы в казѣнном накопителе, где впрям было б топор вешать, вдруг открыли форточку.

Вся история изложена в документальной книге Натальи Горбаневской „Полдень”.

Между тем, Германцев взялся за ум и скоростным образом закончил фифак университета. Представляю, сколько было там насмешек над сокращѣнным названием этого факультета, особенно на английском отделении. Выпускникам оставалось лишь стойчески напускать на себя довольную ухмылку: да, мол, любим мы это дело. А кто не любит?

Девушки-филологи, действительно, окружали Германа. Как ни зайдѣшь к нему в каморку „Под ангелом”, так, глядишь, там две или даже три крутятся. Я, признаться, кроме младости, никаких особенных добродетелей за ними не замечал. Но постепенно всех вытеснила одна, и поскольку Герман порой откликнулся на Герасима, её прозывали Муму.

Я был приглашѣн на свадьбу прямо в ЗАГС и оказался единственным свидетелем. Расписавшись, поехали к её родителям на Кондратьевский. Я и там оказался в гостевом одиночестве. Тесная квартирка, телевизор, полированная мебелишка,

горка с каким–никаким хрусталём, на столе – угощение. Родители – нормальные советские люди среднего достатка, встревоженно–растроганные замужеством дочери. Выпили подчёркнуто мало. В общем, взял я новобрачных с собой, и поехали мы к Арьевым, где как раз в тот вечер происходила самая милая форма общения: гибрид гулянки с литературным салоном. Молодожёны (и к тому же оба филологи) оказались там кстати.

На что они стали жить, для меня оставалось загадкой. Питались не иначе, как маковой росой, – может быть, и в буквальном смысле. Упоминались какие–то переводы, халгуры, порой для экзотических работодателей, – например, для канцелярии митрополита Ленинградского, Новгородского и Ладожского. Возникали и исчезали книжные кирпичи Тамиздата. Было одно впечатляющее приобретение: 17-томный академический Пушкин в переплёте абрикосового цвета, откуда Германцев извлекал немало занимательных шарад.

– Как бы ты заполнил многоточие в этом незаконченном рассуждении Пушкина (правда, на французском, но вот оно в переводе): „Почти все верования дают человеку два...” Два чего? И вот окончание... Это могла быть одна фраза, но возможны и две, разделённые точкой.

– Давай-ка попробуем: „... два соблазна. Первый – это благословение любой власти, и второй, – взамен справедливости, – загробное вознаграждение. В каждом из них имеется нечто такое же отвратительное, как атеизм, отвергаемый человеком”. Так годится?

– Ну, ты даёшь, Деметр. Чтоб религия предлагала соблазны... Это уже слишком!

– Для Пушкина ничего не слишком. Разве „Рыцарь бедный” не о соблазне? И – не о вознаграждении?

Дело Германцева

Если свадьба Германа была сыграна при единственном свидетеле (он же – посажённый отец), то день рождения вскоре после „ноябрьских праздников” показал его не вмещаемую ни в какие стены и двери популярность. Я пришёл в назначенное время, застал Самого и его Муму, ещё двух или трёх из бывших, не желавших уходить в отставку поклонниц, Костю А. и Лёню Е., только что вернувшегося из „мест не столь отдалённых”. Костя недолюбливал меня „по бродской части”, а я не особо жаловал Лёню. Но жалел.

Видел я его у Германцева ранее, не в полуподвале, а ещё в подземелье, когда его ломало, и он готов был осколком стекла расписать либо рожу аптекарши, либо свои запястья – всего лишь за таблетку кодеина. Я пытался тогда его урезонить:

– Лёня, ты что? Успокойся, – сядем, выпьем... Поговорим!

– Нет, водка грязная, не могу...

– Это водка–то? Что же тогда чистое?

– Наслаждение. Знаешь, американские учёные вживили крысам датчики прямо в мозг, в нервный центр наслаждений. Так крысы подошли с голоду, – ничего не жрали, только датчики эти дровичили. Во!

– Лёня, разве ж ты крыса? Ты же человек, вспомни!

Год назад понесло этого Лёню в Москву, там оказался у диссидентов. Взятся передать самиздат от Юрия Галанскова кому–то ещё, и его повязали. При аресте сунули в карман 15 долларов, и за эти доллары припаяли полтора года лагерей. Срок небольшой (особенно по сравнению с Галансковым, который из лагеря не вернулся), а опыт богатый. Сейчас Лёня пел со слезой „Позабыт, позаброшен”.

Между тем, гостей всё прибывало, от дыма (только ли табачного?) открыли окно, и гости прямо со двора запрыгали в комнату вместе с влажным островным холодом.

– Деметр, вот твой рьяный поклонник. Знакомьтесь.

– Очень рад видеть столь выдающегося поэта. Извините, между прочим, у меня грибок на пальцах. Но это ничего...

– Какой грибок?

– Ну, как на ногах бывает. А у меня аж на руки перекинулся.

При этом он пожимал мне руку. Подавал её другим гостям.

– А вот пигерский всевед Алексей Сорокин. Знает каждый дом в городе.

Это „лицо бреющегося англичанина”, как писали (не о нём, конечно) Ильф и Петров, мне уже виделось где-то. Пожимаю ещё одну руку. Все вены на ней, даже на пальцах, исколоты, воспалены. Каморка словно раздвигается, в неё входит улица с туманными фонарями, безликими прохожими... Выпить ещё, что ли? Но мой стакан уже опрокидывается в чей–то рот. И я медленно выплываю оттуда прямо в окно, как в рассказах у Миши Крайчика, писавшего то ли под Булгакова, то ли прямо под Голя, а скорей всего под обще–господствующий стиль самиздатских писателей.

О тогдашней жизни, связанной с Германцевым, осталось сообщить немного: книги и письма. К нему (и не только к нему) зачастили слависты. Упомянутый Костя, например, обихаживал немок. Гена Шамаков „дарит” друзьям ненужных ему американских аспиранток. Одна из них, специалистка по Андрею Белому, некоторое время считалась будущей женой Бродского (правда, так невестой обоих и осталась). А Германа навещали американские молодые профессора. Помимо блоков „Мальборо” это означало книги, книги и рукописи: тамиздат сюда, а самиздат в противоположную сторону. У него я познакомился с Биллом Чалсмой (в ином написании Тьялсмой), докторантом Массачусетского университета и учеником Юрия Иваска. О них обоих более подробно скажу в следующем томе, ЕБЖ (Лев Толстой). Будет сказано и о Джордже Гибиане, который тогда зарабатывал себе постоянное место в Корнелльском университете. Впрочем, о нём можно уже и сейчас. Чалсму он называл Билочкой, с каким-то нежно-ироническим намёком, и был в гостях у Германцева много радужней ко мне, чем впоследствии на конференциях славистов уже в Штатах, когда узнал, что я ищу работу. Такая холодность не помешала мне, однако, использовать его отлично продуманную „Краткую антологию Русской литературы XIX века” на моих курсах, когда я уже прочно трудоустроился. И ещё – по моей интуитивной догадке, нас связывала незримая порука, та самая, что вязала с ним ничего не подозревающих физика Гильо, писателя Воскобойникова, тренера Свинарёва и тех, кто с ними, одной шёлковой скользкой верёвочкой, пленившей и меня, грешного. Но узел тот давно развязался, а Юры Гибиана уже и в живых-то нет.

Всё-таки, наверное, больше через Билочку шли эти бумагопотоки, он вообще частенько оказывался в нужное время в самом подходящем месте: например, в Праге 21–ого августа 1968-го года. С женой Барбарой и 4-мя детьми. Откуда пришлось ему рвануть (вместе со всей чешской оппозицией) в Вену, и он тут же попал на заметку как матерый агент ЦРУ, чуть ли не координатор „Пражской весны”. Тем не менее, на следующий год Билл прибыл к нам в Питер почти в том же составе (за вычетом оппозиции и с добавлением ещё одного ребёночка), и это через него, конечно, Иваск прислал письма, адресованные Бродскому и мне. Германцев привёз и оставил оба письма у меня.

– Я же с Иосифом теперь не контакту! Как я ему передам?

– Моё дело доставить, а вы разбирайтесь сами...

Не знаю насчёт Иосифа, но в моём письме комплименты показались мне ослепительными. Массачусетский профессор, возносясь до невозможных высот, сравнивал меня с Державиным, называл псалмопевцем, на все лады расхваливал строчки:

Дай, Ласковый, дай, Грозный, муку, –
вскричал, – но покажи устройство горл,
дающих мёд и медь пустому звуку!
Гармонии отведать – я пришёл.

Похвалы были, что и говорить, крупны, но не чрезмерней же океанических расстояний, разделяющих меня с этим давнишним цветавским корреспондентом, не чрезмерней же здешнего вакуума, духовного и литературного, в котором они воспринимались – нет, не мною! Читателями! Похвалы были нужны, конечно же, не как адекватная оценка, а как поддержка, которой я не имел уже годами, с той поры, пока была жива Ахматова.

И всё–таки это бесценное письмо (а я ответил на него обычной почтой), и даже оба письма я должен был уничтожить, опасаясь почти неизбежного обыска. Объяснялось это тем, что Германцева арестовали.

Последнее время я его застал озабоченным, и вдруг он удивил меня просьбой:

– Устрой меня на работу!
– А ты и в самом деле будешь работать?
– Клянусь!

В нашем профтехобуче как раз освободилось место в отделе научной информации, и мой друг в него идеально вписывался. Я договорился с кадровиком, оставалось привести Германа. И тут дело застопорилось: как ни зайдёшь, его нет дома. Соседи отводят глаза, ничего якобы не знают. Наконец, позвонил тот самый Костя, который...

– Тебя уже вызывали?

Как, что? Разговор, конечно, не телефонный, встретились. Оказывается, Германцев третий день как арестован и даёт показания. Костю таскали уже дважды.

– Судя по вопросам, шьют ему иностранцев, самиздат и всё такое прочее... Тянет на 70-ую, которая теперь 190-ая.

Это впоследствии повернулось иначе. Но я всё же избавился от лишних бумаг и на всякий случай стал ходить на службу ежедневно. Вызвали меня незамедлительно, и опять через учёного секретаря. По какому делу? По делу Германцева, вестимо! Процедура уже известная: бюро пропусков на Сергиевской, затем подъезд, но не со Шпалерной, а для разнообразия с Фурштадтской, тогда называемой по имени головореза Каляева, своевременно казнённого в Шлиссельбурге. И ещё приятная новинка: вместо въедливо-проницательных, либо же неподкупно-честных физий чекистов – прехорошенькая мордочка с накрашенными, но недовольно надутыми губками. Холёными пальчиками направляет в каретку бланк допроса, спрашивает мелодично фамилию, имя, отчество и всё остальное. Пригласит бы эту цылу в погончиках для начала в кинотеатр „Великан”, а то и прямо в кафе-мороженое в соседнем от меня доме, а затем предложить ей подняться, чтобы продолжить приятный разговор в домашней обстановке и, может быть, заодно послушать мою небольшую, но со вкусом подобранную коллекцию записей старинной музыки?

Надо же, какая порнография лезет в голову! Между тем, она спрашивает и тут же на машинке печатает наманикоренно:

– Давно курите?

– Сигареты – с 10-ого класса. Но вы, наверное, имеете в виду что-то другое? Так я этого вовсе не употребляю.

– А Германцев вас разве не угощал? Вспомните, где вы находились 13-го января 1967-го года? Не отпирайтесь, у нас есть свидетельские показания. Вашего Германа два дня здесь ломало от наркотической абстиненции. Теперь он и сам это подтверждает.

– Что тут можно подтверждать-то? Какие ещё свидетельские показания?

– Надежда Занина вам известна? Она в тот вечер находилась с вами в притоне, который содержал Германцев на 9-ой Советской, и где вы вместе принимали наркотики.

В голове сразу запрыгали и сопоставились полузабытые фактики: это не та ли замухрышка с хорошей кожей, что навязалась мне? Не дочь ли возбуждённого полковника? Вот стучачка!

– Я указанную особу не помню. У Германцева по этому адресу, действительно, бывал в целях общения. Никаких наркотиков не принимал.

– А в притоне на Съездовской линии тоже не принимали? Что же вы там делали 10-го ноября 1968-го года?

– Какой притон? Я зашёл поздравить Германцева с днём рождения. Никаких наркотиков не было.

– А кто там ещё присутствовал?

– Он сам, его жена...

Помня, что тот самый Костя, который меня предупредил об аресте, у неё уже побывал, я посчитал, что могу без ущерба упомянуть и его. Я его назвал, и тут же понял, что это неправильно. Следовательша так и надела: а кто ещё, кто ещё?

– Кто был ещё, я не помню. Какие-то незнакомые мне люди. Да я и ушёл рано.

– Вы не помогаете следственному процессу, стараетесь его запутать. Такие действия могут быть квалифицированы как сопротивление правосудию. У вас до сих пор была хорошая репутация как научного работника. Но в вашем институте, видимо, плохо вас знают. Мы должны поставить администрацию в известность о вашем общественно-политическом лице. В общем, неприятности я вам гарантирую. Давайте ваш пропуск, я подпишу его на выход.

Неприятности, впрочем, разразились не сразу. Вначале пришли материалы из Еревана с результатами эксперимента, который я ставил в тамошней „ремеслухе” с помощью двух гостеприимцев. Они всё сделали толково, хоть сейчас сдавай их бумаги и контракт на подпись директора к оплате. Но написан отчёт был на несусветном, нелепейшем языке, годном, разве что, для анекдотов „Армянского радио”. Пришлось все ошибки корректировать, недомолвки угадывать, стиль исправлять, а весь текст отдать машинистке перепечатать набело. В окончательном виде отчёт выглядел, как конфетка, и я сдал его нашей башкирке. Через минуту она его мне возвращает: нет подписей экспериментаторов.

– Но я же не могу за них подписаться. Вот где их подписи – на черновике.

– Нет, нет, никаких черновиков. Подпишитесь за них в отчёте, иначе мы не сможем им оплатить по контракту.

– Нет, я за других лиц никак не могу подписываться.

– Поймите, нам же срежут бюджет на следующий год, если мы сейчас не вышлатим. А вы упрямитесь!

Тут вдруг встрял тот симпатичный мальчик, что был моим собеседником при долгих перекурах:

- Давайте я подпишу! Я умею.
И с этим он довольно точно вклеил в мой отчёт две армянских подписи.
– Вот и хорошо! – обратилась ко мне заслуженная башкирка. – Несите это теперь на подпись к директору.
– Может быть, вы сами ему отдадите?
– Нет, это ведь ваш эксперимент!
Сцена у директора разыгрывалась, как по нотам.

У директора

За двойной дверью, обитой дерматином и медью – кабинет директора. Директор, типичный административный работник, сидит за просторным письменным столом. Рядом стоит научный секретарь, тоже достаточно типичный. Входит Бобышев.

Бобышев: Вот прислали отчёт из Еревана... Эксперимент... Подпишите к оплате...

Директор (*секундно взглянув на бумаги*): Отчёт фальшивый, подписи поддельные. Это вы их подделали.

Бобышев: Нет, я ничего не подделывал. Кроме того, у меня есть черновики отчёта. Могу показать.

Директор: При чём тут черновики? (*Передаёт бумаги учёному секретарю*) Что вы на это скажете?

Учёный секретарь (*едва взглянув*): Отчёт поддельный. Я узнаю шрифт нашей пишущей машинки. Дата – вчерашняя. Вы что же – успели за ночь послать этот беловик в Ереван и получить его обратно с подписями? Вы подделали подписи на денежных документах!

Бобышев: Нет, я ничего не подделывал.

Директор: Вы обманываете своего директора! (*Обращаясь к учёному секретарю*) Соберите заседание комиссии учёного совета для разбирательства этого дела и передачи в суд.

Бобышев: Вы мне не верите? Я увольняюсь!

Директор: А я не принимаю вашего увольнения до решения комиссии.

Бобышев: Сейчас же напишу заявление в трёх экземплярах. Один – вашей секретарше, другой – в профком, а третий оставлю себе. Я закон знаю и ровно через две недели прекращаю работу. (*Уходит*).

Занавес опускается.

Суд идёт

Дело запахло жареным. Сексапильная следовательша свою угрозу явно выполнила. Теперь они хотят уечь меня в тюрьму за мошенничество. Очень даже элегантно! Когда я сообщил о произошедшем в отделе, на бедного мальчика, и без того больного лимфогранулематозом, было страшно смотреть, лицо его пошло серыми пятнами.

- Они посадят меня в тюрьму. Это ведь я подделал!
– Успокойтесь, вам ничего не будет. Как молодой специалист, вы ограждены трудовым законодательством. За ваши ошибки отвечает непосредственное начальство.

Башкирка кинула на меня кривой, как кинжал, взгляд, и я понял, что оказался прав. Да я об этом законе и раньше слышал, когда юный выпускник Техноложки Виталий Шамарин взорвал цех на Охтинском химкомбинате, и ему за это ничего не было. Правда, лицо себе он попортил ожогами. Но в нашем случае важно было, чтоб мальчик от десяти своих не отрёкся, тогда и он, и я спасены.

Мальчик оказался молодцом, ни от чего не отрёкся, и это сберегло меня от верной уголовной статьи, под которую меня умело определяли. Ему тоже ничегошеньки не было, как и не бывало. Комиссия самораспустилась, но мне ещё предстояло непременно уволиться по собственному желанию. Я не поленился сходить в юридическую консультацию, где получил сочувственные и очень дельные советы. С увольнением тянули, а некоторые „коллеги” провоцировали меня сесть за рабочий стол, поимитировать трудовой процесс хотя бы часок–другой „во избежание конфликта”, но именно этого и нельзя было делать. Наконец, я объявил, что сажусь писать жалобу районному прокурору, и тут же за 15 минут получил окончательный расчёт.

Я свободен, но что делать теперь? Полученных денег надолго не хватит. Работа давно перестала казаться докукой и препятствием для лигературных устремлений. Наоборот, она стала нужна как раз для того, чтоб во мне эти пылкие мечтания поддерживать! Но куда бы я теперь ни подался, всюду ведь спросят характеристику с места бывлой работы... И я вспомнил о телевидении.

Мне выписали пропуск, и вот я опять в той же редакции учебных программ (и – „голубых зайцев”)! Генерал Варлыго встретил меня не хуже, чем былого однополчанина, даже чуть искательно. Что–то ему было нужно от меня.

– Ну, как вам, Дмитрий Васильевич, на научном попреще? Не скучаете по прежнему–то?

– Ничего, терпимо, Андрей Иванович. Но здесь всё–таки повеселей было, разнообразней...

– А не хотели бы обратно? Прямо на прежнее место? А то у нас только что ушёл сотрудник, просто не знаем, что делать.

– Да я бы, пожалуй, не прочь и вернуться.

– Вы это серьёзно?

– А вы серьёзно, Андрей Иванович?

– Тогда – по рукам!

С генеральской рекомендацией мне не понадобилось никаких справок и характеристик.

А как обстояли дела у нашего Германа и его Муму? Там было совсем паршиво. Мумушка с перепугу бросила их каморку как есть и спряталась у родителей. Вот, даже мне не позвонила. Да, напуганы оказались многие, и было с чего. Сексапилка в погонах прочесала хорошо всю шайку–лейку и, кажется, они там решили пустить дело не по самиздату и иностранным связям, а по чистой уголовщине: „распространение, хранение и сбыт наркотиков”, а также „содержание притона”, что звучало особенно дико.

Правда, как я узнал позже, Билла Чалсму с Барбарой и их многочисленными чадами сорвали тогда с рейса. Заперли их на два дня в гостинице (но всё–таки не какой–либо, а „Европейской”), и Билочку выдёргивали по 5 раз на дню на допросы. Видимо, он держался стойко, никакой „политики” из него не вытянули, да и наркоты тоже, и им всем дали безопасно унести в родной Амхерст незабываемые впечатления о Северной Пальмире.

Дело тем временем было передано в суд. В казённом зальчике собралось много знакомых, потрёпанных разбирательством, отсиживавшихся по своим делам. Тут они, как ещё бывает на похоронах, увидели друг друга иными глазами: кто следующий?

Германцев выглядел неважно, на вопросы судьи отвечал как-то уж очень деловито и чётко, – может быть, так казалось по контрасту с дурной комедией, которая там разыгрывалась. Наш интеллигент и самиздатчик, живущий в мировом литературном пространстве, опытный идеолог представлял в ней „содержателем притона“, распространителем и даже торговцем наркотиков, каковые судья упорно называла „мариуаной“, явно по аналогии с благоуханиями. В какой-то момент комедия превратилась в абсурдистскую пьесу. Вызвали всевсегда с „лицом бременского англичанина“. Он, конечно, был вовсе не брит и весьма запущен.

– Фамилия, имя, отчество?

– Алексей Георгиевич Сорокин, – чётко ответил „англичанин“.

– Сорокин, Алексей Георгиевич? – подсказала судья.

– Алексей Георгиевич Сорокин, – настаивал он.

– Ну, какой от него может быть толк для суда? – обратилась она к заседателям после 4-ой попытки. И, уже к нему:

– Идите.

Один за другим вытаскивались другие свидетели, это была та самая улица, которая однажды хлынула в полуподвал из окна. Теперь, поёживаясь поодиночке, они охотно признавались во всех этих „косяках“ и „джойнтах“ на двоих, на троих, а судья методично подсчитывала по грамму, по полграмма количество „мариуаны“, содержащейся в них. Когда она набрала таким образом грамм 30, из зала поднялся „тот самый“ Костя и непочтительнейше наорал на неё в защиту русского языка и ещё что-то о связи правильной орфографии со справедливым судопроизводством. Это было по делу. Безработные филологи и безлошадные поэты, находившиеся в зале, издали одобрительный хмык.

Судья чуть осела, но тут же, словно ладью из-за пешек, выдвинула нового свидетеля. Это был незнакомый мне прежде кузен обвиняемого Шура, симпатичный геолог с манерами джентльмена. Ему случалось бывать с экспедициями в степях Казахстана, и, по идее прокурора, он мог сам стать поставщиком крупной партии индийской конопли (*Cannabis indica*), то есть, по существу, гашиша, также называемого на жаргоне наркомельцов анашой, планом или мариуаной, а следовательно, быть переквалифицированным из свидетеля в обвиняемого за действия противозаконного характера по статье такой-то Уголовного кодекса.

Зал ахнул. Темноволосая девушка с горящими глазами, оказавшаяся на скамье рядом со мной, рванулась душой к Шуру и посвятила ему сердце. И я ему отстранённо позавидовал, как, случается, завидует шафер своему пошедшему под венец другу. А прокурор добил Шуру вещественными доказательствами: полиэтиленовым мешком, содержащим 200 (двести) граммов указанного вещества, а также отрывками из переписки между двоюродными братьями. И то, и другое находилось в ящике письменного стола подсудимого Германцева и было изъято при обыске.

Вердикт: одного – на четыре года исправительно-трудовых лагерей, другого – на два со взятием под стражу в зале суда. Это взвинтило всех до невероятия: да как же так можно? Какие-то граммы–миллиграммы, и вот тебе – „притон“, „сбыт“. И – прямо под стражу! Девушка с горящими глазами пробивалась сквозь возбуждённую толпу к Шуру, в руках у неё возник букет, но обоих арестантов быстро увели.

Ждём теперь на улице, когда их выведут к „воронку“. Быстро собираем по рублю, по трёшке на передачу. Вот, ведут... Под ноги посыпались цветы. Пока, дружище! Увидимся нескоро. Но увидимся, и ещё как! В Риме, Ватикане, Венеции! В Париже! В Лондоне! В Неаполе будем смотреть на Везувий от монастыря св. Эльма, известного своими романтическими огнями. Из Парижа будем звонить с бульвара де Курсель прямо из уличного таксофона в Ленинград Гале Руби, и она сначала не поверит, а потом обалдеет. А пока – вот, я написал тебе стихи.

На арест друга

Не получился наш прекрасный план,
всё сорвалось... Держись теперь, товарищ!
Делили мы безделье пополам,
но ты один и дела не провалишь.

А всех трудов – то было – лёгкий крест
процеживать часы за разговором,
мне думалось: ты – мельник здешних мест,
ты – в мельника разжалованный ворон.

Безумного ль, бездумного держал
то демона, то ангела над кровом.
Один запретным воздухом дышал,
орудовал другой опасным словом.

За это – а за что тебя ещё –
и выдворили из полуподвала,
и – под замок. Жить, просто жить и всё,
оказывается, преступно мало.

Виновен ты, что не торчишь у касс,
что чек житейских благ не отоваришь.
И, веришь ли, впервые на заказ
пишу тебе – держись теперь, товарищ.

Мстительные овощи

Как их, бедных, растрясло, размочалило по ухабам в „телеге жизни“, моих младших собратьев по перу, – настолько, что не им обо мне, а мне о них приходится писать: всё – таки, хоть на время, они стали частью моей жизни. Одни уж давно на Полях Елисейских, но не в Париже, а за пределами нашего обжитого мира и даже, может быть, звёздных и трансцендентных миров, другие ещё маются по дурдомам и коммуналкам, третьи, утомясь, обезнадёженно сдались, а совсем иные выбрали благую часть, приняли сан и служат уже не суррогатному литслову, а Тому, Которое с большой буквы.

Ну, сначала о тех, исчезнувших. Довлатов, которого уже нет, привёл меня однажды в сыкатный ноябрьский вечер в гости к Фёдору Чирскову, которого теперь тоже нет. Но тогда они очень даже были! Более того – праздновали день рождения Фёдора, наверное, уже 27-ой, и он пригласил своих университетских сверстников. Довлатов преподнёс в качестве „подарка“ меня, о котором там оказались наслышаны, а я, о дне рождения и не подозревавший, не принёс ничего. Фёдор, с породистым без тени смазливости лицом интеллигента и то сумрачным, то нежным, то

насмешливым взглядом, был возбуждён, жестикулировал широко, его голос резко звучал в коридоре большущей писательской квартиры на Марсовом поле (особняк братьев Адамини, место небезызвестное в истории литературы). Его мать, домоправительница и прислуга в одном лице, радушно пригласила нас в „малую столовую“. Гости уже рассаживались за столом, уставленным закусками и пирогами, среди которых возвышались напитки. Новорожденный дерзко-шутливо называл мать уменьшительным именем – Шурочка. Ещё до первой рюмки Андрей Арьев озадачил меня вопросом на богословскую тему:

– Как Вы понимаете блаженство нищих духом?

– Как парадокс. Особенно за таким столом.

Фёдор восхищённо глядел на Светлану, свою былую соученицу, но та пришла с мужем, одним из внуков Порай-Кошица, химического светила и академика. Я вглядывался в него, узнавая и не узнавая в этом вусе своего однокурсника, но он оказался его двоюродным братом, театральным художником ТЮЗа. Просто семейное сходство! Ихтиолог Егельский налегал на коньячок, Довлатов не отставал, но при этом остро пикировался с именинником, и видно было, что взаимный обмен колкостями им привычен, а старое соперничество не портит их дружбы. Всё–таки дошли до резкостей. Тут Никита, старший брат виновника торжества, поднял, как водится, тост за родителей. Покойный отец был лишь помянут благоговейно, а выпили за здесь сидящую родительницу двух братьев–молодцов и создательницу этих вот вкуснейших пирогов и закусок. Но „Шурочки“ как раз и не оказалось за столом. Побежали вглубь квартиры за ней. Никита, работавший редактором на „Ленфильме“, внешне походил на мать, следовательно, младший был в отца, что часто случается в детских семьях, и, наверное, ощущал потерю острее, отождествляя себя, может быть, и неосновательно, с умершим главой семьи. Между тем, веселье возрастало, и возбуждение вдруг обернулось сдержанной, но мощной вознёй в коридоре.

Женя Егельский обвинял Довлатова, да и остальных присутствующих в том, что они – советские люди, порожденье эпохи. Сергей сдавленно протестовал, Фёдор разнимал сцепившихся, увещевая:

– Если мы такие, зачем же ты, Женя, сюда пришёл?

– Я пришёл из дружелюбия, чтобы поздравить тебя, Федя. Но, оказывается, вы все – советские люди! – резал правду–матку подвыпивший гость.

– Ты задеваешь честь дома! – запальчиво восклицал Фёдор.

Совместными усилиями друзья–соперники вытеснили бузотёра, рослого и широкоплечего, но физически вовсе не враждебного. Мне даже показался его протест трогательным; впоследствии я видел Егельского в разных степенях подпития, он бывал неизменно дружественным, и никогда – буйным.

Советское благополучие этого дома, стремительно убывающее после смерти отца, было и в самом деле основано на его сталинском лауреатстве. Но стояло оно, трагически накренившись, на самом краю чёрной нарымской полыньи. Надо хотя бы немного рассказать здесь о человеке, которого сам я не знал. Но сын его Фёдор передал мне с собой при отъезде (а я сумел переправить через границу) тетрадь его стихотворений 20-ых – 30-ых годов с биографической заметкой об авторе. Кратко её излагаю.

Борис Фёдорович Чирсков (1904-1966) родился в семье священника на Кубани. Детство, семейное гнездовье на хуторе, затем – гимназия и одновременно „нравы“ и перипетии гражданской войны. Стихи. Петроград, филологический факультет. Должность смотрителя Александровского музея в Царском (тогда уже

Детском) селе. Увлечение Марселем Прустом, в стиле которого написан роман Чирскова „Китайская деревня” о жизни интеллигентов 20-ых годов. Название подразумевало архитектурный ансамбль в парке, но критика восприняла роман как злобную насмешку над коллективизацией, и автора, обвинённого по делу известного эсера и историка литературы Р.В. Иванова-Разумника, отправили в ссылку на 4 года в Сибирь. Ко времени ареста он был уже штатным киносценаристом на „Ленфильме”. Именно это спасло его жизнь на ссыльнопоселении в Колпашеве вскоре после убийства Кирова, когда карательные органы стали спешно освобождать место для новых гигантских партий ссыльных. Б. Чирскову было предписано ехать вглубь края, в совершенно нежилые и гиблые места. В отчаянии он брёл вдоль дощатого забора, пока не увидел на нём афишу своего фильма. Сорванная афиша заставила расчувствоваться казённые души энкаведешников, и Чирсков остался в более или менее обжитом селе Колпашеве.

Вернувшись из ссылки, Борис Чирсков написал сценарий „Валерий Чкалов”, на котором Сталин собственноручно начертил: „Сценарий отличного качества, дело за оператором”. Помимо этого, Чирсков, выражаясь языком современных критиков, создал идеологический хит, – такой уже совершеннейший блокбастер, как „Великий перелом” (о Сталинградской битве), за который заработал не только Сталинскую, но и специальную премию Каннского фестиваля.

Ко времени моего знакомства с осиротевшим сыном Чирскова от всего советского великолепия осталась многокомнатная квартира, которую Фёдор делил с матушкой (Никита с семьёй жил отдельно), да именное кресло в Доме кино, куда он ходил беспрепятственно на просмотры. Можно сказать, что оба брата пошли по стопам отца: старший подвизался в кино, а младший работал одно время в музее на квартире у „Фёдора Михайловича”, что на углу Кузнечного переулка. Этот музей, который тогда только-только образовывался, стал приютом и прикормом для многих „униженных и оскорблённых” интеллектуалов с филологическими дипломами и без оных. Я был знаком с некоторыми и захаживал туда в гости. В силу того, что к Достоевскому было трудно присобачить какую-либо советчину, его музей казался со стороны редким заповедником, очищенным от всего того, что так не понравилось захмелевшему Егельскому на федином дне рождения. Да у Федюни, Федоса, Федула, как его кликали приятели, и не было ничего советского, кроме бывшего лауреатства отца. Но ведь и у отца прежде был Нарым. Вот стихи из его заветной тетради:

Я выйду к реке на обрыв.
 Нарым ты мой чёрный, Нарым!
 Сырая болотная топь,
 широкая, жёлтая Обь...
 ... Густые висят комары.
 Нарым ты мой чёрный, Нарым!
 Забросил в густые леса,
 запутал в свои волоса.
 Канатами корни заплёл,
 тяжёлые баржи привёл.
 – Скажи–ка мне, меченый брат,
 ты чем пред людьми виноват?
 – Я тем виноват, что убил.
 – А я свою землю любил.
 – Я господу Богу служил.

– За вольные я грабежи.

– Я деньги свои утаил.

– За белые руки мои.

– А я за такие дела –

не та меня мать родила.

... Разносит широкая Обь
их песен отчаянный вопль
и пепел бездомных костров
на осыпь крутых берегов.

Я выйду к реке на обрыв:

– Нарым ты мой чёрный, Нарым!

И чем же ты сам виноват,

что я твой сожигель и брат,

что мутная речка течёт

отравною душных болот?

Ты кровью своей виноват,

холодный нарымский закат!

1935 г.

Но главной фединой бедой была его душевная болезнь. Читателю нетрудно заметить, что эта тема настойчиво заявляет о себе в моих записках. Есть на то и вполне понятное прислушивание к себе, заглядывание в свой генетический код: нет ли там на этот счёт какого-либо молекулярного вывиха? Но раздвоение личности и параноя были в воздухе той и, в особенности, предыдущей эпохи, пришедшейся на жизни наших родителей. Вот пример – заласканный лауреат и нарымский ссыльный поселенец в одном лице. Ну, мог ли Фёдор, зачатый и выношенный в проклятом 1941-ом году, родиться нормальным здоровым человеком?

К моменту нашего знакомства кризис и психиатрическая лечебница были уже позади, Фёдора поддерживали таблетки, с которыми у него сложились непростые отношения: он их то принимал, то нет, манипулируя своим состоянием. Уже это подразумевало для него возможность сорваться в новый кризис. Но человек он был творческий, и тормозящие таблетки, понятное дело, не способствовали вдохновению.

– А вдруг они все лежат, белые и сухие, на дне моего желудка? – любил повторять он странную шутку.

„Овощи ещё отомстят за себя”. Это – начало его рассказа на тему своей болезни, рассказа талантливого, по-своему увлекательного и мучительного. Как он описывал устно, в дополнение к тексту, – космические хищные овощи явились на нашу планету, чтобы отомстить за своих поедаемых землянами собратьев. Прембула незаурядная, не правда ли? И откуда могла взяться такая идея? Впоследствии, уже в Америке я, кажется, нашёл её происхождение (или развитие) в запоздалых ссылках на какой-то фильм о киллерах-томатах, – просто очередную голливудскую страшилку для детей. Но эта страшилка могла быть показана на закрытом сеансе в Доме кино, и Фёдор, отстаивший своё право наследства на именное кресло, вполне мог её там видеть. Как бы то ни было, эта идея детонировала в его мозгу и, взорвавшись, не помрачила, а, наоборот, изошрила его сознание настолько, что стали ему ведомы тайны мира и города, подземные ходы и спрятанные сокровища, а также планы злокозненных овощей. Чтобы пресечь их, достаточно было сказать слово правды, то есть сообщить пришельцам, что они разоблачены, распознаны, и таким

образом Фёдор становился бы спасителем земной цивилизации. Бедняга не спал, не ел и сутками бродил (или – носился?) по городу, составляя из трассы своих петляний между кварталами гигантские буквы послания в космос. Ещё одна петербургская повесть? Только вместо Медного всадника его отловил брат Никита и поместил в психбольницу.

Меня очень трогали другие его рассказы, в особенности „Андромер“, который я считал одним из лучших. Помню обсуждение рассказа в даровском ЛИТО „Трудовые резервы“. К сожалению, самого Давида Яковлевича не было, председательствовал его выдвигенец Ельянов. Резервы были соответствующие. На обсуждении я сказал, что герой Чирскова – это, в сущности, Адам, вкусивший яблока, кусок которого застрял у него в горле. Мы все изгнанники из Рая, забывшие об этом вкусе, а вот герой Чирскова не только помнит, но и мучась, не может от него избавиться. Слушателям это, боюсь, показалось заумным, Ельянов прерывал меня, и я с обсужденья ушёл.

Я сейчас перечитал тот рассказ: мотивировки беспомощны, язык местами заторможен и невнятен (проклятые таблетки!), но повествовательная тяга там есть, есть и выразительные описания. Фабула, как и в других его вещах, сводится к возвращению героя после долгого отсутствия (из больницы, ссылки? – неизвестно) к возлюбленной, которая его не ждёт. Он долго и растерянно ищет её, пока не обнаруживает, что она ему изменила с недостойным, как он считает, соперником. И он устраняется.

Нет, отнюдь не Одиссей! Но благородный неудачник, вызывающий к себе сочувствие, сострадание... К тому же неизвестно, кто эта возлюбленная в символическом смысле: уж не Россия ли самое? Тогда одиссеевы методы вряд ли пригодились бы на данный момент.

А, может, это и просто любовный треугольник, – Фёдка ведь был феноменально влюбчив. Однажды имел я неосторожность познакомиться с ним музыкантшу, которой я увлекался в то время. Нет, нет, я оставался приверженцем всё той же королевы, которой я присягал, мастерицы мгновений, но когда мастерица эта меня надолго отпустила, как–то сами собой возникали у меня интересные знакомства. Как с этой вот молодой концертмейстершей одного из балетных театров. К тому же была она хороша собой. Не буду её сравнивать всеу с принцессой Дианой, которая тогда ещё не вышла в свет, но тип внешности был тот самый. Фёдор сразу на неё клонул, бесстыжий, прямо при мне попросил телефон, и эта дура продиктовала ему свой номер, чтобы потом мне же и жаловаться на докучливые звонки. А мой друг завёл во мне ещё одного счастливого соперника.

Но главное и давнее состязание у них было с Довлатовым: и литературное, и любовное, начавшееся со студенческой скамьи. При этом каждый из них внутри себя всё более втягивался в другую, неравную схватку, усиливающуюся с годами: Фёдор боролся с роковой болезнью, Сергей – с не менее фатальным пристрастием к выпивке. Почти одновременно они познакомились с прекрасной черноокой Асей, неофициальной „мисс Филфак“ их выпуска, а вернее набора: Сергей, как известно, загремел в армию, а Фёдор всё–таки университет закончил. Оба воспели в своей прозе общительную, хотя и немного задумчивую красавицу, восходившую типом внешности к образцу по тому времени немислимому – Жаклин Кеннеди: один ярко и иронично, а другой в дымчато-блоковской, хотя и скептической манере.

Я имею в виду роман, который Фёдор писал все годы нашего общения – работу, как он убеждал, всей его жизни. Он то затормаживал её из–за таблеток, то

продвигал, то прерывал ради написания какого-нибудь нового рассказа. В один из тех рассказов Фёдор включил текст предсмертного стихотворения Марии Стюарт, которое он дал мне перевести на русский. Где всё это теперь?

Сам роман я так и не видел до той поры, когда в канун Гласности был опубликован в Ленинграде вымученный сборник „Круг”. Туда, среди других жертв цензуры, попала проза Фёдора Чирскова, – судя по всему, начальный фрагмент романа „Прошлогодний снег”. Там, действительно, полно снега, – падающего, разметаемого ветром вокруг ледяных фонарей, много пухлых от снега платформ и скользких морозных тротуаров, изморози на стенах во время кратких оттепелей, но есть там и ощущение душевной свежести, любовного пробуждения, начала дружбы и соперничества и много, даже слишком много симфонической музыки. Новогодний бал в Павловске!

Автобиографическая подошёка здесь очевидна: героя зовут Борис (как отца Фёдора), героиня – Ася, а противник и друг, конечно, Сергей. Их выдуманные фамилии я и приводить не хочу. Мы обсуждали с Довлатовым качество прозы Чирскова, ему она нравилась меньше, и он, критикуя, ткнул в неестественность фамилий у персонажей. Я согласился. Поговорили мы тогда об особом писательском таланте называть героев: у кого (даже из великих) он есть, а у кого нет. Вот у Довлатова был этот талант, имена у него подходяще–убедительные. И ещё умел он воспроизводить иноязычный акцент: „Тёрт яфо снаёт” (чёрт его знает), – говорит один из довлатовских персонажей, эстонец. Зато у Чирскова между букв и порою нескладных слов проскакивала какая-то сбережённая смолоду чистота, у Довлатова отсутствующая напрочь.

А сюжет был тот же: он, она, „счастливый соперник”, долгие поиски возлюбленной и, наконец, отказ от неё, почти найденной, в пользу „музыки”...

Точно такая же схема в рассказе „Горе”. И – вот финальный портрет героя, почти автопортрет: „Светлые, замутнённые слезами глаза, пыжиковая шапка, которую уже два года нельзя назвать свежей, прихрамывающая походка, отведённый локоть.” Кроме цвета глаз – полное мимическое сходство.

После смерти матери Фёдор жил один в квартире, лабиринты которой уходили в неосвещённую тьму и остались мне неизвестны. Он ни за что не хотел ни делить её, ни разменивать с братом. В том же доме жил в примачах и Яша Гордин, у которого я был однажды в комнате с видом на Мойку, где натюкал на его пишмашинке протест по поводу газетных нападок на Бродского. Выше по лестнице я заходил ещё в две подобных квартиры, где жили писательские дети: к Мише Мейлаху и в семейство Нины Катерли. Нина, сама выпускница Техноложки, была замужем за нашим сверстником-технологом Мишей Эфросом, тоже литературно одарённым, но пошедшим высоко по профессионально–научной стезе. С Мишей, остроумнейшим и умнейшим собеседником, отраднo было общаться ещё с институтских времён, и я стал к ним захаживать, особенно когда они взяли под пригляд одинокого и полубезумного соседа Федьку.

Нина была в восторге от его прозы, да и от него самого. Не знаю, стоит ли об этом писать, но, наверное, можно, потому что она сама демонстрировала мне письменный стол, украшенный фотографиями: Миши там вообще не было, была лишь дочь Лена, собака Довран и Фёдор, Фёдор, Фёдор – от психологического портрета с рукой, подпирающей подбородок, к фотографии во весь рост, снятой чуть снизу, чтобы подчеркнуть длинноногое благородство фигуры, и до детских изображений...

– Не хватает лишь голенького Федюни... А как Миша относится к этому?

– Как относится? Это его стол!

Такой культ соседа, живущего через площадку, показался мне своеобразным.

Однажды, когда мы с Фёдором сидели за бутылкой белого грузинского, явились два ленинградских поэта, ведомые прозаиком–москвичом. Ну, положим, Кривулин еле перебирал ноги из-за полиомиелита, перенесённого в детстве, но почему раскачивался Охапкин, как матрос в бурю? Этого доброго молодца не просто было свалить с ног, однако оба поэта рухнули, едва добравшись до федыкиной тахты, а их провожатый, свежий и почти трезвый, с готовностью подсел к нашей едва початой бутылке. Это был автор шедевра, подпольная мировая знаменитость Венедикт Ерофеев собственной персоной, что полностью объясняло мизансцену с двумя поэтами. Доза, их свалившая, была ему как слону дробина. Это был красивый ладный парень с голубыми глазами и светлой чёлкой, очень русского, но простонародного типа, каким я бы представил себе московского приказчика, сбитенщика, полового. Его книга (в самиздатском виде, конечно) облетела не только нашу алкогольную державу, но, вероятно, и весь свет, потому что, вернувшись на родину уже в тамиздатском исполнении, она продолжала набирать восторженные отзывы. Охапкин, несмотря на своё православие, рискнул назвать её „Евангелием пьющего человечества”. Уми, Олег, лучше не скажешь. Но он и так уже спал, как убитый. И я попытался высказать автору своё:

– Очень смешная и очень грустная книга одновременно. Действительно, алкоголь ведь у нас заменяет всё. Это суррогат работы, развлечения, спорта, даже семейных отношений... Суррогат жизни!

– Как–то вы, ленинградцы, мудрёно выражаетесь... – скромно заметил автор.
– А выпить ещё не найдётся?

Оказалось, что едва начатая бутылка уже совершенно пуста. Спящие проснулись, завозились, стали все вместе „соображать”, и я ушёл восвоися.

„Москва – Петушки” и в самом деле великолепно задумана и с названия до финала выполнена блестяще. Поэма! Десятилетие спустя уже в моей новой жизни я участвовал в одном из ежегодных собраний славистов, – кажется, это было в Филадельфии. После своего выступления я зашёл на другой семинар послушать доклады. На стуле рядом со мной лежали какие–то записи, – вероятно, тезисы чьего–то выступления. Они были как раз об этой книге. Я безмерно удивился, увидев, что наш Венечка сравнивается там с Гомером и Данте. С недоверием стал я вчитываться в аргументы, и что ж – они меня убедили! Действительно, Гомер: подобно Одиссею, венечкин герой, минуя опасности и соблазны, плывёт по алкогольному морю, движимый любовью к своей „верной” Пенелопе и отцовскими чувствами к сыну, умеющему произносить букву „Ю”, главную букву любовного алфавита. И, действительно, Данте: из ада похмелья он стремится в рай опьянения к своей белоглазой и ненаглядной Беатриче. Более того – венечкина поэма повторяет композиционный ход дантовой. Как Данте, держась за лохматый живот Люцифера, должен был развернуться головой „вниз”, потому что это начинался уже путь „наверх”, так и Венечка на какой–то там станции переворачивается вместе с выходящей толпой и оказывается в электричке, идущей в противоположном направлении. До чего же писательски острым обнаружился этот простак–выпивоха!

Надо сказать, что в американских университетах преподавателю даётся восхитительная свобода, заключающаяся в том, что ты сам можешь выбирать круг чтения для студентов. Даже Андрей Синявский такого права в своей Сорбонне не имел, о чём он как–то при мне сокрушался. А я имел, и когда читал лекции по современной русской литературе, загружал головы студентов не Паустовским и Распутиным, а Ве-

ничкой Ерофеевым да авторами московского „Метрополя“: Петром Кожевниковым, Высоцким, Е. Поповым, Ю. Кублановским, Ф. Искандером, Е. Рейном, Б. Вахтиным и И. Лиснянской (списываю прямо со своего Силлабуса к курсу). А чтобы самому не было скучно, на следующий год я этот курс совершенно перекраивал и давал ленинградских авторов. Тогда только что вышел „Круг“, и ребята-девчата у меня читали „Прошлогодний снег“ Ф. Чирскова, „Замёрзшие корабли“ Н. Подольского, „Корабль дураков“ Е. Звягина и, конечно же, стихи О. Охупкина, В. Кривулина, С. Стратановского и Е. Шварц. На одном из моих русских курсов читали мы и самого Андрея Донатовича: „Прогулки с Пушкиным“, а на дом я задавал студентам деконструировать на выбор какую-нибудь американскую безусловность – Супермена, например.

Федя Чирсков никак не мог быть в обиде на то, что я забыл его в моём „прекрасном далеке“, и мы с ним продолжали дружить эпистолярно. Приведу отрывки писем, продолжающие его грустную историю.

„Дорогой Дима! Извини за задержку с письмом, с ответом на твоё глубокое и многозначное стихотворение...

Рад, что у тебя всё благополучно... Наша жизнь тоже хороша, всё прочно, всё надёжно, бежит как по рельсам. Я почти совсем поправился...

У нас теперь в Ленинграде Клуб для писателей–нонконформистов, можешь себе представить? Во главе – правление, само себя выбравшее или выбранное кем надо. Есть устав, который надо подписать, как подписку о невыезде, и возможность сидеть в сообществе тщеславных гениев и девиц с плохими фигурами. Прозой руководит Наль (*Подольский – Д.Б.*), ты его, несомненно, знаешь. Я дал ему для сборника, который власти обещали издать, три рассказа. Он „Андромед“ и „Подземное царство“ отверг... Пришлось дать ему начало романа, под названием „Прошлогодний снег“, ты его, конечно, читал, но теперь всё переписано заново, так же, но лучше.

Ужасно люблю вещи, которые со всеми спорят, как правило, это самые правдивые вещи. А правда, она, как известно, может гору сдвинуть с места, наподобие веры, потому что это одно и то же. Так что, Дима, давай двигать гору, под ней клад зарыт. Кто его найдёт, тому Бог даст. А нам с тобой Он и так дал довольно, скажем Ему спасибо.

Большой тебе привет от Нины с Мишей (*от семейства Катерли и Эфроса – Д.Б.*), будь счастлив. Твой Фёдор. 13.06.82 г.”

„Дорогой Дима! Не знаю, получил ли ты моё письмо (предыдущее), поэтому повторяю новости: я просидел три месяца в сумасшедшем доме, хотя этого явно не заслуживал. Когда стал упрекать в этом брата, он парировал тем, что я, якобы, не мог ответить, хочу ли я есть...

Насылан о твоём стихотворном цикле (*видимо, „Русские терцины“, появившиеся в журнале „Контонент“ – Д.Б.*), но сам не читал и могу лишь стогать от нетерпения, но пока прочесть не удаётся. Сейчас до этого дела добраться стало весьма сложно...

У меня, Дима, был галлюциаторный ступор, во время которого мне удалось вступить в тесный контакт с потусторонним миром и с инопланетными цивилизациями. Всё это было чертовски интересно и убедительнее фантастического романа, но меня оторвали от моих наблюдений уже известным образом...

Твой Фёдор. 19.12.82 г. СПб.”

„Дорогой Дима! Дела мои идут хорошо, жду выхода детской книжки, обещали (лично директор издательства) выпустить её в апреле этого года. Жду апреля. К этому же времени должен выйти сборник „Клуба-81“... Там должна выйти моя повесть „Прошлогодний снег“...

В остальном у меня всё благополучно. Правда, женитьба на Н.П. (*той са-мой балетной концертмейстерше – Д.Б.*) катастрофически расстроилась: полное разочарование... Очередная попытка жениться сорвалась...

Свою жизнь я организовал сейчас прекрасно: даю уроки, много сплю, мало ем, много пишу. Двигаю роман к концу. Он уже виден: написано около двухсот страниц, осталось написать ещё страниц пятьдесят. К весне надеюсь закончить.

Нашу знакомую Нину приняли в ССП (*Катерли в Союз советских писателей – Д.Б.*). Поздравил её. Вроде, всё как нельзя лучше. Ждала, волновалась. Дождалась. Ладно.

Пиши, Дима, у нас новостей мало, хоть из-за океана их получишь. Будь здоров, твой Фёдор Чирсков. 21.01.84. СПб.”

„Дорогой Дима! С опозданием отвечаю на твоё письмо, так как злосчастные обстоятельства опять против меня ополчились: снова больница...

Моё безумие на этот раз было очень красочное, я много повидал и услышал. В частности, мне показали ужасные пирамиды Зла, спрятанные где-то в неизвестном уголке Вселенной. Представь себе, что в верхней части этих пирамид находятся квадратные отверстия, и оттуда, как дым, валит Зло. Вот откуда оно берётся, и почему с ним никто ничего не может поделать. Идея состояла в том, что необходимо во что бы то ни стало разрушить эти пирамиды, и тогда жить станет намного легче. Было там и многое другое: ртутный скафандр, в котором можно путешествовать в космическом пространстве, шахматы в девять клеточек, с белым и чёрным Шивой в середине, огромная яма в фарватере Финского залива, и т.д.

Завершилась вся эта увлекательная кинопопоя задержанием на эскалаторе метро на предмет проверки документов, где я утратил связь мыслей и был передан в руки медицины. Провёл в больнице бесконечные два с половиной месяца, но не жалею... Не знаю, псих я или нет, но вроде бы на окружающих произвожу впечатление нормального человека. Ну, а немного придури – это даже интересно, как говорят в дурдоме...

Пиши. Твой Фёдор. 13.06.84. СПб.”

„Дорогой Дима! Спешу заполнить паузу, повиснувшую в самой середине 84-го года, который для меня оказался довольно суровым, вернее сказать, очень контрастным: три больницы за полгода; как тебе это понравится? Из них психиатрических – только две...

Вот такие события... Несчастливое – это то, что подрался с братом, надебоширил и оказался опять на психиатрии.

Пока я сидел в больнице, мой сосед двумя этажами выше пошёл куда-то на лесоповал (*арест Михаила Мейлаха – Д.Б.*): история жуткая, но я о ней практически ничего не знаю. Меня самого она не коснулась... Что же касается моих соседей справа от подворотни, если стоять лицом к Марсову полю (*Катерли и Эфрос – Д.Б.*), то у них либо действительно всё в порядке, либо они хотят создать такое представление. Твой Фёдор Ч. 23.09.84.”

„Дорогой Дима! Будучи под впечатлением своего долгожданного выхода из сумдома, я не написал тебе о впечатлениях от твоего стихотворения, которое тогда я и прочёл бегло, а сейчас перечитываю и оцениваю его искренность и силу. Ты по-прежнему правдив, а без этого поэзия невозможна...

Если ты помнишь, я обладаю некоторым даром прогнозирования. Так знай: у меня сейчас ушки на макушке, убеждён, что нас ждут перемены. Что они будут – несомненно...

Дима, я не знаю конъюнктуры на американском книжном рынке, но как ты думаешь, моя детская книжка не может иметь шансы быть у вас переведённой? (Например, тобой?) Напиши. Счастливо, твой Фёдор. 15.10.84.”

„Дорогой Дима! Прилагаю это своё письмо к предыдущему, которое ко мне вернулось из-за нечётко написанного адреса...

Государство мне назначило пенсию – 50 рублей, что ни говори, на обочине не валяются. Зато ученики по каким-то своим странным законам перестали меня беспокоить. Это даёт мне безграничные возможности для размышлений, чтения и сна. Время от времени снятся невероятно живые, ослепительные космические сны – в этой области мы с тобой почти что коллеги, ты мог бы мне многое, наверное, объяснить. А я тебе – кое-что рассказать.

В ленинградской „общественной” жизни наблюдается застой, все постарели и пренебрегают общением... Один мой важный прогноз на 84 год не оправдался – роман я пока что не закончил...

Андрюша (Андрей Арьев – Д. Б.) что-то на тебя обиделся – какой-то твой оборот ему стилистически не понравился (какой-то пустяк, но ведь мы все очень болезненно чувствуем стилистику). Напиши ему потеплей... Его тут приняли в ССП. Как ты понимаешь, это не исполнение его детских мечтаний, а суровая борьба за существование.

Пиши, дорогой Дима. И будь здоров. Твой Фёдор Чирсков. 16.01.85.”

„Дорогой Дима! Твоё сообщение о том, что у тебя три работы, заставило меня содрогнуться. О Америка! И вы ещё жалуетесь на безработицу! Советую тебе побольше экономить силы.

... Обращаюсь к тебе с убедительной просьбой: перешли, пожалуйста, присланные с письмом экземпляры книжки в детские издательства (по одной – в американские или любые другие, м. б. европейские, по твоему выбору). Извини, что я тебя обременяю, но уверен, что в память старой дружбы ты мою просьбу выполнишь.

О получении книги, пожалуйста, черкни.

Книжки („Ключик в траве”) я посылаю отдельно несколькими отправлениями. Таков порядок. Извини, Дима.

Остаюсь преданным тебя (*именно так в тексте – Д.Б.*), Фёдор Чирсков. 27.03.85 г.”

Первая бандероль прибыла ко мне в Милуоки и содержала 10 экземпляров „Ключика в траве”. Предстояло получить ещё 19 таких почтовых отправок. Федя, помилуй! Я ведь действительно кручусь на трёх работах: полную рабочую неделю (40 часов) служу в „Астронавтике”, где, между прочим, кроме исполнения непосредственных обязанностей, умудрился написать целую книгу стихов – „Русские терцины”, по вечерам преподаю в местном университете, а в выходные при-

смастриваю за двумя квартирными домами: стрижу газоны, убираю мусор и всё такое... А ты навешиваешь на меня удовольствие переводить твою советскую халтуру и посылать её в 200 издательств! Где я возьму их?

Успокоившись, я всё-таки прочитал книжку и убедился, что это – типичный советский продукт. Даже стиль слащав – сплошные диминитивы: „глазки“, „хвостик“, „лапки“... А сюжет простенький, но с воспитательным смыслом. Девочка живёт летом на даче. Папа приезжает туда по субботам. В ближайшее воскресенье у неё – день рождения. Папа привозит в подарок хомячка и в ожидании следующего дня прячет живой сюрприз в коробке на веранде. Ночью хомячок выбегает на свободу и попадает в сад. Там интересно, но очень страшно! Он знакомится с ёжиком, и тот рассказывает, что за садом начинается лес, а в лесу живёт хищная лиса. Она может хомячка съесть!! Ёжик уговаривает хомячка вернуться: его ведь ждут, его будут любить, он кому-то нужен! И тот возвращается.

Я срочно написал Фёдору, чтоб он не тратился попусту на посылку такого количества книг – я всё равно не знаю столько издателей. И попытался как мог помягче и чуть шуточно высказать мнение, что, мол, в стране вольных прерий и ковбойских доблестей вряд ли кого заинтересует сюжет с хомячком-возвращенцем. Конечно, разумнее было бы лгать бедному Фёдке, морочить ему голову, но я не стал.

Ответ пришёл незамедлительно. Фёдор просто клокотал от негодования и обиды. Он порывал со мной навсегда. Вдруг стали рваться и другие драгоценные для меня письменные связи. А это просто наступили андроповские времена. Переписка с границей, и без того предосудительная, стала карьерным, да и жизненным препятствием.

Но вот пропел петух Гласности, и злые чары рассеялись. Старые дружбы воспряли, но не все. Фёдор так и не захотел со мной встретиться. Он продолжал воевать со своими космическими демонами. В октябре 1995 года они его одолели: он принял смертельную дозу всё тех же таблеток в тёмном тупике квартиры.

(продолжение следует)



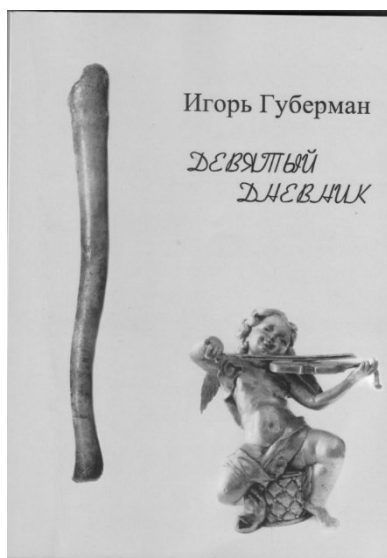
Михаил Юдсон

ВЕЧЕРНЕЕ СВЕЧЕНИЕ*

Когда затихает, наконец, окружающий нас дендрарий с зоосадам, а днище дня уже скребет по песку, солнце валится за море, тень склоняется к вечеру – самое время, не впервой советую, откупорить шотландского бутылку и перечесть Губермана.

"Девятый дневник" – книга светевечерняя, чуток грустная, меняющая освещение мира, однако по-прежнему чутко разгоняющая тучи на душе. Посвящение имеется: "Друзьям, которые уже ушли..." Губерман своими строчками точно бы дозванивается в ту страну, где тишь и благодать, куда ведут на закате Девятые врата, он продолжает, длит беседу с друзьями, незримый застольный разговор. Благо стол раскинут, как море, и яств до бую!

Ни лютая злоба текущего дня,
ни прутья пожизненной клетки –
нисколько уже не волнуют меня.
А к пиву сварил я креветки.



"Девятый дневник" – это своеобразный девятый привал, очередной походный стан охотника за стихами, неутомимого перелетного странника Игоря Губермана. Ну, и путевая проза, философствование на разных местах, ему явно не чужды – книгу открывает раздел "Заметки вдоль текущей жизни". Здесь нас ждут арабески (не пугайтесь) – "собрание мелких произведений, нанизанных на одну тончайшую нить – личность автора". Вышлепают расписные Кипр ("очень-очень обитаемый остров, куда меня позвали завывать стишки для русской публики") и Исландия ("такой повсюдной красоты нигде не видано"). Город Сочи раскрывает свои ку-

рортные тайны, а смачная "Глава благоуханная" повествует о славной истории отхожих мест и их важном месте в эволюции цивилизации.

Любовные пылающие страсти,
порывы увлечений разных лет,
занятия любой высокой масти –
ничто, когда нам нужен туалет.

"Записки из корзины" же, получаемые автором на концертах-выступлениях по разным материкам и весям, можно сконцентрировать так: "Если бы ваши стихи писать на заборе, то получилась бы еврейская Стена смеха".

Кто-то хмыкнул как-то иронически, что "мир спасся, потому что смеялся" – тут вся усмеяльность в утвердительности. Ибо какой уже у нас Спас по счету?.. Живем как на вулкане Эйяфьядлайокюдль – выписываю из Губермана. Ежедневно текущая магма, всюду стучащийся пепел. Мир, звеня и подпрыгивая, катится в бездну, во всяком случае, под гору, словно в мифе о Сизифе, но есть и светлые, некаменистые моменты – всё так же эльфы пляшут, а поэты пишут:

Поскольку нас вот-вот поглотит вечность,
учитывая это обстоятельство,
весьма разумно жить, явив беспечность
и полное на вечность наплевательство.

О, вещей дар – радищево глянуть окрест, путешествуя (и не обязательно, как тот человек – из города Эн на гору Го), дабы душа и на дыбе жизни, под вечер существования наполнилась свечением, хождением по-губермановски: "Клокотало что-то радостное, распирало меня счастье несусветное, хотелось петь, подпрыгивать и что-нибудь выкрикивать..." Очень рад, что поэт щедро делится своим даром с толпой подобных мне поклонников! Ведь кроме свечения таланта, есть у Игоря Мироновича еще и верчение волчка волшебного, четырехстрочного – чудо очередное свершается тут – "гарик" приходит и ухватывает за мозжечок:

Свой век земной избыв почти что дочиста,
я понял – кроме прочего всего:
нет ничего прекрасней одиночества,
но нет и тяжелее ничего.

От стихов Губермана исходит разное важное – аромат мысли, тонкое полелевкусие остроумия, букетом шибает (кыш, раздражители-перегарика!), капли трагикки, вера в надежду – вот почему они любимы, нужны и близки многим и многим. Не зря Игорю Мироновичу вкладывают записки: "Как Вы думаете, чем всё закончится?", "Помогите выйги замуж!"

Поэтому, когда у нас на сердце, в желудочках тоска, или хворь какая прицепится (а хорошо у О.Генри сказано о печали и печени: такие, мол, встречаются болезни, что "даже виски не помогает"), то надобно, подобно друзьям моим, читать очередную недельную главу из Губермана – и будет хорошо! "И в тот же миг насмешливо откликнулась судьба, и горечь мою смысла без остатка". Заметьте, кстати, сколь плавно-ритмична и славная его проза...

Я-то лично ею навечно зачарован: чуть только открыл книгу и начал читать былинку, как во городе Вавилоне (есть такой невдалеке от Нью-Йорка) встречается в октябре, в день Колумба, Губерман с приятелем – и уже окутывает блаженство! "Сидят на закате дня два пожилых еврея и неторопливо обсуждают сравнительные качества водки, настоящей на хрене, растущем в огороде хозяина дома. Разумеется, усиленно

дегустируя эту дивную жидкость. А закусывая – малиной, густо кустящейся вдоль забора. И настолько ощутимый душевный покой клубится над этим мудрым занятием, что посреди вселенской суеты нельзя не оценить такой оазис". Так и хочется вскричать, собравшись с духом: третьим буду?! Пустите меня в теремок!

Пушай я вечный скиталец-репатриант, бедный реп, перекатиполярик с облупленным носом и отмороженными ушами, торчащий в Израиле среди кактусов-сабр, колючих здешних уроженцев – но ведь и я, совковая ботва с глазками, чувствовать умею!.. Печаль моя свекла.

Внутренне краснея, особо рекомендую читателям новеллу Губермана про основанный в Исландии фаллологический музей, где экспонаты – "члены земных тварей мужского рода. И это жутко интересно. Вы когда-нибудь видели член слона? А фаллос кенгуру? А пенис белого медведя? Правда, член кита представлен только одной третью – с меня высотой, а я выше среднего роста... Я б такой и у себя повесил, но жена, конечно, не позволит. Хотя моржовый у меня висит, и куда внушительнее он, чем тот, что под стеклом в Исландии". Так что начинается прозаическая часть книжки хреном (на водке) и им же логически заканчивается (моржовым, на обложке). Ну, Губерман известный фаллософ! Стоик!

Игорь Миронович – прирожденный русский поэт, живущий нынче в Иерусалиме, этой столице вся земля, и терпеливо-терпсихорово сотворяющий свой новый, смешной и дивный мир. В его эзоповых поэзах, четверостишиях-гариках неотвязно возникает столь драгоценное, самородное стихосмещение библейского и расейского – дорогая земля Моава, золотая моя Москва! Книга "Рупь"!

С устройством мира я знаком
уже довольно длительно,
мне смесь бедлама с бардаком
ничуть не удивительна.

Стоп, стоп, это не совсем то, лучше вот это:

Империя внушает восхищение
своим размером и разноязычием,
империя дарует ощущение,
что даже раб велик ее величием.

Пожелаем же Игорю Губерману "Тридешатого дневника"!

* Игорь Губерман. Девятый дневник. – Иерусалим: Агаффер, 2015. – 348 с. ISBN 978-965-7705-07-0



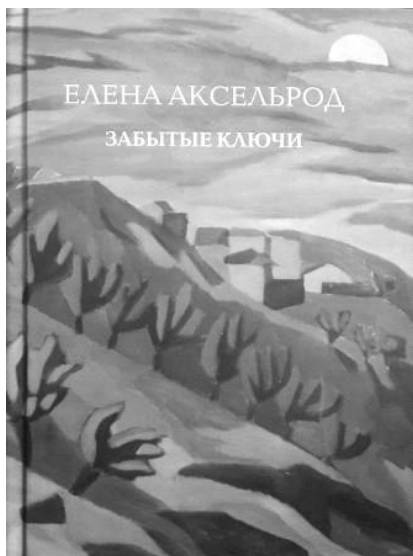
Елена Бандас

ВОЛШЕБНЫЕ КЛЮЧИ МЕТАФОР

*А некий бездельник спросонок
Метафоры низжет как бусы*

Елена Аксельрод "Утро в поселке"

И прежние книги Елены Аксельрод, и новый сборник её стихов носят названия-метафоры: “Лодка на снегу” (Москва, 1986), “В другом окне” (Иерусалим, 1994), “Меж двух пожаров” (Москва, 2010), “Забывтые ключи” (Иерусалим, 2015). Вновь – каждое слово несёт красоту и прочность кристалла чистой воды; речь непринуждённа и естественна; бытовые зарисовки “заземляют” высоту сердечной мудрости, блеск метафор высвечивает главную и сокровенную мысль. И автор пишет о себе, “бездельнице”, с грустной иронией, почти уверенностью в никчемности своей работы для читателя, привыкшего к небрежному скольжению юркой “мышки” по экрану.



Под закатным солнцем цветные тени ложатся на склоны гор, на стены и балконы домов Иерусалима, и этот пейзаж на обложке, оформленной художником Михаилом Яхилевичем (наследником профессии деда, Меера Аксельрода) одухотворён силуэтами деревьев и фигурками людей, распахнувших двери и окна в долгожданную прохладу. Те же темы, что и в стихах под обложкой – живые пейзажи и портреты, задумчивая вечерняя тишина.

В предисловии Светлана Шенбрун пишет о непростом творческом пути Елены Мееровны – в Москве ей позволяли быть детским поэтом и переводчиком. Но – “с перерывом в десять лет, в 1976 году и в 1986-м, удалось издать лишь два

тонких сборника собственной лирики, из рукописи в процессе подготовки были изъяты все стихи на еврейскую тему”. Не был обласкан судьбой и отец, художник Меер Аксельрод, с лейтмотивом его творчества – жизнью еврейского местечка. Был арестован в мае 41-го и расстрелян дядя Зелик Аксельрод, поэт – в его 37 лет.

Потому не стираются в памяти, не стихают фантомные боли утрат:

*А моё родословное древо,
хоть направо пойду, хоть налево,
не укроет меня в своей кроне,
только высохший лист уронит.*

(из “Стихов сыну”)

Согласно предисловию, “забытые ключи” в названии книги – стихи, написанные уже после издания сборника 2010 года, как бы потерянные для прежних изданий. Однако думается, что название повторяет образ одного из стихотворений – боязнь безгласности, которая настигает мастера слова, который порвал с прежней жизнью и оказался в новой языковой среде, бездомным не только физически, но и душевно:

*– Пощади, говоришь, – пожалей,
чашку чая иль кофе налей,
и не жалуйся, не ворчи,
вот тебе запасные ключи:
первый ключ – от дверей забытых,
ключ второй – от речей забытых,
третий ключ – от бездомной строки.
– Только где ж от ключей замки?*

Ключи стиха открывают не забытое прошлое, и вот – его воплощением предстаёт искорёженный бурей лес:

*Не вертикально, а клетчато.
Стволы и сучья вповалку.
Лес этот вряд ли излечится,
В такую попал перепалку!*

.....

*Нам зачем этот лес, это лихо,
Коль полжизни срубили на лыко?*

(“Лес после бури”)

Так – о сломанных судьбах соотечественников, даже тех, кому повезло не быть уничтоженными физически. И Марина Цветаева. И дочь её Аля, Ариадна Эфрон: “Я прожила не свою жизнь!” Анна Ахматова. Фаина Раневская: “Жизнь прошла мимо и не поклонилась!” Состоялись, в отличие от многих иных, оставшихся безвестными. В нищете, в преодолении, всегда вопреки, а не благодаря.

Минувшее не забыто, и взгляд устремляется, вместе с самолётом Тель-Авив – Москва, “в даль, саднящую, как порез, как старый неизлечимый недуг, как врождённый изъян” – это о стране исхода... Автор вспоминает быт полуподвала “в малорослом бревенчатом Минске”, где ребёнком ещё делал рисунки отец – уголками на картонках, и московский подъезд “ледяной Бронной”, и друзей. В памяти живы

запах и звуки, страницы прочитанных в детстве книг и дни эвакуации, с трепетанием угасающего над пеплом огня в печке-буржуйке. Строка “Глогаю взхлѣб скитания печального Агасфера” – обращается формулой собственной жизни, созвучной странствиям и судьбам героев книжных.

“Песня о канторе”, написанная четырёхстопным анапестом, выпевается как музыкальный ритм в шесть восьмых, с затактом, – на тему, болезненную для каждого, кто мог бы сказать о себе, вслед за поэтом – “я иудейка из рода Авраама”:

*Говорят, песни кантора
слышали в гетто,
то ли зауспокойную,
то ль за здравье псалом.
Но какая мелодия
замерла, не допета,
было некому, некому
вспомнить потом.*

.....

*А теперь в синагоге,
где кантор – бельканто,
где поют на библейском
живом языке,
кто услышит,
как звал к покаянию кантор
в городке Молодечно
на Уша-реке?*

Горькое умолчание о случившемся в Молодечно... Переброшен мост от прежней жизни к новой стране, с иной культурой и зачастую неизвестными здесь страницами истории.

И вот – кисть метафоры преобразует обыденность полуденного пекла над обретённой землёй:

*"Льётся не дождь, а бессовестный свет,
хлещет свирепо по кронам и склонам,
день захлебнулся питьём раскалённым".*

*"Не умею ответить на зов изнурённых кустов,
простирающих вслед мне худые, сухие ладошки".*

Поэт не ответит, а узкий специалист-зануда посочувствует с пониманием: берегут листочки драгоценную влагу, площадь испарения у них малая, предусмотрительные-то кусты заменили бы ладошки свои – колючками, ради сохранения жизни под палящим солнцем. Подобно кусту из стихотворения о задумчивом верблюде: "Мы и куст колючий рядом".

Впечатления иерусалимской ночи – в резком контрасте с набежавшей тенью оставленного в прошлом пейзажа:

*Ночь. Отдувается ветер потный.
Прошмыгнул и пропал меж веток.
Зной не сдаётся, недвижный, плотный,
как тут заснёшь без таблеток?*

*Вот и не знаю других объятий,
Кроме объятий зноя,
А задремлю, приснится некстати
Солнце смурное, большое,
Укутанное бинтами
мартовских туч несвежих..*

На израильские краски ложится тень навязанной стране войны.

Болевая точка в новой истории народа, в сердце поэта: дракон жив, всё новые жертвы ему нужны. Мир его подкармливает, лелеет, выгоду в том найти надеется. Почему же вертолёт так долго кружит в небе – что случилось, кто сегодня в беде? Сказано обо всём этом в свойственной автору манере письма – вполголоса, ненавязчиво:

*Одержимый жужжит вертолёт,
И тревога висит невесомо.*

“Одержимый” – так никто ещё о вертолёте не сказал. Когда шли боевые действия, “одержимыми” были самолёты, небо и днём, и ночью гудело. Тяжёлая, звукоподражательная аллитерация первой строки подчёркивает лёгкое звучание второй, где пять раз повторен один и тот же гласный звук (безударное е звучит как и), а “висит” и “невесомо” – однокоренные, с перегласовкой, слова. Как бы на одной ноте затаённая, не высказанная речь, с её звуковым многообразием, мысль.

Выразительные средства стиха определяются детством поэта в отчем доме, с холстами и красками, друзьями – художниками, посещением выставок живописи и музеев, с еврейскими мелодиями, которые напевал за работой отец (Е. Аксельрод “Двор на баррикадной”, М. 2008). Потому так наглядны эпитеты, точны зарисовки, узнаваемы пейзажи. Не случайно названия некоторых разделов сборника напоминают об изобразительном искусстве: С природы, Галерея, Автопортрет.

“Автопортрет на фоне джаза” – развёрнутая метафора, которой предпослан эпиграф из стихотворения Е. Баратынского: “Мой дар убог, и голос мой негромок”.

Один из лучших лириков XIX столетия, романс на слова которого “Разуверение” (“Не искушай меня без нужды”) и теперь ложится на душу, окончил взятое в эпиграф стихотворение фразой: “И как нашёл я друга в поколении, читателя найду в потомстве я”. Но Е. Аксельрод сочла себя недостойной этой концовки... Несколько строф из “Автопортрета на фоне джаза”:

*Труба, как зубная боль.
Это во мне нет гармонии.
Это мои МИ, ФА, СОЛЬ
тонут в бездонном гомоне.*

*Разве это ударник
свои барабаны мучит?
Это мой дар бездарный
не принимает созвучий.*

*Разве это контрабасист
на пол роняет ноты?
Это в мозгу моём свист,
не улей – пустые соты.*

*Какой сердобольный рояль!
Но что-то невнятное гложет.
Мне почему-то жаль
всех, кто меня моложе.*

Стихи – о дисгармонии нашего времени, но для автора отсутствие в нём стабильности, уверенности и покоя претворяются в собственную душевную неприкаянность. Кто же из нас не испытывал тревоги, глядя на свистопляску вокруг и думая о будущем детей? Но как лаконично и просто, двумя последними строками, об этом сказано!

Быстротекущие дни, шагреновая кожа человеческой жизни – одна из характерных тем. Так, краток для автора промежуток времени между московским переулком (переулок Николая Островского назывался когда-то Мёртвым – в тамошний госпиталь свозили больных чумой) и Мёртвым морем, на карте Израиля. (“Пространство смещено и время сбивчиво”, – из прежних стихов Е.А.).

*День занимался
в Мёртвом чумном переулке.
Нехотя ночь погружается
в Мёртвое море.
Меж них наше время -
Морозные, знойные сутки -
бочком проскользнуло,
как будто сквозь щёлку в заборе -
краденые промежутки,
шапка не вспыхнет на воре.*

*Хранит нас, не отпускает
брошенный переулок.
Выталкивает, просаливая,
жалостливое море.
Всё норовим оглянуться,
хоть вроде бы не до шуток,
пока ещё не в Содоме,
пока ещё не в Гоморре.*

“Под стрёкот будней жизнь твоя прошла...” – в одном из стихотворений-воспоминаний. А в разделе “Галерея” – портрет, такая видео-миниатюра о постепенно истекающем сроке, нам отпущенном:

Об одном старике

*Утренний старик
бродит меж старых книг,
снова читает Толстого
неторопливо, за главкой главку,
и попевает за овощами в лавку
до половины второго.*

*Вечерний старик,
проводя последний блик
света дневного,
откладывает Толстого,
смотрит глазами усталыми,
мается сериалами,
ужинает кашей вчерашней,
становится меньше и старше.*

*Про старика ночного
не пророню ни слова.*

Однако необратимость времени смягчается искренностью и теплотой отношений в семье, с мужем и сыном: “Только бы вечером, ближе к семи, голос родной услышать за дверьми” или – “Одно в толпе неразличимой твоё лицо светло и зримо”. Лиризм и романтичность свойственны поэзии Елены Аксельрод.

И ещё одна надёжная гавань в непредсказуемом хаосе событий – творческий труд, владение волшебством эпитета и метафоры, умение сказать о том, что занимает мысль и владеет сердцем – так, чтобы отозвались и наши сердца.

*Истлеет повседневности рубаха,
А слово прорастёт
в спокойной глубине.*

Пожелаем поэту прочной и добротной “рубахи повседневности” – и долговечности её поэтического слова!



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
Саркома благих намерений

(продолжение. Начало в №1/2015 и сл.)

16. ФАРМАЦЕВТ

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медестра, всякихнадобий мне не готовь.

Булат Окуджава

Религиозное чувство человека устремлено в бесконечность. В служении Богу не может быть момента, когда верующий скажет: «Я послужил Ему – и довольно». Древний египтянин не мог удовлетвориться покупкой только одного священного каменного скарабея, он покупал ещё и «свитки мёртвых». Знаменитый еретик, Ян Гус, в молодости горевал, что у него хватило денег только на одну индульгенцию. Иван Грозный в перерывах между своими зверствами щедро рассылал награбленные им богатства своих жертв в монастыри на заупокойные молитвы и во искупление собственных грехов.

С того момента, как медицина сделалась частью новой религии, борьба за здоровье тоже взяла прицел на бесконечное. Если человек ни на что не жалуеться, мы займёмся борьбой с теми болезнями, которые ждут его впереди. А это – бескрайнее поле. У нас на счету неоспоримые и славные победы над оспой, чумой, холерой, малярией, туберкулёзом и прочими бичами человечества. Победив мир бактерий, мы вступаем в эпоху борьбы с вирусами. Нельзя щадить усилий в войне против такого опасного и загадочного врага. И уж тем более – денег.

В войне с болезнями врач выступает в роли воина, а фармацевт – в роли поставщика оружия и боеприпасов. Трудно представить себе, чтобы во время настоящей войны полководец объявил, что у него достаточно пушек, танков, снарядов, самолётов. «Ещё! Больше! Новее! Дальнобойнее!», будет призывать он.

Объём производства лекарств, вакцин, препаратов, мазей достиг в Америке неслыханных размеров. Расходы на разработку новых «боеприпасов» измеряются сотнями миллиардов долларов и стоимость их растёт не по дням, а по часам. По данным 2009 года, «лечение рака новыми препаратами будет стоить больному очень дорого: лечение некоторых форм лейкемии лекарством «гливек» (Gleevec) обойдётся в 2200 долларов в месяц до конца жизни; лекарство «херсептин» (Herceptin), применяемое при раке груди, – 3200 в месяц; «авастин» (Avastin) обойдётся в 55 тысяч за год; одна таблетка от тошноты, вызываемой химиотерапией, – 100 долларов».¹

Но ведь в условиях рыночной экономики цена на любой товар должна складываться в результате конкурентной борьбы. Потребитель должен решить, какой товар лучше удовлетворяет его нужды и какой ему по карману. Тут-то и происходит свой гладкого вращения колёс рыночного механизма.

Когда я стою перед полкой с разными обезболивающими, откуда я могу знать, какое из них сработает лучше? Вроде бы в прошлый раз от головной боли хорошо

помог тайленол, а от зубной – адвил. Но, может быть, попробовать на этот раз дешёвый ибупрофен? И от страха перед грядущими приступами я, скорее всего, куплю все три.

Здесь меня поджидает первый фармакологический трюк. На каждой упаковке стоит дата годности. Откуда она берётся? Почему таблетка или порошок, чей химический состав остаётся неизменным год за годом, может утратить свои лечебные свойства? Один командир военной базы послал соответствующий запрос в фармакологическую фирму. Ему надоело тратить деньги, без конца обновляя запас лекарств в госпитале. На базу пришёл вежливый ответ: «Нет, мы не утверждаем, что лекарства утратят свои свойства. Мы только указываем, что наша фирма гарантирует качество до такого-то срока. А дальше – на ваше усмотрение».

На своё усмотрение? Допустим, пока речь идёт о моих хворобах, я рискну принимать просроченный талейнол, провалявшийся у меня в аптечке пять лет. Ну, а если речь идёт о моих близких? О детях? Конечно, помчусь в аптеку покупать новый.

В среднем любое лекарство в США будет стоить примерно на 60% больше, чем в Англии и Канаде. В северных районах страны возникла печальная практика: группы пенсионеров объединяются, чтобы нанять автобус и съездить в Канаду за лекарствами. Американские фармакологи объясняют перекокс цен тем, что им приходится тратить много средств на исследования и испытания новых лекарств. «В действительности же, расходы на исследования гораздо меньше того, что фирмы тратят на рекламирование. В 2005 году пять главных компаний продали товаров на 222 миллиарда долларов. Из этой суммы на исследования ушло 32, а на рекламирование – 71 миллиард. Несмотря на это, федеральное правительство представляет фармакологии щедрые налоговые льготы на исследования – больше, чем какое-нибудь другое правительство в мире».²

Очень часто то, что объявляется «новым», на самом деле представляет собой слегка модифицированное старое лекарство. Но при этом, старые исчезают с полок, а новые стоят в два-три раза дороже.³ Даже мой «колхичин», спасавший подагриков ещё в Древнем Египте, ухитрился подорожать в четыре раза за последние годы.

По своей доходности фармакологическая индустрия (некоторые авторы называют её для краткости «фарма») превосходит почти все отрасли американской экономики. «В 2006 году продажа продукции фармы достигла 643 миллиардов долларов. Половина этой суммы была уплачена американцами, другая половина – всеми остальными странами вместе взятыми. На рекламу и администрирование тратится в три раза больше, чем на исследования... В компании Уорнер-Ламберт ведущие администраторы получали около 20 миллионов в год».⁴

Директора фармы утверждают, что продвинуть новое лекарство на рынок стоит им около 800 миллионов долларов. Этому можно поверить, если вспомнить потоки медицинской рекламы, заполняющей экран телевизора. Благообразные немолодые дамы и джентльмены старательно изображают блаженство облегчения, разлившееся по их телу после принятия новой волшебной таблетки или втирания новой лечебной мази.

В других цивилизованных странах коммерческое рекламирование лекарств запрещено – и на достаточных основаниях. Рядовой человек, обременённый каким-то недугом, будет хвататься за луч надежды, посылаемый ему с экрана. Он слишком незащищён перед умелым и напористым коммерсантом.

«У меня был шестидесятилетний пациент с болезнью сердца, – рассказывает доктор Лебоу. – Он увидел по телевизору рекламу нового препарата для разжиже-

ния крови под названием плавикс (plavix) и попросил меня выписать ему рецепт. До этого он принимал по таблетке аспирина в день, и всё шло нормально. Но ему казалось, что если он начнёт платить за лекарство по 110 долларов в месяц, это послужит оправданием курения, от которого он был не в силах отказаться».⁵

В заповедях новой религии курение – серьёзный грех против идола здоровья. Если ты не можешь одолеть грех, его необходимо искупить. Дорогое лекарство, дорогое лечение рождает в душе такое же умиротворение, какое раньше рождали покупка индульгенции или заказ молебна.

Случается, что я не успеваю переключить канал, смотрю рекламу лекарства до конца и с удивлением выслушиваю перечень возможных нежелательных последствий его применения. «Если после принятия таблетки у вас вдруг начнутся сердечные спазмы, головокружение, одышка, понос, температура, – предупреждает диктор, – немедленно обратитесь к врачу».

Эта часть рекламного ролика обращена уже не столько к потенциальному покупателю, а к воображаемому адвокату, который вздумал бы предъявить фирме иск за вред, принесённый лекарством. Очень часто и врачи предписывают какие-то процедуры и тесты, только чтобы защититься от возможных обвинений в халатности. Подобная стратегия называется «защитная медицина» – *defensive medicine*.

Но покупателя лекарств подробный перечень опасностей может и отпугнуть. В процессе лечения катаркаты и глаукомы мне было предписано по три раза в день закапывать в глаз капли из трёх разных пузырьков. Из любопытства я прочёл вложенные в коробочки инструкции с предостережениями. Фармакологический гигант Аллерган честно предупреждал меня, что содержащиеся в каплях вещества могут причинить а) затруднение дыхания вплоть до приступа астмы, б) остановку сердца, в) приступ бронхита, г) сжатие сосудов, д) аллергию, е) мускульную дистрофию. В конце в утешение сообщалось, что *фатальный исход случается редко*.

Каким же надо быть смельчаком – или идиотом, – чтобы употреблять подобные капли? А если не станешь употреблять – вдруг совсем лишишься зрения в этом глазу? Полагаю, что большинство пациентов предпочитают не читать мелкий шрифт предостережений, а во всём доверяться врачу. Я же выбрал тропу трусов: убедившись, что никакого заметного улучшения капли не приносят, выбросил пузырёк в мусор.

Истории взаимоотношений человека с лекарственными и наркотическими веществами доктор Сас посвятил отдельный труд: «Церемониальная химия: ритуальное преследование наркотиков, наркоманов и торговцев».⁶ В нём он проводит мысль о том, что объявлять какие-то психотропные вещества опасными и вредными, а какие-то – разрешёнными к употреблению не может быть обосновано научными критериями, а только меняющимися догмами религии и культуры. Разница между понятиями «наркотик» и «лекарство» видится ему такой же условной, как разница между понятиями «вода» и «святая вода».

«Так же как медицинские ценности сменили ценности религии, так же и догматы медицины вытеснили религиозные ритуалы. Новый принцип: всё, что улучшает здоровье, – хорошо; всё, что грозит болезнью, – яды, микробы, плохая наследственность, плохие привычки – должно быть подвергнуто осуждению».⁷ Как в истории религий существует противоборство различных течений, так и в учении медицины алкоголь то разрешался, то запрещался; курение было модным в первой половине 20-го века, а сейчас объявлено сверх-вредным; зато постепенно выходит из-под полного запрета марихуана.

Доктор Сас считал, что преследование ведьм в огромной степени выросло из того, что это были женщины, лечившие бедняков травами и снадобьями и представлявшие серьёзную конкуренцию «лечению» посредством молебнов и мощей. По его мнению, фарма сделалась орудием государственного контроля за гражданами, прелятствуя их поискам альтернативных методов лечения.

«Изначально нацеленная на защиту обывателя, фармакология пришла к тому, что наносит вред и пациенту, и врачу. Пациент лишён выбора лекарственных веществ по своему усмотрению, потому что они запрещены в США, хотя разрешены в других странах, лишён права выбора лечащего специалиста, потому что тот не получил одобрения государства. Врач же, хотя поначалу выигрывает от монополии, даруемой ему государственным контролем, оказывается в ситуации, когда он не может прописать больному лекарство, которое, как он верит, могло бы помочь. Внешне альтруистический мотив “защита больного от опасного лекарства” прячет реальный импульс к доминированию – врача над пациентом, одних врачей над другими, политика – над врачом, в бесконечном потоке тиранического регулирования».⁸

Получение взятки политиком считается в США серьёзным преступлением. Если он примет, скажем, приглашение на обед от какого-нибудь бизнесмена, заинтересованного в благоприятном решении соответствующего законодательного органа, пресса может обрушить на него ушаты грязи, ФБР откроет расследование. Поэтому фарма, как и многие другие отрасли индустрии, давно перешла на взносы в предвыборные кампании политиков, что по сути является разрешённой взяткой. «Между 2003 и 2009 годами страховой и фармакологический бизнес внесли 2,2 миллиона долларов в кампании десяти видных федеральных политиков. Главные куши достались сенатору Маккейну (546 тысяч), сенатору Макконеллу (425) и главе финансового комитета Максу Бакусу (413)».⁹

Законы против монополий заставляют фарму искать обходных путей. «Крупные компании платят конкурентам за то, чтобы они откались от производства более дешёвого лекарства. Это превращает само понятие конкуренции в фарс. В своё время был раскрыт сговор, связанный с производством витаминов, за который компании заплатили штрафов почти на миллиард».¹⁰

При постоянном состязании в выбрасывании всё новых и новых лекарств на рынок, у фармы не может хватать времени на то, чтобы основательно проверять их эффективность и безопасность. Часто можно видеть такие объявления: «Исследования показали, что такое-то лекарство может быть опасным. Немедленно прекратите принимать его». Однако уследить за всем невозможно. По скромным оценкам, опубликованным в журнале АМА, в американских больницах около пятидесяти тысяч человек умирает каждый год от отрицательной реакции на лекарства.¹¹

«Стать наркоманом» в русском слэнге обозначается выражением «подсесть на иглу». Но с таким же успехом человек может «подсесть на лекарство». В первом случае его манит жажда наркотического опьянения, во втором – гонит страх болезни и смерти. «Растущая эпидемия ожирения открывает перед фармой бескрайние горизонты обогащения. Миллионы американцев станут принимать лекарства, обещающие снижение холестерина. И будут тратить на это 3 доллара в день, то есть 1100 долларов в год до конца жизни. Аналогичные “пожизненные” лекарства разрабатываются для диабета, повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний... Перспективы лекарств, обещающих похудание, поистине безграничны».¹²

Какими бы печальными ни были цифры статистики, они, как правило, остаются на задворках сознания. Лишь в тот момент, когда ты лично столкнёшься с

астрономической ценой выписанного тебе лекарства, до тебя доходит беспредел разрешённого грабежа.

Со мной это случилось в связи с теми же глазными каплями. Врачи, лечившие мой глаз, имели в своих шкафчиках образцы, щедро поставляемые им соответствующими фирмами, и они, с такой же щедростью, сначала давали мне их бесплатно. (Может быть, именно поэтому я решился выбросить их.) Лечение продолжалось, в какой-то момент у врача не оказалось образцов, и он выписал мне рецепт на капли combigan.

Тут меня взяло сомнение. «Нельзя так лихачить, – сказал я себе. – Глаз заживает медленно, вдруг эти капли – как раз то, что ему нужно. Бог милостив, может быть, уберёжет меня от всех возможных осложнений, честно перечисленных в приложенной бумажке». И отправился в аптеку.

Фармацевт взглянул на рецепт, принёс знакомую мне коробочку, содержащую пузырёк размером с напёрсток. Я уже полез за кредитной карточкой, но на всякий случай спросил:

– А сколько это будет стоить?

Теперь приготовьтесь. Представьте себе, что вы зашли в уютный ресторанчик, размышляя лишь о том, чем побаловать себя на обед: пирогом с курятиной или фаршированной камбалой? И вдруг замечаете, что у официанта под распахнувшейся курткой, за поясом торчит пистолет. И до вас доходит, что ресторанчик, скорее всего, захвачен мафией, и все посетители в нём, сами того не подозревая, являются пленниками и заложниками.

– Триста долларов, – спокойно ответил аптекарь.

Перефразируя Книгу Бытия, 2:7: «И открылись глаза у него, и понял он, что наг и беззащитен. И не из чего ему было сшить опоясание».

Я хотел крикнуть «грабят!». Я с горечью вспомнил, что выбросил в мусор 300 долларов. Я подумал, не снимают ли меня скрытой камерой для розыгрыша. В конце концов, не нашёл ничего лучшего, чем сказать ни в чём не повинному аптекарю:

– Позор на вашу голову!

Спрятал кредитку, ушёл, но снова мозг сверлил вопрос: а если бы лекарство было выписано кому-то из близких? Даже если у кого-то из нас хватает духа не поддаться медицинскому шантажу, наши близкие остаются заложниками в руках всемогущей террористической фармокрации.

Однажды по каналу «Планета животных» показали передачу про лосей в Канаде. Могучий самец царственно стоял рядом с заснеженной елью, выпускал струи пара из ноздрей, оглядывал блестящим глазом свои владения. Потом сделал несколько шагов и вдруг зашатался и повалился боком на землю. Красивые рога беспомощно воткнулись в снег.

Лесничий и ветеринар приблизились к нему, вкололи снотворное и приступили к осмотру. Животное внешне выглядело вполне здоровым, не было заметно никаких ран и увечий. Только когда пальцы ветеринара раздвинули густую шерсть на шее, стала ясна причина недуга: вся кожа была покрыта крупными чёрными пузырями – налившимися кровью клещами. Некоторые были размером с ягоду смородины, другие – с черешню. Они чувствовали себя очень уютно. И не догадывались, что обескровленный ими лось скоро погибнет и их безбедное существование придёт к концу.

Точно так же здравоохранение, страхование и фарма превратились в клещей, высасывающих финансовую кровь из могучего организма рыночной экономики Аме-

рики. Клещ, как мы знаем, впивается намертво, вырвать его можно только с плотью. Но, вдобавок к этим трём, из здоровых тканей социальных институтов страны высасывается кровь и четвёртый опасный паразит: 800-тысячная армия адвокатов.

Вглядимся в те формы, которые эта уникальная порода приняла в Америке в начале 21-го века.

Примечания:

1. Weil, Andrew. *Why Your Health Matters. A Vision of Medicine That Can Transform Our Future* (New York: Hudson Street Press, 2009), p. 17.
2. Там же, стр. 125-126.
3. LeBow, Robert H. *Health Care Meltdown. Confronting the Myths and Fixing Our Failing System* (Chambersburg, PA: Alan C. Hood & Company, Inc., 2003), p. 35.
4. Weil, op. cit., pp. 18-19.
5. LeBow, op. cit., p. 48.
6. Szasz, Thomas S. *Ceremonial Chemistry. The Ritual Persecution of Drugs, Addicts, and Pushers*. New York: Doubleday, 1974.
7. Ibid., p. 29.
8. Ibid., p. 148.
9. Ibid., pp. 90-91.
10. LeBow, op. cit., p. 77.
11. Gross, Martin L. *The Medical Racket. How Doctors, HMOs, and Hospitals Are Failing the American Patient* (New York: Avon Books, 1998), p. 73.
12. LeBow, op. cit., p. 228

17. АДВОКАТ

А грязных адвокатов жало
работает в табачной мгле –
и вот, как старая мочала,
банкрот болтается в петле.

Осип Мандельштам

Должен предупредить читателя: при работе над этой главой мне будет нелегко сохранять объективность. Мой опыт столкновений с американскими адвокатами хорошо описывается строчками Бродского: «Нам судья противен, защитник – страшен». Или отрывком из «Дневника писателя» Достоевского:

«Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно, как и всякому человеку – достигнуть райского состояния... Мне всё представляется какая-то школа изворотливости ума и засушения сердца... Адвокат никогда не может действовать по совести, не может не играть своею совестью, если б даже и хотел не играть, это уже такой обречённый на бессовестность человек».¹

Это крапивное семя, эти крючкотворы, эти пиявки ненасытные...

Стоп! Нужно взять себя в руки.

Великая страна Америка создавалась великими адвокатами: Джон Адамс, Александр Гамильтон, Патрик Генри, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон. Из 55 делегатов, выработавших основы Американской конституции летом 1787 года, 31 были адвокатами. Любая человеческая профессия подвержена трансформациям и дегенерации. Могли ли первые христиане представить себе, что тысячу лет спустя профессия христианского священнослужителя будет включать в себя обязанность сжигать людей заживо?

По крайней мере, нельзя сказать, что в современной американской культуре образ адвоката представлен идеализированным и приукрашенным. Нет, ушёл в прошлое образ справедливого защитника невинных и угнетённых, созданный Грегори Пеком в фильме «Убить пересмешника» (1962). Сегодня мы помним Роберта Дювала в «Крёстном отце» (1972), страшноватых коллег Ал Пачино в фильме «Правосудие для всех» (1979), Джеймса Мэсона в «Вердикте» (1982), Джина Хэкмана в «Фирме» (1993) и целую толпу циничных и неразборчивых адвокатов в романах Джона Гришама и в их экранизациях.

Защита обвиняемых в судах, оформление разводов, подготовка завещаний и торговых соглашений – лишь малая часть их деятельности. Главное – охота за отдельными гражданами и учреждениями, которым можно было бы вчинить иск, чреватый крупным штрафом. Даже такой маленький бизнес, как наше издательство «Эрмитаж», не раз привлекал внимание юридических хищников.

Например, один самолюбивый автор нанял вашингтонского адвоката, чтобы судить нас за «сокрытие» якобы полагающихся ему потиражных. Он был убеждён, что мы напечатали не тысячу экземпляров его бессмертного творения, как было указано в договоре, а гораздо больше, что продажи уже перевалили за десять тысяч, а он получил от нас только за несколько сотен. Адвокату я послал копию счёта из типографии на изготовление только одной тысячи и предложил его клиенту выкупить у нас нераспроданные 700 экземпляров по доллару за штуку. Он стушевался.

Профессор Темира Пахмус изводила нас не только адвокатскими письмами, но втянула даже прокуратуру штата Иллинойс. Её претензия состояла в том, что мы якобы похитили у неё ценные архивные материалы, связанные с творчеством Дмитрия Мережковского. Прокуратура замолчала, после того как я в ответном письме разъяснил, что акт «похищения» состоял в присылке нам уважаемым профессором ксерокопий рукописей Мережковского, оригиналы которых никогда не покидали её дом.

Но живой адвокат ворвался в нашу жизнь, как и положено разбойнику, – поздней ночью. Субботнее небо чернело за окнами, когда летнюю тишину разорвал внезапный звонок в дверь. С тягостным предчувствием я пошёл открывать. Остановился в крошечной прихожей перед стеклянной дверью. За ней увидел вполне благообразного молодого человека, в пиджаке, галстук и кипе.

– Вы Игорь Ефимов? (По-английски.)
– А кто его спрашивает?
– Мне поручено передать ему важные бумаги.
– Ничего себе вы выбрали время для передачи бумаг.
– Другого времени у меня не было, – отвечает ночной визитёр и вдруг рывком открывает хлипкую стеклянную дверь. Мне оставалось только беспомощно смотреть, как наглец достал толстый конверт и швырнул мне под ноги. Потом повернулся и пошёл к своему автомобилю.

Ничего умнее ошеломлённый Ефимов придумать не мог, как схватить конверт и швырнуть его вслед уходящему. А тот, не поворачивая головы, поднимает палец, качает им и говорит со спокойной уверенностью: «Нет, на вашем месте я бы этого не делал».

Автомобиль уезжает. Я смотрю на конверт, лежащий в траве, словно это свернувшаяся кобра. Наконец подхожу, поднимаю, открываю. И в свете уличного фо-

наря читаю на первой странице толстой пачки бумаг: «Дело № 90-CIV-3400КС. Федеральный суд южного района штата Нью-Йорк. Шемякин против Ефимова. Год 1990».

Суть ночного визита состояла в том, что на юридическом языке называется «вручение иска». Известный эмигрантский художник Михаил Шемякин нанял крупную ньюйоркскую контору для возбуждения гражданского дела против владельца издательства «Эрмитаж», Игоря Ефимова, и журналистки Беллы Езерской, опубликовавшей в этом издательстве сборник статей «Мастера». В хвалебной статье о себе Шемякин нашёл два абзаца, показавшиеся ему обидными, и он просит суд оштрафовать издателя и автора на десять миллионов долларов каждого.

Не буду здесь утомлять читателя рассказом об этой нелепой истории – я включил его во второй том моих мемуаров.² Хочу лишь подчеркнуть, что в течение нескольких месяцев лета 1990 года и я, и моя семья, и Белла Езерская прожили в страхе. Ведь мы ещё не знали, не могли предвидеть, что федеральный судья Кеннет Конбой, к которому это дело попало на рассмотрение, придёт в возмущение от необоснованности иска. Что на судебном заседании он посадит ответчика Ефимова в свидетельское кресло и станет в течение двух часов задавать детальные вопросы, которые должен был бы задавать адвокат ответчика, если бы он имелся. Что судья не только отвергнет иск, но и наложит штраф на адвокатскую контору в размере десяти тысяч. Что контора подаст апелляцию и апелляционный суд увеличит штраф до двенадцати тысяч. Ничего этого мы предвидеть не могли и жили под гнётом мысли: «Раз этим людям позволено так попирать здравый смысл – по десять миллионов с нищих эмигрантов! – значит они уже достигли той стадии власти, где всё позволено».

Шемякин оплачивал все расходы нанятой им конторы, и это должно было вылиться ему в несколько десятков тысяч. Потому что почасовая оплата труда даже не очень знаменитых адвокатов измеряется сотнями долларов. Им выгодно затягивать любую тяжбу до бесконечности. Процесс об избении лосанджелеского бандита Родни Кинга длился 25 месяцев (закончился в 1993), цепь судов над О-Джей Симпсоном – 33 месяца (1997), над братьями Менендес, убившими своих родителей, – 70 месяцев (1996), расследование сексуальных эскапад президента Клинтона – 60 месяцев (1999).³

Точно такую же намеренную волокиту под благим намерением «максимальной объективности судопроизводства» мы наблюдаем сегодня. Сообщалось, что для суда над террористом Джохаром Царнаевым в Бостоне отбор присяжных из 1200 кандидатов длится два месяца. Что для суда над негодяем, устроившим стрельбу в кинотеатре в Колорадо, число кандидатов в присяжные перевалило за 10 тысяч. В обоих случаях время адвокатов, участвующих в отборе, будет оплачено деньгами налогоплательщиков.

А в марте 2015 года все первые страницы американских газет заполнили сообщения об аресте миллиардера Роберта Дёрста. Вот кто подбрасывал своим адвокатам миллион за миллионом в течение 30 лет! Сначала его надо было выгораживать в деле об исчезновении его жены (1982). Много лет спустя полиция собиралась открыть дело заново и допросить любовницу Дёрста, Сьюзан Берман, которая, по слухам, знала об обстоятельствах исчезновения миссис Дёрст. Увы, её нашли убитой (2000). Дёрста арестовали, выпустили под залог, и он удрал в Техас, где поселился под вымышленным именем. Но, видимо, не мог отказаться от своего любимого хобби и вскоре убил старика-соседа, расчленил его тело и выбросил в залив.

На этот раз адвокаты сумели убедить присяжных в том, что их клиент действовал в порядке самозащиты. Вот это мастера! Но их клиент подложил им свинью: после участия в телепрограмме пошёл в туалет и признался в совершённых убийствах, забыв, что приколотый микрофон ещё включён. Неужели крючкотворы найдут отмазку и на этот раз?⁴

«Какие бы конкретные примеры, рисующие американского адвоката в чёрном свете, вы ни приводили, – скажут мне, – это будет свидетельствовать лишь о вашей предвзятости. Примеры нельзя экстраполировать для шельмования всей уважаемой профессии.»

Да, я с самого начала сознался в предвзятости. Но послушаем, что пишет прославленный гарвардский профессор, сам адвокат с огромным стажем – Элан Дершовиц:

«Меня постоянно спрашивают: “Остались ли ещё на свете честные адвокаты?” Мой ответ – уверенное *да*. Но иногда их нелегко отыскать среди тысяч лживых, увёртливых мошенников, практикующих в этой стране. Едва ли найдётся город, в котором обычный гражданин мог бы получить честного адвоката, просто заглянув в телефонную книгу. И коррупция не ограничивается низшим уровнем, как об этом свидетельствует множество участников крупных процессов, осуждённых за серьёзные преступления... Ситуация ухудшилась настолько, что я предупреждаю первокурсников в Гарварде: статистика говорит, что вам доведётся участвовать в уголовных делах скорее не в качестве защитника, а в качестве обвиняемого».⁵

Дав прозвучать голосу безусловно знающего и объективного комментатора, я позволю себе продолжить свою печальную сагу о битвах с юридическими акулами.

Второе столкновение случилось в 1993 году, в связи с аварией моего автомобиля «Мёркури сэйбл», которую я описал выше в Главе 14. Финансовый гигант «Форд Мотор Кредит» поручил адвокатской конторе «Фарк, Бёрке, Гамбакорта и Райт» выбить из меня те 10 тысяч долларов, которые я ещё был должен ему за разбитый «сэйбл». Мои ссылки на то, что я стал жертвой жульничества страховой компании «Лексингтон», отменялись. Видимо, адвокатам казалось, что будет проще выбить долг с бедняка, покупающего подержанные автомобили в долг, чем со страховальщиков, наверняка имеющих своих зубастых крючкотворов.

Потянулась юридическая переписка, визиты в суд, назначения слушания дела, откладывания. От страха я обращался в другие юридические конторы, платил за консультации, и все они единодушно объявляли моё дело безнадежным.

Наконец, судья Юджин Остин (Eugene Austin) нашёл для нас полчаса в своём напряжённом расписании. Представитель четырёхголовой адвокатской гидры, мистер Холли, так объяснил причины упрямства злокозненного должника:

– Мистер Ефимов никак не хочет понять, что продавец в автосалоне, оформлявший покупку автомобиля с лексингтонской страховкой впридачу, не имел никакого отношения к моему клиенту, финансовой корпорации «Форд Мотор Кредит». Он не являлся её служащим, не получал от неё зарплаты, поэтому мой клиент никак не может отвечать за сделку, совершённую этим продавцом, даже если в ней были допущены какие-то нарушения.

И тут произошло чудо.

Судья Остин начал как будто вырастать над своим столом. Чернота его мантисы словно бы переливалась в его глаза. Он упёр их в онемевшего адвоката и почти закричал:

– Что за чушь вы несёте?! Конечно, в момент продажи он *являлся* сотрудником вашего клиента. Хорошенькое дело! Покупатель входит в магазин, присмат-

ривается к автомобилю, подбежавший продавец предлагает ему устроить кредит на покупку, за пять минут получает по телефону от мощной корпорации пятнадцать тысяч долларов в долг для неизвестного ей человека и, при этом, он не является её полномочным представителем? Он, видите ли, посторонний, просто попросивший в долг кругленькую сумму, которую добрые финансисты тут же ему отвалили. Где угодно – но в моём суде такие трюки, такая демагогия не пройдут!

Как описать взрыв – поток – восторга, который прихлынул из моей груди к горлу, глазам, щекам? С чем его можно сравнить?

Потерпев поражение в тяжбе со мной, гидра перенесла огонь на «Лексингтон», что она по совести и должна была сделать с самого начала. Финал наступил только в конце 1995 года: пришло письмо от мистера Холли, которое извещало от вестчика о том, что под серьёзным нажимом страховая компания «Лексингтон» полностью оплатила его задолженность фирме «Форд Мотор Кредит», что дело закрыто и кредитная история мистера Ефимова остаётся чистой и незапятнанной.

Примечательно, что не только юридические консультанты, пророчившие мне поражение, но и сам судья Остин поначалу предлагал мне подать в суд на «Лексингтон». Всякая тяжба приносит доход клану юристов, поэтому отношение у них к ней заведомо положительное. То, что у среднего человека может не наскрестись денег на адвоката, как-то остаётся за порогом их сознания.

Зато вчинение исков крупным корпорациям оказывается беспроигрышным путём к обогащению. В своей книге «Месть Галилея» журналист Питер Хубер описывает кооперацию между адвокатами и лжеучёными в самых разных отраслях знаний. «Эксцентричные теории, которые были отвергнуты университетами и государственными агентствами, всерьёз принимаются в судах... Поиски правды и только правды вытесняются нагромождением бессмысленных цифровых данных, намеренным запугиванием, фантастическими умозаключениями. В судебных заседаниях уверенно звучат пересыпанные специальным жаргоном, умело выстроенные обманы, которые сами адвокаты презрительно называют “мусорной наукой”».⁶

Особенно популярны поиски связей между человеческими недугами и химическими веществами индустриального мира. «Человеческое тело якобы находится под постоянной атакой химикалиев... Они вызывают симптомы аллергии, воспалительных процессов, артрита и колита, нервно-мышечные синдромы, головокружения, депрессию и многое другое.»⁷

Доктор Маргарет Хэган, изучавшая альянс адвокатов с психиатрами, безжалостно назвала свою книгу «Проститутки в суде». Она приводит примеры наиболее гротескных исков за причинённые «психологические травмы». Подросток испугался темноты, проснувшись в летящем самолёте, начал колотить по окнам и сиденьям, кричать, рыдать; его родители судят авиакомпанию на 21 миллион долларов. В новой квартире лопнул бачок туалета – это нанесло такую психическую травму десятилетнему ребёнку, что адвокат счёл возможным судить владельца кондоминиума на два миллиона. Учитель наказал шалившего семиклассника, заставив его надеть женский парик и юбку, – за это со школы требуют выкуп в два раза больше, чем требовал с меня Шемякин, то есть 20 миллионов.⁸

«Мы также должны учитывать тот факт, что растущее влияние психиатрии в судебных залах представляет большую опасность для общества, чем просто денежная коррупция. Сегодняшний союз психиатрии и судопроизводства был скреплён непробиваемой наглостью обоих участников. И публика, и юристы были заморо-

чены псевдо-экспертной галиматъёй, вписали эту галиматю в законы, и придали весомость мастерам этой галиматъи.»⁹

Если американские психиатры объединены в ассоциацию APA (American Psychiatric Association), врачи объединены в могучую АМА, то 800 тысяч американских адвокатов (это составляет 80% адвокатов мира) соединились в не менее могучую АВА – American Bar Association. Эта организация вырабатывает и публикует правила, которым адвокатам рекомендуется следовать в профессиональной деятельности. В своей книге «Нация под властью адвокатов» исследовательница Мэри Энн Глендон пишет, что из списка этих правил, выпущенных в 1983 году, исчезли слова «честь», «мораль», «правый-неправый», «совесть». Их заменили слова «разумность», «общепринято», «допустимо».¹⁰

«Многие виды поведения адвоката, раньше строго запрещавшиеся, теперь не только разрешены, но широко практикуются. Например, рекламирование адвокатских контор разрешено судами и даже объявлено морально оправданным. Набирают силу тезисы, раньше казавшиеся радикальными отклонениями: что мы живём не под властью закона, а под властью его интерпретаторов; что конституция – это просто набор старинных текстов, подлежащих истолкованию новыми поколениями юристов; что любыми этическими правилами дозволено манипулировать; что судопроизводство есть такой же бизнес, как любой другой; а значит в нём разрешено стремиться к удовлетворению собственных интересов».¹¹

О моральных аспектах деятельности адвоката много писал и Элан Дершовиц. «Мы все хотели бы делать добро. Но, становясь адвокатом, вы должны изменить своё представление о добре. Теперь *добро* для вас есть то, что хорошо для вашего клиента, а не для остального мира, и уж тем более – не для вас самих. Меня часто спрашивают: “Как вы себя чувствуете, когда при защите виновного преступника вам приходится отступать от собственной этики?” Наш ответ “защищать обвиняемого и есть этика адвоката” многие вполне разумные люди не примут. Если вы к этому не готовы, лучше не выбирайте эту профессию.»¹²

Нет, Дершовиц не говорит, что адвокату разрешается лгать в интересах клиента. Но замалчивать, обходить стороной опасные улики, дискредитировать правдивых свидетелей обвинения – это вполне допустимо. Ведь часто лгут и полицейские, и прокуроры, и судьи, когда считают, что ложь – единственный способ добиться осуждения подозреваемого, в вине которого они уверены.¹³

Если страховальщик наживается на наших страхах, врач и аптекарь – на наших болезнях, то адвокат наживается на наших раздорах и преступлениях. И он будет стараться, чтобы и того, и другого было как можно больше. Каждый выпущенный на волю преступник – потенциальный источник будущих доходов, потому что переход к честной жизни для этих людей – явление крайне редкое.

В последние десятилетия невероятно подскочило число судебных дел, связанных с автомобильными авариями. В рекламных роликах на экране телевизора адвокаты призывают пострадавших не довольствоваться тем, что им заплатит страховая компания, а нанять их для вчинения иска, обещая, что смогут высудить гораздо большую компенсацию. Ведь, кроме оплаты медицинских счетов и ремонта автомобиля, вошло в практику требовать «компенсацию за перенесенные страдания» (for pain and suffering) – а это понятие такое расплывчатое, калькуляции не поддающееся, что, умело воздействуя на сострадание присяжных, ловкий адвокат может высудить миллионы.

Исследовательница Марджори Берте в своей книге «Тарань меня – мне нужны деньги» пишет:

«Уродливый аспект автомобильного страхования состоит в том, что адвокаты подталкивают своих клиентов преувеличивать размер материальных потерь. Пострадавших учат искать медицинское обслуживание подороже, подольше не выходить на работу, использовать хиропракторов и специальную терапию. У адвоката нет стимула уменьшать затраты, только увеличивать их любыми способами. Соответственно возрастают и его гонорары».¹⁴

Разводы, споры о наследстве, тяжбы из-за собственности имеют место и в других странах индустриального мира. Но нигде саркома благих намерений не породила такой эпидемии *исков за нарушение прав*. Права этнических меньшинств, права инвалидов, права учеников, права заключённых, права на самовыражение – всё годится, всё может принести адвокату солидный доход.

Однако конфликты между отдельными людьми – это лишь часть юридической активности. В последние десятилетия началось повстрение захвата одних фирм другими, в которых адвокатские конторы играют самую заметную роль. Фирма-захватчик называется «рейдер» (raider). Азарт завоевателя был красочно описан одним из участников:

«Захват требует не только энергии, искусности, но и готовности идти на риск. Ничто в бизнесе так не гальванизирует и не сплачивает участников, как организация атаки, которая потребует быстроты, внезапности, точного расчёта. Вся загадочность и волнение секса, преодоления сопротивления имеет место в рейдерском захвате. Он говорит о твоём мужском характере и готовности завоевывать то, чего ты хочешь».¹⁵ То, что в результате захвата вполне жизнеспособной фирмы сотни людей могут потерять работу, в расчёт не принимается. Эта драма хорошо была показана в фильме «Уолл Стрит», где главный герой, исполняемый Майклом Дугласом, произносит циничный лозунг «рейдера», подхваченный и повторённый потом тысячи раз: «Жадность похвальна! Жадность срабатывает!» (“Greed is good! Greed works!”)

Хотя адвокатам часто приходится выступать в суде и тяжбах друг против друга, профессиональная солидарность остаётся доминирующим элементом их взаимоотношений. Я очень остро испытал это на себе во время третьей – самой страшной! – схватки с «крапивным семенем».

В 2005 году пришла пора нам продать свой дом в Нью-Джерси, чтобы перебраться поближе к дочери – в Пенсильванию. Казалось бы, такое простое дело – зачем для него нужен адвокат? Но нет, фирма «Фокстон», взявшаяся вести продажу нашего жилья, заявила, что по их правилам, сделка должна проходить под присмотром адвоката. Вот у них как раз есть хорошо себя зарекомендовавшая миссис Гартен. Мы смирились, послали миссис Гартен нужные бумаги и аванс в размере 750 долларов.

Дело завертелось.

Энергичный «Фокстон» тут же разместил рекламу в Интернете, отпечатал красивый цветной буклет. Как маянце белел наш домик на снимке в тени деревьев! Как сияли лампы и окна на цветных фотографиях спален, столовой, гостиной! «Этот чудесный дом в Энгелвуде был недавно приведён в порядок, крыша настлана заново, – гласил текст. – Входя в дверь, вы оказываетесь в просторной гостиной, залитой светом из трёх окон. Две уютные спальни расположены на первом этаже, две поменьше – на втором. Столовая находится в задней части дома, из её широких окон открывается прекрасный вид на сад с цветущими кустами.»

И за всю эту несказанную красоту и уют добрый «Фокстонс» хотел получить какие-то несчастные 320 тысяч.

Покупатели хлынули толпой. Телефон звонил не переставая, и я, как заправский диспетчер, назначал им время визитов. Но всё равно бывали случаи, когда я показывал дом одной семье, а другая уже дожидалась в автомобиле на улице. Рекламный буклет был размещён и на Интернете, поэтому появлялись люди и из других штатов. Если не удавалось выбрать удобное время, я разрешал агенту показать дом клиенту в наше отсутствие. Потом был проведён день открытых дверей. Толпа покупателей и их агентов на нашей лужайке порой достигала двух-трёх десятков.

На следующее утро раздался звонок из «Фокстона», известивший нас, что один из визитёров сделал заявку на покупку.

— За какую цену? Нет, не за 320 тысяч, а за 330. Да, так бывает, когда покупатель хочет заранее обойти всех конкурентов и закрепить дом за собой. Это какой-то бизнесмен из Африки с абсолютно непрогнозируемой фамилией: Облувихьюдж. Будем называть его просто Облу.

Я припомнил высокого улыбчивого негра, чья преувеличенная приветливость оставила у меня тревожное предчувствие. Но нет, прочь тревоги! Покупатель предложил завершить сделку 11 июля? Прекрасно, встречаемся все в офисе миссис Гартен.

Увы, 11-го июля никто из участников сделки не явился на процедуру завершения. Их телефоны отвечали механическими голосами ответчиков, на электронные послания они не откликались. 18-го июля я писал нашему адвокату: «Нас очень тревожит то, что сделка откладывается на неопределённое время. Адвокат покупателя, мистер Гэйлер, практически недостижим и не подготовил необходимые документы. Он может быть в отпуску, в больнице, в другом штате... Дальнейшие отсрочки могут сорвать нашу покупку дома в Пенсильвании».

27-го июля наша миссис Гартен прислала мне копию письма, отправленного ею команде покупателей. Этот документ заставил меня усомниться не только в её профессионализме, но и просто в умственных способностях. Письмо было адресовано мистеру Облу, начиналось обращением «Мистер Облу», но в первой же строчке стояло «Ваш клиент, мистер Облу...» Датированное 27-м июля письмо категорически-ультимативно требовало провести завершение сделки в тот же день, 27-го июля в офисе миссис Гартен.

Её способ общения с нами также не укладывался в рамки нормального поведения. Если мой звонок заставал миссис Гартен в её офисе (что случалось крайне редко), трубку всё равно брала секретарша, и разговор происходил через неё. То есть она не переключала телефон на свою хозяйку, а криком передавала ей мои слова в соседний кабинет и потом пересказывала мне то, что та ей кричала оттуда. Был ли какой-то смысл в этой методе? Может быть, миссис Гартен таким образом защищала себя от собеседников, которые попытались бы записать её слова на магнитофон? Но такая попытка была бы нарушением законов штата Нью-Джерси и не могла представлять для неё никакой угрозы.

В отчаянии, не зная, что предпринять, я на следующий день отправил адвокату Гэйлеру письмо с угрозами. Нет, я не обещал поджечь его дом, взорвать автомобиль, отравить собаку – всего лишь сообщал, что буду жаловаться на него в адвокатскую ассоциацию штата Нью-Джерси. Мистер Гэйлер немедленно откликнулся на это послание письмом на адрес миссис Гартен, в котором извещал её, что её клиент, мистер Ефимов, совершил по отношению к нему уголовное деяние, ква-

лифицируемое словом «шантаж», и он немедленно отправляется в суд, чтобы вчинить официальный иск против правонарушителя. Впоследствии, три адвоката не моргнув глазом подтвердили мне, что да, обещание пожаловаться на них в их собственную организацию квалифицируется ими как шантаж.

Завершение сделки не состоялось ни 30 июля (предельный срок, указанный в договоре), ни 1-го августа. Наконец, пришло письмо от миссис Гартен, в котором она извещала нас, что покупатели предлагают устроить завершение сделки 12-го августа. Я позвонил ей и задал вполне естественный вопрос: если они опять обманут и не явятся с деньгами, можем ли мы снова выставить дом на продажу? «Нет, – отвечала миссис Гартен, – вы не можете выставить на продажу дом, который уже был продан».

Я был ошеломлён. Что она имела в виду, произнося слово «продан»? Если деньги не ушачены продающей стороне, как можно считать дом проданным? «Какая предельная дата завершения сделки стоит в контракте?» – «Такая дата не указана». – «Вы хотите сказать, что подписали за нас контракт, не указав даты? И они могут держать нас в подвешенном состоянии сколько им вздумается?» – «Вы можете подать на них в суд». – «Я не хочу идти ни в какой суд!! Я просто хочу продать наш дом!». Ответом мне было молчание.

Мистер Облу и его адвокат то исчезали, то появлялись снова и требовали, чтобы дом был продан только им и никому другому. В противном случае они грозили наложить на дом – тут я впервые услышал это страшное слово: lien (арест). Один из наших соседей в своё время попался в эту юридическую ловушку и объяснил, как это делается. Адвокат подаёт в суд заявление о том, что в финансовой истории какой-то недвижимости обнаружилась серьёзная недоплата и требуется время, чтобы провести необходимое расследование. Суд немедленно удовлетворяет ходатайство, и на дом накладывается временный арест. Он может длиться и год, и два.

Последние двадцать лет моей жизни в СССР были окрашены ежедневной готовностью к обыску и аресту. Писание художественных сочинений, чтение неопубликованных рукописей, передача их друг другу, а порой – и за границу было делом опасным. Любой текст при желании мог быть объявлен антисоветской пропагандой, и тогда – прости-прощай свобода. Десятки моих друзей и знакомых подверглись уже судебным преследованиям, получили соответствующие срока лагеря или ссылки. Меня дважды вызывали на допрос в КГБ, и оба раза я не был уверен, что вернусь домой. Тем не менее, за эти двадцать лет я никогда не испытывал такого страха и чувства полной беспомощности. Вот где-то там, в «табачной мгле», сидит человек полный иррациональной злобы, который может двумя движениями пера разрушить все наши планы, практически – разорить, и даже без какой-то видимой выгоды для себя.

Впоследствии мне объяснили, что в действиях африканского прищельца и его адвоката была, скорее всего, вполне рациональная корысть. Жульническая схема строится на том, что арестованный дом в документах они могут объявлять своей собственностью, тем самым раздувая видимость своего финансового могущества. Создав двадцать-тридцать фальшивых «линов», жулики могут представлять себя владельцами многомиллионного состояния и получать под него в банке займы для новых махинаций.

В какой-то момент я, наконец, прозрел и понял, что мы должны повести себя так, как бедные крестьяне повели себя в фильме «Великолепная семёрка»: для борьбы с плохими разбойниками наняли «хорошего» разбойника, сыгранного знаме-

нитым Юлом Бриннером. Опытные друзья дали нам имя проверенного адвоката, и он согласился взяться за наше дело. За свои услуги он хотел получить 3000 долларов – половину авансом, половину – после продажи дома. Отправляя ему чек, я приложил такое письмо:

«Мы с женой – два пенсионера, скоро нам стукнет по семьдесят. Мы вообразили, что дом, который является нашим единственным достоянием, будучи продан, даст нам возможность иметь относительно мирную старость.

Внезапно выяснилось, что это не так.

Что покупатель, который держал нас в подвешенном состоянии при помощи обманов и отсрочек в течение трёх месяцев, который нарушил все условия подписанного договора, тем не менее имеет право держать нас за горло и дальше и не давать нам возможности продать дом никому другому.

И всё это время мы должны будем продолжать ежемесячные выплаты банку и уплачивать налоги.

И трое адвокатов, вовлечённых в переговоры, заверили нас, что именно таковы правила игры на сегодня и в них нет ничего возмутительного. И даже попытка пожаловаться на кого-нибудь из них в их собственную ассоциацию будет рассматриваться как криминальное деяние.

И вы просите меня “не беспокоиться”.

Я и не беспокоюсь. Я В ПОЛНОМ ОТЧАЯНИИ!

Умоляю вас использовать весь ваш опыт и авторитет, чтобы спасти нас из этой западни.»

Наш Юл Бриннер сразу взялся за работу, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Те же самые мучители, неделями не отвечавшие на наши вопли и призывы, не посмели так вести себя со своим коллегой. Миссис Гартен без слова протеста переправила все нужные бумаги в его контору. 19-го сентября злодей Гэйлер известил его, что мистер Облу не смог получить у банка требуемый заём и поэтому должен отказаться от покупки дома на Кэмбридж-авеню. Челюсти африканского крокодила разжались – какое это было облегчение!

В ноябре дом, наконец был продан, мы смогли расплатиться с банком, с адвокатом, с «Фокстоном» и купить за половину вырученной суммы чудесный новый дом в Пенсильвании. Чувство благодарности к нашему Юлу Бриннеру осталось в наших душах навсегда, и мы стараемся забыть о том, что в нормальном мире ни он, ни миссис Гартен, ни мистер Гэйлер никому были бы не нужны и не смогли бы заработать на нас ни доллара. Только превращая нас в нацию сутяг, армия адвокатов может зарабатывать на свои яхты, коттеджи, ролс-ройсы, частные самолёты и прочие необходимые для их самоуважения предметы.

Ментальность адвокатского сословия имеет огромное влияние на судьбы страны, ибо они пронизали не только судебную ветвь власти, но и две другие. «На сегодняшний день большинство сенаторов и почти половина депутатов в Палате представителей американского Конгресса имеют юридические дипломы. Адвокат-президент Клинтон назначил 18 министров в своём правительстве, из которых 13 были адвокатами. Даже его жена – адвокат и сильно влияет на внутреннюю и внешнюю политику. Когда конгресс попытался установить потолок для исков за «неправильное лечение», Клинтон зарезал предложенный закон, наложив на него своё «свето».

Законодатели и чиновники на штатном уровне тоже в большинстве своём принадлежат к этой профессии, и это «они распоряжаются налогами, субсидиями, финансированием, запрещая одно и разрешая другое. Не менее сильна их позиция и в мире финансовом, корпоративном, коммерческом.»¹⁶

Что ж – самое время перейти к фигуре законодателя.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений (Ленинград: Наука, 1984), том 22, стр. 73, 53.
2. Игорь Ефимов. *Связь времён. В Новом свете* (Москва: Захаров, 2012), стр. 193-200.
3. Fox Richard L., and Sickel, Robert W. Van. *Tabloid Justice. Criminal Justice in an Age of Media Frenzy* (Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 2001), p. 63.
4. Wikipedia, Robert Durst.
5. Dershowitz, Alan. *Letters to a Young Lawyer* (New York: Basic Books, 2001) p. 89.
6. Huber, Peter W. *Galileo's Revenge. Junk Science in the Courtroom* (New York: Basic Books, 1991), p. 2.
7. Ibid., p. 93.
8. Hagen, Margaret A. *Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony And the Rape of American Justice* (New York: Regan Books, 1997), 269.
9. Ibid., p. 11.
10. Glendon, Mary Ann. *A Nation under Lawyers. How the Crisis in the Legal Profession Is Transforming American Society* (Cambridge: Harvard University Press, 1994), p. 79.
11. Ibid., p. 5-6.
12. Dershowitz, Alan. *Letters to a Young Lawyer* (New York: Basic Books, 2001), pp. 41, 45.
13. Ibid., p. 79.
14. Berte, Marjorie M. *Hit me – I Need the Money! The Politics of Auto Insurance Reform* (San Francisco: ICS Press, 1991), p. 37.
15. Glendon, op. cit., p. 74.
16. Ibid., p. 12.



Алла Дубровская

ХРОНИКИ УОЛЛ-СТРИТА

(окончание. Начало в №1/2016)

Хроника третья. Спаситель Уолл-стрит

— Я только одного не понимаю, Хэнк, как они могли доиграться до такой степени, что не увидели, к чему это приведет? — медвежьими глазками президента буравят лицо Полсона, сидящего в кресле напротив. В голосе Буша ему слышится скрытый упрек, хотя именно он заслужил этот упрек меньше всех. Слава богу, кроме них, в Овальном кабинете больше никого нет, но Полсон знает, что в Вашингтоне всегда найдутся желающие свалить всю вину на него. Не случайно мадам Клинтон¹¹ уже кудахчет в сенате, что, если правительство Буша пустит деньги налогоплательщиков на спасение обанкротившихся банков, это будет сродни поражению в Ираке. Так что упрек президента он как министр финансов принимает. Черт бы все это побрал. Он так не хотел занимать эту должность. Но в конце концов дал себя уговорить...

В Белом доме было много людей, так или иначе связанных с Goldman Sachs, и все они считали, что Хэнк Полсон идеально подходит на роль секретаря казначейства¹². Подвиги Геракла по расчистке авгиевых конюшен Уолл-стрит от него никто не ожидал, тем более что до выборов нового президента оставалось всего два с половиной года, а вот его умение быстро находить общий язык с деловыми партнерами и многочисленные личные связи с китайскими бизнесменами в администрации Буша ценили высоко.

Поначалу Полсон и слышать не хотел о переезде в Вашингтон. Зачем? У него и так уже была самая высокооплачиваемая на Уолл-стрит работа, которую он любил, и довольно широкий круг лояльных сотрудников, на которых он всегда мог положиться. Он несколько не сомневался в том, что был финансистом высочайшего класса, и эта самооценка была вполне реалистична. Особого стремления к власти за ним не наблюдалось. Полсон был человеком дела, но в интересах своего дела способен был пойти на многое. Не случайно конкуренты прозвали его Змеем. Это, конечно, не самое лестное прозвище, только ведь и Уолл-стрит — не самое приятное место на Земле. И если после повторного предложения он и дал согласие работать с Бушем, то это был скорее вызов самому себе из желания убедиться в том, что и с новым делом он вполне в состоянии справиться. Вывел же он Goldman Sachs в самый высокоприбыльный банк мира, так почему бы не поработать со всеми другими банками сразу. Правда, его жена Венди и старый друг Уоррен Баффет были невысокого мнения о Джордже Буше, но, в конце концов, не им предстояло работать с президентом. И, как оказалось позднее, президент и министр финансов нашли общий язык и взаимопонимание довольно быстро. А вот сотрудникам казначейства понадобились некоторые усилия для того, чтобы сработаться с новым шефом. Государственные служащие, не спешащие на свои рабочие места, — это вам не сотрудники Goldman Sachs, готовые вкалывать по первому зову в любое время суток. Привыкшему именно к такому стилю Полсону пришлось переманить часть своих людей с Уолл-стрит в Вашингтон. Это слегка обеспокоило менеджеров казначейства, почувствовавших приближение увольнений. Некоторые решили по-

лучше разузнать о новом боссе, расспросив его личного секретаря. Ответ был неутешительным:

— Ну, Хэнк чертовски умен. Вполне возможно, он самый умный человек из всех, с кем вам приходилось иметь дело. К тому же у него уникальная память. Фотографическая. Потом — он настоящий трудоголик и готов умереть на работе. Такого же отношения он ожидает от всех, кто с ним работает...

Опаздывающих на работу стало заметно меньше.

Стремился наладить контакт с подчиненными и Полсон. Вскоре после своего назначения он пригласил человек пятнадцать из тех, на чью лояльность рассчитывал в будущем, к себе домой. Стоял душный субботний день. Где-то через час в дверь кабинета, где шла встреча, просунулась голова Венди Полсон:

— Может, я принесу холодной водички? — спросила она.

— Нет, спасибо, — ответил за всех Хэнк.

И когда Венди все-таки принесла поднос с кувшином холодной воды, никто из приглашенных так и не рискнул утолить жажду. Вообще, многие подмечали, что Полсон не особенно умел общаться с теми, кто ниже его по социальному статусу. Случалось, он их просто не замечал. Пользуясь общественным туалетом, он никогда не закрывал дверцу кабинки до конца. Присутствующие могли толковать это как им было угодно. В то же время Полсон был чрезвычайно неприхотлив и даже аскетичен в обиходе. Рассказывают, что однажды он приобрел дорогое новое пальто, не посоветовавшись с женой. Видимо, Венди отнеслась к такой трате денег с непониманием и осуждением, потому что на следующий день новое пальто было возвращено в магазин, а Хэнк отправился на работу в старом, которое носил лет десять. Не надо забывать, что в это время его состояние уже насчитывало сотни миллионов долларов. Это не было жадностью. В интересах дела Полсон мог оплатить своей кредитной картой аренду частного самолета, но ему и в голову не пришло бы такой самолет купить, хотя он мог это себе позволить, как, впрочем, и многое другое. Просто, став миллиардером исключительно благодаря своим талантам и уму, он так и остался сыном фермера по воспитанию и убеждениям. Вполне возможно, что именно поэтому он быстро сошелся с президентом, у которого как-то не сложились личные отношения ни с Аланом Гринспеном, ни с Беном Бернанке^[1]. В их присутствии Буш испытывал чувство сходное с комплексом неполноценности, в то время как Полсон сразу же показался ему «своим мужиком». Интересно, что и Полсон, в отличие от Гринспена и Баффета, был довольно высокого мнения о Буше-младшем и на подтрунивания Уоррена неизменно отвечал: «Не забывай, что только он один из всех президентов закончил Гарвардскую школу бизнеса».

И Буш так проявил огромную заинтересованность и достаточное понимание объяснений, даваемых Полсоном на их первой же встрече, когда речь зашла о большой вероятности скорого вступления страны в полосу кризиса. Особых знаний президенту тут не требовалось, поскольку цикличность экономических кризисов была очевидна, а вот секретарю казначейства и го команде предстояло решение довольно сложной задачи по определению области, в которой этот кризис мог начаться, и принятию мер если не по предотвращению, то по крайней мере по смягчению его последствий. И хотя Полсону, с его тридцатилетним опытом работы на Уолл-стрит, были хорошо известны зоны возрастающих рисков в банковском деле, он не смог предвидеть надвигающейся катастрофы на рынке недвижимости. Поэтому на его первой встрече с президентом речь шла о чем угодно, кроме ипотеки.

Между тем, кризис не заставил себя долго ждать^[1].

Несмотря на ранний час того августовского утра, в Вашингтонском предместье, где жили Полсоны, было очень жарко. Вернувшийся с пробежки покрытый потом Хэнк собирался принять душ, когда Венди окрикнула его из спальни:

— Твой мобильник разрывается от звонков. Пожалуйста, ответь.

— Полшестого утра, — мгновенно пронеслось в голове Полсона. — Европейский или азиатский рынок...

Догадка подтвердилась. Взволнованный голос одного из его помощников сообщил о панике на европейской фондовой бирже.

— Да что у них там случилось?

— BNP Paribas^[5] приостановил работу трех хедж-фондов из-за нехватки ликвидности. Похоже, они больше не могут определить цену наших ипотечных активов. Официального заявления еще не было, но в любом случае это чертовски плохо для нас, Хэнк.

— А сколько там у них этих самых активов?

— Точно не могу сказать. Где-то на семьсот миллионов евро. Но вы же понимаете: нет цены — нет покупателя. Нет покупателя в Европе, не будет и у нас...

День обещал быть напряженным.

— Держи меня в курсе, — кратко подытожил Полсон. И, взглянув в зеркало на покрытое испариной лицо, с усмешкой подумал: «В поте лица своего... в поте лица...» Тогда он даже не подозревал, насколько был близок к предсказаниям господ бога.

До открытия нью-йоркской биржи оставалось три с половиной часа. Нимало не забываясь о раннем часе, Полсон обзвонил директоров главных банков Уолл-стрит. Он предпочитал личный контакт и новости из первых рук. Серьезность ситуации поняли все. Оставалось только внимательно следить за развитием событий.

— Может наконец помоешься и спустишься к завтраку? — прервала его раздумья Венди, гремящая посудой на кухне.

— Так сегодня же четверг. Ты забыла? Бен ждет меня через час со своей овсянкой и апельсиновым соком в Федеральном резерве.

Они сразу нашли общий язык и прекрасно понимали друг друга: мужиковатый и мосластый Хэнк Полсон и изысканный бывший профессор экономики Принстонского университета Бен Бернанке. По обоюдному согласию было решено встречаться раз в неделю за завтраком для обсуждения общих проблем. Общие проблемы находились всегда, так что им было о чем поговорить.

В это утро Бернанке с гораздо большим спокойствием, чем его собеседник, встретил новость о падении котировок на европейской бирже.

— В свое время я достаточно много занимался причинами Великой депрессии, — собирая овсянку ложечкой с краев тарелки, он осторожно направлял ее в рот, стараясь не запачкать аккуратно подстриженную бороду, — и уверец, все дело в том, что тогдашнее правительство не рискнуло спасти гибнущие банки, предоставив им дешевые кредиты из средств Федерального резерва. Они решили экономить, и это был как раз тот случай, когда экономия погубила экономику. Больше такой ошибки мы делать не будем. Но еще вчера я видел только высокие прибыльные показатели, даже несмотря на падение рынка недвижимости. В целом экономика остается здоровой и способна справиться с последствиями жилищного кризиса, — ложечка с овсянкой снова направилась в рот. — Кстати, уже года два назад наш друг Гринспен говорил, что мы настроили слишком много домов, — Бернанке сделал глоток апельсинового сока и дружелюбно взглянул на сидящего напротив Полсона.

— Да неужели? Это он когда говорил? Когда уходил на пенсию? А не он ли сам приложил руку к тому, что мы «настроили слишком много домов», играя с процентной ставкой^[6] последние семь лет? Не мог обеспокоиться пораньше, ну хотя бы немного? Или все надеялся на саморегулирование рынка?

Слегка перегретый тост осыпался крошками на брюки Полсона, никогда не отличавшегося изысканными манерами, а в это утро и вовсе забывшего о правилах этикета.

Бернанке немного дольше, чем обычно, задержал взгляд на негодующем лице собеседника.

«Что-то я не припомню особых возражений, когда старик предложил урезать ставку до одного процента. Дешевые деньги тогда устраивали абсолютно все банки^[7], включая Goldman Sachs, и все поспешили вложиться именно в недвижимость, а не в производство, вопреки ожиданиям Гринспена», — подумал он, но ничего такого не сказал, зная, как могут быть неприятны напоминания о прошлой деятельности. Зачем расстраивать человека, у которого впереди тяжелый день. Кто знает, как развернутся события. Поэтому все так же спокойно продолжил:

— Ну да. Именно тогда он мне это и сказал, но у нас были более важные темы для обсуждения... Или нам тогда так казалось.

— И что же он предлагал?

— Выкупить токсичные активы у банков и сжечь дома, на которые нет спроса.

— От таких советов у меня кусок застревает в горле, — поперхнулся Полсон. — Не зря ты помянул Великую депрессию.

— Вот поэтому я и ем овсянку, — без тени иронии, скорее сочувственно заметил Бернанке. — Но я все-таки не думаю, что наши дела так уж плохи. Это скорее локальные трудности, и мы их преодолеем, Хэнк. Где ты видишь толпы безработных на улицах? Пусть даже кто-то разорится, рынок устоит...

Как оказалось позднее, ошибаться могут даже профессора экономики.

В казначействе Полсона ждали плохие новости: европейские рынки рухнули с небывало низкими котировками. Из Белого дома по этому поводу запросили комментари.

— Соедините меня с Лагард^[8]. Хочу узнать, что они там собираются делать, — Полсону нужна была информация из первых рук.

Голос с сильным французским акцентом ответил почти сразу же, словно Кристин только и делала, что ждала звонка из Америки.

— Мы вас предупреждали, что цунами приближается, — взволнованно начала она, — а вы так и не приняли никаких мер. Как будто это касается только нас.

«Ну, меня-то ты, голубушка, ни о чем таком не предупреждала», — подумал Полсон и, слегка поморщившись, как можно спокойнее продолжил:

— Так какая проблема у BNP?

— Я на связи с их топ-менеджерами, Хэнк. Они не смогли найти покупателей для ваших ипотечных ценных бумаг и больше не верят в их реальную стоимость, несмотря на высокий рейтинг. Нам еще не известны потери, но доверие вкладчиков испаряется вместе с наличностью. Несколько банков заявили о том, что прекратили кредитование клиентов. Я с уверенностью могу говорить о наступлении кризиса ликвидности. Вы понимаете, что за этим может последовать. Вас это затронет не сегодня, так завтра.

Люди по обе стороны океана, слышавшие разговор Лагард и Полсона, прекрасно знали, что она имела в виду панику вкладчиков — причину всех известных экономических кризисов.

— У вас есть план по спасению ситуации?

— Европейский центробанк готов к вбросу денежной массы на банковский рынок в виде кредитов с пониженной процентной ставкой. Советую и вам быть готовыми к подобной мере.

Совет был хорош, и вскоре ему пришлось последовать. На следующий день, в пятницу, 10 августа, обвалились биржевые индексы и в США. Случилось именно то, чего так опасался Полсон: рынок акций рухнул, правда с некоторым опозданием, вслед за рынком недвижимости. Для поддержания ликвидности Федеральный резерв срочно предоставил американским банкам кредитов на шестьдесят два миллиарда долларов. Вопреки всем прогнозам Бернанке, это вливание не спасло ситуацию в целом. Убытки от крушения рынка недвижимости зафиксировали все банки страны. Интуиция и опыт подсказывали Полсону, что это только начало большого кризиса, и он с головой окунулся в изучение его причин и возможных последствий, начиная работу в пять утра в домашнем кабинете, превращенном в деловой офис, куда в этот ранний час стекалась информация о работе банков Европы и Азии, и часто заканчивая трудовой день там же уже далеко за полночь.

Естественно, такая напряженность рабочего графика не укрылась от внимания Венди.

Она знала, что ее муж трудоголик, но на этот раз то, над чем он так напряженно работал, касалось и ее, как, впрочем, и каждого американца.

— Ты мне можешь объяснить, что происходит, Хэнк? — спросила она однажды. — Вокруг говорят о каком-то жилищном пузыре, который то ли лопнул, то ли лопнет вот-вот, в то время как все мы знаем, что вклады в недвижимость самые надежные. Я же прекрасно помню, как мои родители хотели купить свой первый дом именно поэтому. Они что-то обсуждали, собирали какие-то бумаги, подсчитывали деньги, которых набралось только на первый взнос. И однажды отец надел свой единственный парадный костюм, прикрепил боевые награды и отправился в банк. Я тогда мало что в этом понимала, но знаю точно, ипотеку он получил. И мы исправно выплачивали кредит все годы, пока не пришла пора отправлять меня в колледж. Тогда папа продал этот дом, ведь его цена в любом случае превышала то, что нам оставалось выплатить банку, купил совсем маленький домик для них с мамой и оплатил мое обучение вырученными от сделки деньгами. И все вокруг делали так же. Мы жили в тихом местечке, населенном такими же, как мы, обыкновенными людьми. Никто не был ни богат, ни беден. Средний класс, одним словом. Ни одного заколоченного дома. Цветы и газоны. Правда, неподалеку от нас находился довольно-таки неблагополучный городок, но туда мне запрещалось даже заглядывать...

В отличие от Хэнка, Венди была яркой демократкой. Закончив либеральный колледж, она решительно настроилась на участие в преобразовании мира. Ее представление о том, каким он должен стать, вполне совпадало с программой президента Клинтона, объявившего войну бедности, всячески поощряя банки давать ипотечные кредиты семьям с довольно низким доходом, не всегда гарантирующим погашение долга. Сражение с бедностью Венди начала с соседнего неблагополучного городка. Став активистом местного значения, она помогала бедным семьям в поисках банков, согласных давать субстандартные кредиты²¹. И действительно, район изменился к лучшему за несколько лет. Но замужество и семейная жизнь

вынудили Венди отложить планы преобразования мира на неопределенное время. И вот сейчас, глядя в осунувшееся от бессонных ночей лицо Хэнка, она хотела понять, что же происходит на самом деле с «великой мечтой» каждой американской семьи и какое отношение к этому имеет ее муж.

Хэнк не торопился с ответом, и не потому что не хотел отвечать на ее вопрос, а потому что задумался над тем, как проще и доступнее объяснить ей то, что ему самому было еще до конца не понятно. К тому же идеалистическая картина, оставшаяся в памяти Венди, не вполне соответствовала тому, что было известно финансисту Полсону.

— Я не имел чести быть знакомым со своим тестем, он умер еще до нашей с тобой встречи, — наконец начал он. — Но несколько не сомневаюсь в его добропорядочности. Конечно же, кредитная история вашей семьи не вызвала сомнений у банка, давшего ему долгосрочную ипотеку. Думаю, лет на тридцать^[10], да еще и под фиксированный процент. Так вот, представь себе, что вашему банку было не так уж и выгодно держать на полках подобные кредиты, даже в случае своевременных месячных платежей, а уж если кредитный процент повышался, а такое за тридцать лет вполне могло произойти, то и вовсе терпел убытки. Рефинансировать^[11] подобные договоры было уже невозможно. Конечно, ни твой папенька, ни ваши соседи по городку не имели об этом ни малейшего представления. Им и своих забот хватало, но я без преувеличения могу сказать, что над разрешением этой проблемы работали лучшие финансисты Америки. И оно было найдено. Говорит ли тебе о чем-нибудь волшебное слово «секьюритизация»?^[12]

Венди только пожала плечами.

— Так я и думал, — на подвернувшемся листе бумаги Хэнк нарисовал небольшой квадрат со словом «банк» посередине и стрелками вбок. — До этого волшебного слова, — продолжил он, — банки не имели права продавать выдаваемые ими ипотеки, но, как все гениальное, идея секьюритизации ипотечных кредитов была очень проста: а что если продавать не отдельные ипотечные договоры, а объединять их в пулы? — Нарисованные стрелки он направил к большому прямоугольнику. — И затем эти пулы поделить на транши. — Прямоугольник был разделен на несколько частей параллельными линиями. — Это понятно?

Венди кивнула:

— А по какому признаку они разделили эти пулы на транши?

— Для начала — по продолжительности договора и величине процентной ставки, потом — по надежности кредитной истории и гарантированному доходу заемщика. Самые исправные, как мой тесть, получали и самый высокий рейтинг. — В верхней части прямоугольника он написал «AAA». — Далее шли середняки с некоторыми задолженностями по выплатам, а значит, с более низким рейтингом. И самыми последними были транши, объединяющие людей с ненадежной кредитной историей, то есть с высочайшей степенью риска. — Одна буква «B» появилась у основания прямоугольника. — Обычно сюда входили те, кто часто менял работу, переезжал с места на место, или молодежь, недавно закончившая учебу. Ну, ты знаешь лучше меня, как трудно было таким людям получить ипотеку. Ни один банк не хотел рисковать, давая деньги в долг ненадежным плательщикам. Более того, это было запрещено законом. Но что делать, если все надежные заемщики уже охвачены? Как приступить к освоению нового рынка, пусть с определенной степенью риска, но с возможным доходом в два триллиона долларов? Тут-то и вступило в силу маленькое волшебство под названием «секьюритизация», позволяющее бан-

кам продавать пулы стандартных и нестандартных ипотечных кредитов в виде облигаций. — Полсон обвел прямоугольник и сверху вывел жирными буквами CDO^[33]. И эти самые CDO, или ипотечные облигации, вдруг понадобились абсолютно всем. Их владельцы получали доход, поступающий из траншей всех категорий независимо от рейтинга. Ведь в случае дефолта^[34] дом переходил в распоряжение банка и его стоимость всегда покрывала размеры задолженности.

— Ну и ну, — хмыкнула Венди. — По отдельности продавать нельзя, а в пакете — можно! И что, никакого риска?

— Не совсем так, моя дорогая... Абсолютно все понимали, что приобретение нестандартных ипотечных кредитов чревато дефолтом и поэтому начали их страховать. Именно страхование внушало всем уверенность в надежности этих самых CDO.

— А на чем, собственно, делались деньги? Просто на перепродаже облигаций?

— Если бы! — улыбнулся Хэнк, не ожидавший от жены такого повышенного интереса к финансовым вопросам. — Банки не просто покупали CDO, они добавляли туда свои ипотечные кредиты, пересортировывали их в новые транши и спешили продать другим банкам уже по гораздо более высокой цене, в которую дополнительно входили многотысячные комиссионные.

На какое-то мгновение Венди задумалась:

— И все-таки мне непонятно. Ведь ты сам всегда говорил, что цель любого инвестирования — прибыль, причем гарантированная. А здесь в пакет входят все те же самые нестандартные ипотечные кредиты, пусть и застрахованные. Риск-то остается, да?

— Финансистам, которых собрал вокруг себя твоя любимая президент Клинтон, казалось, что они все просчитали и что убыток возможен только в случае дефолта восьмидесяти пяти из ста заемщиков. Такого никогда не было. Вероятность обвала системы тоже была просчитана: где-то один шанс из десяти тысяч в десять лет. Поэтому приобретение CDO всем казалось надежным вкладом. И действительно было таким на протяжении лет пятнадцати. Конечно, ребят из клинтоновской администрации распирала гордость за изобретение самого надежного и безотказного инструмента прибыли. Но «такого не было» не означает, что «такого не будет». Любая система рано или поздно может дать сбой. Они не могли предвидеть ни обилия дешевых денег, хлынувших на рынок недвижимости после Одиннадцатого сентября благодаря еще одному нашему гению, ни невероятного роста стоимости на этом рынке, приведшего нас к жилищному пузырю^[35].

Зная нелюбовь Хэнка к демократам, Венди поджала губы и приготовилась выслушать очередные ироничные замечания по поводу Билла Клинтона. Но, увидев выражение ее лица, тот решил закончить урок:

— Короче, так или иначе, они все же изобрели финансовый продукт, позволивший убить сразу двух зайцев...

— Только не вздумай рисовать мертвых зайцев, — запротестовала Венди.

— Хорошо, не буду, — снова улыбнулся Хэнк. — Я знаю, ты готова защищать права зайцев, даже если они съедят все цветы на наших клумбах, но, тем не менее, банки, да и не только банки, получили возможность делать немалые деньги на реализации CDO, а президент Клинтон — развернуть программу борьбы с бедностью, поощряя субстандартные ипотеки. Ну, про это ты знаешь лучше меня. Полагаю, домики стали продавать кому ни попадя... У меня уже есть кое-какая статистика, если тебе не надоело, могу поделиться.

Венди молча кивнула, и Хэнк открыл свой лэптоп:

— Смотри, на этой диаграмме хорошо видно. В то время, когда ты принимала активное участие в преобразовании соседнего городка, в девяностые годы, у нас было всего пять процентов субстандартных ипотек, а когда я возглавил казначейство, в 2006 году, их стало уже двадцать процентов.

— Послушать тебя, так это я виновата в раздувании жилищного пузыря, — то ли пошутила, то ли обиделась Венди.

— Совсе нет. Я абсолютно уверен в том, что все твои подопечные справлялись с платежами, а твоя помощь была бескорыстной. Речь совсем о других случаях. Даже не знаю, случаи ли это были. Чем больше знакомлюсь с материалами, тем больше убеждаюсь в том, что злоупотребления превратились в систему и не были «случаями». Все, кто прикасался к ипотеке, получали баснословную прибыль. — Хэнк начал заметно нервничать. Было видно, что тема глубоко его волнует. — Расплодившиеся ипотечные брокеры^[6] вопреки обыкновенному здравому смыслу раздавали кредиты направо и налево людям, не имеющим никакого дохода вообще. От них нужна была только подпись. И сейчас мы знаем, что многие подписывали бумаги, даже не понимая, что там написано. И это никого не волновало, поскольку не существовало никаких законов, регламентирующих эти самые ипотечные договоры. Главным было оформление бумаги, которая сама немедленно становилась объектом продажи. Никому не было дела до того, что подписавшие договор уже через пару лет, а может, даже раньше будут не в состоянии выполнять его условия^[7]. И в результате таких людей просто выселяли из домов, в которые те едва успели въехать. Дома переходили к банку. Что делал банк? Правильно. Срочно искал новых покупателей через свои многочисленные брокерские филиалы. Все повторялось сначала. А поскольку процентная ставка оставалась относительно низкой и цена на недвижимость неумолимо росла, многие, потеряв голову, пустились в спекуляции. И так продолжалось до тех пор, пока мы вдруг не увидели, что рынок завален пустующими домами, на которые больше нет спроса. А это означало, что начали падать цены и на ипотечные облигации. Теперь-то мы припомним, что до нас время от времени доносились слабые голоса кое-каких кассандр, заглушаемые неумолкающим победным шумом. Ни одна система, будь она даже трижды гениальной, не может выдержать столько нарушений, сколько обрушилось на рынок недвижимости. Не устаю проклинать себя за то, что распознал это слишком поздно. Вот почему когда президент спросил меня...

Очередной звонок мобильного телефона не дал Хэнку договорить, а поскольку все звонки, раздававшиеся в их доме в последнее время, приносили в основном плохие новости, Венди не стала больше отвлекать мужа от навалившихся на него проблем. Хэнк же не успел рассказать ей о том, как несколько месяцев назад президент задал ему простой вопрос, который он сам задавал себе много раз: «Они что, не видели, к чему это приведет?» Тогда в Овальном кабинете секретарь казначейства Хэнк Полсон со всем своим тридцатилетним опытом работы в банковском деле не смог дать ответ на этот бесхитростный вопрос. Ведь всего за два месяца до кризиса на встрече глав основных банков Уолл-стрит, когда прозвучали опасения насчет слишком больших рисков, связанных с понижением требований к заключению ипотечных договоров, кто-то сказал: «Ну что ж, господа, пока играет музыка — будем танцевать!» Никто из них не ожидал, что музыка замолкнет так скоро. Конечно, все они знали о невероятных рисках, но невероятные риски приносили и невероятные доходы. А отказаться от прибыли даже во имя здравого смысла в состоянии были немногие.

Первым банком, покинувшим танцевальную площадку, был Bear Stearns. Его стремительная и скоростистая смерть была неожиданной для многих. Самый маленький инвестиционный банк Уолл-стрит был одним из самых крупных игроков на рынке недвижимости. Предупредительный звонок раздался летом 2007 года, когда разорились два его хедж-фонда, потеряв почти полтора миллиарда долларов своих клиентов.

Воспоминания о попытках связаться с директором Bear Stearns в те напряженные августовские дни вызывали у Полсона приступ отвращения.

— Джимми, мать твою, играет в бридж и просит его не беспокоить, — сошелся тогда при всех Хэнк, так и не получив ответного звонка на встревоженные сообщения, отправленные им на мобильник Джеймса Кейна^[18].

Такого работника он не вытерпел бы и недели, но секретарь казначейства не имел права назначать или смещать руководителей частных банков. Слава богу, совет директоров Bear Stearns вскоре переизбрал Кейна, но пришедший ему на смену Алан Шварц не смог спасти ситуацию. Часовой механизм заложенной бомбы продолжал неумолимо тикать.

Цена на акции Bear Stearns повалилась утром в понедельник, 10 марта 2008 года. В то время как сотрудники банка обсуждали слухи о якобы слитой инсайдерской информации, которой немедленно воспользовались шортисты, руководство терялось в догадках, кто и зачем эти слухи распускает. Как бы то ни было, нужны были срочные меры во избежание паники вкладчиков. В среду в интервью каналу CNBC Алану Шварцу пришлось убеждать инвесторов в надежности их вкладов, несмотря на падение котировок банка. Судя по всему, ему никто не поверил, ибо уже в четверг, 13 марта, стало известно о том, что в банке испарилась наличность. Оставшихся трех миллиардов долларов не хватало для ведения бизнеса на следующий день.

Покрывшись холодным потом, Шварц кинулся звонить Джейми Даймону, директору JPMorgan, с просьбой о краткосрочном займе.

— Сколько? — коротко спросил тот.

— Ну-у-у... Двадцать пять — тридцать миллиардов долларов, овернайт^[19].

— Ни фиги себе, — присвистнул Даймон. — Такую сумму я не могу вынуть да положить прямо сейчас. К тому же я должен понять, что у вас там происходит. На это мне тоже понадобится время.

— Тогда нам только остается подать на банкротство...

— Такие проблемы так просто не решаются, Алан, даже если я хотел бы помочь.

И оба позвонили Тиму Гайтнеру, а тот в свою очередь срочно связался с Полсоном, которому ничего не оставалось, как проинформировать президента о ситуации с Bear Stearns.

— А почему, собственно, мы должны вытаскивать этот банк? — поинтересовался тот. — Они довели себя до банкротства, пусть они и расплачиваются за свои ошибки.

Это был тот самый вопрос, который Гайтнер и Полсон задавали друг другу на протяжении всех их последующих телефонных разговоров. Они вспомнили, что разорение другого банка, Drexel Burnham Lambert, в 1990 году не привело к падению рынка и прошло практически без губительных последствий. Может, игра не стоила свеч и сейчас? Может, правильным решением было бы невмешательство?

Люди Гайтнера проработали всю ночь, прослеживая связи Bear Stearns с другими партнерами. Не спал и Полсон, потратив несколько часов на изучение

финансовых отчетов. К утру он ясно различил главную проблему: Bear Stearns оперировал в основном заемными деньгами. И тут не было ничего противозаконного: три года назад, в разгар бума в жилищном строительстве, комиссия по ценным бумагам и биржам США ослабила требования к допустимому объему заемного капитала. Этим немедленно воспользовались абсолютно все инвестиционные банки Уолл-стрит, увеличив кредитное плечо^[20]. Вложение заемных дешевых денег в приобретение ипотечных акций приносило колоссальную прибыль. Но одно дело оперировать заемными деньгами в годы бума и совсем другое — оказаться с громадными долгами во время кризиса. А соотношение заемного и основного капитала у Bear Stearns было 34:1. Вот почему, когда начался обвал цен на акции и запаниковавшие инвесторы потребовали немедленного погашения долгов, в банке исчезла наличность.

— Козел, ну какой же он козел. Загубить такой банк! — не мог успокоиться Полсон, понося бывшего директора Bear Stearns Джимми Кейна. Сам Полсон у себя в Goldman распорядился создать неприкосновенный фонд в шестьдесят миллиардов долларов на случай биржевой паники, от которой никто и никогда не застрахован. Уже став секретарем казначейства, он настоятельно советовал Шварцу, заменившему «козла Кейна», найти новых крупных инвесторов и увеличить тем самым собственный капитал банка. Финансовые отчеты показывали, что это сделано не было.

Неутешительная новость пришла в четыре часа утра и от Гайтнера: у Bear Stearns были сотни, если не тысячи торговых партнеров. С ним были связаны не только американские, но и международные банки, брокерские и страховые компании, хедж-фонды, пенсионные фонды и еще бог знает какие фонды, у которых, в свою очередь, были сотни торговых партнеров. Это означало, что падение Bear Stearns вызовет эффект домино с непредсказуемыми последствиями.

Картина коллапса финансовой системы предстала перед уставшими от бессонной ночи глазами Полсона. По всей видимости, именно об этом подумал и Гайтнер.

— Bear слишком велик. Если завалится, подомнет нас всех^[21]. Будем принимать срочные меры, — лаконично подытожил он свой короткий отчет.

Для начала разбудили Бена Бернанке. В соответствии с законом США глава Федеральной резервной системы не имеет права даже рассматривать вопрос о предоставлении займа частному инвестиционному банку. Быстро поняв сложность ситуации, Бернанке нашел выход:

— Дадим краткосрочный заем JPMorgan^[22], а они переформируют эти деньги в долг Bear Stearns.

Но не все было просто с предложенным решением, хотя оно казалось единственным на тот момент. ФРБ давал в долг только тогда, когда был уверен в его выплате. Разбрасываться государственными деньгами по собственному усмотрению никому не позволялось. Поэтому, помолчав, Бернанке добавил:

— Конечно, казначейство должно стать гарантом этой сделки и возместить убытки, если Bear разорится.

Теперь все зависело от ответа Полсона, но он не имел понятия о полномочиях казначейства в таких случаях. Зато он хорошо знал другое: медлить нельзя.

— Бен, я готов сделать все, что в моих силах. Но сначала мне нужно заручиться поддержкой президента.

И такую поддержку он получил, связавшись с президентом США в то раннее утро.

Следующим был Джейми Даймон. Теперь уже от него зависела судьба американской экономики.

— Тут ведь дело такое, — начал Полсон, — Bear Stearns должен открыться в пятницу утром и продолжать как ни в чем не бывало свой бизнес, но мы уверены, что уже в понедельник с ним все будет кончено, несмотря на наш кредит. Пойми меня правильно, Джейми, у нас нет времени искать другого покупателя. Вся надежда только на тебя.

Участники разговора прекрасно знали, что Даймон не может принять решение о покупке Bear Stearns без согласия совета директоров своего банка, но все знали и то, что его голос будет самым влиятельным и директора, безусловно, прислушаются к его мнению. Поэтому Полсон вздохнул с облегчением, услышав:

— Окей. Мы передадим заем ФРС для Bear Stearns уже сегодня утром. Но мои люди должны посмотреть, что у них там делается. Покупка дома — это одно дело, но согласитесь, что покупка горящего дома — это дело уже совсем другое.

И все с этим согласились.

Теперь настала пора подумать о гарантиях казначейства, данных ФРС. Что мог сделать Полсон в обстановке крайней спешки, практически не имея власти над частными предпринимателями? Это был еще один трудный вопрос. Недолго поразмыслив, он решил обратиться к ним напрямую. Короткую, но убедительную речь, с которой он выступил перед директорами ведущих банков страны по системе конференц-связи, Хэнк начал словами: «Обстоятельства таковы, что сегодня мы должны сделать все для того, чтобы Bear Stearns провел нормальный рабочий день. Вы понимаете, о чем я говорю. Никаких экстренных заявок для погашения долгов...»

Как не понять... Учитывая обстановку на фондовом рынке, все решили прислушаться к словам секретаря казначейства.

Известие о том, что Bear Stearns получил колоссальный заем от JPMorgan, проникло в прессу еще до открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сумма кредита не разглашалась. Первые утренние часы 14 марта 2008 года прошли спокойно. На какой-то момент котировки Bear даже пошли вверх, но ненадолго. Неделя закончилась самыми низкими показателями индекса Доу-Джонса^[23] за последние семь лет. Так плохо было только после Одиннадцатого сентября.

Вечером того же дня команда Даймона принялась за изучение финансовых бумаг Bear Stearns. То, что увидел Полсон, просматривая отчеты банка, предстало перед ним в довольно мрачных подробностях: миллиарды заемных средств, вложенных в обесцененные ипотечные акции, но что хуже всего — продажа страховых полисов с обязательством покрытия убытков в случаях дефолта субстандартных ипотек^[24].

На сей раз уже Джейми Даймон позвонил Полсону:

— Хэнк, я, конечно, понимаю всю сложность ситуации, но, знаешь, я сам себе не враг, да и совет директоров никогда не пойдет на такую сделку. Там токсичных активов миллиардов на тридцать. И это только навскидку.

Нельзя сказать, чтобы Полсон не был готов к такому повороту дела. Они обговаривали возможный вариант с Бернанке. Поэтому он сразу предложил Даймону вернуться к обсуждению в случае, если ФРС предоставит его банку необходимый заем для покрытия стоимости токсичных активов Bear Stearns. Тот обещал подумать и перезвонить.

— Не затягивай, у нас только сорок восемь часов до открытия азиатских торгов в понедельник утром, — закончил разговор Полсон.

Конечно, Даймон мог отказаться от сделки, и никто не стал бы его в этом упрекать. Все-таки покупка пусть и самого маленького банка Уолл-стрит — это не покупка велосипеда. Далеко не каждый банкир решился бы провернуть такую операцию за два дня, но ситуация складывалась настолько серьезно, что следующим мог оказаться любой другой банк, включая тот же JPMorgan. Портить же отношения с ФРС, а тем более с казначейством Даймону хотелось меньше всего. Потому он не затягивал и перезвонил довольно скоро, сообщив о согласии. Оставалось договориться о деталях, но и это было делом далеко не простым.

Переговоры продолжались все воскресенье. Решение о государственном займе в тридцать миллиардов долларов было принято быстро. Следующим был вопрос о том, сколько JPMorgan согласен заплатить за одну акцию Bear Stearns.

— Ну, я думаю, мы осилим где-то пять долларов за штуку, — помявшись, предложил Даймон.

— А что так? Ты же знаешь, что они не стоят и цента, — недовольно прервал его Полсон. — Я не намерен разбрасываться государственными деньгами во спасение обанкротившихся инвесторов. Думаю, два доллара за штуку — вполне уместная цена.

Никто не стал спорить. Позднее это решение Полсона вызовет резкую критику и будет пересмотрено по требованию акционеров²⁵¹. Но в воскресенье, 16 марта 2008 года, совет директоров JPMorgan утвердил сделку.

Оставалась одна формальность — решение совета директоров Bear Stearns.

Ожидание Полсона было прервано телефонным звонком из Белого дома.

— Что там у вас? — коротко осведомился Буш.

— Близки к заключению соглашения.

— А вы уверены, Хэнк, что JPMorgan будет в состоянии выплатить такой большой долг государству?

— Такой уверенности у меня нет, но мы сделали все, что могли. Теперь остается только ждать реакции рынка в понедельник.

Через несколько минут после разговора с президентом оказалось, что сделано было далеко не все. С Полсоном связался его доверенный адвокат, следящий за правомерностью совершения подобных сделок. Поскольку речь шла о вливании большой суммы государственных денег, необходимо было получить еще и согласие комитета по банковским делам при сенате США.

Во второй половине дня воскресенья, 16 марта, когда наконец было получено подтверждение совета директоров Bear Stearns, Джейми Даймон выступил с заявлением о том, что начиная с понедельника его банк берет на себя ведение бизнеса со всеми партнерами Bear Stearns.

Работа над сделкой продолжится еще несколько недель, но уже в более спокойной обстановке. Приобретение Bear Stearns, а вернее, спасение американской финансовой системы обойдется JPMorgan в двести тридцать шесть миллионов долларов. Фондовый рынок ответит повышением котировок, и многим покажется, что самое страшное уже позади. Многим, но не всем.

Получив короткую передышку, Хэнк, пожалуй, впервые в жизни испытал подобие страха, осознав уровень проблем системы, за которую он теперь нес ответственность. Еще несколько лет назад, возглавляя Goldman Sachs, он всячески поддерживал усилия Алана Гринспена по отмене закона Гласса — Стигала²⁶¹, принятого после Великой депрессии и строго регулирующего деятельность американских банков. Тогда Полсон был уверен в том, что этот закон устарел и стоял на пути

развития бизнеса, которому Хэнк посвятил всю жизнь. Но вот при Клинтоне «стекло»^[27] наконец разбили, что означало практическую отмену контроля государства над деятельностью частных банков. Было положено начало тому, к чему так стремился Уолл-стрит последние двадцать лет: объединению банков со страховыми и брокерскими компаниями, которые стали в свою очередь создавать всевозможные фонды. И все они были связаны взаимными обязательствами на основе новых финансовых инструментов, причем настолько сложных, что даже не все директора банков понимали их значение. В то время Полсона это только радовало. Еще бы, начался сказочный период небывалой финансовой революции. Уолл-стрит превратился в механизм получения фантастической прибыли, и его родной Goldman Sachs стал главным рычагом в этом механизме. Тогда он был абсолютно уверен в превосходстве новой американской финансовой модели... Скоропостижная смерть Bear Stearns заставила его взглянуть на эту модель уже совсем по-другому. Оказалось, что «все связаны со всеми» и падение одного звена может привести к крушению всей системы. «Выходит, — думал Полсон, — предотвратить этот кошмарный сценарий могло только регулирование».

Но это было то самое регулирование, против которого так боролся Гринспен и которое было отменено их совместными усилиями. «Значит, нужны новые законы, причем срочно, до того как банкротство следующего банка-гиганта разнесет к черту всю финансовую систему страны. Страны? Мира».

«Все связаны со всеми» — это то, о чем ему говорила и Лагард несколько месяцев назад.

— Вы там, у себя на берегу, наблюдая, как нас накрывает цунами, все никак не можете решить, какой купальник надеть, чтобы отправиться на наше спасение, — упрекала она его на первой же встрече.

Хэнк не любил игру под названием «Кто виноват?». В конце концов, у каждого своя голова на плечах, но во многом ее упрек был справедлив: они должны были принять меры по предотвращению катастрофы. Но не приняли... хотя бы потому, что не видели ее приближения. «Великий гуру капитализма^[28] удалился, оставив после себя угрозу существования воспеваемого им строя», — горько усмехался Полсон. Знал бы он, чем ему придется заниматься, давая согласие на должность секретаря казначейства. Конечно, можно было подать в отставку, но, будучи прагматиком и человеком дела, после недолгих колебаний Полсон начал работу над новыми законами. С другой стороны, вполне возможно, что он так и не решился бы на этот шаг, если бы не безоговорочная поддержка всей его команды и президента Буша, и поддержка эта была необходима прежде всего для того, чтобы убедить вашингтонскую бюрократическую машину в необходимости срочных реформ.

— Слушания конгресса — это хорошо. Это просто замечательно. Заседания комиссий — это отлично. Так они оправдывают свое существование, — иронизировал один из его помощников. — Только их заседания не меняют ситуацию на рынке.

— Лишь бы не мешали, — раздраженно отмахивался Хэнк.

У него и в мыслях не было подвергать сомнению устои американской демократии, но проволочки и закулисные интриги там, где были нужны быстрые решения, выводили его из себя.

Слава тебе господи, комитет по банковским делам разрешил продажу Bear Stearns, правда, уже после того, как она была совершена. Выбора-то особого у них не было...

Если у комитета не было выбора, то у Хэнка не было времени.

Пока дома все казалось более или менее спокойным, он отправился в Европу, пытаясь восстановить пошатнувшееся доверие партнеров по бизнесу. Нельзя сказать, что ему это удалось. Особенно резко высказывались английские банкиры, открыто обвиняя американских финансистов в неумении контролировать возросшие риски и видя в этом главную причину кризиса.

Полсон в свою очередь никогда не любил иметь дело с англичанами, считая их ненадежными партнерами. Другое дело — китайцы. С ними у него всегда было полное взаимопонимание. Воспользовавшись краткой передышкой в августе 2008 года и прихватив всю семью, он отправился в Пекин на летнюю Олимпиаду. И тут на первом же званом обеде, после многочисленных приветственных тостов, к нему и Венди подошел один из его старинных китайских друзей и партнеров по бизнесу. Склонившись над коренастой фигурой китайца, Хэнк разглядел на его лице следы тщательно скрываемой озабоченности. После обмена любезностями, столь необходимыми по восточному этикету, оба перешли к делу:

— Мы очень обеспокоены ситуацией в «Фанни Мэй» и «Фредди Мак»^[29]. Мы теряем большие деньги, — осторожно начал бизнесмен. — Очень большие деньги.

Полсон и сам был обеспокоен ситуацией в этих мастодонтах ипотечного бизнеса, владеющих почти половиной жилищного рынка страны. Хотя «Фанни» и «Фредди» были частными компаниями, покупка их ипотечных акций казалась беспроигрышным размещением капитала из-за поддержки государства, выступающего гарантом их надежности. Именно поэтому в разгар бума туда поспешили вложиться многие иностранные инвесторы^[30] и больше всех — китайское правительство. Расчет не оправдался. Ипотечный кризис прошелся и по этим гигантам, потерявшим более восьмидесяти процентов стоимости своих акций. Судя по всему, китайцы хотели воспользоваться личными связями с Полсоном, чтобы узнать планы американского правительства. Полсон же не мог допустить потерю главных партнеров по бизнесу, от которых во многом зависела экономика Америки.

Поняв, что ее присутствие стесняет говорящих, Венди тихонько отошла в сторону, следя за тем, чтобы никто не вмешался в начавшийся при ней разговор.

— Мы знаем друг друга много лет, — донесся до нее приглушенный голос мужа. — Поверьте, я сделаю все от меня зависящее для исправления ситуации. Вам не нужно об этом беспокоиться.

Она не стала прислушиваться к дальнейшим словам собеседников, а просто ждала Хэнка с бокалом шампанского в руке, улыбаясь и раскланиваясь со знакомыми. Бокал был уже почти пуст, когда он наконец подошел к ней.

— Что-то случилось? — тихо спросила Венди, заметив изменение в настроении мужа. — На тебе лица нет.

— Я сейчас узнал, что русские недавно предложили китайскому правительству совместно с ними без предупреждения выбросить на рынок все имеющиеся у них ипотечные облигации «Фанни» и «Фредди». Страшно подумать, что за этим могло бы последовать.

Полсон хлебнул из вовремя подставленной услужливым официантом рюмки коньяка.

— Ну и?..

— Нет-нет... китайцы отказались. Надеюсь, русские никогда не пойдут на такой шаг в одиночку.

Русские действительно так и не осуществили свою угрозу, но об Олимпиаде пришлось забыть.

Пока его семейство наслаждалось соревнованиями, болея за американских спортсменов, Полсон не выпускал мобильного из рук: он не любил писать e-мейлы, считая это бесполезной тратой времени. Ему было легче и привычнее общаться по телефону.

Нельзя сказать, что проблема с «Фанни» и «Фредди» свалилась на него как снег на голову. Еще несколько месяцев назад он начал осторожно прощупывать почву в конгрессе, пытаясь выяснить отношение истеблишмента к идее национализации этих двух гигантских кредитных агентств. Реакция была резко отрицательной.

— Здесь вам не Франция! — бросил ему в лицо один из конгрессменов.

— Это он *мне* говорит, — пытаясь справиться с растущим раздражением, думал Полсон. — Нашел социалиста.

В Капитолии могли не понимать всей сложности ситуации в целом, к тому же у «Фанни» и «Фредди» было сильнейшее лобби в конгрессе.

И именно эти обстоятельства вызывали у Полсона самое большое беспокойство.

Затов Капитолии знали, как вести закулисную игру: кто-то слил информацию о том, что правительство готовится к национализации «Фанни» и «Фредди» в газету New York Times. Рынок ответил дальнейшим падением их акций. Полсону ничего другого не оставалось, как засадить свою команду за подготовку срочных мер по спасению этих кредитных агентств. И тут выяснилось, что там давно оперируют заемными средствами, превышающими в десятки раз их собственный капитал. Никто точно так и не смог подсчитать, сколько понадобится денег на уплату таких колоссальных долгов. Пятьдесят? Семьдесят? Сто миллиардов долларов???

И вот сейчас в Пекине, держа в руке раскаленный от бесконечных разговоров мобильный телефон, Полсон узнал, что «Фанни» и «Фредди» начали ответную атаку, объявив, что у них достаточно капитала и они никогда не согласятся на национализацию.

— Какой там, на хрен, капитал! — сорвался Хэнк. — Где они его взяли? Насрали? И что они будут делать, когда Кигаи прекратит покупку их облигаций? Объявят дефолт?

И, уже взяв в себя в руки, спокойно закончил, четко выговаривая каждое слово:

— Как секретарь казначейства я со всей ответственностью заявляю, что не могу позволить «Фанни» и «Фредди» утопить весь жилищный рынок Америки.

Хорошо сказано. Весомо и значительно. Осталось только понять, как осуществить это намерение, если конгресс его не поддержит. И кажется, Хэнк Полсон понял.

Настороженное молчание встретило появление председателя ФРС Бернанке вместе с секретарем казначейства Полсоном на заседании комитета сената по банковским делам. Все знали, что речь пойдет о принятии решительных мер по спасению главных ипотечных агентств страны, и эти меры никому не пришлись по душе. Полсон просил предоставить казначейству временные чрезвычайные права на приобретение ипотечных акций «Фанни» и «Фредди», что практически означало установление государственного контроля над этими частными организациями. Бернанке спокойно и убедительно доказывал необходимость этого шага. Такого здесь не любили. И потом, когда истекает срок действия так называемых «временных прав»? До выборов нового президента осталось чуть больше двух месяцев. Вполне может так статься, что поменяется все правительство, вся экономическая политика. Тут ведь есть о чем подумать. Не пришлось бы потом отвечать за предоставление «чрезвычайных прав».

— Если у вас в кармане водяной пистолет, вам, может, и надо вытащить его из кармана, но если люди знают, что у вас в кармане базука¹³¹, может, ее и не придется вытаскивать, а? — попытался отшутиться Полсон, намекая на то, что чрезвычайные права могут и не понадобиться.

Шутка понравилась не всем, но и отказать в просьбе секретарю казначейства, берущему на себя ответственность за спасение американской экономики, решились немногие. В конце концов, в случае провала отвечать ему, а не им. Просьбу Полсона удовлетворили большинством голосов.

Президент Буш был особенно лаконичен в решении вопросов, в которых мало что понимал:

— Понятное дело, Хэнк, я не экономист, но пока я в Белом доме, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Только, пожалуйста, скажи своим ребятам, чтобы они заменили слово «национализация» на что-нибудь более удобоваримое для слуха наших конгрессменов, а то они сожрут нас сам знаешь с чем...

Как не знать, когда во многих газетах, не говоря уже о телевидении, Полсона называют не иначе как «социалистом» или «мистером Бэйлаут». Пожалуй, впервые в жизни он встретил такое массовое непонимание и враждебность, но объясняться с медиа было некогда.

Национализация частного предприятия — дело для Америки непривычное, национализация же таких гигантов, как «Фанни» и «Фредди», — событие и вовсе экстраординарное. Любой неосторожный шаг чреват разбирательствами и судами. Поэтому в обстановке полной секретности в Вашингтон съехались лучшие адвокаты страны для юридической подготовки процедуры. Но и этого оказалось недостаточно. Туда же срочно прибыли специалисты, которым предстояло разработать систему передачи власти и новую структуру управления. К пятнице, пятого сентября, авральная работа была закончена. Вызванным на прием к секретарю казначейства директорам «Фанни» и «Фредди» объявили об их отставке. Было ли это известие неожиданным? Скорее всего, да. Все-таки они возглавляли частные компании, в управление которыми государство не вмешивалось. До поры до времени. И теперь эта пора настала. Вполне возможно, что они и продолжили бы борьбу с решением Полсона в судах, но советы директоров обоих агентств проголосовали за их отставку. И было понятно почему: государство объявляло не только о готовности истратить миллиард долларов на покупку ипотечных акций «Фанни» и «Фредди», но и предоставить дополнительные двести миллиардов в случае необходимости. По сути дела, это было спасением. Интересная подробность: компании оставались частными, но переходили под контроль правительства. Слово «попечительство» заменило пугающее всех слово «национализация». Фондовый рынок оценил усилия казначейства и ответил подъемом котировок. Ипотечное лобби в конгрессе на этот раз промолчало. Казалось бы, Полсон мог перевести дух, но уже через несколько дней он начал испытывать нечто подобное дежавю. Только теперь в безудержном падении оказались акции четвертого в мире инвестиционного банка. Lehman Brothers был гораздо больше Bear Stearns, и его разорение могло привести к коллапсу финансового рынка, причем не только Америки. Скорее всего, именно на этом опасении строил свою игру главный исполнительный директор Lehman Brothers Дик Фолд, срывая все сделки по продаже банка и ожидая помощи от Федерального резерва. Помогли же они Bear Stearns полгода назад, так неужели дадут завалиться его банку накануне президентских выборов? И в этой игре Фолд проиграл. Специалист в банковском и финансовом деле, он не понял ни политической ситуации, ни давления, оказываемого на Полсона, хотя тот открыто неод-

нократно говорил ему, что не собирается еще раз вовлекать правительство, а значит, деньги налогоплательщиков, в спасение инвестиционного банка. Что делал Фолд в ответ? Не верил. Не мог поверить.

За традиционным завтраком в четверг, 11 сентября, Бен Бернанке не выглядел привычно спокойным и невозмутимым. Овсянка в его тарелке осталась нетронутой. Кофе остывал. Лицо сидящего напротив Полсона и вовсе носило следы непреодолимого переутомления. На какое-то мгновение оба задержали взгляд на бегущей строке внизу плоского экрана телевизора, вмонтированного в стену. Цена акции Lehman Brothers упала до четырех долларов за штуку.

— Похоже, им не вытянуть до понедельника, — мрачно подытожил Полсон. — Вечером я лечу в Нью-Йорк. Хочу посмотреть, что там делается у Тима. Пока ясно одно, Bank of America не собирается покупать Lehman. Хотя официально они это еще не подтвердили.

— Послушай, Хэнк. Мы не можем без конца нарушать закон. Даже если у тебя и есть чрезвычайные права, мы пока еще живем в демократическом государстве. Федеральный резерв не сможет вытаскивать Фолда, если мы не найдем ему покупателя. У нас нет на это легальных прав. К тому же я устал отвечать на звонки конгрессменов, твердящих в один голос о том, что бэйлаут нежелателен. Невозможен. Недопустим. А тут еще Обама со своими предвыборными речами...

Телевизор стал показывать выступления экономистов-экспертов, рассуждающих о возможных мерах Полсона — Бернанке по спасению ситуации.

— Да, — кивнул Хэнк. — Я с ним разговаривал больше часа вчера ночью. Он достаточно хорошо осведомлен о положении дел. У меня вообще сложилось впечатление, что информацию он получает не только от нас с тобой... Как бы там ни было, остался еще один вариант в запасе. Barclays...

— Англичане... Ты же не любишь иметь с ними дела, — улыбнулся Бернанке.

— Сейчас я готов иметь дело даже с ними, за неимением ничего другого...

По дороге в аэропорт Полсону пришлось переговорить по телефону с сенатором от штата Нью-Йорк Чаком Шумером.

— Господин секретарь, мы потеряем тысячи рабочих мест, если Lehman будет продан не американскому банку.

«Ого! — подумал Полсон. — Вот это скорость! Всего пара звонков директору Barclays, и Чак уже озабочен».

Сказать пришлось другое:

— Я понимаю, сенатор, ваше беспокойство. Ничего определенного пока сказать не могу. Но до понедельника все должно решиться. Это я вам обещаю.

В здании Федерального резервного банка Нью-Йорка Тим Гайтнер встретил Полсона обнадеживающей новостью: Barclays не просто заинтересован в покупке, его люди уже приступили к изучению финансовых отчетов Lehman.

— Им не понадобится много времени, чтобы найти там дыры на миллионы долларов. Мы должны взять на себя обеспечение токсичных активов, если хотим, чтобы эта сделка состоялась. — Тим выжидающе смотрел на устало растянувшегося в кресле Полсона. Было видно, что тот давно мало спит, если спит вообще. Прикрытые глаза под линзами больших очков дрогнули:

— Ты что, хочешь, чтобы я на лбу написал: «Я не даю денег просравшимся банкам»? Должны же они понять, что государство не может каждый раз вытаскивать их из дерьма, в которое они вляпались. Ну и что ты на меня так смотришь?

Нотки раздражения в голосе Хэнка скорее обрадовали Гайтнера. Они знали друг друга много лет и всегда с легкостью находили общий язык. Вид замученного Полсона был непривычен и пугающ. Может быть, Гайтнер еще и не вполне осознавал масштабы задачи, стоящей перед ними, но в одном он был уверен: только концентрация всех сил и взаимное доверие помогут им найти верное решение.

— Да вот жду, когда ты начнешь говорить про моральные обязательства. Или, может, пропустишь эту часть и перейдешь к делу?

— Ну что ж, к делу так к делу. Собери-ка мне завтра директоров банков. Я хочу, чтобы они скинулись и выкупили токсичные активы Lehman Brothers.

— А если они не согласятся? «Фанни» и «Фрэдди» получили государственную помощь всего пять дней назад. Что изменилось сейчас?

Впоследствии этот вопрос будет задаваться Полсону десятки раз. И никогда ни одному журналисту и ни одной комиссии он не скажет того, в чем признается Гайтнеру в минуту раздражения и усталости:

— Я возился с Фолдом полгода. Полгода я твердил ему, что он должен продать Lehman, искал ему покупателей, вел переговоры... И что Фолд? Он сорвал все сделки. Все! Может, он думал, что я играю с ним в покер, что он самый умный и может кинуть всех игроков за столом, мол, все равно Полсон раскошелится. И тут он ошибся. Я ему не волшебник с чековой книжкой и не собираюсь хлестать дерьмо, слушая обвинения в разбазаривании денег налогоплательщиков.

Высказав все, что накопилось у него на душе, Полсон откинулся в кресле и закрыл глаза. Отдохнуть ему не пришлось. В ту же минуту зазвонил его мобильник. Канцлер казначейства Великобритании Алистер Дарлинг хотел получить информацию о ситуации с Lehman Brothers. Длительный и довольно откровенный разговор он закончил словами: «Примите во внимание то, что британские банки уже и так под большим стрессом. Мы бы не хотели увеличения их размеров, что в будущем может привести к их ослаблению».

Уставший от бесконечных бессонных ночей Полсон не придавал значения этой последней фразе, о чем очень пожалел уже через день.

Гайтнер не прислушивался к телефонному разговору. У него было и своих дел по горло. Он всегда подозревал о личной неприязни, тщательно скрываемой Хэнком в его отношениях с Фолдом, которого и сам недолюбливал, но сейчас речь шла уже не только о Lehman Brothers. На очереди стоял Merrill Lynch... В конце концов, идея собрать директоров банков показалась ему неплохой. Должны же они понять, что падение одного из них приведет к падению всех.

И они поняли... Правда, понимание это пришло не сразу, а только после слов Полсона о том, что он запомнит тех, кто не услышал просьбу казначейства в такую трудную для всех минуту. После некоторой паузы вопрос, почему они должны спасать одного своего конкурента, представляя значительную сумму денег другому конкуренту, как-то отпал сам собой и был заменен другим. В самом деле, сколько же нужно денег? Разговор заметно оживился после ухода Полсона. Но участие в нем приняли не все. Главный исполнительный директор Merrill Lynch Джон Тэйн был в безвыходной ситуации. Он знал, что в случае банкротства Lehman его банк будет следующим, но денег на спасение конкурента у Merrill не было. Решение пришло само собой. Вернее, обстоятельства подтолкнули Тэйна к его срочному принятию. В тот же день он договорился о слиянии Merrill Lynch и Bank of America. Никто на Уолл-стрит и не думал осуждать Тэйна за то, что он отбил покупателя у Фолда. Скорее наоборот, все оценили его решительность, тем более что Bank of

America не проявлял особой заинтересованности в приобретении Lehman Brothers, у которого теперь остался последний покупатель — Barclays.

В субботу, 13 сентября, спасение Lehman казалось вполне вероятным. Сумма, необходимая для погашения его токсичных активов, была собрана усилиями директоров Уолл-стрит. Руководство Barclays одобрило сделку. Остались формальности: разрешение британского управления финансами и голосование акционеров Barclays. Так, во всяком случае, думали в здании ФРБ Нью-Йорка. Но на следующий день выяснилось, что британское управление отказалось утвердить покупку Lehman Brothers. Никто не знал, о чем Хэнк Полсон говорил по телефону с Алистером Дарлингом в последней отчаянной попытке уговорить канцлера казначейства Великобритании разрешить сделку. Разговор был конфиденциальным. Закончив его, Полсон вышел к ожидавшим результата переговоров людям, столпившимся в кабинете Гайтнера.

— Англичане слили нас, — устало сказал он. — Теперь Lehman должен срочно подавать на банкротство. Им нужно успеть до открытия азиатской биржи в понедельник, — и, воспользовавшись поднявшимся шумом, незаметно удалился.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что с этой минуты настало самое тяжелое время его жизни. Принятие трудных решений всегда было частью его работы, но ни одно из них не могло сравниться с решением позволить обанкротиться Lehman Brothers. Понимание непредсказуемости последствий обрушилось всей тяжестью на плечи Полсона. Конечно, после отказа казначейства Великобритании у него не было легальных прав вливания средств в Lehman, но он мог найти обходные пути, используя свои чрезвычайные полномочия, данные ему конгрессом и президентом. Мог, но не стал. Политик победил в нем финансиста, и именно это мучило его больше всего. Сейчас он хотел только одного: избавиться хотя бы на короткое время от непрерывно окружающих его людей. Унять дрожь в руках. Успокоиться. Услышать голос любимого человека. Выйдя на лестницу и сев на ступеньку, он позвонил Венди. Что она могла сказать ему в утешение? Только предложить помолиться.

После разговора с женой Полсон как бы отстранился от своей команды и предоставил ей заниматься крупнейшим в мировой истории банкротством.

В понедельник утром его уже ждали в Вашингтоне. Намаевшись в гостинице после очередной бессонной ночи, ранним утром он вышел прогуляться по просыпающемуся Манхэттену. Вид прохожих, спешащих по своим будничным делам, отвлек Хэнка от тревожных мыслей. «Может, не так все и страшно», — подумал он, отвечая на первый тем утром телефонный звонок. Звонил один из его помощников. Азиатский рынок не ответил обвалом на известие о банкротстве Lehman Brothers, а в New York Times напечатаны отзывы экономистов, поддерживающих невмешательство правительства в дела частного бизнеса.

Успокоенный Полсон вернулся в гостиницу, а оттуда отправился в аэропорт.

Обвал начался через несколько часов, как раз во время его пресс-конференции в Вашингтоне. Увидев тревожные лица людей из своей команды, подающих ему знаки, Хэнк быстро закончил отвечать на вопросы журналистов, заверив их в надежности американской финансовой системы.

— Ну, что там у вас? — уже совсем другим тоном спросил он, как только посторонние разошлись.

— Доу-Джонс упал уже на четыреста пунктов. Кредитный рынок замер. Goldman Sachs и Morgan Stanley еле держатся. Но хуже всего обстоят дела с AIG.

— Началось, — пронеслось в голове Хэнка. Но мысль эта не привела его в отчаяние, а как бы открыла второе дыхание. Он почувствовал такой необходимый ему сейчас прилив сил. — Мне надо срочно увидаться с президентом и выяснить, как мы собираемся покрывать убытки.

Шквал телефонных звонков обрушился на Полсона еще до того, как он вернулся в свой офис.

Первым пробился Ллойд Бланкфейн:

— Хэнк, это черт знает что такое. Британская комиссия по банкротству заморозила счета всех клиентов Lehman Brothers. Люди не могут получить свои деньги. Вы что, не могли это уладить заранее? Ты же понимаешь, что именно так начинается паника. Все кинутся снимать деньги из всех банков. С нами никто не будет работать. Ну и с чем мы останемся?

Следующим был звонок из Morgan Stanley:

— Нас атакуют шортисты. Акции упали на десять процентов, и конца этому падению не видать. Вы не представляете, что здесь творится.

— Немедленно обнародуйте свои доходы, не дожидаясь назначенных сроков, — посоветовал Хэнк. — Это должно успокоить запаниковавших вкладчиков.

Потом пошли звонки из Европы и Азии. Кристин Лагард, как всегда, начала с упреков:

— Как вы могли допустить падение Lehman Brothers! Какая чудовищная ошибка! Нам нужны гарантии, что вы примите меры по AIG и не допустите их разорения. Это проблема не только Америки.

Нечто похожее Полсон услышал и от министра финансов Германии.

Но самым тревожным был звонок директора General Electric:

— Слушай, Хэнк, ты понимаешь, что происходит? Мы же не банк, мы успешное промышленное предприятие. Какого черта у нас не оказалось денег на покрытие производственных расходов? Мы выпускаем лампочки, самолеты, двигатели и кое-что еще для всей Америки, да и не только...

Главный казначей страны понял то, что еще было непонятно директору General Electric: банки прекращают кредитование, боясь невозврата платежей. Что последует за этим? Закрытие предприятий... Толпы безработных на улицах... Вторая Великая депрессия.

Легкий ветерок паники пробежал по офису главного секретаря казначейства... Все взоры устремились на Хэнка. Что он мог сказать, кроме: «Срочно. Телефонная конференция с Бернанке и Гайтнером в моем кабинете»? И он сказал именно это.

Пока главные совещались, фондовый рынок закрылся с рекордно низкими показателями. Акции AIG упали до двух долларов за штуку. Помощники Полсона с нетерпением поглядывали на дверь своего шефа. Наконец она открылась.

— Значит, так, — в голосе Хэнка снова звучали решительные нотки. — Федеральный резерв собирается открыть кредит на значительную сумму для поддержания AIG. Осталось понять, сколько им нужно денег, чтобы заткнуть дыру. Рынок должен успокоиться. На это мы, во всяком случае, рассчитываем.

— Но этого нельзя делать! — не выдержал кто-то. — Еще сегодня утром вы говорили о том, что государство не намерено выкупать разорившиеся банки за счет налогоплательщиков, а уже завтра все узнают, что Федеральный резерв вытаски-

вает AIG. Вас сожрут с дерьмом за непоследовательность проводимой политики. И нас вместе с вами...

— AIG — это не Lehman Brothers! У них совсем другая ситуация, — отмахнулся Полсон.

— Да всем наплевать на то, что страховая компания — это не банк. Главное — деньги налогоплательщиков. Где же те моральные обязательства, о которых вы распинались перед журналистами?

И тут Полсон резко развернулся в сторону говорящего: «Думаешь ты один такой тут умный, да? Самолет, на котором мы прилетели утром из Нью-Йорка, взят на прокат у AIG, медицинское страхование всего населения страны — это AIG, пенсионные фонды учителей во всей Европе — это AIG, гребаное строительство — это AIG! У тебя есть другие предложения? Я весь во внимание!

И поскольку других предложений не последовало, все перешло к подготовке встречи с президентом.

То, что падение Lehman Brothers потянуло вниз AIG, Буш понял сразу. Инвесторы в недвижимость, застраховавшие ипотечные кредиты на случай дефолта, потребовали возмещения убытков. Ни одна страховая компания в мире не смогла бы справиться с таким объемом одновременных выплат. У AIG просто иссяк запас наличности. Но то, что разорение одной страховой компании может вызвать мировой экономический кризис, вызвало у Буша недоумение:

— Как такое может быть? — в поисках ответа президент обвел глазами всех присутствующих.

На протяжении многих лет он свято верил утверждениям Гринспена о самодостаточности и саморегуляции рынка. Вопреки его ожиданиям, банкротство Lehman Brothers привело не к стабилизации, а к полному хаосу и ступору. И вот теперь Бернанке и Полсон в один голос утверждают, что только срочное вмешательство государства спасет мир от финансового краха. Значит, теория великого гуру — не что иное, как ошибка? Тяжелое выпало Бушу президентство: сначала Одиннадцатое сентября, теперь вот — финансовый кризис. Снова от него ждут принятия сложного решения. И Буш такое решение принимает, понимая, что политически оно будет крайне непопулярно, особенно сейчас, за несколько месяцев до выборов нового президента страны.

— Ну что ж, бэйлаут так бэйлаут, — говорит он, тяжело вздыхая. — Когда-нибудь, когда это все закончится, вы разберетесь с тем, как мы дошли до такой жизни и что нужно сделать, чтобы это больше никогда не повторилось.

Уже ночью Полсон проинформировал Обаму и Маккейна о предстоящем выкупе AIG и попросил их воздержаться от популистской критики вынужденных мер.

Утренний пресс-релиз о том, что ФРБ открывает кредит в восемьдесят пять миллиардов долларов в обмен на получение восьмидесяти процентов пакета акций AIG, не остановил падение фондового рынка.

Финансовый кризис, начавшийся в Америке, перерастал в мировой. Кредитный рынок замер. Люди выстроились в очередь в банкоматы. Ни у кого не было уверенности в том, что на следующий день в банках останется наличность. Россия закрыла торги сначала на один час, а потом и на весь следующий день. Дрогнули даже верные Полсону китайцы, начав выводить деньги из американской экономики. Хуже всего обстояли дела с Morgan Stanley. Стремительный обвал его акций до боли напоминал ситуацию с Lehman Brothers всего неделю назад. На грани был и Goldman Sachs. Банковская система, выстроенная исключительно на доверии, могла рухнуть в считанные часы.

— Надо идти в конгресс, — сказал Бернанке за завтраком с Полсоном. Вид у обоих был замученный, но никому больше до этого не было дела. — Мы не можем затыкать одну дыру за другой средствами ФРБ. Необходимо общее решение. И это решение должно быть законным. У нас пока еще демократия.

— Сейчас? Накануне выборов? Ты хочешь, чтобы они голосовали за бэйлаут? А что, если они не проголосуют? Представляешь, какой тогда начнется кошмар?

— Кошмар уже начался, мой дорогой Хэнк. Он здесь и сейчас. Так что лучше подумай, с чем ты пойдешь в конгресс.

Думать было над чем. Решение должно быть простым и убедительным. Нет. Очень простым и очень убедительным, иначе они не получат одобрения конгресса в необходимейший кратчайший срок. Ясно, что нужно просить денег, но на что? На выкуп токсичных активов у банков. Но сколько их всего? Да и сколько они стоят? Подсчет мог быть только приблизительным, но сумма должна покрывать убытки всех ведущих банков, чтобы они возобновили кредитование. К тому же выкуп токсичных активов должен помочь простым американцам сохранить свои дома. Так сколько просить? Семьсот миллиардов долларов... Сумма астрономическая... Осталось только убедить конгресс одобрить план Полсона.

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей, обрадовалась звонку главного секретаря казначейства:

— Хэнк, я собиралась позвать вас завтра утром на встречу с представителями конгресса. Мы хотим узнать о ваших мерах по спасению экономики.

— Мадам спикер, завтра утром будет уже поздно, — замогильным голосом отозвался Полсон.

Это подействовало.

Вечером в четверг, 18 сентября, всего через три дня после краха Lehman Brothers, в кабинете Нэнси Пелоси собрались лидеры обеих партий. На столе перед каждым участником лежали три страницы проекта закона по спасению проблемных активов. Возмущенные реплики посыпались на Полсона и Бернанке уже через несколько минут:

— Вам просто нужен подписанный чек с непроставленной суммой!

— Речь только о банках и ни слова о контроле. А что получит семья, потерявшая из-за ваших махинаций дом?

— Просто выдать семьсот миллиардов и довериться вам, предоставив неограниченные права на распределение такой суммы...

— Как вы могли допустить такое?

— Мистер Полсон, вы спасаете банкиров с Уолл-стрит за счет ограбления простых американцев...

В какой-то момент Полсону пришлось грубо прервать поток обвинений:

— Вы хотите узнать, как мы дошли до такой ситуации? Я готов дать вам полный отчет, но только не сейчас! Поймите вы наконец, у нас нет времени. Мы должны сегодня объявить о готовности принять этот документ, а подписать его уже через несколько дней, иначе уже через неделю у нас не будет экономики!

В комнате воцарилось молчание. Кому-то стало не хватать воздуха.

Тишину нарушил вкрадчивый голос Бернанке:

— Всю свою научную карьеру я посвятил изучению Великой депрессии. Началась она с краха рынка акций, но еще больший удар экономика получила от прекращения выдачи кредитов. Люди не могли занять денег даже на самое необхо-

димое. Мы должны принять этот закон, чтобы развязать банкам руки. Наше бездействие приведет к тому, что не через неделю, как сказал Хэнк, а уже в понедельник у нас не будет экономики. И это будет пострашней Великой депрессии...

Через несколько часов обсуждения было решено передать проект закона по спасению проблемных активов^[32] на рассмотрение конгресса. Воодушевленный такой сравнительно легкой победой Полсон позволил себе несколько часов сна, еще не зная, что впереди его ждут главные сражения.

Пока главный секретарь казначейства и директор ФРБ пугали членов конгресса страшными перспективами в случае непринятия их плана по спасению американской экономики, в Нью-Йорке Тим Гайтнер ломал голову над тем, как остановить падение двух оставшихся инвестиционных банков Уолл-стрит. Его идея объединить Morgan Stanley и Goldman Sachs с коммерческими банками провалилась. Ни один коммерческий банк не хотел повесить на свой баланс тонны токсичных активов, лежавших смертельным грузом на инвестиционных банках.

Оставался старый и верный способ: найти покупателя или крупного солидного инвестора.

Желающие приобрести Morgan или Goldman нашлись, но они предпочитали выжидать. Понимая, что промедление означает не что иное, как банкротство американской инвестиционной системы, Гайтнер решился на обращение этих банков в холдинговые компании, взяв их под зонтик ФРБ и открыв доступ к дешевым государственным кредитам. Можно только догадываться о том, что подумал по этому поводу Дик Фолд, получивший отказ в подобной просьбе от того же Гайтнера всего несколько месяцев назад. Так или иначе, мера возымела действие: самый большой японский банк Mitsubishi UFL Financial Group вложил девять миллиардов долларов в Morgan Stanley, а Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Goldman Sachs. Ситуация была спасена и падение акций инвестиционных банков на фондовом рынке приостановлено.

Зато у Полсона в Вашингтоне дела складывались как нельзя хуже. Не зря он ненавидел этот город. Возглавляя долгие годы Goldman Sachs, он привык принимать быстрые решения, полагаясь исключительно на себя и свою команду. Теперь ему приходилось ждать решения конгресса. Посмотрев выступления нескольких конгрессменов по телевизору, он с досадой отмахнулся:

— Все и так понятно: республиканцы будут голосить о национализации банков и угрозе социализма, демократы вместе с Клинтон — об ограблении налогоплательщиков. А время идет...

Пока шли дебаты в конгрессе, Хэнк пытался найти общий язык с двумя главными игроками в предстоящей большой игре под названием «Выборы президента — 2008». Поначалу и Обама, и Маккейн поддерживали его усилия по спасению американской экономики. Поддержал Обама и программу TARP, пообещав в случае своей победы привлечь Полсона к совместной работе. А вот с Маккейном общаться стало трудно...

— Вы получите слишком много власти, Хэнк. Слишком много неподконтрольной власти... Мне это не нравится. К тому же семьсот миллиардов долларов — это баснословная сумма за счет американских налогоплательщиков, а я уполномочен защищать их интересы, а не интересы банков, — открыто заявил Маккейн в телефонном разговоре с Полсоном.

— Да, я разделяю ваши взгляды, Джон, поймите меня правильно, но обстоятельства требуют принятия срочных мер. У вас есть какие-то предложения по выходу из кризиса? Я слушаю вас внимательно...

Но слушать было нечего, поскольку, кроме критики, Маккейн ничего предложить не мог, впрочем, как ничего не предлагали и выступающие в конгрессе, где республиканцы явно не собирались голосовать за TARP. Бесконечные и безрезультатные дебаты изводили Хэнка:

— В случае провала закона я не собираюсь брать на себя всю вину за надвигающуюся катастрофу. Ни черта не смысла в экономике, они играют в популистскую игру, которая приведет страну к гибели! Маккейн тоже хорош... Ну должны же быть в его окружении хоть что-то соображающие люди! — негодовал он.

Вполне возможно, что такие люди все-таки нашлись. Разругавшись с Полсоном, Джон Маккейн решил на довольно смелый шаг: он заявил о прекращении своей предвыборной кампании и призвал Обаму встретиться с ним в Белом доме для обсуждения мер по выходу страны из кризиса.

На следующий день, 25 сентября, за большим овальным столом в кабинете еще действующего президента Джорджа Буша собрались члены его правительства, лидеры двух партий и кандидаты на пост главы государства. Вид у всех серьезный. Нэнси Пелоси — единственная женщина среди двух десятков деловых мужчин. Вступительное слово Буша было коротким: «Вы хотели нас собрать, Джон Маккейн. Мы собрались. Ваше слово».

— Я скажу, когда подойдет моя очередь, господин президент, — загадочно улыбнулся тот.

Пришлось дать слово Обаме, который довольно убедительно поддержал план Полсона. На какое-то мгновение на лице Хэнка, покрытом красной сыпью от хронического переутомления, промелькнула надежда. Обама вообще производил на него впечатление человека, разбирающегося в экономике и не желающего получить в управление страну в тяжелом кризисе. «Еще немного, и я проголосую за президента-демократа», — подумал Полсон.

После выступления Обамы все снова посмотрели на Маккейна. Отмалчиваться дальше было уже невозможно, но тут выяснилось, что и сказать-то ему особенно было нечего, кроме того, что он, а значит, и республиканцы Полсона не поддерживают.

— Вы меня еще вспомните не раз, — президент наклонился к уху Нэнси Пелоси. Та сдержанно улыбнулась.

Надежда на возможность договориться, промелькнувшая поначалу у сторонников Хэнка, сменилась разочарованием. Расходиться или еще нет? И тут снова заговорил Буш. Позднее его фраза, гениальная в своем лаконизме и точности, будет цитироваться и обсуждаться всеми информационными средствами страны:

— Если не дадим бабла сейчас, все полетит к черту!^{В31}

Казалось бы, что может быть более убедительным, так нет! Не убедило. В начавшейся перебранке никто уже не слышал доводов другой стороны. Кончилось тем, что Буш встал и молча покинул собрание. Попытка совместного обсуждения провалилась. Демократы ушли вслед за Бушем. Так чего, собственно, хотел Маккейн?..

Но, видимо, это был день сюрпризов. Во всяком случае, никто не мог ожидать того, что сделал в каком-то порыве отчаяния 74-й секретарь казначейства. Догнав в коридоре уходящую Пелоси, он грохнулся перед ней на одно колено со словами:

— Нэнси, не дайте им завалить закон в конгрессе! Прошу вас!

Застигнутая врасплох Пелоси не нашла ничего другого, как рассмеяться:

— Я и не знала, Хэнк, что вы католик...

И уже серьезно добавила:

— Но это не демократы, а республиканцы проголосуют против. Я обещаю вам сделать все, что смогу.

И она сдержала слово, но не сразу. При первом голосовании в палате представителей закон был провален. Немного стабилизировавшийся рынок снова рухнул на следующий же день. Даже самым ярым противникам «национализации» стала очевидна необходимость принятия срочных мер. Через четыре дня после первого голосования закон был принят с некоторыми поправками.

До выборов нового президента оставался месяц. Сделав экономику главным пунктом своей предвыборной кампании, Обама лидировал. Маккейн, плохо разбирающийся в сложившейся на рынке ситуации, был явно ему не соперник.

Получившему в распоряжение колоссальную сумму денег и право по своему усмотрению ее распоряжаться Полсону предстояло решить, как поступать дальше. Выкуп обесцененных ипотечных бумаг, казавшийся такой хорошей идеей еще два месяца назад, его уже не устраивал. Сейчас нужно было срочно искать выход из кредитного кризиса. Позднее все кому не лень станут обвинять его в отсутствии стратегии. В этом действительно была доля правды. Проблемы валились одна за другой, не давая ему и его команде ни малейшей передышки. Система, казавшаяся безотказной последние двадцать лет, рушилась у всех на глазах. Что оставалось делать в таких условиях? Выживать. Это и было его стратегией.

Утром в воскресенье, 12 октября 2008 года, девять директоров ведущих банков страны получили странный телефонный звонок от главного секретаря казначейства.

— Жду вас завтра в три часа дня в моем кабинете.

— А что случилось, Хэнк? По какому поводу мы собираемся?

— Узнаете завтра.

Все. Гудок.

Так с ними еще не разговаривали. Пришлось лететь. Но если из Нью-Йорка до Вашингтона на это уходит меньше часа, то директор банка Wells Fargo^[34] Дик Ковасевич провел в самолете шесть часов. И это в понедельник, самый занятый день недели, когда он должен был работать над сделкой с Wachovia^[35]. Ничего хорошего не предвещало и число — 13 октября. Позднее журналисты назовут эту встречу «тайным собранием Большой Девятки», представляя ее как некий заговор «толстых котов» Уолл-стрит. На самом деле и для людей, собравшихся в этот день за столом в кабинете Полсона, цель встречи оставалась неизвестной до тех пор, пока Хэнк не заговорил.

— Ни для кого из вас не секрет, — начал он, — что мы в центре жесточайшего финансового кризиса. Вы в полной мере испытываете это на себе (несколько человек согласно кивнули). Хотя у кого-то из вас достаточно капитала (быстрый взгляд на Дика Ковасевича), основные банки страны испытывают его нехватку. Это подвергает большому риску нашу систему кредитования. Поэтому, опираясь на чрезвычайные права, дарованные мне конгрессом, я объявляю, что казначейство США собирается купить у вас привилегированные акции^[36] с кредитной ставкой в пять процентов годовых. Ставка увеличится до восьми процентов, если долг не будет

возвращен через три года. В свою очередь казначейство гарантирует невмешательство в дела вашего руководства и вопросы компенсаций. Завтра мы обнаружим программу по прямому вливанию капитала в финансовые институты. Вы — ее первые участники.

Полсон остановился на секунду, чтобы перевести дух и проверить реакцию внимательно слушающих его людей. Заметив легкое волнение, он продолжил:

— Завтра же мы объявим, что вы — кредитоспособные учреждения, участвующие в программе в целях поддержки экономики США. Обращаю ваше внимание на то, что мы будем акционерами без права голоса. К тому же это временная мера.

В наступившей тишине Гайгнер зачитал суммы, предназначавшиеся для банков — участников этой сделки:

Bank of America — 25 миллиардов;
Citigroup — 25 миллиардов;
Goldman Sachs — 10 миллиардов;
JPMorgan — 25 миллиардов;
Morgan Stanley — 25 миллиардов;
State Street — 10 миллиардов;
Wells Fargo — 25 миллиардов долларов.

От неожиданности у Дика Ковасевича вытянулось лицо. Его банку совершенно был не нужен кредит в двадцать пять миллиардов. С капиталом у них было все в порядке, иначе стали бы они сейчас покупать Wachovia. Молчал он недолго и, как только Гайгнер закончил, с возмущением набросился на Полсона:

— Но это же черт знает что! Кто же поверит вашим словам о нашей кредитоспособности, если вы вливаете в нас дополнительный капитал! Вы же тем самым и подрываете доверие наших вкладчиков. Это же принципиально неверный шаг. Ошибка! — в ожидании поддержки собратьев по бизнесу Ковасевич оглянулся на уткнувшихся в бумаги банкиров. Но те молчали. Для всех остальных это действительно было спасением.

Хэнк был готов к такому обороту. Поэтому был тверд и категоричен:

— Мистер Ковасевич, здесь сидят ваши регуляторы. Если вы откажитесь от сотрудничества с нами сегодня, завтра мы объявим о неспособности Wells Fargo выполнять обязательства перед вкладчиками.

Это был весомый аргумент, а вернее — четко заявленная угроза. Кто же в здравом уме пойдет на конфронтацию с властью, имея в перспективе такие последствия?

— А-а-а! Тогда другое дело, — быстро разобрался в ситуации Ковасевич. — Но в любом случае мне нужно согласие совета директоров. Я сам такие решения не принимаю.

На этот раз банкиры его поддержали. Никому не хотелось брать на себя подобную ответственность. Хотя нет, один таки нашелся. Джон Мак, главный директор Morgan Stanley, подписал все бумаги, выданные ему Гайгнером.

— А чего ждать, — улыбнулся он. — Если совет проголосует против, меня уволят. Все дела...

К слову сказать, ни один совет директоров не проголосовал против. К девяти часам вечера сделка была завершена. Банки Уолл-стрит получили в этот день сто двадцать пять миллиардов долларов. Citigroup получил еще дополнительные двадцать миллиардов уже после победы Обамы. Они начнут-таки выдавать кредиты, но в гораздо меньшем объеме, чем ожидал Полсон и все, кто принимал участие в

его борьбе за спасение финансовой системы США. Миллионы людей останутся без работы и потеряют жилье. Новой администрации понадобятся годы на то, чтобы преодолеть последствия кризиса. Президент Обама так и не рискнет ввести новые нормы регулирования банков в обмен на вливание колоссальных государственных средств. Хэнк Полсон уйдет в отставку, а его приемник Тим Гайтнер продолжит политику спасения Уолл-стрит любой ценой.

^[11] В это время Хиллари Клинтон занимала пост сенатора от штата Нью-Йорк.

^[12] В США секретарь казначейства возглавляет министерство финансов.

^[13] Возглавляли Федеральную резервную систему США в 1987-2006 и 2006-2014 годах.

^[14] Кризис начался 9 августа 2007 года.

^[15] Бэ-Эн-Пэ Парибá — европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг и один из шести сильнейших банков в мире.

^[16] Ставка, по которой Федеральный резерв предоставляет кредиты частным банкам. Используется как регулятор развития экономики. Считается, что низкая ставка стимулирует инвестирование дешевых денег.

^[17] Американский рынок недвижимости считался надежным видом вклада не только для отечественных банков, но и для иностранного капитала, хлынувшего из Европы, Азии и стран, импортирующих нефть.

^[18] Кристин Лагард — тогда министр финансов Франции, позже директор МВФ.

^[19] Subprime loan, или нестандартный ипотечный кредит, который может быть выдан заемщику с ненадежной или короткой кредитной историей.

^[20] Обычно долгосрочные ипотечные кредиты выдаются в Америке на пятнадцать или тридцать лет.

^[21] Изменить условия договора с учетом возросшей кредитной процентной ставки.

^[22] Выпуск ценных бумаг, обеспеченных активами. В данном случае — ипотечными кредитами.

^[23] Collateralized Debt Obligation — обеспеченное долговое обязательство.

^[24] Дефолт — невыполнение заемщиком долговых обязательств.

^[25] Ставка в один процент способствовала вложению значительного капитала в недвижимость, включая покупку активов с высокой степенью риска. Увеличение ставки по федеральным фондам в период 2004-2006 годов привело к росту ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой.

^[26] Ипотечный брокеридж — это услуги по подбору, оформлению и получению ипотечных кредитов.

^[27] Ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой подразумевал фиксированную ставку первые два года с последующим ежегодным возрастанием. Заемщики шли на подписание таких договоров либо в расчете на рост стоимости дома и его продажу в течение первых двух лет, либо на рефинансирование договора. Было много и таких, кто не понимал сложных и запутанных условий договоров с плавающей процентной ставкой.

^[28] Джеймс Кейн — «худший СЕО всех времен», по мнению CNBC, был известен как заядлый игрок в бридж и гольф. Провел десять дней в Нэшвилле на соревнованиях по игре в бридж во время банкротства двух хедж-фондов, принадлежавших Bear Stearns. Подозревался в приеме наркотиков на рабочем месте.

^[29] Кредит, который предоставляется в конце рабочего дня и подлежит погашению на начало следующего рабочего дня.

^[20] Кредитное плечо, или леверидж — соотношение между собственным и заемным капиталом банка.

^[211] Too big to fail — термин, означающий невозможность допущения разорения финансовых гигантов.

^[221] Банковская холдинговая компания имеет право получать кредиты ФРС и в свою очередь предоставлять кредиты частным банкам.

^[231] Индекс для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. Охватывает тридцать крупнейших компаний США.

^[241] Кредитный дефолтный своп — рыночный дериватив, страхующий от дефолта по долгам.

^[251] Акционеры Bear Stearns отказались голосовать за одобрение сделки, если цена за акцию будет меньше десяти долларов.

^[261] Закон 1933 года запрещал банкам заниматься одновременно кредитными и инвестиционными операциями наряду со страхованием и исходил из убеждения, что совмещение такой деятельности излишне рискованно и может привести к следующей Великой депрессии.

^[271] От англ. *glass* — стекло. В 1999 году закон Гласса — Стигала был отменен.

^[281] Алан Гринспен.

^[291] Финансовые конгломераты, крупнейшие частные ипотечные агентства, созданные по инициативе конгресса и спонсируемые государством для скупки и продажи ипотечных кредитов у банков.

^[301] Выпуск ипотечных активов — одна из главных статей дохода «Фанни» и «Фредди». Их приобретение считалось надежным вкладом. К началу 2008 года Банк России вложил 100,8 миллиарда долларов в ипотечные активы «Фанни» и «Фредди». Самым большим вкладчиком был Китай — 525 миллиардов долларов.

^[311] Ручной гранатомет в вооруженных силах США.

^[321] Программа по спасению проблемных активов, или TARP.

^[331] Это вольный перевод фразы Буша «If money isn't loosened up, this sucker could go down».

^[341] «Уэллс Фарго» — четвертая по величине банковская компания США, базируется в Калифорнии.

^[351] «Ваковия» — одна из крупнейших банковских сетей США XX века. Поглощена Wells Fargo в 2008 году.

^[361] Акции с фиксированным дивидендом и правом первоочередной оплаты.



Журнал «Семь искусств» № 3 (72) /2016 — Ганновер:
Семь искусств. 2020. — 373 с., 22,1 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка Марины Жуковой



Семь искусств
Ганновер 2020

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"



9 781716 933547